

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

3

1998

1998

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 3(875)

Март, 1998 г.

Учредитель — редакция журнала «Новый мир»

СОДЕРЖАНИЕ

БОРИС ЕКИМОВ — Житейские истории	3
ОЛЬГА ПОСТНИКОВА — Разлука, стихи	17
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА — Армия любовников, роман. Окончание	21
ЛЕОНИД ГРИГОРЬЯН — Без родства, стихи	74
БОРИС КАМЯНОВ — Пацан и девка, стихи	76
ЕВГЕНИЙ РЕЙН — Призрак в коридоре. Опыт фантастических вос- поминаний	78
ВИКТОР КОЛЛЕГОРСКИЙ — На воздушном океане, стихи	111
БОРИС ЕВСЕЕВ — Баран, рассказ	115

ПУБЛИЦИСТИКА

МАРК ФЕЙГИН — Чужая война	125
---------------------------	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ЮРИЙ ГЛАЗОВ — Адаптация. Фрагменты воспоминаний	143
---	-----

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

ДМИТРИЙ ХАРИТОНОВИЧ — Феномен Фоменко	165
---------------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕНА ЗЛОБИНА — Драма драматургии. В пяти явлениях, с про- логом, интермедией и эпилогом	189
---	-----

По ходу текста

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ — «Памяти одного стукача» — статья тайн	208
--	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Павел Басинский. Сквозь шум	213
Дмитрий Бавильский. Екатеринбургские тайны	216
Лариса Миллер. «Прессуя страдальческий опыт»	218

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Игорь Кузнецов. В лабиринтах традиции	222
Татьяна Касаткина. «То, что знают в себе слова...»	225
Бронислав Холопов. Некрасов у ярославцев	229
Сергей Новиков. Бойня в Крыму	232

Юрий Кублановский. — Александр Сопровский. Правота поэта. Стихотворения и статьи	235
Ольга Майорова. — В раздумьях о России (XIX век)	236
Олег Мраморнов. — I. П. А. Флоренский: pro et contra. Личность и творчество Павла Флоренского в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. II. Ф. Н. Козырев. Испытание и победа святого Иова	238
Михаил Горелик. — Э. Л. Лаевская. Мир мегалитов и мир керамики. Две художественные традиции в искусстве доантичной Европы	242

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	245
Периодика (составитель Андрей Василевский)	246
SUMMARY	256

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО КОЛЛЕГУ,
ОЛЕГА ГРИГОРЬЕВИЧА ЧУХОНЦЕВА
С 60-ЛЕТИЕМ!**

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 2350 экземпляров журнала «Новый мир».

БОРИС ЕКИМОВ



ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«НЕ РУГАЙ МЕНЯ...»

Старый наш дом размерами невелик: кухонька в одно окошко, по обе стороны кухни — тесные комнатки. Дверные проемы — с нехитрыми шторками. Секретов за ними не удержат.

Обычно, во времена прежние, в холодную пору, вся жизнь текла на кухне, возле теплой печки да обеденного стола. Там готовят еду, там обедают, ужинают, там и гостей принимают в будни: соседка забежит, кто-то заглянет мимоходом.

У меня в старом доме — место насиженное: в горнице стол. На нем бумаги да книги. Перед глазами — два окна на улицу. Вижу, кто к нам идет, а кто мимо проходит. За спиной — кухня, там — жизнь обыденная. Слышу ее, порой вмешиваюсь.

Два случая. Между ними — срок долгий, почти жизнь.

Первый — совсем давний. Тогда наш Петя был маленьким. Учился в третьем, а может, в четвертом классе. Ждали его к обеду. А главное, для какого-то дела. Уговорились заранее, что в этот день он вернется из школы сразу после уроков, нигде не задерживаясь. Ждали да ждали, а его нет и нет. Как говорится, все жданки проели. Я уж начинаю злиться. А матушка моя — человек и вовсе серьезный. Пети нет, она меня точит:

— Это ты виноват. Приучил, он никого не слушает. Никакой ответственности. Надо с детских лет. Надо...

И прочие слова. Она их много знает.

Ждем его и ждем, ждем да поджидаем.

Наконец вижу: мчится наш ученик. Понимает, что к сроку давно опоздал, и спешит.

— Летит... — сообщил я матери.

— Я ему сейчас устройку прилет, — говорит она.

По голосу понимаю, что дело серьезное. И конечно, она права. Взрослые ждут. Специально ведь предупредили. А он, видите ли...

Калитка — настезь, быстрые шаги на крыльце. Я навстречу ему не поднялся, остался в горнице, за столом. Пускай мать встречает, она это умеет лучше меня.

— Тебе что было велено... — начала было мать, но перебил ее, конечно же, виноватый, с захлебом голос:

— Не ругай меня, пожалуйста, ладно?..

И такая была в этом голосе наивная просьба, что я невольно улыбнулся, поднялся из-за стола, чтобы мать немного, но сдержать. Она порою ругаться мастер. Особенно под горячую руку. А мне жалко стало — уж больно он хорошо попросил: «Не ругай, пожалуйста...» — не испуг, а лишь искренняя просьба. Мальчишеская, детская: «Не ругай».

Я поднялся и вышел на кухню. Стояли друг против друга строгая мать моя и маленький Петя, взъерошенный воробышко: пальто — нараспашку,

волосы — дыбом, на лице и в глазах — наивная детская просьба: «Не ругай». Все так ясно было, что помощи моей не понадобилось.

— Не ругай... — повторила мать и тоже улыбнулась. — Ну, ладно. Тогда не будем ругать.

Я вернулся в горницу, к своему столу.

Прошло много и много лет. Тот случай, конечно, давно забылся. Сколько было всего, и доброго, и несладкого, — жизнь течет. Матушка моя состарилась, Петя вырос. В старом доме теперь мы проводим лишь теплое лето. А чуть заосенеет, сразу переезжаем на городскую квартиру.

И вот похолодало, месяц — сентябрь. Пора «на крыло». Сборы наши не долгие. Обычно все оставляем. Но пожилого человека с места насиженного стронешь не вдруг. Вот и мать наша собирается будто навсегда. Этот узелок у нее с большой одеждой. «Вдруг меня в больницу заберут, — пугает она. — Тут все приготовлено: халат, белье». Другой узел серьезнее — «смертный». «Начнете искать... А здесь все готовое: нижнее, верхнее, платок, чиррики». И еще один узел похоронный: красная материя на гроб, черный креп, полотенца, на каких гроб нести, платки, какие раздавать, — все как положено.

Словом, для матери переезд — дело серьезное. Готовится к нему долго. А тут еще надо со всеми попрощаться: Фрося да Лида, Гордевна да Шура. Ко всем зайти, поговорить напоследок. Может, и увидеться уже не придется. Долгая зима, а жизнь — на излете.

Поэтому с переездом получается так: похолодало, собрались, уехали, а мать еще два ли, три дня, а то и неделю на старом месте копошится. Потом за ней приезжаем. Тогда уж и дом на запор.

Вот и нынче — уехали, матери назначили срок. Петя — человек уже взрослый, закончил институт, работает, на машине рулит. Подъезжаем с ним в назначенный день. Мать на нас машет руками: «Не собралась, не успела, куда вы меня торопите...» Отложили отъезд. Бог с тобой, собирайся спокойно.

Через день — та же песня: «Гордевну не видала, к Фросе не заходила... И кой-чего надо...» Я молчу, привык, а Петя ее поругивает: мол, копошишься, два халата не сложишь, так можно и до снега, с работы другой раз отпрашиваюсь. Поворчал он, мать признала вину. Но отъезд все же отсрочили.

И вот новое утро. Подъезжаем. Пасмурно уже, зябко. Дом нахохлился. Кое-где у соседей дымки из труб. Подтапливают. Осень.

Вошли в дом. А у матери только-только самые сборы. Опять все богатства свои разложила. Без слов видно, что не готова.

Я лишь головой покачал, охнул. А Петя, он молодой, горячий. И ведь верно: у него — работа, а он бабку каждый день возит-возит и никак не увезет. Раскрыл он было рот, да, слава богу, ничего сказать не успел.

Мать наша стоит, маленькая, виноватая, голову подняла и попросила робко:

— Не ругайте меня, пожалуйста.

От тихих слов ее, видно, не только мое дрогнуло сердце. Петя вздохнул и сказал неожиданно мягко, с усмешкой:

— Ладно, не будем тебя ругать.

Господи, как же она постарела, наша мать! Высохла, согнулась. А какая была... И ростом, и статью. А характер... Куда что делось. Человек я — тоже немолодой. Повернулся, ушел в настывшую горницу, сел за стол, пустой и непривычно просторный, стал глядеть в окошко.

Вот она, жизнь. Вроде и не больно короткая, а все равно на один огляд.

У ЗАБОРА

Он появился три ли, четыре года назад, стал жить у вдовой нашей соседки. Приняла она его, значит — примак. Так и зовут: «Нюрин примак».

Мужику — за семьдесят. Телом — крупный, на лицо, как говорится, сытый, но какой-то рыхлый, сырой. Все же возраст: кряхтит, охает, бережет поясницу.

Появился, живет, никому не мешает. Помаленьку узнали: он — с дальнего хутора, вдовый, вроде учителем работал. Оно и заметно, что образованный человек. Все знает. Про болезни, про лекарства, а главное — про политику. Газету выписывает, и не районную, а повыше. Это редкость теперь. Все знает и все объяснит, растолкует, голоса не повысит. Объясняя, будет помахивать большой мясистой ладонью.

Собеседников ему хватает. Через один забор — пенсионеры, через другой — тоже. Заботы — одни: в грядке покопайся, разогнись, поругай жука колорадского, луковую муху, начальство, какое «страну довело». Погута-рил — и снова к делам: сажай, пропальвай, поливай.

Тихий поселок. Старые люди. О чем разговоры? Конечно, о пенсии. Опять ее вовремя не принесли. А ведь вроде обещали. А если и принесут — тоже задача. За электричество, за радио заплати. Газ в баллоне кончается. Тоже надо. И про зиму, про топку нельзя забывать, понемногу денежку откладывать. Уголь и дрова. А куда денешься? И кое-что покупать надо: без хлеба не обойдешься и молочка хочется. Крупа, макароны, сахар да соль. Так и течет копеечка. И детям надо помочь. У них — вовсе беда! — нет работы.

Есть о чем поговорить, когда разогнешь спину и отдыхаешь от дел огородных.

Новый сосед, он все объяснит, растолкует, спокойно и без крика.

— При советской власти разве было возможно, чтобы пенсию вовремя не принесли или зарплату не заплатили? — не убеждает он, а лишь спрашивает собеседника.

И тот совершенно резонно отвечает:

— Никогда. У нас на авторемонтном аванс — пятнадцатого, а получка — четвертого. Всю жизнь.

— Ну вот. А медицина при советской власти? Разве было возможно, чтобы со своими подушками, с одеялом, с матрацами шел человек в больницу? И лекарства свои нес?

Он вопрошает спокойно, ни на чем не настаивает, просто ждет ответа. Сразу видно: грамотный человек. Это — не Юрка, который глотку рвет: «Режим Ельцина! Преступники! Уничтожение народа!»

Нет, от Ньюрино примака крика не услышишь. Не тот человек.

Мы с ним порой разговариваем о делах сельских — как и что. Он знает, что я пишу. Кое в чем он не согласен. Но возражает спокойно, мягко. Примерами старается убедить.

Вот наш разговор, последний. Довольно долго мы простояли. Он — в своем огороде, я — в своем. Меж нами — легкий заборишко.

Дело вечернее. Жара спадает. Солнце лишь закатилось. Высокие облака горят.

— Был у своих... — так начал мой собеседник.

«У своих» — это значит на хуторе, где дочка, зять, внуки.

— Ужас какой-то... — прижмурился он и голос понизил до шепота. Не потому что боится кого-то, а потому что «ужас». Это бы Юрка заорал: «Развал! Преступление!» Чтобы весь поселок слышал. А этот... Зачем орать? — Ужас... — повторил он. — Уборка идет, воруют зерно в открытую. По домам везут машинами, тракторными тележками. Прямо от комбайнов. Не в амбар, не на ток, не государству — а каждый себе. Ужас. Никого не боятся. Растащилка.

И тут же, для примера, он вспомнил и рассказал два случая из своей прежней хуторской жизни. О хлебе, о зерне. Как оно раньше доставалось, с каким трудом. А без него ведь не проживешь, без зернца. Свиной надо кормить, гусей, кур. Словом — жить.

Итак, случай первый.

Подъехали как-то ночью ребята. Зерно — дело ночное. Подъехали, спрашивают: «Будешь зерно брать?» — «Конечно!» Высыпали у порога — и ходу. Надо быстрее прятать. Куда? Сарай, катухи, птичники — все это на виду.

Пусть и ночь на дворе, но машину могли заметить соседи. Кто-нибудь доложит. Придут — где первым делом искать начнут? В сараях. Вот и попался. Подумал-подумал, пришла мысль. Снял полы в летней кухне. Отодрал все доски. Засыпал туда зерно и снова полы прибил. Все это — ночью, во тьме и без света. Какой свет? Люди могут заметить. Доложат куда надо. Так впотымах и трудился, все руки побил. Но все зерно под половицы не ушло. Немного осталось, а тут уже рассветает. Быстренько ссыпал его за печку там же, на летней кухне. До вечера пусть лежит. Там — занавеска. Задвинули ее. Все в порядке.

Утром пришла соседка. Как раз сидели, завтракали. Она пришла, присела. Тары да бары. Хозяин глянул за печку, где зерно, и ахнул. Занавеска короткая, не до пола, и вроде зерно видать. Сердце оборвалось: сейчас соседка заметит, она — глазастая. Уже и завтрак не в завтрак. Все кажется, будто именно туда она и глядит. Насилу дождался, пока она уберется. Даже пот прошиб. Ушла. Быстрей-быстрей занавеску надстрочила жена, чтобы до вечера никто не увидел.

А под полами зерно так и хранилось до самой весны. Хорошо придумал. Когда надо, половицу поднимешь, наберешь ведерко — и доску на место. Так зиму и прожили.

Правда, потом весной, когда зерно кончилось, увидели, что мышей набегало в подпол — божья страсть. Весь фундамент — в норах, словно пчелиные соты. Изгрызли напрочь. Пришлось переделывать. Но это уже — ерунда. Главное, что зиму прожили спокойно.

И сразу — второй случай, о том же.

Встречают Новый год. Тогда большие компании собирались: родня, свойство, друзья. Тридцать первого вечером с женой нарядились, отправились. Пришли на гулянку. Там — елка, стол накрыт, музыка, песни — словом, праздник. И вдруг часов так в десять, а может, в одиннадцать хуторской участковый милиционер пальцем поманил в сторону и говорит потихоньку: «Зерно в доме есть?» — «Ну, есть...» — «Иди убирай, на тебя — сигнал, написали». Сразу сердце ушло: «сигнал» есть — значит, в любую минуту могут нагрять. Им праздник не праздник. А зерно в самом деле есть. Как без зерна... Приедут, найдут — сразу посадят.

— Жену — за хвост, и рысью домой, на ходу все рассказываю. Поднимаем детей, они помогают. Насыпаем зерно в мешки. Мотоцикл завел, грузу мешки и увожу в поле. Скирда стоит недалеко. Вожу, в скирду прячу, соломой прикрываю. Всю ночь возил. Под утро попадали и заснули. Утром проснулся, сижу завтракаю. А в окно вижу эту скирду. Далеко стоит, но вижу. Снега еще не было. Овец выпускали пастись по жнивью. Завтракаю и вижу: отара прямо к этой скирде идет. Подходят овечки и лезут в скирду, гребут. Чай не допил, бросил. Бегом к этой скирде, отару отгонять. «Бырь! — на них. — Бырь!» Вроде о колхозной соломе забота. Еле отогнал. А ночь пришла — опять на мотоцикл, грузить мешки с зерном и возить их аж на Дальнее поле. Там — хоронить. И до самой весны туда наведывался. С ружьишком, вроде на охоту. Притянешь полмешка. Остальное — лежит.

Рассказал сосед эти две истории. Сделал вывод на личном, так сказать, опыте:

— Дисциплина была. Потому что боялись. Обнаружат зерно — десять лет получишь, без разговоров. А ныне — в открытую: бери, вези... Растащилровка.

Он вздохнул, я вздохнул.

А вечер стоял хороший. После долгой дневной жары повеяло прохладой, хорошо дышалось. Но пора было к домам прибавиться. И ему и мне. Попрощались. Он пошел было к летней кухне, к вечернему чаю, да вдруг остановился, сказал: «Еще вспомнил». Не поленился вернуться к забору и третью историю рассказал:

— В соседях у меня жили колхозные специалисты — зоотехник и инженер. Дом построил колхоз. Под одной крышей, но два входа, на два хозяи-

на. Базы, сараи, конечно, у каждого свои. А вот черный баз, куда от скотины навоз выбрасывают, он — общий. И вот эти мужики, молодые, чего придумали. Чтобы зерно не прятать, не хоронить, а потом не трястись, что кто-то доложит, приедут, обыщут, найдут, чтобы спокойно спать по ночам, они вот что придумали. На черном базу была у них большая навозная куча. Она всегда была. По очереди, то один, то другой, привозят зерно и выгружают его прямо в эту навозную кучу. Высыпал, вилами перемешал, забуровил.

Сосед, рассказывая, вспоминая, даже засмеялся и похвалил:

— Умные ребята. Свиной не держали. А птицы — море. Гуси, куры, утки, индюки. И все в этой навозной куче роются. Они зерно сыщут. Птица гребется — значит, все хорошо. Клюет, сытая. Прошло время. Выгребли. Твоя очередь, вези. Привезти ведь нетрудно. Тем более — начальство. Техника и зерно в руках. А вот спрятать — это задача. Это — главное дело: чтобы не увидели, не доложили, чтобы не приехали с обыском да не нашли. Тогда ведь это первое было дело: хищение социалистической собственности. Сразу — десять лет. И никаких разговоров. Вот и тряслись все. Без зерна — никак. Надо ведь кормиться. А значит, хорони его да трясись. А у этих ребят — порядок. Привезли, в навозную кучу высыпали, перебуровили — и концы в воду. А птица выгребет, сыщет. Умные были ребята.

Он закончил рассказ посмеиваясь и пошел к себе, шаркая калошами. Старый человек, участник войны, историю, кажется, он преподавал в сельской школе и даже директором был.

А историй житейских у каждого из нас много. Долгая жизнь. Особенно когда раздумаешься, вспомнишь.

«ЗВЕЗДОЧКА ЯСНАЯ...»

Семейные альбомы. Толстые фолианты, битком набитые фотографиями. Нынче они понемногу из жизни уходят, как старый век. В нашей семье у каждого был свой альбом. Его еще в детстве дарили. Понемногу он наполнялся. Листаешь, перебираешь фотографии — и видишь воочию свою жизнь: от голопузого малыша до времен последних. Свою жизнь и тех, кто рядом был: родные, друзья детства, псто — взрослой жизни.

Прежде — я это хорошо помню — каждое воскресенье все вместе смотрели семейный альбом, осторожно переворачивая его картонные листы. Выберется свободный час, кто-то предлагает: «Давайте альбом поглядим». Гости обязательно альбом показывали. Но в своем кругу — лучше.

В горнице садимся вокруг стола. Альбом — посередине. Подолгу глядим. Каждая фотография — это жизнь, дни ее, память. Младшие то и дело спрашивают: «Кто это? А это?» Иногда просто какое-то имя скажут. А порою текут рассказы. Истории порой удивительные. Вот одна из них, о Зине Поповой.

Подруги моей матери далеких тридцатых годов — стриженные рабфаковки да студентки. Мать училась на рабочем факультете, а потом — в институте. Одна из близких подруг — Зина Попова. С нею вместе росли в Самаринском Затоне, что возле Сретенска, в Забайкалье. Вместе росли, окончили школу, потом учились в Иркутске, правда в разных институтах. Мать моя — в пушном, Зина Попова — в юридическом.

Надпись на фотографии: «Тоня! Как крепка память о днях, проведенных в детстве...»

Со снимка глядит милая молодая женщина с коротко стриженными легкими волосами. Она красива. Мать моя и сейчас говорит: «Она такая красивая была». Высокий гладкий лоб, прикрытый легкой прядью. Большие глаза, прямые брови, мягкий овал лица. Даже сейчас с фотографии словно лучится ее теплый взгляд.

— Она такая хорошая была, такая добрая, — вспоминает мать. — Так она много пережила в детстве.

Далекое Забайкалье. Город Сретенск на быстрой реке Шилке. В двух ли, трех верстах от него, по реке выше, Самаринский Затон — малое селенье на устье Самаринского ручья. Десяток-другой домов и семей. Одни — крестьянствуют, другие — работают в судоремонтной мастерской. А у Зины Поповой отец и старший брат воровали скот в окрестных деревнях. После одной из краж, спасаясь, они убежали в Китай. До границы — рукой подать. И порядки тогда были иные. Сбежали они и сгнули.

Осталась Зина Попова с матерью и младшей сестренкой. Жили в отчаянной бедности. Зарабатывали на хлеб тем, что латали мешки для склада. Мать моя помнит: «Толстые мешки, грубые. Иголки большие. У Зины всегда были пальцы исколоты, даже напухали. Платили им мало. За молоком мы вместе с Зиной всегда ходили. Я — с бидоном, она — с кружечкой. Немножко они молока покупали, лишь чай забелить».

Зина Попова была красивой смладу, но косил у нее правый глаз. Ее дразнили: «Косой заяц». А еще «воровкой», из-за отца и брата. Здесь усердствовал ее одноклассник Блинов — «общественник-активист», как их тогда называли, то есть активный комсомолец.

— Эту воровку надо из школы гнать! — усердствовал Блинов. — В комсомол таких не принимаем. Отец и брат — враги!

В комсомол ее, конечно, не взяли. Но училась Зина хорошо, была отличницей. С младшими ребятами возилась. Они любили ее, ходили за ней гурьбой. Даже дома: она на полу сидит, мешки штопает, а ребяташки — вокруг. Она им что-то рассказывает, песни вместе поют. А тот же «активист» Блинов ее на собраниях разоблачает: «Эксплуатирует детский труд!»

В клубе она была заводилой. У нее голос красивый. Хорошо пела. Мать моя и теперь помнит песни ее.

Ванька — слесарь на заводе —
 Полюбил глаза одни.
 Темной ночью на свободе
 Повстречались они.

Звездочка ясная,
 Звездочка красная
 Им улыбалась с высоты.

— А потом этот Ванька-слесарь в Красную Армию пошел и вернулся с наградой. — Мать не помнит всех слов и объясняет: — А конец такой: «Звездочка ясная, звездочка красная горела на его груди». Такие вот тогда песни были.

Зина Попова заканчивала учебу в школе, и тут ей повезло: приехал в Сретенск глазной врач, который сумел сделать ей операцию — и косоглазия как не бывало. Стала Зина вовсе красавицей, какой и глядит сейчас с фотографии.

Она на «отлично» закончила школу и поступила в юридический институт в Иркутске. Там ею тоже были довольны: умная головка. А из Самаринского Затона во все концы, и конечно в институт, пишет и пишет «активист» Блинов: «Она — враг. У нее связь с границей. Она не должна в институте учиться». Но там, в институте, видят ее, ценят и не дают в обиду.

Зина продолжает учиться, а потом встречает любимого. Она его звала не Иваном, не Ваней, а только Ванюшкой. «Мой Ванюшка... Мы с Ванюшкой...»

— Они были такие красивые, — вспоминает моя мать, — и так друг друга любили. Все на них любовались. Такая пара...

Институт был закончен. И была свадьба с Ванюшкой. Все горькое осталось далеко позади: бедное детство, косоглазие, обидные прозвища.

Началась новая жизнь, в которой, словно в песне,

Звездочка ясная,
 Звездочка красная
 Ей улыбалась с высоты.

Где-то в тридцать пятом или тридцать шестом году, когда мать моя уже работала на Севере, Зину Попову арестовали как врага народа. Больше о ней никто не слышал. Осталась лишь фотография в альбоме матери: красивая молодая женщина с доброй, какой-то лучезарной улыбкой. Скоро не будет и фотографии.

В СКВЕРЕ

Мое городское жилье — квартира — помещается в доме довольно уютном, и место спокойное — на берегу Волги. Из окна видишь речную ширь, далекое Заволжье. А между домом и крутым откосом берега — невеликий, но сквер: тополя, березки, даже несколько сосен. Здесь же — стриженные кусты, клумбы с цветами. Березы да сосны при нашей летней жаре — сущем пекле — не больно хорошо растут, недужат. А вот тополя стоят друг подле друга, словно могучие богатыри. Любо на них глядеть: неохватный ствол, просторная высокая крона. Летом — спасительная от жары тень; осенью лист желтеет и валит под ноги, мягко шуршит, светит, словно свечное пламя. Хорошо здесь гуляется даже в ненастный день. А весной — вовсе радость: багровеют тополевыи сережки, распускается пахучий и клейкий лист. Тополевая апрельская сень прозрачна, сквозяща. Днем сквозь нее светит весенняя голубизна, вечером желтые звезды глядят, пробиваясь на нежной тоже прозелени небосклона.

Словом, хороший сквер. По утрам здесь бодрятся не больно молодые физкультурники. Собак выгуливают. Нынче собаки пошли серьезные — не какие-нибудь кудрявые пудельки, а волкодавы-овчарки, бульдоги да прочий страх. Отгуляют собаки, тогда и детишек выводят, вывозят. Гули-гули... Ближе к вечеру пенсионеры мужского пола сбиваются в кучки для бесед политических: обсудить, что нынче читано или что слышано. Конечно, и людям молодым тут укромные места находятся. А как же... У них — любовь.

Хороший сквер. Пусть и невелик, но всем места хватает. По утрам я гуляю рано. Особенно хороши весенние прогулки. Город еще молчит. И потому синичьим песням ничто не мешает. В аллеях сквера пустынно. Редкие бегуны да собаки. И потому нынешней весной обратил я внимание на человека, который сажал молодые деревца на краю сквера. Один да другой раз заметил его. Здесь обычно работают парковые служители: пожилые люди стригут кусты, за цветами ухаживают, убирают мусор. Но они объявляются позднее, трудятся неторопливо. А этот — молодой, энергичный — ранняя птаха.

Видел я этого человека раз да другой, но мельком: прохожу, он делом занимается, деревца сажает. Ну и слава богу.

По утрам обычно гуляю я, минуя сквер, на просторной площадке перед музеем. Там ничто не мешает глазу. Открывается Волга, вся ширь ее. Дышится вроде глубже. Веет речной свежестью. Метров пятьсот идешь, потом — разворот, возвращение к скверу. И обратно. Туда да сюда. От сквера и снова к нему. А потом — к дому.

Опять-таки нынешней весной, заканчивая прогулку, обратил я внимание на не совсем обычную пару — собака и хозяин. Собака, по-моему, бульдог. Крупная, мощная, приземистая, квадратная морда, маленькие глазки, тонушие в складках кожи. Кормленная собачка, заплывающая жиром. И хозяин — человек молодой — на свою собачку чем-то похож: тоже — плотный, молодым жирком заплывающий. Сразу я их приметил: серьезная пара. Но поглядел — и ладно.

На другой день, возвращаясь домой, через сквер иду и вижу эту пару за делом не совсем обычным: собака на дерево, на тополь, бросается, стараясь повыше вскочить на него, по стволу забраться. Рядом — хозяин. Он что-то кричит, командует; и собака бросается на дерево, пытаясь взобраться. Но она же — не кошка и потому валится вниз. И снова — вперед, и снова, и снова...

Обычно хозяева просто выгуливают собак, отпуская их с поводка. И те мчатся, кусты обшаривают, взрывают мягкую землю цветочных клумб, «отмечаются» там и здесь, знакомятся с себе подобными, ласкаясь ли, ссорясь, порой грызутся. Хозяева их разнимают. На это мы, слава богу, нагляделись. А вот чтобы собака пыталась на дерево взобраться — такое, согласитесь, редкость. Потому я и заметил. Один день, другой... А она скачет и скачет. Хозяин — рядом, командует что-то вроде: «Вперед, вперед!»

Энергичный, властный посыл. Бульдог прыгает на дерево, все выше стремясь. Но он — не кошка. Валится. И снова — вверх, словно могучая пружина. Литое тело, мощные лапы и, конечно, азарт. Раз за разом. А рядом — хозяин. Он требует: «Вперед! Вперед!» Видимо, тренировка. И все время у одного и того же дерева. Видимо, тренировка такая.

Поглядел я, подивился.

Прошло несколько дней. Возвращаюсь с прогулки. Гляжу: та же пара, возле того же тополя. И те же игры. Команда. Прыжок. Снова команда. Еще прыжок. И еще, и еще раз. Взметывается по стволу тополя мощное литое тело. С натужным визгом, с урчаньем. Валится вниз. И снова — вверх.

Рядом — немолодая женщина. Она что-то говорит хозяину собаки, что-то ему внушает, горячо жестикулируя. А тот — никакого внимания. Равнодушное лицо, короткие команды: «Вперед! Вперед!»

Женщина мне знакома. Она — здешний смотритель, парковыми рабочими руководит. Много лет ее вижу в нашем сквере.

Замедлил я шаг. Молодой мужчина scomандовал собаке: «Ко мне! Хватит!» И уже потом, повернувшись к женщине, сказал:

— Собаке это полезно. Ясно? Ей полезно, и она каждый день это будет делать. Понятно?

Они пошли. Серьезная пара. Молодой мужчина, молодая собака — оба в силе и в молодом жирке. Тренируются.

Я был рядом, и женщина стала говорить мне:

— Милицию, что ли, вызвать? Такое дерево погубить...

Сначала я не понял ее и, лишь подойдя к дереву, уразумел. Когда собака бросалась вверх по стволу, она, в экстазе ли, в злобе, а может, пытаясь удержаться, грызла кору дерева. И где-то на высоте моего роста могучий тополь был почти околдован. До белой мякоти кора ободрана, до самого луба. Зубищи-то у бульдога серьезные.

— Говорю ему, а он — ноль внимания. Полезно собаке — и все. Хоть милицию вызывай. Такой тополь хороший.

Тополь был и вправду на зависть. Просторная могучая крона вздымалась высоко в небо. Он уже зацвел, распуская бурые сережки. И тем горше было глядеть на глубокие раны его. Сочилась белая мякоть, словно слезясь.

Женщина вздохнула, потом сказала задумчиво:

— Один чуть свет поднимается, до работы, привозит саженцы, сажает, поливает.

Я тотчас понял, о ком речь, и спросил:

— А он разве не ваш?

— Нет. Это просто жилец вот из этого дома. Говорит, здесь живу и дети будут жить. Пусть будет красиво... — И добавила: — Один сажает, другой губит...

Она вздохнула и пошла по своим делам. Закончилась и моя прогулка. Еще раз поглядел я на ободранный тополь, на истоптанную землю в его подножии и пошел. Тут — рядом, что называется, два шага.

Но этот короткий путь — мимо молодых топольков, пока еще только саженцев, что появились нынешней весной возле моего дома. Их посадил человек, которого порою мельком я вижу утренней ранью.

Вот так и живем. Помаленечку. От зимы — к весне, а потом — к лету. Сейчас о лете — лишь память. Березы еще золотятся. А тополя облетели, обнажив тонкие ветви. Остро пахнет горьким тополевым листом. Впереди — зима.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

Спать уже укладывались, хотя летние сумерки еще были светлы. Но надо вовремя лечь, чтобы завтра подняться пораньше — много дел. Только что вернулся из Москвы, целый месяц был в отъезде. Накопились долги газетные, надо писать, это — для хлеба. И свое, литературское, ждет. И то нужно, и другое — нужно, и никто за меня не сделает.

А погода, как на грех, стоит жаркая. Солнце палит. Духота. Голова плохо варит. А спасенье одно — встать в пять часов утра и по холодку работать. Поэтому раньше стараюсь лечь.

Уже, считай, лег в постель. Слышу, зовут меня. Кого еще бог принес?.. Пьяницам, что ли, неможется?

Зовут и зовут. Пришлось выйти. За забором — сосед. Калитка-то заперта уже.

— Поднял вас... — извиняется. — Дело такое, край надо. Просьба большая. Больше некуда идти.

«Денег... — мелькнуло у меня в голове. — Этому можно дать».

— Срочно надо ехать.

— Куда ехать? Зачем?

— Завтра утром, в город.

Ничего я не понял.

— Зачем? — спрашиваю.

— Дочку завтра выписывают, она же родила.

Про это я знаю. Родила. Трудно. В город увозили. Но, слава богу, все обошлось: и с мамой хорошо, и мальчик здоров. Это все слышали.

— Выписывают дочку, — толкует сосед, — обязательно быть к девяти утра, значит, в семь выезжать.

— Ну и что... — действительно ничего я не понимаю. — В чем дело? Я при чем?

— Вас прошу поехать, больше не к кому идти.

Я даже присвистнул, и сосед меня понял, принялся объяснять:

— Зять обещал твердо: будет машина, договорился. А сам — пьет неделю, не просыхает. И отец его тоже пьяный. Я — к сыну. Он бегал-бегал, не найдет. Вроде обещали, а потом... И я туда-сюда помыкался — не найду. Только на вас надежда...

Господи... Нашли крайнего. Я по своим-то делам в город стараюсь на автобусе или на попутке добраться. Не люблю рулить. А сейчас тем более дел полно. Поедешь — значит, день пропал. Все же — восемьдесят верст, да там торчи. Ох и поганое это дело — быть писателем, какой дома сидит. Всем — некогда, у всех — работа с восьми до пяти и начальство не отпускает. А я дома сижу, и машина рядом. Вот и идут все, кому не лень: «Подбрось. Подвези. Подкинь...» Три дня подряд знакомый рыбак Серега как штык у забора: «Подкинь. Я — бухой. Не дойду». Вчера за дубовыми вениками за Дон мыкался. Тоже пристал человек хороший: поехали да поехали...

В голове у меня все это крутится. А сосед свое:

— Зять клялся, сволочь такая... «Волга», «Волга» будет. А сейчас — пьяный. Сын тоже не нашел. На вас — последняя надежда. Выручайте, Христа ради. Я заплачу...

«Я сам три раза заплачу, лишь бы меня не трогали... — это про себя говорю... — Платильщики...»

А он свое гнет:

— Последняя надежда... Зять — сволочь такая... Пьянчуга...

«Зять, конечно, сволочь и пьянчуга... — это я опять в душе ругаюсь. — А ты... А то ты не знаешь, кто он и какая ему вера. Он — пьяница, а ты — мужик нормальный, хозяин. Чего ж ты на зятя надеялся! А теперь стоишь...» Все эти горькие слова, укоризны остались во мне. А вслух лишь одно пришлось сказать, с горьким вздохом:

— Ладно. Съезжу...

На том повернулся и в дом пошел, а вслед мне несло уже несколько иное:

— Ровно в семь надо выехать. Не позже... Потому что...

Этих песен я слушать не стал, ушел, матерясь в душе: «К другим не бегут... Понедельник — все на работу. А этот, писатель... Все равно сидит. Заплатит он... Мне твоя плата... Хотел бы заплатить, так искать никого не надо. Машин стало в поселке, как грязи. Возле каждой автобусной остановки машины стоят. Лишь заплати, в Париж увезут... В том-то и соль, что там платить надо. А это — писатель, денег не возьмет... Крестьянская милая хитрость, от земли-матушки... Нанюхался ее... Через край...»

Вошел в дом. Меня спрашивают:

— Кто там? Опять алкаши? За деньгами?..

— Хуже... — говорю.

И объяснил. Начались охи да ахи: с одной стороны да с другой стороны...

Но кому охать, а ехать придется мне. День пропал. Да господь с ней, со всей писаниной... Лучше бы я на крылечке отсидел или во дворе бы чего сделал, в огороде, в саду — везде дела. А теперь — ехать. Никуда не денешься, раз не смог отказать. А надо бы...

Все понятно: родила дочка, рожала трудно. Понятно, что на автобусе рейсовом, на пригородном поезде не повезешь. Но ведь родила не сегодня и не вчера, а добрую неделю назад. И ясно было, что не век она в роддоме останется. Надо везти. Муж — пьяница, свекор — тоже, свекровь... Господь с ними. Но отец родной, мать, родной брат с женой — никто в рот не берет. И все — умные-разумные. Двоюродных посчитать — получится полпоселка. А я — лишь сосед. И — не близкий. Через четыре двора живем. Видимся раз в неделю. «Здорово живете?» — «Слава богу...»

Ладно... Чего теперь. Не посмел отказать, надо ехать. «Умная мысль приходит опосля...» — это про нас. Надо бы денег предложить взаймы, пусть бы нанял машину. Хотя деньги у него есть: сын, дочь, зять — все работают. Надо бы сбрехать, что утром меня в колхозе ждут или в администрации района, мол, договорились...

Господи, чего теперь пустое перебирать. Пообещал. Сто верст — туда, сто — обратно. Да еще там настоишься, пока выпишут. Жара. В городе — душно. Пропал день.

И дело ведь не в том, что больно великого писателя я из себя строю. Вовсе нет. Но хлеб зарабатывать надо. Никто не подаст. Да и просить не буду. Работа — одно. А другое... Тоже — важное. День жизни. Никто мне его не вернет и другим не заменит. Человек я — немолодой и уже понял: дней осталось не больно много. Потому и цену их.

Наступала ночь. Стемнело. Обычно я засыпаю быстро, но теперь не спалось, мешали горькие мысли.

Душно в комнате. Вышел во двор: темно, звезды зажглись, тишина.

Когда я был в отъезде и по дому уже наскучал, то все думалось: вот приеду... Встану утром, солнце еще не поднимается. Зябко. Роса. Покой в мире. Господь с ним, с писательством. Чайку попить, пока никто не поднялся. Утренняя тишина. Восход загорается. Переклик петухов. Чайку попил. Накормил очередного приبلудного котенка. Голова свежеет. Можно и за стол. Что-то и напишется. Вроде надо... Хоть на харчи заработать. Ведь кормлюсь от письменного стола. Кормлюсь и других кормлю: один — старый, другой — малый. Куда от них денешься. Надо...

Надо... Заснуть и выспаться мне сейчас надо, а не блукать по ночи. Завтра — ехать. Но выспись теперь попробуй! Лезет в голову всякая дурь...

Заснул я поздно. Проснулся чуть свет, до звонка будильника. Голова — чугун. Пригнал из гаража машину, проверил ее: масло, тосол, давление в шинах, аккумулятор. Потом заварил чаю крепче некуда. Чайник опорожнил. Вроде полегче стало.

Ровно в семь, как приказано было, поехал. Меня уже ждали. Тяжко похмельный да уже и пьяный «папа» чего-то плел несусветное, пытался лезть в машину, потому что «имеет право». Всем кагалом его держат.

Я молчал, глядеть ни на что не хотелось. Наконец уселись: мать роженицы да ее невестка, родного брата жена, молодая баба, — обе на заднем сиденье.

Слава богу, поехали. За моей спиной в два голоса ругают непутевого папашу, особенно теща старается: «Навязался алкашина... И чтоб его... И чтоб он...» Горе ли она выливалась или передо мной оправдывалась. Потом вспоминала, как росла ее дочка да какая была хорошая. А за что ей... Причитала, причитала, потом заплакала. Молодая сноха ее успокаивала, наперед раскладывая, как нужно этого «папочку» школить, чтобы понял он, алкашина проклятый...

Слушал я их и не слушал под гул колес и мотора. Больше думал о жизни вообще. Вот — пример. Вышла замуж, родила, да как трудно. Сынишка — от папы-пьяницы, которого лишь могила исправит. Вон они, чуть не вся улица кряду: Вовка, Генка, Сашка, Леха, Молдаван-младший... Папаши у всех — точно такие. Папаши убралась на тот свет, у сынков — дети... и, считай, все они — сынки, их дети — божия страсть. Может, улица наша такая невезучая: Николай, еще один Николай и третий Николай — Коля Трешка, Андрей... Это все — рядом, лишь один квартал. За угол заверни — там тоже таких туча черная. Про это и думать тошно. Пропади оно...

Еду. За поселком прибавил скорость. За спиной моей галдят, наконец устали и задремали. Тоже ведь рано поднялись.

Едем. Летят за километрами километры: Ильевка, Мариновка, Прудбой, Карповка; железнодорожные переезды миновали, слава богу, без ожиданий. Уж и город недалеко.

Сыскали родильный дом, вызвали молодую мамашу. Она, конечно, удивилась, что я за рулем. Ей что-то плести начали, я не слушал.

Подремал я часок ли, более в кабине, пока суд да дело. Наконец вынесли новорожденного, запеленутого да завернутого, одна мордашка наружу. Ничего не скажешь, милое дитя. Да и какой он новорожденный? Больше недели ему. Уже — человек.

Поехали путем обратным. За спиной, как положено, охают да ахают. Я рулю помаленьку. Спешить — грех. Восемьдесят километров скорость, не выше. Мало ли что...

Потихоньку к обеду приехали. Папаша, конечно, пьяный. Дедушка — тоже. Ладно. Мое дело — довезти и ехать домой, маленько поспать. Не люблю за рулем сидеть.

Вот так я и съездил. А потом написал. Рассказ не рассказ — а так, житейская история. Человек родился. Мужик. Пусть растет. Только вот что из него вырастет? Не знаю.

О ЛЮБВИ

Приедешь домой, в поселок, после короткой ли, долгой отлучки — спрашиваешь о новостях. Сначала тебе худое выкладывают, это уж так ведется. Тот помер, а тот — хворает. Какая-нибудь страсть господняя приключилась: пожар ли, воровство.

Нынче приехал, мне — с порога:

— А у нас люди порезались...

— Как — порезались? — не понял я. — Какие люди?

— Мужик жену зарезал и себя — насмерть. Неделю как схоронили.

— Господи... — опешил я. — Пьяные, что ли?

— Не знаем. Люди гутарят, вроде она от него гуляла.

Про то, как порой люди «гутарят», нам известно. Бывает, и наплетут.

И здесь, похоже, что-то не так. Себя и ее зарезал. Страсти нешуточные. В кино да в книжке это случается. А в жизни, тем более у нас, а не в какой-нибудь знойной Испании?.. Не верится. Ведь надо еще суметь зарезать. Ее да себя... И чем? Нет. В нашей жизни все проще. Без кинжалов. Измена, ревность — это есть. Но побил жену — и дело с концом. На худой конец — разошлись. Вот и вся недолга.

На следующий день встретил я знакомого из милиции, спросил:

— Кто тут кого зарезал? Иль брешут?

— Не брешут. Тимоша... — огорошил меня знакомец. — Жену и себя.

— Тимоша? — переспросил я, не веря.

— Он самый. Шофер с автоколонны, автобус водил. Знаешь его?

— Кто Тимошу не знает, — ответил я.

— Вот он... Я дежурил как раз, выезжал к нему. Сначала ее, насмерть. А потом себе так засадил, что врачи на вскрытии еле вытянули. Нож такой, вроде кинжала, самодельский.

— Гуляла, что ль, баба?

— Спуталась.

— А не молоденькие. Лет под пятьдесят, — прикинул я.

— Про то и разговор. Дети уж взрослые, рабстают. Сын и дочь. Мужик-то хороший и вроде неглупый... — рассуждал мой знакомец. — А начудил... Чего в жизни не бывает? Ну, побил бы ее. А если нестерпел, то развелся бы. Сколько сейчас расходятся... Обычное дело. Развелся — и живи спокойно. Детей вырастили. Жил бы да жил. Рыбалил... — усмехнулся мой собеседник.

Невесело улыбнулся и я. Рыбаком Тимоша был знаменитым. Встретишь его, он громогласно начнет объяснять и подробно, какая рыба нынче ловится в Набатове, Голубинке, Пятиизбянке, Рычках, на озерах, ближних и дальних, — словом, по всему тихому Дону.

— Веришь... Только приехал, забросил — и пошло... На одну закидную. Вторую так и не вынул. Синец идет один к одному, вот такучий. Я таких давно не видал. Закинул — есть! Снова закинул — снова сидит. За час накидал полный рюкзак. И поехал. Жинка не успела меня проводить, а я уже дома. Не верит, что наловил, говорит: у рыбаков взял.

Обычно не всякий рыбацкие да охотничьи байки слушать горазд. Тимошины представленья любви все. Особенно в бане, отдыхая после парной.

Парились мы по четвергам, когда народу поменьше. Еще у кассы да в гардеробе Тимошу слышать. А в раздевалку войдешь — он вещает:

— Приезжаю, закидываю...

Рослый, крепко сбитый, по молодости он был кудрявым, потом понемногу терял волос, но веселые кудельки оставались. С простодушной улыбкой на круглом лице расписывает он свои всегдашние удачи:

— Закинул, сразу повело. Чую, тяжело идет. Леска брунит, удилище согнулось. Леска у меня — японская, брат с Дальнего Востока прислал, удилище — многослойное, клееное. Ну, думаю, кто кого... Послабляю, потом подтягиваю. Снова послабляю, опять подтяну. Вытянул — веришь, сразу два сидят судака. И каких? Вот такучие...

— На одном крючке сидят? — уточняет кто-то.

Смеемся. А громче всех Тимоша хохочет.

Едем в автобусе. Тимоша, сколько помню его, шоферил на автобусе, в город людей возил. Если он за рулем — два часа пролетят незаметно. Поближе пристроился, слушаешь. И о рыбалке, и о жизни, как в армии служил, как ездил во Львов автобус получать, как «гнал» его. Везде приключения, и все — веселые, с добрым исходом. Слушаешь, задремлешь, очнешься, а он — о рыбалке: где да что клюет. И ведь знаешь: сочиняет наполовину. Но так весело, лихо он убеждает — не хочешь, да поверишь. Поверишь — и мчишься куда-нибудь...

Я однажды ездил за пятьдесят верст. К одному озерцу ли, пруду. Там, по Тимошиным словам, пудовые карпы сами на крючок лезли. Попусту сгонял машину, отсидел полдня, глядя на замерший поплавок.

— Да ты ж не там закидывал... — убеждал меня потом Тимоша. — Пруд надо было объехать и ловить, где куга растет, камышок. Там возле берега яма. Там — прикормлено. Туда с тока две машины прелого зерна высыпали. И там весь карп собрался. А в другом месте, ты правильно говоришь, — целый день сидел и поплавок — мертвый. А вот где камыш... Ты видал там камыш?!

Хоть снова лети к этому пруду.

И всякий раз, как в баню придешь, рыбацким рассказням конца нет.

А нынче приехал, пошел с дороги попариться, в раздевалке — тихо. Знакомый механик сидит, с автоколонны, заговорили с ним о Тимоше.

— Нету, нету нашего говорили, — вздохнул механик. — Он бы сейчас все новости: где — берш, где — судак... Теперь некому.

Предбанник всколыхнулся. Вспомнили, заговорили. Кто-то не слышал, ему объясняли, что да как, повторяя сто раз сказанное, прикидывая да примеряя чужую судьбу на свой ум. Слышались все те же слова: развелся бы да жил... мало их, баб... это жизнь — одна...

Вздохнул и я:

— Тимоша, Тимоша... Как же так...

— А это, парень, любовь, — твердо сказал сосед мой — механик.

Слова его упали словно гром небесный. Народ в предбаннике притих. Сосед мой, более ничего не сказав, нахлобучил войлочную шляпу, надел рукавицы и пошел в парилку.

А я сидел, в себя приходил. Ведь верно все. Это была любовь, настоящая, долгая. Любовь, а потом — измена. И тут уж, конечно, ничего другого, кроме смерти, придумать нельзя.

ЦВЕТОК НА БЕТОНЕ

В моем старом доме, возле летней кухоньки, растут петунии — цветок простой, нашенский. Растут они самосевом и просят малого — прополоть да полить. А цветут хорошо и вечерами так сладко пахнут.

Нынешним летом зеленый росток петунии пробился в трещине, на бетонной площадке, прямо под летним обеденным столом, возле кухни. Сначала его не заметили, а увидев, решили: пускай растет. Вот он и поднялся. В июле зацвел сиреневым. Смотрится хорошо — цветок на бетоне. Хотя, конечно, надо бы его сразу вырвать, чтобы корнями бетонку не портил. Но рука не поднимается. Пусть цветет.

Когда гляжу на этот цветок, то разное вспоминаю.

Подмосковье. Поселок Переделкино. Там, недалеко от церкви, есть подворье, обнесенное кладкой из дикого камня. В одном месте прямая линия этого высоченного каменного забора делает некий полукруг, бережно обходя и оставляя на воле молодую сосну. Первый раз я увидел и очень удивился: надо ведь! Не спилили, а обошли. Редкое дело. Обычно у нас как: мешает — значит, долой!

Теперь, когда случается там бывать и мимо идти, замедляю шаг, думаю: «Нет, это — не прихоть барина. Это — знак человека».

Еще одна память. На хуторе Фомин-колодец, что у нас в Задонье, близ станицы Голубинской, в пору довоенную построили школу — обычное деревянное одноэтажное здание. В одной из комнат — кажется, в прихожей — росла груша. Обыкновенная наша донская груша «черномяска». Росла через пол. Весною она цвела, зеленела; в свою пору приносила плоды, облетала. Об этом помнят редкие теперь хуторские старожилы, бывшие ученики.

Фомин-колодец славится и сейчас своими родниками, которые так обильны, что прежде весь хутор поливал огороды родниковой водой. И сады в ту пору были лучшие в округе. Теперь хутора нет. Остались родники и память.

Но родники и сады были и есть и в других местах. А вот чтобы груша где-то еще в школьном доме цвела, об этом не слыхал. А здесь — было.

И ведь подумать... Во-первых, непривычно. Сколько мороки: стройка, работа кипит, а тут — молодое деревце объявилось посреди этой колготы. И нашлась светлая голова, которая решила: не рубить. И не только решила, но и убедила других: надо сохранить. А это очень непросто — убедить людей в непривычном. Кто-то доказывал: пусть, мол, растет прямо в школе; дети и живое дерево — это ведь хорошо. А кто-то возражал: всему, мол, место свое, дереву — во дворе, а не под крышей; а если каждый начнет придумывать... Это вот самое страшное: если каждый начнет придумывать... Дескать, тогда — всему конец, рухнет порядок, мир. Конечно, непросто людей убедить. Легче грушу срубить. Ведь мешает стройке. Но не срубили, и мир не рухнул.

С тех пор полвека минуло. Давно уж нет не только школы, но и хутора. А память о груше осталась. Недавно соседка моя, женщина пожилая, стала молодость вспоминать, как ездила в гости на хутора: в Набатов, на Фомин-колодец. И сразу — про ту самую грушу. Лицо старой женщины посветлело: «Вошла... А там — груша цветет. Просто чудо какое-то...»



ОЛЬГА ПОСТНИКОВА



РАЗЛУКА



Весны подмосковной увече,
Чахоточный речитатив...
Как будто жгутами в предплечье
Мне вялые руки скрутив,

Уводишь в огни преисподней,
В метро, где прощанье как смерть,
И снова до встречи субботней —
Отчаянье и круговерть.

Хотела, чтоб розно ни шага,
Ни вдоха, чтоб, нежно таясь,
Как будто в камее Гонзага
Нам об руку вечно стоять.

Случайно подня отмолила,
Не смея назваться родной.
Мой милый, хотя бы в могиле,
Хотя бы в могиле — в одной...

Но звезд, в небесах неслиянных,
Паденьем не сблизить никак.
Уснешь ты в зеленых полянах,
А мне — сквозь горенье — во мрак.



Вот я к песне пристроюсь чужой и пою потихоньку,
А голос мой низок, и в голос хочется петь,
Только песню мою, как афганскую похоронку,
Надо скрыть и бесслезно, бессловно терпеть и терпеть.

Ведь в России поют, растеплившись от подлого зелья,
Ошалев от безделья, в комсомольских поют лагерях,
У гниющих буртов на целинных и залежных землях,
Ожидая вывоза хлеба, горящего в прах.

Как мне хоры любви заглушить в этом сердце корявом...
И клеймит меня жизнь, бороздами мне лоб исчеркав,
Но дыханье выводит слова покаянья и славы —
Так старухи поют в православных прохладных церквах.

Цветы больничного двора

Водосборы стоят в сорняках,
Колокольцы резные поникли...
Ты тогда тосковал не о них ли —
Монастырских любимых цветах?

Самосевом сюда занеслись,
В Новодевичьем были когда-то,
Где порой новобранцы-солдаты
На черемухе спелой паслись.

Что запомнил, уйдя навсегда?
Двор, заросший жасмином вонючим,
Пауки на осоте колючем
Да капроновых штор невода...

Это ветер пригнал семена
Иль сажал и пропалывал кто-то?
Содрогаясь от смертной икоты,
Ты родные шептал имена.

Нас венчали последние дни,
Не надев обручальные кольца.
Но лиловы, как тьма, и бледны
Вырезные твои колокольцы.

* *
*

Прощаемся, а я не говорю «Постой!»...
Успею ли сказать, что пальцы так тонки
И так обожжены азотной кислотой...
Успею ли сказать, как я тебя люблю!
А черные штрихи, царапины руки
Ладонями ловлю, губами заживлю.

Нас общий дом не баловал теплом,
За двадцать лет вдвоем мы не были ни дня.
В метро, в кино — так помнишь ты меня, —
В прихожей, до дверей забитой бараклом.

И с дымом завитки смешались на висках,
Осмуглен смогом ты и табаком пропах...
Но клен в твоё окно напрасно тянет ветки.
Успею ли сказать до срока, до повестки,
Когда пойдешь ты в химических войсках...

* *
*

Не сиди на пороге!
Здесь духи сильней, чем везде.
Смотришь в небо и, кажется, шепчешь звезде,
Но мохнатые твари хватают за ноги.

На границе жилища
И целой вселенной сидишь.
Проклинаешь и злишься,
И весь этот бред, эта дичь
В пустоту неземную стремятся излиться.

Дерзкий помысел гонит лавины в горах,
И гордыня — сухой вулканический прах —
Застит неба мерцанье.
Нет, не бездной враждебной рожден этот страх —
От нас он летит в мирозданье.

Выйди, выйди в распутицу, в грязь,
Но не плачь на пороге!
Мир без радости нашей такой ледяной и порожний.
Нищий космос трепещет, выйдя с нами на связь.
Человеческим словом он только и знает о Боге.

* *
*

Здесь все меня переживет

А. Ахматова.

Я вспомню, чуть ли не заплавав,
Голубоглазых и седых
Серьезных галок в черных фраках,
Апрельский судорожный дым,
Сквозные листики, сережки
И чуть промокшие дорожки
Среди травинки молодых.

Зачем дается вместо смерти
Надежда, родственная сну,
Тревожна, как письмо в конверте,
Вернув доверие всему?
Зачем летят чешуйки с веток
И солнце тысячами меток
Конкретизирует весну?

И нет прекрасней и нелепей —
Знаменем на старость лет, —
Чем тот из грязи многолетней
Под ноги прущий первоцвет...
И неужели так у Бога
Легко прочерчена дорога
Из ужаса в тепло и свет?

* *
*

Мы в ближней вечности не встретимся с тобой,
Ведь ты ушел вперед и не догнать мне.
Не связаны ни горем, ни гульбой...
Но в нас родства не пограны догматы.

Когда своих святых сберет последний век
И Швейцера лицо меж сотнями калек
Единственное будет мне знакомо,
В туннели ада первую влекома,

Я встану без тебя в распахнутых снегах,
Через пески пустынь сюда не доберешься...
С кем переглянешься, на что ты обопрешься?
Нет в головах креста, и нет ветлы в ногах...



ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА



АРМИЯ ЛЮБОВНИКОВ

Роман

ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ

Ольга уволилась из школы. «Не стоит того, — сказала она мне. — Времени занимает много, деньги смешные, а здоровье уже не то». Она съездила в Париж, оделась как куколка. Познакомилась там с одной русской дамой, которая возила в Москву французский товар. Дама была широкого размаха, и Ольга почувствовала себя болонкой, брошенной на автобане. У дамы был муж — полный, сочно налитой алжирец, выученный в Университете Лумумбы. Он меланхолично и снисходительно позволял бойкой жене себя содержать. Глядя на него, Ольга подумала, что мало знает о Востоке. Так случилось, что католики ей как родные, но вот с мусульманами судьба не сводила, а их вокруг как бы все больше и больше, и это, наверное, что-то значит, а может, и не значит ничего. Но такой матовый, такой лоснящийся, хорошо пахнувший и ничего не делающий араб поколебал ее едва-едва успокоившуюся душу. Не то что ей захотелось такого же экзотического мужа, ни Боже мой, а то, что даже в Париже... Даже там деловая, хваткая русская баба сама содержит эдакого пушистого ленивца, потому что... Других нет? Или такая уж сильная любовь, что няньканье вполне перезрелого мужчины в радость?

В Париже пришла странная мысль: хорошо бы *правильно* выйти замуж именно здесь... Чтоб было красиво и под стать городу. И назло этой кормилице араба. Такое красивое назло, которое возбуждает радость. Как тут не подумать, что отрицательный опыт ничуть не хуже положительного в контексте судьбы и жизни, если может взбодрить разного рода идеи. Одним словом, плохое и хорошее — вещь абсолютно не категорическая. Как смотреть.

В обратном самолете он оказался рядом, аккуратненький такой мужчина сорок шестого размера. Сидя Ольга не могла сообразить его рост, потому что рост целиком зависит от длины ног. Но когда ей понадобилось выйти и сосед встал, то их глаза встретились точно на одном уровне. Почему-то это ее взволновало. И это было непонятно именно в связи с уровнем. Будь он выше, все было бы понятно. Но она не такая уж высокая женщина, по нынешним оглоблевым меркам, когда в бой идут стовосьмидесятисантиметровые, а других уже просят не беспокоиться. Тут же глаза в глаза маленький мужчина, но почему-то вздрагивает сердце. В туалете она провела ревизию внешности. Такая прелесть эти французские карандашники, только линией помогающие обрести форму. Она даже не стала подкрашивать губы, сосед бы это заметил, а ей не нужно, чтоб он подумал о ее ухищрениях. Силу же ка-

рандаша он не усечет, если он не какой-нибудь там визажист — новая профессия этого безумного времени. Ей даже рекомендовали одного, но она пожалела доллары. Еще не тот случай, подумала, сама справлюсь.

Соседа звали Илья Петрович. Они разошлись во вкусе вин. Она любила красное и теплое, а он — белое и холодное, но уже к концу полета выяснилось, что нечего валять дурака, оба они предпочитают хорошую водку и оба знают свою меру. Разговор как-то тупо кружил именно вокруг гастрономии, и Ольга подумала: «Это не я офлажковала тему. Я вполне могу и о другом». Потом она подумала, что маленькие и худенькие мужчины, как правило, прожорливы. У нее таких не было. Так, может, и не надо? Но была та встреча глаз на одном уровне, когда, в сущности, все и началось, а это было еще когда — когда только ремни отстегнули. В конце концов она не выдержала и спросила, не работает ли он в системе питания.

Илья Петрович засмеялся, и смеялся долго, даже прибегнув к носовому платку, чистейшему и аккуратно сложенному. Отсмеявшись и тщательно вытерев все части лица, которые могли взмокнуть, он сказал, что по профессии газетчик, что уже двадцать пять лет в печати и пишет в основном об экономике, а поговорить о еде любит, потому как тема не способна поссорить говорящих, а, наоборот, даже при разнице вкусов очень сближает.

— Ну, не скажите! — засмеялась Ольга. — Не с каждым заведешь разговор об устрицах и лангустах.

— А я о них молчу, — ответил Илья Петрович. — Я не провокатор.

Ольга ждала, что он спросит, чем занимается она. И она ему ответила бы: «Я челнок! Я ваша экономика!» Но он не спросил, и это было плохо — показывало неглубокость его интереса. Можно сказать, даже его поверхностность, потому что мы без своего дела все равно что голые. Тут у Ольги все в голове смешалось, что даже вдруг подумалось: а если у мужчины именно голый интерес, на какой ляд ему ее профессия? Но это ее тоже не устраивало. К концу полета они сидели молча, каждый молчал о своем, уже как бы чувствовалось притяжение земли и всех ее обстоятельств, попробуй тут спастись от их голосов, громких, настырных, тревожных, — одним словом, голосов Земли и вцепившихся в нее человек. Вцепившихся до черноты и крови. Наверняка Земле не раз хотелось, чуть притормозив, сбросить с себя эту как бы мыслящую биомассу со своего тела. Так хотелось бы! Когда-нибудь она решится. И это будет жестоко, но справедливо.

Тут трудно сказать, были ли это мысли Ольги, уловившей в небе вибрации Земли, или Земля сама углядела в иллюминаторе лицо одной из растерянных женщин, со страхом смотрящей вниз, на нее, Землю. Но было как было. Мысль вошла в самолет, и люди притихли, сжались... Им предстояла посадка. Встреча с Землей. И они ее боялись.

Уже ожидая выплывающих из преисподних глубин чемоданов, Илья Петрович спросил, встречает ли кто-нибудь Ольгу. Хотелось сказать «да», это был бы правильный ответ для благополучной женщины. И она даже заколебалась, не соврать ли.

— Увы! — ответила она. — Сейчас буду искать, с кем бы спариться на машину. Одна боюсь.

— Спарьтесь со мной, — ответил Илья Петрович.

Хотя по маршруту удобней было бы забросить его на Савеловский, а потом ее — в Марьину Рошу, но поехали сначала к ней. Возле подъезда она попросила: «Поднимите меня на этаж. Я боюсь одна в лифте». Уже возле двери она протянула ему руку, готовясь сказать все причитающиеся слова. Он взял ее руку, загнул к ладони ее пальцы, потом притянул к себе. Поцелуй получился, можно сказать, юным и страстным.

— Войду? — тихо спросил он.

— У меня дочь, — ответила она. — Она меня ждет.

— Больше никто не ждет?

Она ничего не сказала, потому что обиделась на вопрос, ответ на который и так был ясен.

— Телефон, — сказал он.

Она назвала и увидела, что он не записывает, поняла, что это так, соблюдение элементарного приличия после такого поцелуя. Но не будешь же настаивать на написании. Совсем бездарно.

Илья Петрович со вкусом поцеловал ей ладонь и ушел, а она стала открывать дверь: сейчас на шею кинется Манька, а потом пойдет потрошить чемодан... Но в квартире было тихо. Конечно, первый час ночи, но как она могла уснуть?

Бросив чемодан у порога, Ольга ринулась в спальню. Уже открывая дверь, поняла, что делать этого не следовало. Еще с порога она учуяла чужой запах в доме, некую кислотность воздуха в прихожей, но объяснила его тем, что Манька запустила квартиру, этого от нее вполне можно ожидать. Так подумала и ринулась и дверь открыла, а могла бы, идиотка с коридорными поцелуйчиками, сообразить все хоть на секунду раньше.

Они сладко спали, обхватив друг друга руками, — дочь и парень с не очень чистыми ногами и давно, видимо с детства, нестригаемыми ногтями. Горел ночник. Светила луна. На тумбочке стояла пустая бутылка от какого-то — издали не прочесть — вина. Манька была голой и выглядела большой, вполне разработанной женщиной, никаких там поджатых коленок и заломленных от смущения локотков. Вот парень с ней, тот как раз казался дебютантом по некоторой жалкости позы плюс — опять же! — пятки и ногти. Они даже не пошевелились от скрипа двери. Манька сопела громко, с некоторым клокотанием в горле, а ее возлюбленный подсвистывал ноздрей. Ольга закрыла дверь и рухнула на диван. Не то что ее это удивило и возмутило... С тех пор как она унюхала запах зовущей плоти в собственном дитяти, она уже была готова к этому. Она пыталась сказать Маньке, что, если дойдет до дела, надо быть осторожной... Но дочь крикнула, что учить ученого — только портить.

— Не смей говорить со мной об этом!

Ольге это даже понравилось. Это был хороший признак, «не говори» — значит, нет нужды. Почему она не подумала о том, что дочь прошла уже эту школу и мать припозднилась со своими поучениями? Но этого быть не могло! Где? Когда? С кем?

Сейчас Ольга была потрясена тем, что дочь, зная о приезде матери, сочла возможным таким образом ее встретить. Что ее просто вынесли за скобки как величину малосущественную, иначе как все объяснить? Ольга так и лежала в темноте, настолько оглушенная, что не было сил раздеться, умыться, внести из прихожей чемодан или там заорать благим матом и сдернуть этого когтистого сопляка, сдернуть так, чтоб он ударился затылком об пол (Ольга просто слышала этот звук хряснувшего черепа). Ее оправдают. Манька несовершеннолетняя, а мать в аффекте.

Дочь вышла в уборную, теплая и сонная, она увидела Ольгу, которую освещала полная луна.

— Ма, ты чего? — хрипло спросила Манька. — Ты же должна была завтра!

Ольга включила торшер. Как же хороша была дочь в этой своей молодой голости, стоит и светится, как Бог ее создал. Почему-то это смягчило Ольгу, и хотя мозг бунтовал, душа как бы шепнула ему: «Пусть. Это уже случилось».

— Он кто? — спросила Ольга.

— Счас, — ответила Манька и побежала все-таки сначала в уборную, громко поструилась, вернулась уже в материнском халате и села напротив в кресло.

— Ты рухнула? — спросила она Ольгу, и в голосе ее были сердечие и сочувствие. — Бедняжка... Я правда думала, что завтра. Хотела все-все убрать... Чем это у нас кислым пахнет? Хорошо было в Париже?

— Не возвращалась бы, — ответила Ольга, но почему-то вспомнила этого чертова араба с его сладким духом. Полезли в голову мысли о сравнительности запахов. «Я понимаю, — подумала Ольга. — Я боюсь с ней говорить про это. Хорошо бы мне пересидеть в кухне, чтоб парень собрался и сгинул. Я бы выкинула белье и все забыла».

— Это Вовка, — сказала Манька. — Ты его знаешь... Он ушел после восьмого... Сейчас зарабатывает нечестным трудом на откос от армии.

— Что значит — нечестным? — спросила Ольга.

— Это я фигурально! Торгует чем Бог пошлет... Еще у него есть команда по дверям. Ставят металлические. Если не наберет денег на откос, уедет в Питер на время, чтоб потеряться... Там у него бабушка. Правда, она сбрендилла на Ленине и может Вовку не понять. Но Чечня — аргумент, а Вовка все-таки внук. Он попридурится перед ней... сходит на «Аврору» там, или я знаю куда. Мне его разбудить?

— Куда же ночью? — ответила Ольга. — Еще прибьют... Угрызайся потом.

— У него пистолет, — сказала Манька. — Но, конечно, пусть поспит. — И она спокойно так встала и ушла, и Ольга вдруг поняла, что как-то плавно, почти без толчков и вибраций, въехала в новую для себя ситуацию.

Она не задала дочери ни одного существенного вопроса. Хотя бы такого, любит ли она Вовку. И давно ли у нее с ним. И предохраняется ли она. Маня сбила ее с толку абсолютно спокойным поведением, и Ольга подумала: «Это же надо так! Случись такое со мной...» Она вспомнила, как пришла тогда, в свой шестнадцатый год, как закричала с порога дурным голосом, а мама, царство ей небесное, поняла все сразу, как будто ничего другого и не ожидала. ...Счастливая Манька. Где бы она ни нашла этого немьтого Вовку, она сама его нашла. Почему-то думалось, что в их детском романе водила Манька, а мальчишка просто собачка на веревочке. Хотя кто его знает? А могла бы спросить, могла...

К утру Ольга уснула, стянув со спинки дивана плед. Проснулась, когда дочь провожала идущего на цыпочках Вовку. Сквозь ресницы, чтоб они не увидели, что она не спит, обратила внимание: парень высок и строен, у него красивые вьющиеся волосы и на боку правда болтался пистолет. Уходил он тихо, по-кошачьи, а дочь осторожно закрывала дверь. А чемоданы так и стояли нераскрытые в прихожей. С чего она взяла, что Манька перво-наперво кинется к ним? Она хорошо, со вкусом одевала дочь, но бархольщицей та не стала. В ней была кулибинская кровь, на которую Ольга злилась, а сейчас вдруг как бы увидела иначе, и ей понравилось, что она в этой своей части папина дочка.

Толчок, который произвела в жизни Ольги Маня, оказался все-таки сильнее, чем «Фауст» Гёте! Во всяком случае, Илью Петровича из головы выдуло напрочь. Поэтому, когда он позвонил уже утром, Ольга не сразу сообразила, кто он есть. Понял ли это Илья Петрович, уловив в голосе Ольги заминку, неизвестно. Может, объяснил ее тем, что женщина укрощала звук телевизора или выключала чайник. Илья Петрович предлагал встретиться тотчас. «Слышите, чем гремлю? У меня прекрасные квартирные ключи», — сказал он. «Без обиняков, — подумала Ольга — и запуталась в слове, не зная, куда поставить мысленное ударение. — Вот что значит пользоваться словами не из своей жизни».

— Имеется в виду, что я тут же срываюсь с места и бегу? — сказала она грубо, как из всех своих мужчин могла бы ответить только Кулибину.

— Именно это и имелось, — засмеялся Илья Петрович, игнорируя грубость, опять же как делал это Кулибин.

— Не выйдет, — ответила Ольга.

— Господь с вами! — закричал Илья Петрович. — И думать не думайте. Я сейчас же заеду за вами. Сейчас же! — И он бросил трубку.

Юная женщина Маня ушла в школу. Ольга только что сдернула с постели белье, стараясь на него не смотреть. От плохой ночи у нее болела голова, а от выпитых таблеток сохло во рту. В квартире было холодно, потому что она настежь открыла балконную дверь. Она сняла лак, и ногти у нее были синие и неживые. Конечно, можно будет просто не открыть дверь. Позвонит-позвонит — и уйдет. Можно будет не подходить к телефону. Но телефон позвонил тут же, это был деловой, важный звонок, ей предлагали на паях купить крохотный магазинчик на Патриарших прудах, конечно, таких денег у нее нет, но можно взять ссуду... Звонили с явным натиском, а это был уже перебор для одного утра. Она хотела положить трубку, но на нее все давили и давили, а тут раздался звонок в дверь, она сказала, что подумает, и с деловым, озабоченным лицом пошла открывать дверь, готовая к труду и обороне. По дороге посмотрела в зеркало. Ничего хорошего. Ни-че-го. Чем хуже, тем лучше, подумала и впустила Илью Петровича. Тут без заблуждений... Он тоже увидел другую женщину, и хотя та, вчерашняя, была упакована так, что ничегошеньки интимного не просматривалось, а эта, сегодняшняя, была почти распахнута и отсутствие лифчика было выражено откровенно, но это был тот самый случай, когда говорят: шел в комнату — попал в другую. Пережить такое разочарование в глазу мужчины было выше тех сил, которые износились этой ночью, но это была бы не Ольга, если бы у нее не было глубоко на случай войны спрятанного резерва.

Он ей на дух не был нужен, этот, будь он неладен, Илья Петрович, но снести такой взгляд и учуять его мысль про то, что он зря как идиот ездил за ключами и униженно их клячил, — дело того не стоило, вот этого Ольга оставить не могла.

— Проходите, — сказала она, — я сейчас.

В спальне она села на голый «после санации» матрас и стала быстренько «собирать себя в кучку».

«Я напою его кофе, расскажу, что покупаю магазин. Факт эффектный, себя окажет... На этом основании, сами понимаете, мне, мол, не до ключей... Я вся в порыве энтузиазма другого свойства, так что отложим, и прочее...»

Она соорудила на голове оранжевую чалму, спустив на лоб завиток, надела брюки и широченный блузон, лицо смазала кремом до той степени блеска, чтобы было видно: да, это крем, он знак полного доверия к гостю. Даже, можно сказать, знак интимности. Французские карандашники — *vive la France!* — сделали тонкую графическую работу, но по мере готовности к роли деловой и уже с *самого утра* привлекательной женщины Илья Петрович все дальше и дальше перемещался в мыслях Ольги в стан не по рангу берущих, в стан тех быстрых хлопотунов, от которых суеты и тяжести куда больше, чем даже разового удовольствия.

В свою очередь — надо думать — и Илья Петрович делал свои прикидки на разные повороты этой истории. Во-первых, он отметил неоткрытые и стоящие на входе чемоданы. Его мадам ночью распатронила его старенький тряпочный чемоданишко еще до того, как он снял пальтецо.

Опять же... Лежит на диване скомканный плед и плюшевая подушка с вогнутым внутрь углом. Кто-то здесь спал без простыни? Без наволочки? И такой блистательно-яркий на толстом слое пыли паркета босой мужской след.

Тут два варианта, думал Илья Петрович. Или у дамы кто-то уже побывал — тогда, конечно, он с ключами полный придурок. Или дочка дамы уже вполне взрослая давалка и это ее доброму молодцу пришлось рвать когти по паркету. Пылищи-то в квартире, пылищи! Хотя, с другой стороны, сразу понятно, что это пыль временная, что, как правило, пыль тут гоняют мокрой тряпкой. Гоняет дама. Не дочь. На стене фотография девочки лет семи. Это могло быть снято и год тому, и десять.

Ольга вышла, и мысли Ильи Петровича провисли.

— Извините, — сказала Ольга, — моя свинюшка запустила квартиру, и ей еще предстоит узнать, что я об этом думаю. Идемте пить кофе, раз уж вы пришли. У меня через час деловая встреча.

Они вошли в кухню. Раковина горбилась немытой посудой, стол был липким от многожды пролитого на него всего льющегося и протекающего. Ольга ругнулась вполне выразительно, без скидки на присутствие гостя, очень быстро вымыла стол, положила на него яркую салфетку и изящную вазу с веткой ковыля, которые были отставлены на подоконник, видимо, молодым и порывистым народом, жившим тут без нее. Ольга в кухне с тряпкой, веником, чайником была быстра, но не суетлива, и если это слово вообще применимо к женщине при исполнении хозяйственных работ, она тут была куда элегантней, чем в самолете, а про то, что она была сексуальней, и говорить нечего: чалма цвета каротели просто ушибла впечатлительного человека Илью Петровича.

Но Ольга же и осторожила его. Этой даме, понял он, ключами перед носом не заведишь и на диван с примятой подушкой ее не потянешь.

— Невыразимая сила веника, — сказал вслух Илья Петрович.

Ольга выпрямилась перед ним и посмотрела на него гневно. Со злостью, сказать было бы мало.

— Вам это все идет делать, — уточнил Илья Петрович, разводя руками: мол, делать это все, кухонное.

— А вашей жене? — спросила Ольга. — Вашей жене это идет?

Для Ильи Петровича это был лишний и даже, можно сказать, бестактный вопрос.

Все многочисленные случайные и редкие не случайные женщины как-то сговорились не спрашивать у него про жену. Одна, правда, спросила, как, мол, Катя относится «к твоему кобелизму». Это была не случайная женщина, а, можно сказать, друг дома, и Илья Петрович тогда просто вышел из себя. Он проорал что-то умное про мух и котлеты, которым надлежит существовать по отдельности, и той, не случайной, надо было бы замолкнуть, а она возьми и подыми с подушки свое большое и белое лицо, первоначальный предмет его вожделения. Илье Петровичу безумно хотелось взять лицо руками и мять его, и умять, мять и умять до какой-то только ему известной, страстно желанной формы. Вот тут, после лишнего вопроса, он это и сделал, за что получил такой поддых, что минут десять откашливался и готов был уже уйти восвояси, но дама попросила у него прощения, объяснив свою резкость тем, что терпеть не может, когда ее трогают за лицо. Даже собственные малые дети. Она, дурашка, так и не поняла причины прерванности романа, и Илья Петрович даже одно время боялся, что она от обиды на него ляпнет что-нибудь Кате. Слава Богу, их, военных, перевели на Дальний Восток, по этому случаю была гулянка, и он, столкнувшись с бывшей дамой сердца, сказал ей:

— Ну дай мне, дай мне еще раз потрогать твое лицо. Ну стерпи секунду.

Странно, но она согласилась. И он взял в руки лицо, взял нежно, в раме его пальцев глупо торчал нос с излишне вычурными для русской женщины ноздрями, сближенные глаза были глупыми, и в них почему-то светился страх. Лицо хотелось уничтожить, но Илья Петрович умел владеть собой, он тяжело вздохнул от невозможности желанного разрушения и отпустил женщину.

— Фу! — сказала она. — Еще чуть, и я бы тебе двинула промеж ног.

Вот какая история ясно и мгновенно пронеслась перед Ильей Петровичем, когда Ольга задала ему неправильный вопрос о его жене.

— Моя жена... — ответил он. — Она хороший человек.

Ольга зашлась от смеха, потом дружески похлопала Илью Петровича по плечу и сказала:

— Правильный ответ, дорогой товарищ! Так всегда и отвечайте.

Он не обиделся. Наоборот, стало как-то даже хорошо и просто.

Кофе он попьет. Ключами не воспользуется. Но, в общем, что-то в этой «неистории» есть. Он еще не знает что, но есть. Это блестящее от крема лицо, чалма, движение по кухне. Он как бы начал смотреть кино, а телевизор возьми и сломайся. Обидно, конечно, зато какая удача для фантазии.

Они пили кофе и вспоминали Париж. Ольга рассказала ему про араба, живущего за счет русской бабы, абсолютно счастливой таким раскладом судьбы. Илья Петрович вспомнил другое: у него есть в Париже приятель, наш, русский, он работал где ни попадая, мечтая хорошо выдать замуж свою жену, которая корпела в Люберцах на какой-то совершенно неприличной работе — не то библиотекарем, не то смотрителем захолустного музея-квартиры. Приятель вызывал жену в Париж как сестру. И все норовил ее подсунуть кому-нибудь в койку. Галка его так измаялась в своих Люберцах, что была согласна на все. Но желающих «русского» не было. В конце концов он с женой порвал окончательно, и с того момента у нее пошла сразу пруха. Она написала какой-то роман с привидениями (девушка оказалась образованной и начитанной) и стала издаваться как оглашенная.

— Как ее фамилия? — спросила Ольга.

Илья Петрович назвал. Ольга видела книжки этой писательницы, женщины неудачливой во Франции, но удачливой на прилавке.

— Ну ладно, — сказал Илья Петрович. — Я вас задержал. Вам уже пора.

— Да ладно вам, — ответила Ольга. — Сегодня у меня дела не будет.

То, что было потом, делом как-то называть не принято. Другие тому определения. И зря. Илье Петровичу, сначала возбужденному, а потом сбитому с толку, а потом опять срубленному чалмой и снова поверженному до уровня дружеской беседы, пришлось очень и очень сконцентрироваться, чтоб не упасть лицом в чистое белье, которое они вместе в четыре руки стелили на разложенном диване.

— Да можно и так! — простодушно сказал Илья Петрович.

— Еще чего? Мы что, малолетки?

Им было хорошо. Получилось, что все предыдущее — Ольгина ночь, и его внутренние развороты туда-сюда, и это хлопанье простыней — вызвали в них чувство почти семейной устойчивой и давней связи. Будто с молодых лет у них было и было, шло и шло.

У Ольги давно не было так покойно на душе. Илья много ездил. Бывало, он из командировки сразу приезжал к ней, и они жили несколько дней вполне семейно. Они не таились от Маньки. Та, как ни странно, вовсю училась в последнем классе, Вовка ее с горизонта исчез. Ольга не знала, хорошо это или плохо. Видимо, не плохо, иначе Манька бы сгратала. Ольга решила привести в порядок ту уже старую сдаваемую квартиру, чтоб дочь после школы съехала сразу и начинала жить своей жизнью. Возник ремонтник, во время их договора вошла Манька. Но это еще ничего не значило.

— Ты на него рассчитываешь? — спросила Манька у матери. — На Илью? Чтоб долго и счастливо?

— С чего ты взяла? — ответила Ольга.

Но Манька попала в точку. Мать именно на это и рассчитывала. Она стала больше бывать дома, бизнес ее шел ровно и спокойно, она не хватала, как говорится, ртом и ж... Отделит Маньку, выдаст замуж — и будет жить скромно, но хорошо. И сделает так, чтоб Илья ушел от своей жены, хорошего человека. Она съездила в поликлинику, где та работала рентгенологом. По дороге туда ее мучила смутная мысль не мысль, так, беспокойство. Потом дошло. У нее уже так было. Давным-давно она уже ходила смотреть чью-то жену. То, что не сразу вспомнилось чью, снова вызвало беспокойство: она что — склеротичка? Но потом так ясно увидела жену Федора. Господи, сколько же лет тому назад это было? И вот она опять идет по тому же делу

Ну так не ходи! — закричала она себе. Но как же не ходить, если уже пришла? Дождалась, когда жена Ильи выйдет в коридор, шурясь после темной комнаты. Жена невидяще посмотрела на Ольгу.

— Вы записаны?

— Нет-нет... Я просто сижу, — ответила Ольга.

Жена ушла, но потом по дороге почему-то обернулась и еще раз посмотрела на Ольгу. «Теперь запомнила, — подумала та. — Ну и на здоровье».

Уже по дороге домой пришла мысль. Трезвая такая мыслишка. Из умных. Что жена Ильи много ее моложе. Лучше сложена. Что у нее интеллигентное лицо. Последнее Ольга очень ценила и всеми силами боролась с собственной нет-нет, а проявляющейся с возрастом простоватостью. Ей ведь не дай Бог не приподнять на темечке волосы, не дай Бог стянуть шею водолазкой. И уши ей надо открывать, оттягивая мочки тяжелыми серьгами. Так она борется с лицом, которое за «три рубля». Есть женщины с породистой данностью. Ольга понимает: это лучше красоты. Поэтому приходится поработать природу. Укрощенная по-мичурински, она вполне сходит за ценный товар.

Илья слинял как-то незаметно. Не грубо, не раз-раз... А с легкой постепенностью, которую, если у тебя голова забита другими делами, вполне можно было не заметить... Уже вернулся с бегов Вовка, а у Маньки — ремонтник. Оглянуться не успели, как она окончила первый курс филфака, абсолютно непонятный для Ольги выбор, а ремонтник стал господином Левашовым и стал ездить на джипе, летом они вместе укатили в Грецию и там обвенчались. И тут Ольга вдруг скумекала, что она уже куда больше Пенелопа (в связи с Ильей), чем хотелось бы по определению. Она позвонила ему на работу, ей сказали, что он в командировке в Польше, а был разговор, что если когда туда поедет, то непременно выполнит одно Ольгино поручение... Правда, разговор был давний и между прочим... Но все-таки стало неприятно.

После того посещения поликлиники, когда Ольга увидела жену Ильи, она не была уверена, что ей стоит делать на него ставку. «За таких держатся», — подумала Ольга, имея в виду жену Ильи. Каких таких, сформулировать было трудно. Илья никогда не говорил о семье, хотя о чем они только не говорили. А о Кулибине он знал просто все в подробностях, вплоть до выпирающего зуба. И все-таки расчет оставался. Расчет на случай, коими жизнь наша проложена, как бьющаяся посуда бумагой в таре. Мы все живем «в случаях», и полная дурь рассчитывать на полную сохранность посуды. Всегда есть момент «боя».

Я невольно сыграла дурную роль в этой истории. Я рассказала Ольге «историю из жизни».

Мой двоюродный брат, зануда каких мало, женившись тем не менее по страсти, поставил и фигурально, и прямо между женой и миром железную с металлическими крест-накрест перехлестами дверь — на всякий там возможный, гипотетический блуд, потому как единственная для себя женщина была взята с ребенком. И моего брата беспокоила мысль, что если увести из стойла мог он... Бывают такие вывороченные наизнанку умы.

Так вот, его, дурака, срубили под самый корешок. Он ехал по делам в Питер с лаборанткой. Она сама пришла к нему на верхнюю полку. «Не сбросишь же?» — сказала. Потом был звонок жене, та закричала не своим голосом, схватила дитя, и хотя на дверях был железный перехлест — только ее и видели.

— Это идея, — сказала Ольга.

— Это примитивная идея, — ответила я. — Для от замороженных идиотов типа моего брата.

— Не скажи, — засмеялась она. — Есть тип личности, для которого это самое оно.

Потом я поняла, что имелся в виду тип личности жены Ильи. Щурящаяся на свет интеллигентка с высоким породистым станом тоже должна была вскрикнуть и убежать.

— Гордячек надо брать голыми руками, — сказала вдруг Ольга. А я соображала все еще про жену брата, закомплексованную и, между прочим, верующую — ну совсем другой тип личности.

Потом... Потом... До меня дошло: та Ольга, что хотела брать «гордячек голыми руками», стала уже другой женщиной. Привычная мне Ольга, как бы ни колошматила ее жизнь, всегда была, ну, скажем, достаточно смиренна к обстоятельствам судьбы и снисходительна к людям в этих обстоятельствах.

Новая Ольга уже сдала на значок ГТО и была готова к стрельбе по целям. То, что у нее ничего не вышло, было знаком, который ни она не разгадала, ни я. А я ведь давно пристально вглядывалась в ее жизнь, даже ощупывала то, что не давалось в понимание глазу. Однажды она сказала, что специально для меня «притырила» костюмчик для низкорослой леди с проблемами веса. Я поехала к ней, накануне у нее был Илья, его шелковый халат висел в ванной. Я не удержалась, взяла его в руки. Знаете, как иногда нечто отскакивает от тебя, как чуждое: откроешь куда-то дверь — и тут же хочется выйти, познакомиться с человеком — и бежишь исчезнуть, начинаешь читать книжку, а она не просто не твоя с первой страницы — она не твоей расположением слов в первом предложении. И это не вопрос хорошего там или плохого, не вопрос вкуса, это иное. Не твое. Так вот, мужской халат... Мне он был безразличен или, скажем, нейтрален. Меня он не отторгал, хотя сроду в моей ванной не висело ничего подобного. Но почему-то я подумала, что Ольга купила не то своему хахалю, пардон, бойфренду, что деньги задурили ей голову, а эти идиоты мужики сроду не гребовали женскими щедротами, и даже более того... Принимали их с детской жадностью.

Вошла и поселилась мысль о несовпадении. Костюмчик для леди с несовременной фигурой был вполне хорош, но именно потому, что было подчеркнута, как он подойдет именно мне, фигуристой не по нынешним временам, я его, костюмчик, отпихнула ногой. Сама о себе я могу думать что угодно, но, будьте любезны, остальные принимайте меня за современно длинноноговытянутую, ни меньше ни больше, если хотите иметь со мной дело. У каждого свои *коник*. Такого слова ни в одном моем словаре не оказалось. Посмотрела. Но, ей-богу, оно не придумано. Это фокус, причуда..

Так вот, костюмчик я отвергла по причине своих причуд (коников), взяла что-то совсем другое, вязаное и немодное, и, видимо, из внутреннего моего раздражения выползли слова, что нечего, мол, мужиков баловать дорогим и вообще это не ее, Ольгин, стиль: бахрама, кисти и прочие причиндалы. Ждала ядовитого отпора, но она махнула рукой:

— Да знаю!

Время шло. Илья не появлялся. Как в воду канул.
Зато на ровном месте снова возник

ТАМБУЛОВ

Он позвонил в дверь без всякой предварительной договоренности, а было это глубокой ночью... Что должна была делать Ольга? Она испуганно сжалась в кровати и решила на звонок не отвечать.

Но звонили настойчиво, так, что слышали соседи, они-то и вышли, и соседка кричала: «Оля! Ты дома? Ты дома? К тебе человек, Тамбулов. Ты его знаешь?»

«Знаю, но знать не хочу!» — подумала Ольга, идя к двери. И открыла ее — ведьма ведьмой.

Тамбулов извиняться не стал. Он вел себя так, будто ему рады, будто ему открыли на первый стук и не он всполошил лестничную клетку. Такое умение держаться в рамках собственного сценария — прилетел, пришел, все рады — сбило с толку Ольгину злость, которая уже вполне оформилась в яркие слова, и всего делов — открыл рот и выпустил их. Но...

— Надо было позвонить, — только и сказала она ему, по автоматизму гостеприимства включая чайник.

— Дочь не разбудил? — вдруг будто спохватился Тамбулов, выходя из ванной.

— Она живет отдельно, — ответила Ольга.

— Класс! — сказал Тамбулов. — Тогда будем гулять.

Он достал бутылку коньяка, коробку конфет, орешки, все это круглосурочко продавалось на углу Ольгиного дома, поэтому ценности, кроме номинальной, дары не имели. Более того. Ольга знала, что коньяк этот, увешанный звездами, — клоповья морилка, в округе это знали все, его держали в расчете на такого вот ночного дурака. Конфеты тоже были под стать — дрек.

— А если бы меня не было дома? — спросила Ольга. — Вы об этом подумали?

— Подумали, — засмеялся Тамбулов. — Таксист меня должен был ждать ровно десять минут. Почему я и был так настойчив... Куда-нибудь катанул...

— Куда? — Какой правды она добивалась, Ольга не знала сама. Но как-то очень вживе представила себе, что этот клоповный коньяк и гнусные конфеты могли сейчас быть развернуты на другом столе, третьем, четвертом... Конечно, можно пилюлю подсластить: начал-то он с нее... Хотя откуда она знает?

Оказалось, это еще не все. Тамбулов взял ее в охапку и сказал, что воспоминания об этой кухне у него наи... наи... Поэтому не надо задавать глупых вопросов, куда и зачем... Он здесь и тут.

— Идите к черту! — закричала она, вырываясь из рук. — Это я решаю — здесь или там и с кем!

То, как он мгновенно отстал, было по-своему оскорбительно.

— Пардон, мадам, — сказал он. — Как говорится, дело хозяйское.

Потом он долго читал перед сном, Ольга видела свет в щели под дверью, он ее раздражал, как и скрип дивана в соседней комнате и то, как громко там прочищался нос. Ольга думала, какое это все свинство — явление Тамбулова и расчет на ее полную готовность. Но в какой-то момент вдруг пришло сожаление об отсутствии у нее такой готовности, она затормозила на этом и вернулась к мысли о мужчине *навсегда*, но как можно ставить этот вопрос, когда тебе уже немало лет и любой «гипотетический навсегда» к этому моменту уже есть чей-то навсегда, а значит, не то, не то... Дважды там или трижды навсегда не бывает. Это реникса. Чухня, фигня. Хотя разве не случается такое? Ольга снова стала думать об Илье, о том, как все было хорошо, а вот не заметила, как он был, был — и куда-то делся.

Утром Тамбулов встал рано, стопочкой сложил использованное белье, пришлось Ольге тоже встать, куда денешься, он уже стоял в коридоре, одетый на выход...

— Ни чаю? Ни кофе? — спросила она.

— Да нет, спасибо, — ответил он. — Мне надо успеть на электричку.

Ей хотелось сказать, что по утрам электрички ходят хорошо, мол, десять — пятнадцать минут роли не играют, но получилось бы, что она его придерживает, а с какой стати?

— Ну, будьте! — сказал Тамбулов вполне благодарным голосом и чуть приостановился у порога, явно затрудняясь с жестами: помахать ли там ей рукой, или поцеловать ей же руку, или, как у нас принято, крепко ее пожать. А может, дело было не в жестах, а в чем-то другом, может, он хотел забрать непочатый коньяк или извиниться за вчерашний нахрап?

— Ну, будьте! — повторил он без всяких жестов.

Буду! — ответила Ольга, закрывая дверь.

Она долго стояла под душем, и ей все время казалось, что звонит телефон. Но она знала, что это не так. Никто не звонит. Просто у нее такая мания — слышать под душем несуществующий звонок. Потом она пила кофе, отмечая громкость собственных глотков. На подоконнике лежала газета, оставленная Тамбуловым. Газета всяких объявлений, которых сейчас уйма и которые она не читает. Хотела выбросить сразу, но газета была открыта на полосе брачных объявлений. Улыбающиеся иностранцы манили русских женщин спортивными успехами, здоровым образом жизни, любовью к животным и классической музыке. Думалось: с какой стати эти вполне кондиционные с виду мужики — если они такие на самом деле — пользуются этим не самым, скажем, элегантным способом приобрести жену? Какой подвох скрывают вполне респектабельные описания собственной номенклатуры? Не могло его не быть, подвоха, хитрости заманить русскую дуру на наживку, которая наверняка должна оказаться если не дохлой вообще, то уж бракованной точно. «Господин возраста мудрости, вполне обеспеченный, ищет для серьезных намерений русскую даму от сорока до пятидесяти из хорошего рода».

«Господи, — подумала Ольга, — какая ему разница, какого она рода, если он уже в возрасте мудрости? Проговорился старик, проговорился... Нету у него мудрости. Ему бы хорошую деревенскую бабу, чтоб мыла его и пеленала, чтоб ложилась рядом теплым телом и пела ему „баюшки“... Там, что ли, нет таких?» Но что-то зацепило ее в этом объявлении. Хороший род. Это были слова какой-то другой жизни, с другими правилами, другим порядком вещей. Еще когда был жив отец, в доме возникали разговоры о неких родственниках, которые жили где-то в Краснодаре и с которыми «не дай Бог...». Так говорила мама, а папа терялся и как-то неумеючи сердился, говоря, что и среди знатных людей были всякие, а «Зося и Муся» вообще давно нищие, много ли заработаешь в глуши уроками музыки Муси, если учесть, что Зося человек неполноценный. Потом была фотография. Изысканно одетые взрослые и трое детей в белоснежном. Младенец на коленях — это папа Ольга. А две девчушки — Зося и Муся. Зося была низкорослой и как бы бесшеей, и мама как-то удовлетворенно сказала Ольге: «Она горбунья». Видела ли Ольга эти фотографии после смерти папы? Или те исчезли еще раньше — когда они первыми покидали коммуналку? Но разве она думала тогда об этом? Зачем они были нужны ей, если это огорчало папу, если он то ли боялся, то ли стеснялся каких-то там родственников. Куда как проще было с мамой, дочерью и внучкой потомственных рабочих. Они-то висели на стене открыто — дедушка и бабушка пролетарии, хотя в отдельной квартире и их портреты уже были куда-то спрятаны и за все время Ольге ни разу не попадались.

И тут на нее как нашло. У нее в квартире волею строительных поворотов оказалась в коридоре ниша. Еще папа разделил ее на две части и заделал двумя дверцами. За нижней скрывалось все уборочно-помойное, а за верхней стояли старые коробки и чемоданы. Ольга говорила: «Уедет Манька, сделаю ремонт, распатрону нишу и установлю в ней зеркало».

Сейчас же она тащила себе на голову чемоданы и ящики, и на нее сваливалась сбитая в комки шерстяная пыль времени, хоть запуская веретено.

Оказывается, ничего никуда не делось. Первыми нашлись бабушка и дедушка хорошего маминного происхождения. Ольга с удивлением обнаружила, что Манька — одно лицо со своей простоватой прабабкой. Просто невероятно, что так бывает. Если учесть, что ни мама, ни она не имели с ней ничего общего, то можно только развести руками над удивительностью генетического кода, который с полным соблюдением тайны творит свое темное дело наследия — и ничего ты с ним не поделаешь и никогда его не предотвратишь. И проявилось это сейчас, в детстве Маньку считали похожей на Кулибина. Глупости, никакого Кулибина и близко не было, одна прабабка с тяжеловатым взглядом широко поставленных глаз, как бы назначенных лучше видеть

левые и правые просторы. Вообще в ящиках и чемоданах была одна труха. Ее, Ольгины, куклы, стянутые резинкой платочки, детские книжки-раскладки, заварные чайники без крышек и крышки сами по себе. А потом нашелся старый сломанный альбом, практически пустой, но вот та семейная фотография, где папа в белом, младенец, была. Двадцать четвертый год. Сохранилась и отдельно фотография Муси, перед самой войной. «Дорогому брату от Муси. Май 41 года». Следов Зоси не нашлось. Да и то! Станет ли себя оставлять на память горбунья?

Больше ничего интересного не было. Никаких подтверждений жизни сестер после войны, хотя ведь помнился этот разговор об учительствовании. Значит, родители что-то знали?

Ольга вглядывалась в лицо тетки. Нет, оно не проявилось ни в ней, ни в дочери. Совершенно отдельное лицо. Было ли у этого лица продолжение? Как знать, может, где-то живет родственник с ее, Ольгиной, родинкой под лопаткой? Ничего не узнать, ничего...

Она взяла фотографии, все остальное грубо затолкала за дверцу. Пока толкала, порушила глубинный слой этой семейной могилы, откуда-то сверху как-то лениво сполз ридикюль. «Вот это да!» — подумала Ольга, забыв обо всем и отдавая должное только этой роскошной старинной вещи, в чем она знала толк. Он был вполне сохранен, этот ридикюль с перламутровыми обхватами и изящным золотым шитьем по вишневному бархату. В седине пыли он гляделся даже дороже и знатнее. Рыская по комиссиям, Ольга давно научилась определять ценность старых вещей по приглушенности цвета, по этой «патине времени», которая и есть главное для ловцов. Потому как очисти, отполируй — и вещи может не стать. Время — самая изысканная штука, на него даже дунуть страшно, и Ольга не дула, она несла на вытянутых руках ридикюль, думая о странностях наших порывов. Какого черта полезла она в эту нишу? Что ее толкнуло? Она не помнила. Она раскрыла ридикюль.

Там было несколько писем из Краснодарского края. В одном из них Муся сообщила, что «папу и маму посмертно реабилитировали, но что с того? Как будто мы не знали, что они ни в чем не виноваты? Хотя ты, — (имелся в виду Ольгин отец), — считал иначе. Тебе должно стать горько, но я не буду тебя утешать... Ты должен прожить свою муку сполна... Хотя, может, я, как всегда, преувеличиваю положительную роль человеческого стыда...».

Видимо, отец ответил на это письмо. Судя по всему, ответил глупо.

«Я не буду считать заводы, фабрики... — писала Муся. — И даже победу, о которой ты пишешь так высокохудожественно, тоже считать не буду. Разве не мы напали на финнов? У нас были хорошие мама и папа, и их убили, как зверей. Тысяча заводов мне этого не оправдает...»

В последнем письме Муся писала, что «немножко больше стало желающих учить детей музыке. Такие они странные, эти дети. Они не слышат то, что играют. Мы бы хотели с Зосей посмотреть на твою дочь. На фотографии она на тебя совсем не похожа. Мы с Зосей часто разговариваем, что будет со всеми этими детьми и твоей Олей потом. Почему-то их жалко. Им уже приготовлена плохая жизнь».

Были в ридикюле письма и от неизвестных Ольге людей. Одно вообще странное, без конверта, без начала: «...ли. Думаешь, все идет как надо, а оно возьми и встань на голову. Конечно, в Москве все иначе, там у вас продают макароны, но не в еде дело!!! Я питаюсь мелко. Но когда живешь и ждешь, что может случиться любой бабах, то уже нервы на концах истрепаны... Вы верите в коммунизм в восьмидесятом? Я — нет... И хорошо, что не доживу до этого года, мне ихнего не надо... Но в Москве все иначе, вы там как Бог на небе, ничего не знаете, у вас макароны, а мы так и ждем, так и ждем... Имею в виду плохого... Перечислить хо...»

Буквы в письме как спятывший табун. То все врозь, то так сцеплены лбами, рогами, что не разорвать. И все крупно, крупно, не письмо, а наскальная живопись.

Почему она, Ольга, не знала, не ведала ничего про родительский мир? Это ее личное свойство — или так у всех и родительская жизнь воспринимается детьми только с точки зрения твоей, собственной? Она как бы прикладная, она не сама по себе. Разве ее Маньку интересуют ее, Ольгины, дела? Ее вот эти самые мысли врасплох, ее смятение, все то, что, собственно, и составляет ее, Ольгу? А что ее составляет?

Когда она потом начала этот разговор со мной, мне хотелось послать ее к черту. Мне давно была в тягость ее манера предлагать мне обстоятельства своей жизни, небрежно сбрасывая со счетов меня саму с моими обстоятельствами. То мое давнее любопытство к ней как к некой диковине (по сравнению с собой) закончилось уже много лет тому. Осталось только удивление этой ее беспардонностью перед моей закрытой дверью. Вот она вошла. Вот села, закинув красивую ногу, в самой что ни есть эстетически рекомендованной позе. Вот она смотрит на меня ловко подкрашенными глазами, отмечая и мой затрапезный вид, и беспорядок на моем письменном столе, а значит, я только что из-за него, и пыль на моем «антиквариате» семидесятых годов, зеркально полированном, а потому так разоблачающем его хозяйку, не удосужившуюся взять тряпку, и прочее... Я давно знаю этот ее цепкий взгляд налетчицы, которой в секунду надо вычленить главное и самое ценное. Выясняется — самое ценное в моем доме я сама. И она останавливает свой взгляд на мне. Я выше моего дээспэшного барахла. Во мне хотя бы кровь.

В три нитки идет вязь ее рассказа. Престарелый господин из Франции. Некоторая обнаруженная изысканность в ее происхождении. (Дворяне, расстрелы, учительницы музыки и горбуньи, как известно, горбун — к счастью.) И тема возможной жизни в стране, где на голову не может случиться любой «бабах».

— Чего ты боишься? — спросила я. — Потерять цацки, цену которых у нас все равно никто еще понимать не научился? У тебя же, по большому счету, ничего нет. Ни дачи, ни машины. У тебя есть деньги на завтрашний и послезавтрашний день, а на три дня вперед у нас вообще лучше не думать...

— Вот! Вот! — радостно ответила она. — Я про то же. Я сметаюсь к этому престарелому.

— А Илья? — Так случалось не раз, что я застревала на уровне Ольгиных позапрошлых мужчин, а Илья для меня был вообще вчерашний.

— Несчитово, — ответила Ольга. — То есть я еще не знаю точно. Может, он из командировок не вылезает. Но что стоит в наше время слетать в Париж? Я даже не так сделаю. Я еще заеду в Варшаву, надо с ними завязывать... А потом... Красиво так... Наведаюсь к «жениху»... Ты как считаешь, идет мне этот оттенок волос или лучше носить свой?

Смешно меня спрашивать. Скажи я ей, что мне нравились ее настоящие волосы густого каштанового цвета, то куда девать последний десяток лет, когда она каждый раз была разная, и мне это тоже нравилось, и много раз я была сама почти готова на нечто большее, чем простое подкрашивание седины, но в последнюю минуту пугалась каких-то странных, в сущности, иррациональных вещей... Не уйдет ли с цветом волос что-то необычайно важное, чего я не замечаю имея и могу осознать только утратив? Я мастерица усложнять вещи простые. Я выгибаю стенки рисованных мной квадратов, но меня тут же раздражают и получающиеся многоугольники. Я вытягиваю их до круга и корчусь от отвращения. Мое любимое тело (или не тело?) — лента Мёбиуса, самое странное из простейших творений и самое простое из странных. Но поди ж ты! Какой захлеб от путешествия по ленте без верха и низа.

Это не к тому, что на простой вопрос о том, как выкрасить волосы, я нагромождаю нечто совсем другое: ты мне про чепуху, а я тебе про ленту Мёбиуса. Хотя да, так именно и получается. Я противопоставляю. Я защищаю несчастным Мёбиусом право на незыблемость жизни со старой мебелью и полным отсутствием необходимости искать жениха в Париже. В этот зло-

счастный день у меня не хватило ума не противопоставлять и сравнивать, а просто, выслушав, понять Ольгу — или не понять, но хотя бы сделать вид. Что бы стоило мне сказать: «Ты хороша в легкой рыжине...» Я же сказала другое:

— Дойти до брачных объявлений — ну знаешь...

— Я не дошла. Тамбулов оставил газету на подоконнике.

— У тебя был Тамбулов?

— Он просто переночевал, хотя поползновения были... Именно с этого все и пошло. Понимаешь, хочу мужчину навсегда... А мне все попадают какие-то недотыкомки...

— Это Тамбулов? Членкор? Это Илья? Международник? Просто у них терпеливые бабы... Они прошли с ними путь от начала...

— А я что? Не прошла путь с Кулибиным?.. Его сократили за ненужностью... И это я ему и его бабе помогала с квартирой... Заслужила я Париж или нет?

Она смеялась мне в лицо, но в глубине ее глаз стыла то ли боль, то ли обида, то ли на меня, то ли на Кулибина.

И я не любила ее в этот момент. Она меня раздражала.

Как потом выяснилось, чемодан с уголочками для легко путешествующей леди она купила выйдя от меня.

САДОВНИК БАЗИЛЬ

Красивыми буквами Ванда написала ей французский адрес. Уже своим почерком и нашими буквами Ольга изобразила несколько первых фраз. «А потом — как будет...» Было ощущение легкой тревоги, но и легкой радости тоже. Обратный билет у нее в кармане, деньги есть, если претендент не захочет почему-либо принять даму с порога, она засмеется и уедет на первом же такси. В конце концов, каждая авантюра должна подразумевать плохой конец. Она его тоже подразумевает. Она так давно живет на этом свете.

И все шло как по-писаному. Она вышла возле решетчатых ворот с пуговкой звонка. Она позвонила.

И ей открыли.

Сверясь с бумажкой, она произнесла эту фразу, которая объясняла, кто она и зачем.

— Адрес правилен, — ответил ей, как она думала — Боже мой! — дворецкий или там слуга в босоножках на босу ногу и в старых, но хорошего качества джинсах. — Но ведь не было уговора приезжать без объявления войны? Или?

Тут надо сказать, что русский, с хрипотцой голос в момент готовности Ольги к французской речи вдруг оказался ей непонятен: она как бы не узнала его на слух.

— Заходите! — сказал этот предположительный слуга, говорящий на странном, почему-то знакомом языке.

По тропинке, которой они шли, чемодан-люкс на колесиках не катился. Но идущий впереди мужчина никакого не то что интереса помочь, а казалось, даже крупниц знания, что так полагается, не имел. Именно в этот момент — момент волочения чемодана — произошло сложение кубиков в узор.

Значит, она ехала-переехала несколько границ с бумажкой французской речи, а попала на тропу, где впереди идет совершенно русское мурло, она тащит за ним свои вещи, дом же остается резко справа, а ее вводят в эдакий плосковерхий сарай, на дверях которого висит забубенная занавеска-кольчужка, пятьдесят тысяч рублей на любом московском базаре, еще и скинут тысночок пять, если проявить интерес к лежалому товару.

В домике было вполне опрятно, работал маленький телевизор, на столе стояла чашка с недопитым кофе.

— Объясняю, — сказал мужчина, сев за стол и выпив одним глотком кофе. — Я садовник. Зовут Василий Иванович. По-тутошнему — Базиль. Беженец. Живу на птичьих правах. Хозяин мой... О Господи! Его нету сейчас дома, он гостит в Испании у сестры. И вообще, он никого не ждет... Это моя дурная затея с объявлением. Я ни на что не рассчитывал, просто раскинул большую сеть на случай... Вы просто свалились первая. Он дал мне отпусковые, но, так сказать, наоборот... Это он как бы в отпуске, а мне дополнительные деньги за присмотр. Я пустил эти деньги на объявления, где объяснял, на что гожусь... Могу заниматься физкультурой со слабенькими детьми, я сам из спортсменов. Могу сторожить загородные дома, могу жениться на женщине с крупным физическим недостатком, условно — карлице, могу не жениться, а так... Мой хозяин — старик хороший и вполне сохраннный. Он давно взял в голову все продать и уехать к сестре, а я ему пустил вошь в голову, что ему надо жениться на русской, которая умеет быть благодарной и до смерти его будет кормить грудью. Он не знает русского языка, но вот это понял — кормление грудью. Он из «Нормандии — Неман», слышали такое? Ну и его в войну кто-то хорошо грудью покормил. Ее звали Лиза. Я ему сказал: «Этих Лиз в России...» Он так смеялся и, уезжая, сказал: «Большая русская грудь может победить испанский интерес. Если, конечно, хороший род... Та его Лиза была дочерью врача и играла на пианино пальчиками. Ну вот я и «запустил дурочку». И вы тут как тут... Больше никаких предложений на мои объявления не было. Мне тут надо закрепиться. У меня в России сын маленький остался. Ему пока от меня как от козла молока. Но главное — его надо спасти от русской армии. Конечно, я идиот, что говорю вам всю правду... Но это всегда дешевле, чем вранье. Вы на что клюнули? Нет, он, конечно, славный старик, хороший дом и все такое. Дом, правда, закрыт и поставлен на охрану, он мне не до конца доверяет, что нормально, я считаю... Но есть лаз, — старик понятия о нем не имеет, — через бывший винный погреб, я могу вам предложить экскурсию, чтоб не считалось, что даром съездили.

Все это время Ольга тупо смотрела телевизор. После тяжелого чемодана ее как бы слегка ударило в голову, и сейчас там был сумрак и метались серые тяжелые тени. Это было не больно, но мучительно как-то иначе.

Она смотрела на мужчину, который сидел к ней вполоборота, ей казалось, что она видит вокруг его головы эфирное тело, но потом выяснилось, что все предметы имели размытый абрис, откуда-то из памяти вылезли слова «отслоение сетчатки», и ее охватил страх тяжелой болезни, которая могла ее настичь тут, в чужом садовом домике. Страх поднял ее с места, и она сказала, как ей казалось, что-то важное и грубое железным голосом, а на самом деле слова едва разжали ей губы, и она упала бы, не будь рядом человека, который уже так много ей рассказал про себя, что ей лучше как бы и не знать. «Как глупо», — подумала она, теряя сознание.

Ольга увидела перед собой потолок с легким подтеком, напоминающим туповатый Кольский полуостров с пипочкой мыса Святой Нос. В школе ее глаз всегда упирался почему-то в него. «Тупорылый остров» называла она его, но пипочка смиряла с ним, пипочку, крохотную загогулилку, она почему-то любила. Как будто создатель, сляпав полуостров кое-как, бросил напоследок завиток, чтобы тупорылому было чем гордиться.

Она повернула голову туда-сюда, голова поворачивалась, и никаких эфирных тел Ольгины глаза не видели. Она попробовала встать, но мерзкая тошнота стала подыматься к горлу, и снова ее обуял ужас болезни, но в дверях возник мужчина и с порога закричал, чтоб она лежала, что у нее зашкалило давление, но он сделал ей укол и ей просто надо полежать. Делов!

— А лучше усните. Или вам пи-пи? Сейчас будет хотеться, потому что укол мочегонный... Скажите, я вам подам.

Видимо, на этих словах она снова потеряла сознание от ужаса, а когда пришла в себя, то действительно очень хотела по-маленькому. Но голова была ясной, и когда она спустила ноги на пол, уже не было этой стремительной тошноты. Ольга дошла до двери, не оскорбляя себя стоящим горшком, на улице был уже почти вечер, роскошный воздух сада ворвался в легкие так нагло, что пришлось закашляться от захлеба, и он тут же возник, мужчина, и дальше было совсем невероятно: он держал ее под мышки, а она долго писала под куст роскошных роз. Почему-то не было стыдно, а было ощущение покоя и защищенности, и хотя то полушарие, которое отвечает в нас за логику и анализ, уже прочирикало ей, что это полная чушь — защищенность, идущая от нищего и бездомного мужика, мечтающего о сторожевой работе, но как смешны эти потуги разума диктовать там, где царствовало простое, можно даже сказать, травяное ощущение.

Базиль-Василий рассказал ей, что ухаживать за больными он умеет давно, его бывшая жена хроник с младых ногтей, а когда она мужественно, через все запреты родила сына, то «дух из нее практически вышел». Он, Базиль, и хозяина пользует сам: укол, массаж, клизма — это ему запросто.

— Тогда вам цены нет, — тихо сказала ему Ольга.

Это были, в сущности, первые слова, которые она ему сказала, если не считать французский бред при встрече. Потом он ее кормил. Отводил в туалетный сарайчик, где были вода, душ и все прочее. Потом он делал ей укол. «Я знаю, так надо. Два укола, а потом перейдем на таблетки».

— Где будете спать вы? — спросила Ольга, когда ее стало клонить ко сну.

— Будете сильно смеяться, — ответил он. — Но с вами. Диван раздвигается широко. На полу я не могу. От земли тянет, а у меня застужены почки.

— У меня нет, — ответила Ольга. — Постелите мне на полу.

— Бросьте, — ответил Базиль. — Двум авантюристам самое место в одной постели. У меня два хороших толстых одеяла.

Когда она легла, он велел повернуться на живот и нежно и сильно помассировал ей шею. Потом подушечками пальцев потер ей кожу на голове, это было волшебное ощущение, и она уснула, забыв обо всем. Сквозь сон она слышала, как он укладывался рядом.

Проснувшись она с ощущением полного здоровья и чувством непонятной радости. Пришлось еще раз слегка прищучить логическое полушарие, взбрыкнувшее умственностью. На столе стоял стакан сока и завернутый круассан.

«С добрым утром! — гласила записка. — Надеюсь быть скоро. Повесил гамак. Покачайтесь. В холодильнике найдете еду, если задержусь».

Ольга медленно прошлась по саду, дошла до дома, явно старинного и требующего ухода. Окна были плотно зашторены. Если бы у нее были силы, она определенно бы влезла на карниз и заглянула в то боковое окно, в шторах которого была щель. Но сил не было. Почему-то подумалось, что она, если бы захотела, все-таки могла бы стать хозяйкой этого дома, стать «той Лизой», которая осталась в памяти старика. Но эта мысль как пришла, так и ушла. Ну, не буду я хозяйкой этого дома. И не надо. Возвращаясь к садовому домику, Ольга увидела сохнувшее на веревке мужское белье — трусы, майки, носки. Все было хорошо отстирано и аккуратно повешено, ничего не косило, ничего не свисало абы как. Именно так вешает белье она сама, ненавидя небрежность. Как он сказал: два авантюриста в одной постели? Она спала как убитая, она не ощущала, не помнила мужчину рядом. И сейчас ей почему-то стало обидно за это. «Тебе просто полегчало, сволочь...» — подумала она о себе беззлобно и весело.

Базилия все не было. Пришлось открывать холодильник, чтоб сделать яичницу с помидором. Потом она легла и легко уснула, а когда проснувшись, уже начало смеркаться. Ее охватило беспокойство. Что она будет делать, не

приди садовник? А случись с ним что, об этом ведь можно и не узнать. Он человек без визы. Она открыла шкаф. Документы лежали прямо сверху на полке. Взяла серпастый и молоткастый. Василий Иванович Лариков. Родился 3 февраля 1953 года. Значит, моложе ее на семь лет. В паспорте лежала фотография худенького мальчишка, очень похожего на отца. Только улыбка была не его. Совсем другая. Ольга даже поискала на полке фотографию той, что дала мальчику улыбку, но близко даже ничего не лежало, а рыться глубоко не хотелось. Зачем ей это? Она ведь просто должна была узнать, что человека, который держал ее вчера над травой, зовут Василий Иванович Лариков.

Ольга пошла к воротам. Оказывается, они были закрыты. Почему-то ее это не испугало, а, наоборот, успокоило. Он придет, раз он ее запер. И тут она увидела, что он бежит по дороге. Как долго он бежит? Она ведь не знает тут ничего, подъехала на такси. А где здесь метро или автобус, она без понятия.

Василий увидел ее за решеткой.

— Не сердитесь, ради Бога! Вы пили таблетки?

— Какие таблетки?

— Я оставил на холодильнике! Вы не открывали холодильник? Ничего не ели?

Она просто их не заметила. А под ними бумажку: «Примите утром и днем по две штуки».

Не заметила.

А он уже шел к ней с аппаратом, изящная (не наша) манжетка охватывала ей руку.

— Совсем неплохо, — сказал он. — Вы днем спали? Погуляли по саду?

— И рылась в шкафу. Теперь я знаю, что вы Лариков Василий Иванович. Я забеспокоилась. Думала: придется искать. Кого?

— Ну, я ваш паспорт еще вчера посмотрел, Ольга Алексеевна. Так что мы квиты.

Он стал готовить ужин, отказавшись от ее помощи. Ей пришлось видеть его спину, но она уже поняла: у него что-то случилось. Напряжен. Сосредоточен.

— Мое ли дело, — сказала Ольга, — спросить, какую мысль вы думаете?

— Скажу, — ответил он. — Сейчас сядем за стол — и скажу.

...У него все устроилось. Его берут в семью под Парижем, на ферму. Хозяева не настоящие фермеры, то есть не кормятся с этого, просто, прожив долго в Алжире, вернулись в страну, и по их деньгам оказался этот сельский дом.

Хозяин имеет хорошую военную пенсию, у него жена и парализованная дочь. «У нее мертвые ноги от детской травмы. У отца обнаружился рак в последней стадии, мать — по-русски бы сказали: недотепа. Да, с двумя больными и на самом деле справиться трудно. Приходит женщина, но это ненадежно».

— Вопрос им надо решать капитально. Нужен мужчина вместо мужчины. Не на день-два, а, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. Мой хозяин меня рекомендовал. Это мой крайний случай. И, наверное, единственный.

— Вы мне вчера проговорились про карлицу. Значит, это был не треп?.. В сущности, вы уже все знали?

— Ну да, ну да... Карлица как образ несчастья. Хотя сегодня мне уже стыдно за это слово. Девушка вполне хорошая... С достоинством...

— Вы на ней женитесь?

— Нет. Пока нет. Пока я буду ходить за стариком и, что называется, вести хозяйство. Если мы подойдем, притремся друг к другу... Тогда я даже смогу забрать сына. Жюли нравится, что у меня сын. А мне нравится, что ей это нравится. Для меня это все. Поэтому я притрусь всеми костями.

— Странноватое строительство счастья, — сказала Ольга.

— Но ведь вы тоже тут неспроста оказались, — ответил Василий.

Потом они погуляли по ночному саду, и он вел ее под руку, чтоб она не споткнулась на темной дороге.

Она испытывала странные ощущения, хотя какая может быть странность в держании за локоть, если тебе не пятнадцать лет? О чем это я говорю? Пятнадцатилетние ходят в крутую обнимку. Так они утверждают свое сексуальное право, идиоты. Они думают, что это окончательная проблема. Хотя мало ли что я думаю по этому поводу. Может, мне завидно, может, я совершаю редкостный опыт высаживания себя, как бы пятнадцатилетней, в тутошний грунт, и у меня лопаются, ломаются все попытки жизни от незнания правил. У них ведь презерватив кладется в карман допрежь желания. А как же? — скажут вам. Не бежать же за ним, когда практически уже поздно. Действительно. Что это я молочу, старая дура! И все-таки, все-таки...

Вот шла по саду, по Парижу, женщина, приехавшая с вполне конкретной целью... Ее вел под руку мужчина, который прищеплял трусы на бельевои веревке так, как прищепляла она.

— Было так хорошо, что хотелось плакать, потому что у тропинки был конец. Но знаешь, я уже знала, что у меня будет с ним ночь... — Так она скажет мне потом, когда вернется, когда много чего произойдет невеселого, и я вдруг пойму, что она меня уже не раздражает, что она мне почти родная... Хотя нет, этому неожиданно взрослому в сердце чувству я еще буду сопротивляться.

Они попили чай с конфетами-подушечками — дешевыми, одним словом. Ольга подумала, что она не сообразила за эти два дня предложить за еду деньги. У нее ведь были франки, и он их видел, если смотрел ее паспорт. Ладно, не объела!

Потом они стали укладываться спать.

— Вы ложитесь, я пока выйду, — сказал Василий.

Она залезла под свое одеяло и зажмурила глаза. Погасив свет, мужчина лег рядом. Где-то залаяла собака. Фонарь возле садового домика ехидно высветил на потолке «мысочек Кольского полуострова». Это первое, что она увидела, открыв глаза. Так получилось, что они оба резко повернулись друг к другу. Она — чтобы не смотреть на потолок, он...

— Я хочу тебя видеть, — сказал Василий. — Ты спи, а я буду на тебя смотреть.

— Еще чего! — ответила она, обнимая его за шею. — Черт знает что высветит во мне твой фонарь.

Уже потом, засыпая, Ольга подумала, что видала мужчин покруче, но такого бережного и нежного у нее не было никогда. А оказывается, именно это ей позарезу... Она сейчас ему об этом скажет, но она не успела, уснула. Утром она растолкала его и сказала, что у нее хватит денег, чтоб откосить его сына от армии. У нее хватит связей, чтоб устроить его в Москве на приличную работу. Что они поженятся и будут жить как люди. Что ее сюда привело само провидение. Париж ей на фиг, так же как и ему на фиг «карлица».

— Ты меня понимаешь? Понимаешь? — тормозила она его, потому что он молчал, а это было неправильно и делало ей больно.

— Не надо волноваться, — сказал он ей.

— Тогда скажи, что мы уедем вместе.

— Сначала я померю тебе давление. — Он встал, а она закричала дурным голосом, что не даст ему это делать, что пусть он вернется, ляжет рядом и поймет, что с ней все в порядке, когда он с ней и любит ее.

Он вернулся и лег. И снова она подумала, что у нее не было такой нежной нежности. Она обхватила его так, что стало больно самой.

— Господи! — сказала она. — Ведь не требуется никаких доказательств!

Потом они пили чай, и Ольга, сделав последний глоток и отодвинув чашку, сказала:

— Предлагаю считать разницу в возрасте моим физическим недостатком. Считать меня карлицей. Идет?

И они оба долго смеялись, настолько долго, что стала ясна вся неестественность этого смеха, как и сомнительность повода.

— Значит, едем вместе? — на излете смеха нервно-оптимистично спросила Ольга. — Я тебя беру в мужья и усыновляю твоего сына. На чем поклясться?

Он начал говорить, а она до конца жизни будет думать, что у мужчин, и только у них, «случается заворот мозгов». Потому что, если тебя берет замуж женщина, при чем тут прадед, которого разрубили на куски в двадцать девятом свои же односельчане? И эта история уже с дедом, расстрелянным в тридцать восьмом? И с отцом, которого убил туберкулез в сорок девятом, когда он после плена попал в плохие климатические условия Севера? И при чем тут, что он сам едва-едва не попал в Афганистан? Не попал же, спасибо гепатиту! Били в армии? А кого не били? Это наши народные игры от самого Микулы Селяниновича или кто там круче всех? Подумаешь, уехал, как только началась чеченская война, но кончилась ведь! Ну, Грозный немножко похож на Сталинград — тебе-то что, черт тебя дерит? Ты на этой земле кто, Иисус Христос? Сахаров? Так чего ты торопишься за ними, ты же знаешь, где они? «Я спасу твоего мальчика, спасу! Дурак, это совсем недорого стоит!»

— Придут те, которые не станут брать деньги! — сказал он. — Эти будут самые страшные.

— Идиот! Таких нет!

Получалось, что они все сказали друг другу.

— Сейчас, — говорила она мне, — самое время оскорбиться за отечество, а его возненавидеть. Я ведь еще при Сталине родилась, у меня *те геночки!* А потом я вдруг так обрадовалась, что у меня Манька. А потом так испугалась за зятя. Приехала, а мы тут уже всем объявили про первый ядерный удар. Может, мы просто Гоги-Магоги?

— А это ты откуда знаешь? — засмеялась я.

— От верблюда. Мне Ванда показала место в Библии. Оно уже после полыми... Я его простила за отвержение. Слышишь это слово? Оно само пришло ко мне, ночью. Точное слово. Я отверженная, как и все мы.

И тут она закричала, чтоб я не говорила ей про великих писателей, про то, что нас Бог поцеловал в лоб.

— Мы даже это сумели преодолеть. И культуру, и Божий поцелуй, и жалость к слабому — мы все давно переработали в жестокость! Не знаешь, на когда намечен поход на Крым и Нарву?

Потом она плакала, и ей было плохо, но это было потом... Пока же она еще была в Париже, который в этот раз так и не видела. Даже Эйфелева башня ей на глаза не попала. До нее ль, голубчик, было...

Дома она первым делом позвонила Маньке. Та голосом автоответчика попросила ее оставить свой номер, чтоб можно было «отзвонить, как только, так сразу...». Ольга бросила трубку, не назвав себя. Почему-то перед глазами стояла суетливая бабулька из метро, которая все норовила разглядеть ее юбку. Подумалось нечто благотворительное: взять бы бабку с собой, одеть бы ее с ног до головы, дать ей шелковое белье... Ай! Ай! Ай! Что творится со спятившими с ума мыслями людей! Ведь именно о шелковых рейтузах думала тогда и старуха с ломаным шоколадом. О том, какие они были широкие и красивые, хотя разглядывались в кусок отбитого стоящего на батарее зеркала. Она, бабулька, тогда еще почти девчонка, откуда-то знала, что не надо смотреть в отбитый кусок зеркала, что это плохая примета, но рейтузы перевесили опыт жизни, затвердевший в примете. Так и получилось. Застудила она свои потроха до стыдности. В момент мыслей Ольги о том, как она могла бы нарядить в шелка старуху, та как раз присела за строительным вагон-

чиком, и хоть на нее смотрела полная жизни девятиэтажка, ей были безразличны люди через стекла: она стеснялась только прямых глаз. Потом бабулька радостно убежала, и Ольгина благотворительная мысль иссякла, а с ней почему-то ушли все силы и пришла легкая затуманенность, почти как благоговение.

В больницу Ольга попала только на третий день, потому что никто ее не хватился. На автоответчике она не отметилась, мне не позвонила, ее «негры» думали, что она все еще в Париже или Варшаве... И нашел ее не кто иной, как Кулибин. У него еще оставались ключи, и пароль «охраны» он знал. В этот раз ему надо было забрать свои старые вещи, которые давно узлом лежали на антресолях. А тут случилось, что мужа сестры уволили, и он сколотил дачную шабашку. Старье для черной работы было ему самое то. Сестра сказала: «Забери у Ольги. Зачем ей дерьмо?» Конечно, была резонная мысль — Ольга могла поменять ключи. Но была и еще резонней — металлическую дверь ставили еще при нем, в его последний месяц. Ну кто ж начнет это неподъемное дело — менять сейфовый замок? А Ольги как раз дома нет, так ему сказала Манька. И она же подтвердила, что ключи не менялись.

— Так я схожу за узлом, — не то просил разрешения, не то ставил дочь в известность Кулибин.

Он и нашел Ольгу, и вызвал неотложку, и отвез в больницу, где его спросили: «Муж?» — «Муж», — ответил Кулибин.

Потом ему сказали просто и без всяких там экивоков: «Она умрет».

Кулибин всполошился, стал орать («Коновалы!», «Как вас земля держит!», «Я на вас в суд!» и прочее разное), что было выслушано совершенно равнодушно, а санитарка, торкнув его полным судном, сказала с чувством:

— Во дурак! Тебе же легче — говно не выносить. Она ж у тебя теперь полная кукла...

Но Кулибин замахнулся на нее так, что ему пригрозили милицией. Тогда прямо с ординаторского телефона Кулибин криком вызвал дочь, зятя. Позвонил еще какому-то Ефимычу, какому-то приятелю Женьке, еще и еще кому-то...

В этот же день Ольгу перевезли в другую больницу, а на следующий день ей удалили опухоль в мозгу, вполне операбельную и доброкачественную. В предыдущей больнице действительно были коновалы.

Я узнала эту историю, когда из безнадежной Ольга стала вполне удовлетворительной. Я позвонила ей, потому что, по всем расчетам, она должна была вернуться, а трубку взял Кулибин. Он тяжело дышал, рассказывая мне все, так как одновременно мыл и чистил квартиру. «Надо Олю забирать, каждый день ребятам ее больница влетает в копеечку, у нас (у нас?! — я это отметила мгновенно) деньги есть, но они на Олю. А зять оказался добрый парень!»

Кулибин ворчал, что квартира запущена, краны текут, шпингалеты поотлетали...

— Все белье перекипятит, — сказал он. — Все-таки она придет после такой сложной хирургии.

Наверняка я поняла одно: Кулибин вернулся.

Через три дня я позвонила снова.

И снова мне ответил он.

— Сейчас я поднесу ей телефон, — сказал он мне.

— Привет с того света! — сказала мне Ольга, и хоть она хорохорилась, в ее голосе, внутреннем, подспудном, было столько боли, что я сразу подумала: все много хуже. Этот фокус с выписыванием из больницы тяжелобольных всем известен: больница блюдет процент смертности, на голубом глазу выпихивая завтрашних покойников.

— Приходи, поокаем, — пригласила она.

Я позвонила Маньке.

— Да нет! — сказала она. — У нее все нормально! Спасибо папе, что он успел ее найти.

— Он там теперь живет? — спросила я.

— Такие вот крышки-кастрюли, — засмеялась Манька. — Конечно, я ни за что не поручусь за будущее, но пока отец лучше мамы родной. А меня — уж точно. Я бы так не сумела. С моей матушкой какое же надо иметь терпение!

К вопросу о цветах или о том, как нам не впрок изобилие. Раньше мы все подчинялись сезону. И осенние хризантемы летом не могли возникнуть, как на базаре, так и в нашей голове. Сейчас другое. В хозотсеках вагонов и самолетов нежно, лилейно, как невесты в гробу, лежат цветы из какого-нибудь Богом забытого Парагвая. Откуда знаю? Оттуда! В подъезде сдавали квартиру сиреневатому парагвайцу с ласковой улыбкой и коварными глазами. Он дарил детям и девушкам цветочную некондицию (лом, бой, слом или как это называется у цветов?), но потом дармовщинку перехватили бойкие старухи для кладбищенских букетов.

Мне нравится обилие цветов в городе. Мне только жаль, что я перестала понимать эту трогательную родственную зависимость возникновения бутона от щедрости моего солнца и плохой погоды моей земли. Я забываю или не успеваю порадоваться моменту рождения сирени (надо будет поменять цвет парагвайцу, сказать, что он фиолетовый), хотя, в сущности, это все равно... Изобилие перепутало времена года. Цветы летают, летают себе не в мой сезон разнообразнейшие красавцы, и я радуюсь и печалюсь одновременно, вместо того чтобы, согласно переменам жизни, покупать в любое время длинноногие розы и для них же разверзнутые вазы.

Короче, я не знала, какие цветы любит Ольга. Боялась попасть впросак, принеся ей многозначительные ирисы или политически опороченные гвоздики.

Ромашки. Белые, но смелые. Не полевые, а из Голландии. Таким был мой выход из положения.

А могла бы сообразить, что на голове у нее белый бинт, что Кулибин отстирал белье до невозможной белизны, и лицо самой Ольги было бело-голубым.

Огромная белость, огромная белость, огромная белость одна на двоих. В общем, две дуры заревели.

И было о чем...

Ольга до копейки, до цента отдала деньги Маньке и ее мужу; хотя те и кричали, что им не к спеху. «Негры» за время ее болезни встали на свои ноги, и Ольга этому обрадовалась. «Ответственность за других — это уже не по мне». Однажды призналась, что держит неприкосновенной одну сумму прописью — на взятку в военкомат.

— Мало ли что там у него может быть? Что мы знаем о французах, если о себе не знаем ничего.

— А Кулибина тогда куда? Об землю?

Она смотрела на меня странным таким взглядом, что я подумала: девушка оклемавается, девушка чистит амуницию, девушка услышала зов трубы.

— Не то, — засмеялась Ольга. — Просто сидит во мне тщеславие: откопсить его мальчишку. На! — сказать ему. Не все подонки в России. На!

«Ну-ну, — подумала я. — Ну-ну...»

Кулибин же внедрился окончательно и бесповоротно. Он даже успел перехватить и закрепить некоторых неустойчивых «негров», которых переписал из Ольгиной записной книжки в свою. «Не пропадать же делу». Ольга помогла ему устроиться ночным охранником в чистенький и вылизанный русско-чей-то офис. Он уходил через две ночи на третью. Отлично там высы-

пался. Однажды, неся Ольге детективы из английской жизни — другие ее душа не принимала, — я увидела в скверике возле их дома, как Кулибин ругался с женщиной. Мне пришлось резко свернуть, чтоб он меня не заметил, но я хорошо слышала, как он сказал: «В конце концов, Вера! У тебя целые и руки, и ноги. А у нее из головы вынули почти пинг-понговый шарик. Даже звери, в конце концов»...

Простой человек Кулибин всегда имел в голове простые звериные сравнения: «Я тебе не собака», «Я тебе не козел». Это меня окончательно успокоило: Кулибин оставался с Ольгой как бы надолго. Это чтобы не сказать окончательного слова «навсегда». Ибо как его скажешь после слов Ольги о деньгах «на откос».

У Ольги отросли волосы и встали ежиком. Сзади — девочка девочкой. Но когда она поворачивалась, в глаза бросались стрелчатые, какие-то просто декоративные морщины, идущие от уголков глаз. Однажды я поймала себя на том, что хочу вытереть эти будто карандашные побеги, сделанные вчерне для будущего уже основательного грима, который и явит миру ту «окончательную» Ольгу, у которой сегодня «зябнет голова и от этого синее кончик носа».

Фу-ты ну-ты... Я на десять лет старше ее, но не обряжаю же себя в «окончательную» внешность. Наоборот! Купила гибкие бигуди, делаю локон трубочкой, а потом долго расчесываю до прямоты. Но не все сразу, господа, не все сразу... Может, еще и оставлю локон, а может, подарю бигуди соседке Оксане Срачице. Не помню, говорила я или нет, но муж ее, шофер, уехал на заработки в Германию. К ней ходит как домой мужик из кавказцев. Он мне нравится: воспитанный, носит, подпрыгивая, Оксаниных детей на плечах. Он здесь тоже на заработках. Дома, в разбомбленном Гудермесе, дети-воронята ходят в том, из чего выросли дети Оксаны. В свою очередь на ее детях — какая интересная линия судеб! — европейские шмотки, но явно второй носки. Если вообразить себе такой наворот, что муж немецкой женщины, с детей которой одеваются мои маленькие соседи, из каких-то там неведомых душевных посылов вляпался в наши кавказские дела и столуется у жены нынешнего Оксаниного «примака», то всех их вместе можно назвать всадниками Апокалипсиса, и это будет почти понятно простому человеку. Конечно, неизвестно, станет ли он бояться больше Апокалипсиса или, совсем наоборот, вдохновится такого рода переселением народов, но я небрежно кидаю эту в одночасье возникшую мысль. Вдруг прорастет?

Тряхнула плечиком матушка-Земля — мы и посыпались. А ведь матушка еще только плечиком тряхнула, Валдаем вздрогнула.

В сентябре, когда уже не чаяли, стало наконец жарко, и люди, абсолютно уверенные, что если чем нас Бог обидел, так это погодой, сразу стали предъявлять Ему же претензии в нервности Его указаний и распоряжений: кидает то в жар, то в холод! Так вот, в это дергающееся время Кулибин отвез Ольгу в Тарасовку. Сестра его отдала Ольге комнатку с терраской и отдельным ходом, которую всегда хорошо, выгодно сдавала, а тут: «Живи, дорогая, живи... Банька во дворе... Набирайся сил...»

Случайно я узнала, что все это не за так... Что все за сына, уже разучившегося ходить по прямой, которого взяли в дело Манька и ее муж, отмыли парня, отпарили, сделали пару раз ему сифонную клизму, причем делал ее сам Ольгин зять, и не тогда, когда Витька (кулибинский племянник) напиившись до смерти и уже ничего не понимал, а еще в присутствии у него сознания и ясности ума. Зять Ольги всюду ходил с наконечником от клизмы и время от времени показывал его Витьке. Я тут подумала: не запатентовать ли мне метод на паях с Ольгиным зятем? Я бы красиво описала дешевизну открытия, ну а он... Мы бы продемонстрировали прямоходящего Витьку, чистенького и в «фирме», а на глаза его, в которых сидели тоска и страх клиз-

мы, натянули бы очки а-ля Иван Демидов. Смех смехом, но благодаря этому Ольга сидела на терраске, выставив на позднее солнышко бледные ноги, макушка уже обросла и не мерзла, ей было пофигейно, а может, вместе с пинг-понговым шариком вредного тела вынули из ее головы мысли, едучие и побудительные, и завтрашний день ее как бы не беспокоил.

Но Ольга все просчитала. Просто она сознательно дала себе выпасть в осадок. До зимы.

Так что мы не виделись долго. А тут еще и октябрь пришел как подарок, теплый, мягкий. Из тех октябрей, которые расслабляют душу, давая ей совершенно беспочвенные иллюзии, что все еще будет в порядке и «все у нас получится»... Опасный по своей непредсказуемости месяц, потому что ничего нет страшнее следующих за ним ноябрьских исторических разочарований и чувства глубокого обмана. В общем, русского человека хорошая погода деморализует, непреходящая слякоть и гололед ему ближе по природе его пессимизма. А до момента, чтоб превратить холод в радость, как сделали, к примеру, финны и шведы, нам еще триста лет брести, и все лесом...

Октябрь жался к ноге, лаская лицо и руки, и я даже звонить не стала — была убеждена: Ольга греется в своей Тарасовке.

Она позвонила сама и сказала, что уже две недели в Москве, чувствует себя вполне, в больнице ее оглядели и общупали, все нормально — тьфу-тьфу! — жизнь продолжается, «умереть на этот раз не обломилось».

Последние слова она сказала «в тоне юмора», но я теперь гробовые шутки воспринимаю плохо: все могильно-покойницкое уже не было разговором «не про меня». Снаряды рвались считай что рядом.

Ольга прекрасно выглядела. Болезнь вытеснила то, что всегда в ней проглядывало, если не со второго взгляда, то с третьего — точно. Простоватость. Или, как бы сказала моя подруга, «предместьевость». Такая у нее взбухает альтернатива на «жлобскую речь». С одной стороны: «Ты чё, в натуре?» И в ответ: «Это, господа, предместье». Я расширила это понравившееся мне определение.

Так вот, из Ольги ушло предместье. Я сказала бы, что она стала интеллигентней, если б точно знала, что сие слово означает. Вернее, я знаю другое: оно не означает уже ничего. Слово-скорлупа, которому когда-то вдруг пришлось заменить слова истинные и вечные: порядочность, образованность, интеллект. И вот пришла другая пора, и затрещала скорлупка грецкого ореха, в котором ничего... Пус-то-та...

Ольга с ходу сказала, что не знает, как ей быть с Кулибиным.

КУЛИБИН

С той минуты, как он нашел полумертвую Ольгу, отвез в больницу, перевез в другую, еще до того, как ее положили на операционный стол, а он вернулся в квартиру, разделся до трусов и тут же уснул прямо в кресле, — так вот, с той минуты, как он стал просыпаться еще не понимая, где он... Его настигли запахи. Запахи этой семьи и этого дома. Еще не открыв глаза, Кулибин ощутил такую светлую радость, которая бывает только в младенчестве. Мы ее не помним, но случается, она возвращается к нам касанием ли, словом, дуновением. И ты думаешь: «Господи! Вот сно... Бывает же... Счастье...»

Когда он открыл глаза и понял происхождение чуда — домой пришел, Кулибин сказал себе, что никогда больше он из «этого воздуха» не тронется. Он не мастак разворачивать судьбу к себе лицом, она у него все норовит сбежать и все к нему то задом, то боком, но тут ему дан шанс покорить эту верткую гадину. Все, что делал Кулибин дальше, было подчинено одной цели — помириться с Ольгой, хотя разве они ссорились? Тут возникла не-

точность в самой постановке вопроса, а нужна была точность. Точность — это его возвращение. Любой ценой.

Оправдывает ли цель средства? Скажем прямо. Нет, нет и нет. Но в данном случае, случае Кулибина, все было да, да и да. Он ухаживал за Ольгой так, как ни одна мама не сумела бы это сделать, а уж Ольгина — тем более... Царство ей небесное. Он любил и жалел ее, впервые в жизни ощущая себя сильнее, надежнее... А потому и увереннее.

Тут интересно возвращение к вопросу, на который мы как-то отвечали: знал ли Кулибин об Ольгиных романах? Да, потому что надо быть идиотом, чтоб не учуять в женщине, своей, домашней, с которой спишь в одной кровати, дух чужака, который она приносит с собой. И Кулибин его чувствовал. Но было еще материалистическое образование, принятое с детства как абсолютная истина. Оно дух отрицало напрочь. Диамат требовал фактов. Так вот, Кулибин каждый раз чуял, что Ольга приходила от другого, но фактов у него не было. И это его устраивало. Поэтому мало ли что покажется... Некоторым кажутся летающие тарелки, бабушки-покойницы в проемах дверей и прочая нематериалистическая дребедень, в которую только позволь себе вступить... И Кулибин не вступал.

Сейчас он похвалил себя за это, оценил собственную давнюю предусмотрительность, поэтому ухаживать за бывшей женой ему было приятно, и ничто лишнее это не омрачало. Собственный же вираж в сторону Веры Николаевны казался ему в этот момент полной дурью. И он мыл, чистил свой пахнувший как ему надо дом, он наполнял его своей любовью, он ждал возвращения Ольги, как ждет любовник молодой и далее по тексту.

Потом была Тарасовка. Он сидел на приступочке у ног Ольги, которая жмурилась на солнце, гладил высокий свод ее стопы, и она принимала ласку как должную, как естественную от мужа.

Был разговор.

— Что ты сказал своей подруге?

— Разве непонятно? — ответил он.

Но как и во всем, и в этой истории есть свои и восток, и запад, и прочие стороны, и даже некоторые промежуточные типа юго-запада. С Верой Николаевной все было не так-то просто.

Они ведь с ней только-только наладили быт, купили стиральную машину-автомат, исполнили мечту Веры Николаевны и повесили (сто лет про это она думала!) на окна деревянные ламбрекены, которые тут же повесили в статусе саму квартиру. Все шло у них хорошо. И Вера Николаевна была вполне женщина, без всяких там раздражающих привычек: посмаркивания перед сном, колупания в ногтях или западающей вглубь после сидения юбки.

Но случилось просыпание в доме, где он жил раньше, случились эти запахи... Получалось, что в жизни Кулибина Ольга рухнула очень кстати.

Поэтому на вопрос Ольги, что ей делать с Кулибиным, я закричала:

— Ты сошла с ума!

После чего мне и была рассказана ее парижская история, из которой мой мозг извлек только одно: Ольга уже там была глубоко больна, но ей опять повезло с мужчиной, который не обобрал, не бросил, не выкинул... А над травой подержал.

Я, как всегда, зациклилась на своем, а Ольга все говорила и говорила о парижском садовнике...

— Такого никогда не было...

— Предъявить список? — ответила я. — Или сама вспомнишь?

Это были не лучшие слова в моей жизни, я это поняла тут же, сразу, а вот Ольга как бы и не поняла. Вернее, не восприняла, не оскорбилась. Так и сидела, сосредоточенно и отсутствующе, а потом тупо повторила:

— Я не знаю, что делать с Кулибиным. Понимаешь? Он из меня ушел совсем...

Я представила, как она бродит «в себе», ища фантом, образ, формулу такого материального, такого мясистого Кулибина, который сопит и кашляет рядом. Но! Какая это, оказывается, малость — тело против пустоты.

Ну вот, я снова напоролась на это мистическое слово — «пустота». Какое самоигральное оно оказалось, так захватнически заняло жаждущие новой пищи умы. А *тот суп* оказался тяжел для брюха. И пучит, и пучит, и пучит, и шар пустоты распирает тебя до момента взрыва.

Да пошли вы все к черту, умники пустоты!

Передо мной сидит женщина, она ничего не знает про это. Она ищет тело, плоть. Она хочет жить, ей нужен мужчина... Пожалуйста! Мир наполнен ими по самую кромку, и она руками на ощупь, глазами на взгляд, ушами на слух... мечется. А Кулибин возьми и встань на дороге, растопырив руки и ноги...

— Он тебя спас, — сказала я.

И вдруг испугалась. Это мое свойство — пугаться собственных придумок. Вдруг она мне скажет: «А зачем?» И мне придется выстраивать цепь доказательств, что живая жизнь лучше мертвой смерти, но я все больше и больше разучаюсь говорить о том, во что верю не до конца. Просто я точно знаю, есть ситуации, когда уход лучше присутствия. Конечно, это не Ольгин случай, тоже мне драма — аннигиляция очередного любовника. Сколько их уже было «никогда таких»!.. Уличение же — одно из мерзейших дел на земле. Хамское дитя...

В форточку влетела мелодия. Ольга напряглась, повернула голову к окну, пальцем отбивая ритм.

— Обожаю, — сказала она, когда музыка кончилась. — Не знаю что, но в душе возникает что-то такое... Обещание счастья?

— Это группа «Армия любовников». Ты бы видела их! Они мне своим видом просто напрочь перекрыли музыку. Раньше тоже нравилось.

— Такая жизнь. Или видеть. Или слышать. Вместе не получается. Зря ты мне сказала...

— Но ты же не видела их...

— Но ты же сказала...

— Забудь...

— Все! Теперь не забуду точно.

Мы засмеялись. Я была рада, что мы «ушли от Кулибина»: мое ли дело — их отношения?

— Знаешь, — сказала Ольга, — меня все-таки растроила эта музыка. И я теперь скажу главное. Я хочу посмотреть на его сына.

Я тупая. Я не сообразила сразу, о чем сыне идет речь. А когда сообразила, то стала еще тупее: ну зачем он ей нужен, чужой мальчик? Зачем?

Кулибин потихоньку прибирал к рукам разваливающийся Ольгин бизнес. Есть такой тип мужчин — они исключительно хороши в ремонте. Не творцы, не создатели — чинильщики. Кулибин наполнялся «чувством глубокого удовлетворения», сам же смеялся над таким определением, и если говорить совсем уж откровенно, был только один момент, который смущал его в тот период, — отсутствие полной близости с Ольгой. И не то что Кулибину это было позарез, в свои пятьдесят с хвостиком он уже был не большой ходок «по этому делу», и чтоб тяготиться там плотью и маяться — нет, этого не было. Он как раз думал другое: вдруг *это* надо Ольге? Он вполне может без, а вдруг она не может? Тогда их отношения прекратятся в любой момент, если кто-то другой... И Кулибин оглядывался окрест, всматривался... Но горизонт был пуст... А тут случилось седьмое ноября, бывший праздник, ему позвонили товарищи, с которыми он без Ольги проводил эти дни. Он сказал, что жена нездорова, так что простите меня, дружбаны. Дружбаны отсохли тут же, но потом позвонила Вера Николаевна.

— Вера! Ну ты даешь! Ольга едва-едва ходит, а я побегу, да? Так по-твоему?

Вера засмеялась и сказала, что все бы так едва ходили, видела она ее на улице. И вообще он, Кулибин, не человек, а сволочь, так как предатель всего что ни есть на свете... Вера всхлипнула и положила трубку, Кулибину стало неловко и даже вспотели подмышки, но он взял себя в руки и сказал себе, дураку, что никаких претензий к нему у этой женщины быть не должно. Это благодаря ему она живет теперь в Москве. И ее не сквозит в электричках. Он дал ей все, что мог, но больше для нее у него ничего не осталось. Все, что было отмерено именно для нее, кончилось. Эта мысль о мере заняла Кулибина, и он сказал вечером Ольге осторожно так: думал, мол, и пришел к выводу, что чувство к ней, Ольге, у него без меры, он это понял на днях. Кулибин подошел к ней и обнял, а Ольга возьми и скажи:

— Я как раз о другом. Я тебе, конечно, благодарна и все такое, но если бы ты вернулся к своей жене... — Она именно так и сказала! Именно так! И далее: он облегчил бы ей, Ольге, жизнь своим уходом.

— Ты моя жена, — сказал Кулибин, реагируя лишь на одно. Ремонтник, он чинил строение неправильных слов.

— Посмотри свой паспорт, — засмеялась Ольга.

— Да при чем тут это! — закричал Кулибин.

Мир рушился, валился на голову, еще чуть — и треснет башка к чертовой матери. Женщина рядом раздвоилась, даже слегка растроилась, Кулибин сжал ладонями виски, потому что понял: умереть на таких словах он не имеет права. Потому как это величайшая несправедливость, какую можно себе вообразить. И надо сказать, так сильна была его обида, что она развернулась в Кулибине гневом, а гнев, как известно, — энергия мощная, сердце колотнулось, три Ольги соединились в одну, и этой одной он влепил такую оплеуху, что женщина закачалась и рухнула, но не тут-то было ей упасть. Кулибин же и подхватил ее, и уложил на диван, и принес холодное полотенце на щеку и еще одно на грудь. Гнев не ушел, а отступил и кольхался черным телом, давая дорогу чувствам другого порядка. Когда же все примочки в первоначальном смысле этого слова были сделаны, гнев отпихнул суетящееся милосердие и стащил с Ольги шелковые французские штанишки, дабы она наконец поняла, кто он, зачем пришел и почему останется. Тут и навсегда.

— Ты сволочь! — кричала потом Ольга. — Я засажу тебя. Сейчас вызову милицию и заявлю об изнасиловании.

— Первый раз, что ли? — смеялся удовлетворенный Кулибин. — С тобой только так и надо. Ну? Иди звони!

Мироздание трещало и покачивалось. Мироздание дало течь...

Ольга злилась.

Конечно, мужчины устроили препаскудный мир, но они сделали все то, что позволили им женщины. Так считала Ольга. Женщины вполне поделницы во всей мировой гнуси. Всякий мужчина бывает голый, и всякий ложится с голой женщиной. И если она принимает его после того, как он разбомбил Грозный или умучил ребенка, то, значит, она виновата в той же степени. Она приняла его голого после всех безобразий, а значит, сыграла с ним в унисон. А надо взять вину на себя. Чтоб голой с кем попадая не ложиться.

Господи, что за множественное число! Ты одна. И это тебя насилуют с какой-то непонятной периодичностью, и это ты — независимо от времени на дворе — ведешь себя всегда одинаково. Вот и не суди гололежашую. У каждой из них была своя правда ли, неправда... Своя дурь... Свой страх... И ничем не обоснованная надежда, что однажды ударишься мордой о землю и обернешься царевной.

Великая русская мечта.

Удариться — вот ключевое слово.

Кулибин же съездил к Вере Николаевне и привез зимние вещи.

То, что потом Ольга все-таки пошла «посмотреть мальчика», было не любопытством, не сердечным порывом, это было признаком ее растерянности. Хотя, может быть, я истончаю чувства гораздо более грубые. Ведь хочешь не хочешь, начинаешь — о! я писала уже об этом! — себя ставить на чужое место, и на этом *не своем* месте начинаешь вещать *свои* слова. То есть роешь замечательную яму разделения в полной уверенности, что строишь мост.

Ольга спросила меня, что просит купить мой десятилетний внук, что такого *эдакого*. Я сказала про компьютерные игры.

— Нет, — ответила она, — это не то...

Какую «картину подарка» нарисовала себе Ольга, я не знаю. Но она купила, Господи, прости ее, дуру, видеокамеру. Если учесть, что после болезни она весьма и весьма поиздержалась, если учесть, что попытки Кулибина наладить дело еще не дали результатов, если учесть, что его заработок уходил в три дня, если учесть, что именно в этот момент в работоторговле зятя наступила некоторая заминка и Манька ей сказала: «Хорошо, что ты отдала нам деньги, мама... Я уже отвыкла жить на рубли...»

Так вот, если все это учесть...

Но она пошла и купила видеокамеру и поперлась по адресу, который высмотрела в паспорте Василия. Воистину русская женщина живет не по разуму и правилу. Как и ее праматерь, ее всегда ведет лукавый, чтоб потом после всего у ангелов не было безработицы в восстановлении миропорядка.

Ей открыла худенькая женщина — из тех, что никогда не набирают веса при самой замечательной кормежке. Внутренняя пожирательная печь оставляет на их лице налет сухого жара и еще фитилек огня в глазах, который все время как бы норовит погаснуть, но моментами так сверканет, что опалит...

Ольга пришла при полном параде. Огромная модная шляпа могла войти в дверь только при особом наклоне головы, что со всех точек зрения было чересчур...

Итак, с одной стороны — ситцевый халат и фитильки в глазах, с другой — шляпа, несущая коробку с видеокамерой.

Ольга с порога стала передавать привет из Парижа от Василия и от него же подарок для мальчика, который она должна вручить лично. И Ольга сделала попытку продвинуться вперед с камерой, не замечая странного молчания ситцевой женщины. Которая не просто не пригласила Ольгу войти, а даже оперлась рукой о косяк двери, как бы загораживая Ольге вход. Другой же рукой она исхитрилась нажать кнопку звонка соседней двери, и на пороге появился парень с очень брюхатой таксой, залаявшей на Ольгу зло и как-то по-человечески хрипато.

— Эдик! Постой, пожалуйста! — сказала женщина. — Я хочу понять, чего эта дама от меня хочет.

— Вы чего от нее хотите? — спросил Эдик.

— Господи! Да вы что? — нервно засмеялась Ольга. — Я привезла подарок для Коли и привет от Василия.

Эдик и женщина переглянулись.

— Ничего себе! — сказал Эдик. — Я думал, это только в газетах пишут.

— Что пишут?

В том месте, где когда-то у Ольги был шарик опухоли, стало сильно пульсировать. Это было так неожиданно и страшно, что ей стала безразлична женщина, Эдик, собака, во рту мгновенно высохло до корочки, хотелось пить, пить и пить... Видимо, она побледнела или страх изменил ее победоносно-шляпный вид, но женщина сказала:

— Василий и Коля позавчера улетели. Вот почему я вас не понимаю...

— Да, — сказала Ольга, — да... Я болела. Задержалась. Вы мне не дадите воды?

Женщина вынесла ей стакан, и Ольга жадно — бежало по подбородку — выпила воду.

— Он ничего не говорил о подарке. Ни слова.

— Да, — сказала Ольга. — Да. Это я сама... Ладно, извините. — Она пошла к лифту, но ее взял за локоть Эдик:

— Нет, мадам, вы уж объясните, что у вас в коробке.

— Не надо, — сказала женщина, — пусть уходит.

Ольга ладонью прижала кнопку вызова лифта. В голове отпустило, просто «шарик» чуть-чуть повибрировал — туда-сюда, туда-сюда.

— Ничего дурного в коробке нет, — сказала Ольга. — Я сама придумала сделать подарок вашему сыну.

— Зайдите, — сказала женщина. — В конце концов, я должна знать то, что касается моего мальчика.

— Я нужен, тетя Люба? — спросил Эдик.

— Спасибо, пока нет. Ты же дома?

— Я дома, — сказал Эдик, выразительно посмотрев на Ольгу.

В квартире Ольга еще раз попросила пить. Она рассказала, что в Париже ей поплохело, помог Василий, уже дома ей сделали операцию, и она хотела отблагодарить Василия подарком его сыну. Пока говорила, успокаивалась и даже как бы оскорблялась, что ее не за ту приняли.

— Он ничего про вас не говорил, — сказала Люба.

— Он долго был здесь?

— Почти три недели... Пока то да се... Я многое подготовила заранее для отъезда, но какой у нас в этом опыт? То то нужно, то другое.

— Он беспокоился о сыне, — сказала Ольга. — Вы остались одна?

— У меня девочка. От второго брака. Ей пять лет. Она очень скучает без брата. Мы не ожидали, что будет так... Муж настаивает родить еще... Хватит ли сил? Мне уже тридцать семь... А если опять мальчик? Родить и думать, что потом будет армия...

— Перестаньте! — сердито сказала Ольга. — Это уже психиатрия.

— Да. Я понимаю. Это у меня от Васи. Хотя что я говорю? У меня племянника привезли из Чечни без ног. Сестра стала старухой в три дня. Девушка бросила. Приятели не ходят. Стесняются своих живых ног. Жизнь у сестры кончилась. Понимаете? Никому они не нужны...

— Все никому не нужны, — прошептала Ольга.

«А он молотил мне про ее слабое здоровье. Что едва родила сына... А она возьми и роди дочь... И еще родит... Но другому... или третьему? Все друг друга дурят. Все», — думала Ольга.

Она приехала ко мне. С видеокамерой и в этой несуразной шляпе, сотворенной как бы в насмешку над всей нашей жизнью. Шляпа отваливалась от головы, существуя независимо, в реальности без безногих мальчиков войны, без маленьких девочек, братьев которых спасают каким-то причудливым методом — «методом карлицы».

Ольга грубо повесила шляпу на крючок, как какую-нибудь полотняную панаму, бесценную на прополке картофеля. Потом она забыла ее, а я, после ухода обнаружив, долго не знала, куда ее деть. Конечно, я ее примеряла. Идиотка. В домашнем платье, которое когда-то было для работы, а потом долго лежало как ничто, оно вернулось уже в кухню, старорежимное трикотажное платье, купленное в Марьинском универмаге. Хорош был этот мой видок в утратившем все свои ценные свойства платье и сегодняшней шляпе. Я тут же сбросила ее, но потом надевала снова и снова, я их примиряла друг с другом, эти разные куски жизни. И пусть шляпа не моя, она ведь не случайно осталась на моем крючке.

Вчерашний день съели пожиратели времени лонгольеры, пришли и щелкнули зубами. Вполне можно поплакать... Но потом, вытерев слезы, обязательно надо примерить шляпу. Хотя если не можешь — не примеряй. Но главное — не плачь! Вчерашнего дня нет. А завтра не будет сегодняшнего. Крошечное сейчас. Такая почти математически точная и такая не наденешь на голову философия. Возможно, у нее есть имя...

Безвременная, в смысле вечно существующая, фантомная боль страны без ног, без рук и с одной-единственной памятью — памятью боли?

Вот и Ольга. Она отмеряла три недели назад. Она полезла в календарь. Ну да... Это был вторник, когда в Москву прилетел Василий. Интересно, что она тогда делала?

Она слегка запаршивела в те дни, которые проживала как бы назад. Вот она, к примеру, в пятницу две недели тому. Была целый день дома. Телефонный звонок, к которому она не успела подбежать, так долго звонил. А у нее как раз набухал кофе. Надо было дождаться, когда шапочка пены поднимется над краешком кофейника, чтоб успеть приподнять его над огнем. Ну да... ну да... А телефон все звонил и звонил. А еще был вечер среды. Они с Кулибиным смотрели детектив, и тоже был звонок, Кулибин со словами: «Надо было отключить», — поднял трубку, но спрашивали кого-то другого, Кулибин со злости так рванул шнур из розетки, что оторвал штгпсель. У них два дня телефон работал «на живую», к ним было не дозвониться. И еще, и еще... Ольга представляла Василия в телефонной будке, как он стучит по аппарату кулаком. Потом пришла мысль: а где он ночевал? Не у бывшей же жены... Кто у него здесь есть? Она решила, что надо это узнать, и даже собралась ехать к ситцевой женщине, как вдруг поняла всю свою дурь... И то, что она перебирает дни, и то, что воображает телефонные будки... Какая чушь! Ничего не было... Ни-че-го... Он приехал за сыном, и он его забрал, психопат несчастный! Она откупила бы мальчика без проблем за эту же несчастную видеокамеру. Она бы такую нарисовала ему болезнь, что мало не показалось бы, приди любые времена. В России надо уметь жить со всякими временами. Такая мы страна, такой мы народ. Но живем же, все по-своему, но и все вместе. И ничего нам не страшно, потому что самое страшное мы заранее переживаем в голове, там у нас такие ужасы! Зато когда приходят настоящие, ты уже их не боишься. Тебе в твоём внутреннем кино и не такое показывали.

Короче, куда Ольга не поехала, а тяжело вздохнула и стала внимательно рассматривать себя в зеркале. Тут-то она и увидела запаршивость, ругнула себя последними словами, почти час лежала с питательной маской на лице... Тихое бессмысленное лежание. Мысли приходят секундные и очень простые.

...вот возьмет и кончится бизнес у Манькиного мужа... И что? Он половину слов ударяет неправильно...

...у Галины Вишневской такими тяжелыми были детство и юность... Кто бы мог подумать... Выглядит на сорок...

...если Кулибин остается, надо бы устроить перестановку... И купить ему наконец пальто. Сколько можно таскать куртки?..

...видеокамеру надо будет отвезти в Польшу... И вообще туда поехать. Хочу в Краков!..

...ей говорили, что после операции может нарушиться менструальный цикл... Ни хрена... Это теперь называют критическими днями... Идиоты...

...говорят, хорошо в Финляндии... Но все дорого... Мартти Ларни, «Четвертый позвонок». Думали, сатира...

...Кулибин суетится с «неграми». Он считает, что это как комсомольская работа...

Лицо стянуто, особенно это чувствуется у щели рта. Губы пульсировали, они одни жили на лице с маской, которая ничем, ни капелюшечки не отличалась от посмертной. Только губы продолжали набрякать почти сексуально.

А потом Ольга ударилась во все тяжкие.

Я позвонила ей и напомнила о шляпе.

— Выбрось ее, — сказала она. — Нельзя оставлять у себя следы собственного поражения. Или носи на здоровье. На тебя мое горе не перейдет. Это вот Маньке я бы не отдала.

— Продай ее. Она же дорогушая.

— Вот ты и продай, я к ней даже прикасаться не хочу.

Сейчас в шляпе ходит Оксана Срачица. Она как ее надела, так и забыла снять. С балкона я вижу, как она идет по улице, и шляпа прикрывает их, ее и смуглявого спутника. С балкона это смешно, а при встрече — нет. У Оксаны природное, генетическое чувство красоты. Она победила шляпу каким-то неуловимым изломом ее полей, легкой сбитостью набок, закрученной на ухе косою, такой всегда затылочной, а тут выставленной в пандан шляпе, которая тут же ступевалась перед косою и стала самой собой. Шляпой. Как-то очень к лицу шляпы оказался и Оксанин кавказец. Он всем своим видом восхищался женщиной, с которой шел, и выяснилось, что именно это было главным в истории про шляпу, косу и Оксану.

Глупости я думала, размышляя о времени вчерашнем и завтрашнем. Все не так, и все не то.

Я молю Бога о милости — малости.

Вон идет многодетная Оксана с многодетным чужим мужем. Где-то в Германии ее муж греет бок дебелий немке. И я так страстно хочу, чтобы муж этой немки нашел на этой земле жену и детей Оксаниного кавалера. Только так мы победим тех, кто убивает нас и разделяет. Мы будем создавать неразрывные кольца, несмотря на все проклятые войны, и назло будем носить шляпы, которые нам к лицу во все времена.

А Ольга ударилась во все тяжкие, потому что просто выпала из кольца жизни.

ГРИША НЕЙМАН

Он возник с подачи Ванды. Позвонила и просила пустить на пару дней хорошего дядьку. Ростовского «челнока».

— Это как же у вас нет машины? — первое, что он спросил.

Потом он спросил: «Это как же у вас нет своего таксиста?» и «...как же нет маленькой квартиры под склад?».

Ольга засмеялась и сказала, что всегда так жила, так живет и собирается жить дальше.

— Вы много на этом теряете, — сказал Гриша.

Он очень долго был в ванной, так долго, что вызвал у Ольги возмущение, хорошо, что хоть издавал звуки бурной жизнедеятельности в воде, иначе пришлось бы стучать — мало ли что?

Вышел он в кулибинском халате, хотя никто ему этого не позволял.

— Я надел, — как о решенном сказал Гриша, идя прямо к столу, как будто мог быть другой путь. Он жадно стал есть курицу, которую Ольга уже три раза разогревала.

В общем, надо было уйти, чтоб не раздражаться громкостью поглощения пищи и легким постаныванием от высасывания косточек. Ольга предусмотрительно положила на стол нормальные матерчатые салфетки и была потрясена, когда Гриша сладострастно обтер масляные пальцы прямо о халат.

— Салфетка же! — закричала она.

— Спасибо, — сказал он. — Уже не надо.

Он засмеялся, видя ее растеряннo-гневное лицо.

— Я такой и дома, — сказал он. — Жена стесняется выпускать меня в люди. Такие все мелочи... Женщины вообще существа мелочные... Вы тоже... Но и я хорош... Расслабился... Ванна... Курица... Вы оставьте мне ее на ужин... Потом плесните на нее кипятком, дайте загореться и ничего больше... Конечно, если еще ложка сметаны... Вот видите! Я уже хочу ужинать... А я еще только обедаю.

— Ну так доедайте, — раздраженно сказала Ольга.

— Но у вас же еще кофе? И вы купили бублики... Дайте мне масла на них, а курица останется на ужин. Я буду ждать ее нетерпеливо.

Ольга поставила масло, кофейник и ушла в спальню. Там она посидела, задерживая выдох по системе Бутейко, чтоб накопить в себе углекислый газ. Выясняется с течением времени, что он нам — газ — самый нужный и каким-то боком мы как бы тоже цветы в этой жизни. Она пустила этого гостя к себе только ради Ванды. Значит, надо стерпеть.

Он появился в дверях спальни, довольный, сияющий.

— Квартира у вас ничего... Для одного человека.

И тут только Ольга поняла, что Ванда не в курсе того, что Кулибин вернулся. Последний раз они виделись в Варшаве. Ольга тогда вся была настроена на Париж. Когда же ехала обратно, не хотела даже звонить с вокзала, но в последнюю минуту все-таки набрала номер, и ей повезло: попала на автоответчик. Сказала бодро, что возвращается, что съездила в общем и целом ничего. Но что Варшава не хуже. Больше ничего Ванда об Ольге не знала, поэтому Гришу Неймана она отправила к одинокой женщине. Тогда можно вполне вообразить: Гриша представил себе мужской халат как вещь ничейную. Или всеобщую.

Тут и позвонил Кулибин. Он сказал, что зять попросил его съездить с ним на растаможку.

— Это дело может быть долгим, но ты не волнуйся. Он меня привезет. Мужик появился?

— Очень даже, — ответила Ольга.

— Понял, — засмеялся Кулибин. — Отправь его в Мавзолей или куда еще...

— Так и сделаю, — ответила Ольга.

— Пойдете в город? — спросила она Гришу.

— Да вы что? — закричал он. — Скажете еще — в Мавзолей...

Ольга внимательно посмотрела на гостя. Слышать слова Кулибина он не мог, но «на волне» они оказались одной.

— А я как раз хотела вас туда отправить. Вдруг захоронят вождя, будете потом жалеть...

— Я в нем был пять раз, — ответил Гриша. — Его что? Переодели в новый костюм? Версаче или Труссарди?

— Теперь уже можно так шутить, — сказала Ольга.

— Так слава же Богу! — ответил Гриша.

Он рассказал о своей жене-казачке, которая не хочет уезжать в Израиль.

— Станичники меня просто прибьют, если что... Хорошие все люди, но за свое держатся ой-ёй-ёй. А их свое — это значит не мое. Сыну уже подарили шашку, форму, дед над ним квохчет, как та дура в перьях. Один у него внук, а остальные девчонки. Я люблю сватов, хоть они в глубине души антисемиты... Но меня допустили... Ничего плохого не скажу... Я у них как еврей при губернаторе. Я ихний Березовский. Ничего, да? Сам я, как и полагается, инженер... Жена — учительница музыки. Флейтистка. Один ученик за три года. Казачонку моему кроме шашки, как понимаете, и попить, и поесть надо, чтоб потом было чем покакать. Вот и мотаюсь. Ванду я знаю давно. Она училась с моей сестрой в Ростовском университете.

— Странно, — сказала Ольга. — Я не знала этого. — Ей даже стало не по себе: никогда Ванда не говорила ей про университет в России. То, что она

хорошо знала русский, объясняла тем, что во время войны пришлось спастись вместе с русской семьей. Но про университет! Ни слова.

«Полячка стеснялась ненужного образования, — думала Ольга. — А инженер вот не стесняется. Чешет все, как есть».

Вот так, на ровном, можно сказать, месте, возникла у них родственность.

— Сестра моя, — продолжал Гриша, — профессор в Иерусалимском университете. Они там изучают славянскую литературу. Ванде это — нож в самое сердце. У них когда-то была одна тема, одни интересы. А где Ванда, где сестра?

— Ванда, между прочим, в Варшаве, и с ней все в порядке, — почему-то рассердилась Ольга.

— Да! Да! — ответил Гриша. — Как будто можно высоко вырасти с мечтой про купить-продать. Жена моя училась флейте, а я мечтал использовать шахтерский терриконовый ландшафт для строительства города цветов. Я мечтал оживить мертвые горы. Надо иметь мечту. Иначе не вырастешь вообще.

— Мы на своих мечтах и подорвались, как на mine, — ответила Ольга. — Выяснилось элементарное. Хлеб надо зарабатывать трудом. И не трудом во имя некоего блага, которого нет вообще, а именно трудом для хлеба.

— Не унижайте так низко труд! — закричал Гриша. — И для масла тоже! Они потом много смеялись, вспоминая политэкономия, диамат, получалось — вспоминали молодость...

Разгорячились, развеселились. Ольга предложила еще выпить кофе, достала бутылку коньяка.

— А сразу пожалели! — закричал Гриша. — Ну что за женщины! Что за женщины! Почему вас обязательно надо заворачивать в слова?

Когда она проходила мимо, неся чашки в мойку, он положил ей руку на живот. Положи он ей руку на талию, на бедро, даже на попу, она просто бы отступила. Но это было так горячо и сразу, что она не заметила, как слегка согнулась, сжалась, будто обнимая в ответ его ладонь.

— Ты классная! — сказал Гриша. — Такое свинство, что ты одна.

Он нес ее на руках, а она объясняла ему, что не одна, что сошлась с мужем, вернее, не так, просто она заболела... Господи! Кому нужны были эти пояснения!

Потом они снова смеялись, мол, вдруг бы пришел Кулибин, который ни на какую растаможку не попал...

— Я до сих пор не знаю, что лучше: что он есть или чтоб его не было, — сказала Ольга.

— Нет вопроса, — быстро ответил Гриша. — Хорошо, что есть... Мужчины в доме делает климат.

— Не правило, не правило! — смеялась Ольга. И он снова клал ей руку на живот...

— Ты ходок? — спросила Ольга, разглядывая рыжие и сытые глаза Гриши.

— По-маленькому, — отвечал он. — Только когда меня завоевывают.

— Я тебя завоевывала? — кричала Ольга. — Да я ненавидела тебя. Как ты жрал! Как ты вытирал пальцы! Фу! Вспомнить противно!

— Мы пошли с тобой по самому короткому пути. От ненависти до любви.

— Ты меня ненавидел?!

— Я хитрый жид, — смеялся Гриша. — Я тебя раззадорил.

Он уезжал поздним вечером. Кулибин еще не вернулся. Они долго стояли обнявшись в коридоре.

— Приезжай еще, — просто сказала Ольга. — Я так давно не смеялась.

Он прижал ее к себе. Потом она думала о том, что мальчиков в России много. Один уже уехал «ценой карлицы», зато другому, наоборот, купили пашку, а его мама играет на флейте, и ей хоть бы хны... «Вот про хны я как

раз ничего и не знаю», — остановила себя Ольга, а тут как раз вернулся Кулибин, грязный, усталый, полез в ванну, вернулся и сказал:

— Халат мой почему-то воняет рыбой...

— Какой еще рыбой? — возмутилась Ольга. — Рыбы и близко в доме нет!

— Значит, это у меня в носу, — сказал Кулибин. — Такого на таможене не рассмотрелся. Где-то у нас был коньяк? Налей полста...

Налила, подала, смотрела... Кулибин дышал носом, жуя известную историю курицу, жевал очень громко. Это у нее уже сегодня было.

«Сейчас скажу, чтоб Кулибин уезжал... Прямо сейчас... — думала Ольга. — Он мне не *климат*».

Она вошла в кухню и встала в дверях. Очень хорошо видела себя со стороны. «Женщина в дверной раме. Портрет неизвестного художника» Так она думала об этом моменте. И с юмором, но и как о некоем художественно завершенном произведении. Напряглась для прыжка-слова.

Но сказал Кулибин.

— Знаешь, — сказал он. — Ты меня не выдавай. Маня почему-то не хочет, чтоб ты знала. Она беременная... Дела у них хреновые в смысле денег. Я боюсь, как бы она на аборт не пошла.

Как это выглядело со стороны? Сначала упала, рассыпалась рама картины, потом в ней, Ольге, сломалась поза, то есть все полетело к чертовой матери: рука пальцами в кармане, угол локтя, этот гонористый подбородок, который торчал вверх... Все это рухнуло вниз, таща за собой примкнувшие к подбородку скулы, надбровные дуги, пространство лба. «Головка ее склонилась на тонкой шее» — вот какая теперь была картина, а всего ничего — прошла минута.

Кулибин же думал: *зло хороших денег* в том, что оно вышибает у людей память о возможности жить на деньги обыкновенные.

— Жили же! — говорил Кулибин. — А тут у них такие претензии. Рожать в Лондоне. Ты рожала в Лондоне? Но какая-то Манькина одноклассница рожала именно там. Вот и наши туда же. Если не в Лондоне, то нигде. Понимаешь? Я нет. Я говорю: да я сам у тебя приму дитя! По-чистому приму, я к тому времени выучу, как и что... Это в смысле избежания стафилококка. Опять же... Понимаешь, мать... Я лично считаю, что надо нам поменяться квартирами. У нашей дуры еще и этот заскок. Рожать в тесноту она не хочет. Пожалуй, тут я с ней согласен. Я как вспомню это великое перенаселение народов в коммуналках... Да ты сама жила... Давай ты им предложи обмен, как бы от себя... Маня тогда точно тебе признается и глупостей не наделает... А я бы эту квартирку отремонтировал им лучше всякого европейского. Ё-мое! Жизнь, считай, прошла, раз пошли внуки. Но вот штука! Не жалко жизни... Как-то даже радостно.

Кулибин Ольгу не видел. Он рассказывал всю эту историю газовой плитке или холодильнику, и хотя в его словах содержалось обращение к Ольге, она понимала, что ее участие в разговоре, в сущности, и необязательно: все решено без нее, Кулибину доверена тайна, с ним как бы все обговорено, а она... Она просто мимо шла... Это состояние «вне игры» было сильнее главной новости. Ее, гордую женщину, не просто выпихнули из рамы картины, не просто предлагают съехать и с квартиры, Кулибин — добрый человек! — почти нежно подталкивал ее к обрыву жизни и — сволочь такая! — предлагал радоваться завершению, так сказать, биологического цикла.

— Налей, — сказала она Кулибину, протягивая чашку.

— Чайник холодный, — ответил Кулибин.

— Коньяку, идиот, — закричала Ольга. — Господи! Коньяку!

Она выпила его залпом. Почему-то сразу отяжелели ноги.

Вторую порцию она налила себе сама, Кулибин ходил в туалет, и у нее загорелось в животе. В том самом месте, куда Гриша клал свою ладонь. Она

потянулась к бутылке во второй раз (для Кулибина в первый), но он убрал коньяк.

— Успокойся, — сказал он, — тебе больше не надо.

Ольга понимала: не надо. Выпитое не добралось до головы, оно разжигало ее снизу, и ей это было неприятно. Будь это всепоглощающее желание, куда ни шло. Мужчина — вот он, какой-никакой... В наличии. Но это не было желанием. Плоть горела без желания, а голова была бессильна мыслью.

— Ощущение дури и слабости, — рассказывала она мне потом. — Бесчувственный мешок сердца вполне прилично разгонял во мне кровь. И еще я думала, что никого не люблю достаточно сильно. И мне все — все равно. Можете перевозить меня куда хотите. Можете оставить. Ужас безразличия.

Кулибин принес коробку с лекарствами и стал в ней рыться.

— Скажи — что, я отвечу — где, — сказала Ольга.

— Нашел, — ответил Кулибин. — На, выпей. Успокойся.

Значит, он рылся не для себя, для нее. Лениво захотелось швырнуть таблетку в помойку, в лицо Кулибину, в форточку. Маленький дебош вполне годился бы к моменту. Но для этого как минимум надо было бы помахать руками. Сил же не было. Ольга выпила таблетки. Кулибин обнял ее и отвел в спальню. Она уткнулась в подушку, столкнув с места притаившийся в складке запах Гриши. «Жидовская твоя морда, — вяло думала Ольга. — Зачем отдал мальчика казакам? На флейте она у тебя играет, дура! А сыну дарят шашку... Ей не на флейте надо чирикать, ей надо стучать по барабану... Хотя какое мне дело? Пусть делают что хотят... Все по фигу!»

Кулибин укрыл ее стареньким детским заячьим пальтецом. Им они укрывали Маньку, когда та хворала. Девочка цеплялась пальчиками за ласковый мех и всегда хорошо засыпала.

Какая-то натянутая струна в Ольге не выдержала и тоненько, деликатно лопнула. Ольга почувствовала, как именно в это место устремилась боль и вышла через щель, оставленную струной.

Она проснулась. Кулибин спал крепко и тихо. Она даже тронула его рукой — теплый. Сходила куда надо, вернулась, сна ни в одном глазу. «Ну и пусть рождает, это нормально... Я порадуюсь. Помогу. Все путем, все как у людей».

Правильные мысли или, скажем, первые мысли... Но в том-то и дело, что тут же выпархивали и вторые, и третьи... Например, что ей делать с планом устройства собственной жизни, жизни без Кулибина, с поисками главного в ней, потому что то, что было, — это как бы закончившийся репетиционный процесс. Только сейчас она готова к сольному концерту, сейчас она все знает и может, и Манька это поймет, она не приставит, не посмеет приставить ее к пеленкам... Хотя, Господи, какие пеленки? Теперь и понятия такого нет... Значит, и говорить не о чем... Но разве она сейчас думает о дочери? Она о том, что в план жизни надо внести коррективы. Вот рядом спит Кулибин, спит крепко, и ему вряд ли снятся утюги... Кто-то ей сказал, она тогда была еще молодая, что утюг во сне — грех на совести. Правда, речь шла о тех, старых, утюгах, которые разогревали на огне и к которым имели прихватки. Ей же снились электрические, советские, тяжелые и ценные именно этим. Что есть грех в ее жизни? То, что она лежит сейчас в одной постели с Кулибиным, или то, что она хочет его из нее изгнать? Но как можно решиться сейчас все менять, когда Манька в положении? Тогда эта дура точно возьмет и изведет дитя. И у нее потом начнется непроходимость труб, это то, что у Ольги случилось после родового воспаления. Но она отказалась лечиться, потому что благодаря непроходимости не беременела. Знакомая гинеколог сказала ей тогда, что «она дождется», что все нелеченое «на старости лет взбрыкивает». Слава Богу, у нее все в порядке, но ведь еще и не старость... Но почему-то тогда не страшно было за себя, а сейчас за Маньку

страшно, не надо ей больных труб, чтоб она у меня была здоровенькая и крепенькая, она у меня одна, хотя, конечно, и я у себя одна, но я баба могучая, я еще той закалки, когда сначала было очень страшно, а потом привыкли, а потом уже не страшно ничего, потому что пугать уже и нечем... Сталин был... Чернобыль был... Чечня опять же... «Вы не пробовали их дустом?» Это такой анекдот детства. А нынешние выросли нежными. Деньги у них — доллары, родильный дом — Лондон, утюги — «Мулинекс», чайники — «Тефаль». Прокладок развели, как грязи. И все с крылышками, крылышками. Ангелы вы наши!

Хорошие люди умирают. А супостаты их блямкают на митингах. И черт им брат.

Она сказала мне, что снова уезжает в Тарасовку. Кулибин будет ремонтировать квартиру, взял в помощники украинца Сэмэна, а может, наоборот, это Кулибин у украинца будет в помощниках. Не важно. Главное — вдвоем быстрее и дешевле.

Кулибин прочистил в Тарасовке печку и трубу, и теперь Ольга жила при живом, веселом огне. На все ремонтные дела живых денег не было, пришлось продать старинный серебряный портсигар и шесть столовых ложек из двенадцати.

ИВАН ДРОЗДОВ

...был художником и, что называется, городским сумасшедшим. Глядя на березу, он рисовал рейхстаг, а кусты бузины вызывали к жизни руссковатого Христа где-нибудь в степи под Херсоном. Ольга часто гуляла в его сторону, в конце концов когда-то пришлось сказать «здравствуйте».

Он был приветлив и мил. Назвался Иваном Дроздовым, что Ольга уже знала, как знала и то, что он время от времени попадает в больницу, но, в общем, человек тихий и, можно сказать, хороший. И если б не рисовал не то, что видел, то никто бы ничего не заметил. Но Иван Дроздов был человеком публичных действий. И мог нагло нарисовать вместо дитя в коляске консервную банку, что, естественно, понравиться никому не может.

— Я вас нарисую, — сказал Иван, глядя на Ольгу. — Вы сильный образ.

— Ни-за-что! — засмеялась Ольга. — Знаю я вас!

— А! — ответил Дроздов. — Боитесь. Из вас идет эманация топи.

— Скажите, — спросила Ольга, — а может эманация топи идти из самой топи?

— В России нет, — ответил Дроздов. — Здесь все не то, что есть и кажется. Здесь во всем подмена. Мы все живем с чужими сущностями. Поэтому ничего и не можем понять...

— А я-то, — засмеялась Ольга, — думала о себе хорошо. Оказывается, топь, гадость такая...

— Кто вам сказал? Топь так же прекрасна, как Бештау, но имейте в виду, что Бештау вовсе не Бештау... Просто я объясняюсь вашим глупым языком.

Выяснилось, что говорить с Иваном Дроздовым интересно. Никогда не угадаешь ответа на самый простой вопрос.

— Иван, слышали? Сегодня утром электричка сбила человека! — Это она ему днем, дойдя до его места, где он, глядя на каменный дом какого-то генерала, рисовал старые руки, держащие сито. — Такой ужас!

— Успокойтесь! — отвечал Иван. — Здесь электрички не ходят. И человек этот никогда не был им.

Ну что тут скажешь?

Однажды она помогла Ивану нести мольберт, потому что какая-то бабка принесла и поставила у ног Ивана банку с огурцами, толстыми и неаппетитными на вид.

— Отнесешь сестре, — сказала она ему.

Иван нес банку бережно, как живую, а Ольге достался мольберт.

Он жил в теплой пристройке к большому аляповатому дому. Сестра его вышла на крыльцо, и Ольга ей сказала, что помогла Ивану донести вещи.

— Не делайте так никогда, — тихо сказала сестра. — Он мужчина неразбуженный. И нам это ни к чему... Молодых я гоню просто палкой, а вы женщина немолодая — я вам говорю словом.

Ольга почему-то испугалась и просто бежала со двора, дома спросила у кулибинской сестры, а сколько лет этому блаженному Ивану.

— Точно не скажу, но лет сорок пять — сорок семь... Сталин был еще живой. Мы почему это помним? Когда он умер, отец Ивана стал танцевать прямо на улице и дотанцевался до инфаркта. И я тебе скажу, инфаркт этот был им как подарок, потому что посадили бы как пить дать... А родня его быстренько доставила в больницу, где он и отдал Богу душу. Ивану тогда было года два...

С тех пор Ольга не ходила туда, где рисовал Иван Дроздов, но думала о нем почему-то много. И больше всего о том, что он *неразбуженный*. Это были плохие, стыдные мысли.

Прижавшись к штaketнику, она наблюдала, как большой и сильный мужчина время от времени нелепо и резко «баламутил» руками, будто отгонял от себя то пространство земли и воздуха, которые ему негодились для жизни. Так, может, такого и надо *разбудить*? Простое святое дело?

Ольга зажмурилась, видя свой грех от начала и до конца, она не знала, что так может быть — мысленно, у чужого забора, за притвором век. Когда раскрыла глаза, то увидела лицо Ивана. Это было лицо идиота. Пришлось почти бежать. Потом уже легко представила, как по утрам (или вечерам?) сестра приносит брату таблетки «для его здоровья», как покорно он их запивает водой из алюминиевой кружки со звеном цепи на ручке. Все существовало в одном месиве: танцующий на улице сталинский мужик и сын его, выросший видеть не то, что видят все, и эта гремящая кружка. Цепь... Ну что тут поделаешь? И еще банка с огурцами, отвратительными с виду, которую Иван нес, как сокровище.

Что на самом деле была эта банка? Какую она скрывала сущность?

— Я, например, топь, — сказала Ольга, глядя на себя в зеркало. — Сама в себе вязну. И это не есть полезно. Надо с этим кончать.

На следующий день она снялась с места. Дома нашла ремонт в самом что ни есть кризисном положении, когда разрушено все бывшее, стоявшее и державшее, а на новое как бы уже и сил не осталось. Украинец, правда, суетился, прикладывая к стене то те, то другие обои, а Кулибин просто рассыпался на составные: выглядел плохо, беспрерывно сосал валидол и откашливался нехорошим, «сердечным» кашлем.

Ольга вздохнула и отстранила его от работы.

— Езжай в Тарасовку, — сказала она, — отдышись.

Он сопротивлялся вяло, виновато. Ольга настояла на своем, потому что украинец пообещал взять в дело земляка, который быстрый, который раз-раз...

СЭМЭН-УКРАИНЕЦ

Он складывал деньги в разные кучки: сотня к сотне, тысяча к тысяче. Это были высокие кучки. Низко, приземисто лежали «полстатычки» и «стотычки». Так он их называл. Ему нравилось «читать гроши».

— Я добрию, — говорил Сэмэн. — На душе робится тыхо.

К ночи Ольга перенесла матрац, на котором рядом с Сэмэном спал Кулибин, в спальню. Дело в том, что мужчины поставили в ноги на табуретку телевизор и смотрели его с полу вместе. Лишать наемного рабочего удоволь-

ствия Ольга не считала правильным, но именно в этот день шел фильм, который она очень любила. «Осенний марафон». В этом фильме она «перебывала» всеми: женой, любовницей, подругой по работе, дочерью, она перебывала даже мужчинами. Очень нравился швед, не умеющий попасть в десятку нашей жизни, хотя кто это умеет? Обожала Леонова в чужой куртке, с его знаменитым «хорошо сидим». Но главное... Главное, в фильме был мужчина, которого играл Басилашвили. Его Ольга люто ненавидела. Она просто упивалась этой ненавистью, смотря фильм бесконечно и получая от этой ненависти полное наслаждение. Кайф... Хотя если разобраться... Если ты получаешь наслаждение от ненависти... То что такое любовь? Не перепутаны ли их сущности? Или сами слова — тьфу?

Ольга попросила Сэмэна поставить для нее кресло.

— Извини, — сказала она, — но я на этом фильме оттягиваюсь.

— Розумию, — ответил Сэмэн. — Хорошо тоди було житы. Можно було не робыть. И бабы были добри, за це дило не бра́лы гроши.

Так он сказал, украинец, укладываясь на матрац у Ольгиных ног.

...Уже шла музыка, уже они бежали — швед и русский, а эта сволочь вneider в голову свою дурацкую мысль, и она червем вгрызалась в мозги, искала место, где поселиться окончательно.

Фильм был испорчен. Осталось ощущение тоски от ушедшей радости. Все раздражало, все! В каждом слове чувствовалась фальшь, все были не там и не теми.

— Фу! — сказала Ольга, резко вставая. — Вы мне испортили весь фильм.

— Я? — не понял Сэмэн. — А шо я такэ казав?

— Да ладно вам, досматривайте, если хотите. А я пойду спать. Но скажу вам... Может, вы и не работали, а я так всю жизнь не разгибалась.

— Лягайте со мной, — добродушно сказал Сэмэн. — Я буду вас прикрывать своим тилом, а на мэни буде аж два одеяла.

Ольга засмеялась и как бы в шутку толкнула его ногой. Он ее поймал, ногу. Жесткие пальцы стали мять ей стопу, а она глупо стояла цаплей. Вырвавшись, она сказала... Господи, какую чепуху она сказала! Она сказала, что она «женщина дорогая... И вообще не по этому делу...».

— Якшо вы, — сказал украинец, — не по цему дилу, то звидкиля вы знаете, шо вы дорога? Це вам тилькы кажется, це вы носытэ таку мысль...

— Дешевая, что ли? — засмеялась Ольга. — Ну и хам же вы!

— Чого ж дэшэва? — ответил Сэмэн. — Вы женщина бэсплатна. Вы тики за лябовь.

«Ты дурак, украинец, — думала она уже потом, засыпая. — Даже не за лябовь. Вот оказывается за что... За так...»

Все время хотелось ударить побольнее. Уязвить. Унизить. Очень продуктивная среда для совместного проживания в процессе ремонта.

— Скажи, — спросила она его. Узенький серпик луны подрагивал и зяб в рваных, ополоумевших от бега облаках. Откуда он, небесный, мог знать, что должен был стать тем самым серпом, что по яйцам? — Скажи, почему именно вашего брата украинца так много было в полициях? Так много среди сверхсрочников? Что это у вас за призвание?

Он напрягся рядом, но молчал.

— Вы холопы. Прислужники. Вас немцы ставили у печей... Именно вас...

— Я б и зараз встав, колы б тэбэ туды повэлы... — тихо ответил Сэмэн.

— Исчерпывающе, — засмеялась Ольга.

— У москалив од вику така гра. Щитать катов у других народив. Своих бы перепысали. Бумагы не хватэ.

— Что значит — считать котов?

— Кат — це палач. Ничого ты, баба, нэ знаешь. Ты, баба, дура... Ты вэлыка дура, баба... Спы мовчкы...

Слово было исковеркано самым стыдным образом. Слово было изнасиловано изувером, и Ольга вдруг поняла, что никогда больше она не сможет услышать так, как раньше, что это наглое, с раскрытой пастью «я» уже встало впереди всей азбуки и корячится, и крючится, находясь в Радости Первого Лица и насильника тоже...

— Ты со всеми хозяйками спишь, когда делаешь ремонт? — спросила она его как-то.

— Як повезэ...

— Со мной, значит, повезло?

— Ты мэни нравишься, — серьезно ответил он. — Я бы на тоби женился.

— Мне благодарить? — засмеялась Ольга.

Почему-то стало приятно. Ненужный человек сказал ненужные слова, а на душе потеплело. А то хотел в печь! Но и она тоже... Хороша... Каждый народ наполовину черен. Ни больше... Ни меньше...

Она никогда не спрашивала его о семье. Теперь спросила. Он разведен. Остался хлопчик. У бывшей жены от родителей есть все: и дом в Полтаве, и машина, и садовый участок.

— Мужиков у неи, как алмазив в каменных пещерах. Вона у меня видная, ноги выше головы. Чого разошлись? От цего...

Ольга почувствовала жаркую черноту чужой трагедии, ей захотелось сказать что-нибудь в утешение. Но вылезла банальность про время, это кругом несчастное понятие, на которое и без нее свалено столько всего.

— Извини, что сказала глупость. Но так трудно бывает удержаться.

— Це правда. Про врэмя, — ответил Сэмэн. — Врэмя можно подэлыты на всих людей, тоди получается маленькая цифирка, и тоди мы як бы ничего... А колы умножить... Время на людей — тоди таке число, що пид ним хряснешь. Зараз таке. Помножене на усих зразу.

«Это что-то очень специфически украинское, — подумала Ольга. — Что делить? Что множить?»

Но, видимо, Сэмэн и появился в ее жизни, чтоб портить слова и прикладывать к жизни глупую арифметику.

Потом приехал Кулибин и сразу стал звонить Маньке, выспрашивал, какие у нее анализы, кричал, что надо повышать гемоглобин. Ольга была смущена и обескуражена такой степенью заботы. Она сама только спрашивала дочь: «Все нормально?» — «Нормально», — но чтоб узнавать цифры! Потом Кулибин сказал: всем из квартиры надо уйти, чтоб хорошо проветрилось, иначе «сдохнем, как тараканы». Стали собираться кто куда, а Кулибин возьми и скажи:

— Да! Совсем забыл. Такая история. Художник твой повесился.

— Какой художник? — не поняла Ольга.

— Тарасовский. А картины свои гениальные принес тебе. Сказал, что не знает твоего имени и отчества, чтоб составить завещание, поэтому наследство привез в детской коляске. Я посмотрел, по-моему, это халтура в чистом виде... Но прибежала его сестра, чтоб все забрать, мы не отдали. Он же сам привез!

— Господи! Да отдайте! — закричала Ольга. — Я с ним всего ничего, раз поговорила и помогла отнести мольберт. Отдайте — и думать нечего.

— А если он гений?

— Тем более отдайте!

— Ну-ну, — сказал Кулибин. — Ну-ну... Твои дела.

— Какая свинья? Ты видишь, какая свинья? — Это она спрашивала меня, когда пришла в тот же день на время «проветривания».

Свиньей она называла Кулибина, сто раз передразнивая это его «ну-ну»...

Я же думала, что Кулибин уже обо всем этом забыл напрочь, а именно Ольга побежит искать «кого-нибудь умного», чтоб глазом посмотрел на картинки, что это ее «отдайте!» — абсолютно незрелая эмоция, под ней сейчас барахтаются чувства сильные и страстные, и я противно так сказала, что да, конечно, надо отдать, кто она ему, но посоветовать родственникам оценить все, мало ли...

— Это уже их проблемы, — ответила Ольга.

Я ей не поверила.

— Сама поеду и отдам.

Она позвонила домой, трубку взял украинец.

— Скажи мужу, что я поехала в Тарасовку.

Видимо, он ей что-то сказал. Она вытаращила глаза:

— При чем тут ты?

— ...

— В школе все рисовали...

— ...

— Ну как хочешь... Встречаемся у расписания.

— Мой маляр — любитель искусств, — сказала она. — Хочет глянуть...

— Зачем же первому встречному? — спросила я.

— Знала бы ты...

Она рассказала, что жила с ним это время как старая жена со старым мужем... «Лет сорок вместе». И еще она мне сказала, что «любовь» теперь пишется «лябовь».

— Не знала? — сказала она. — Так знай.

«Дура, — подумала я, — какая она все-таки дура».

Но подумала и о том, что у слова есть энергетика разрушения. Тогда его лучше не употреблять, лучше совсем забыть.

Лябовь...

Лябо...

Ля...

Я тоже запомнила это слово навсегда. Потом даже решила, что ничего в нем страшного нет. В какой-нибудь русской губернии вполне могут так говорить. Вообразила себе деревню-брошенку. Легко, радостно побежало по ней слово. Ах, эта неприкосновенность, это целомудрие речи, уже порушенное, и иногда столь замечательно точно. Тут слышу: «Он такой цепур голдовый». Переспросила: «Это кто?» — «Ну, этот, что пальцы веером!» — «А! Как вы сказали?» — «Цепур голдовый. Да понятно же, понятно!.. Золотая цепь на шее там или еще где». — «На дубе том...» — добавила я. — «Ну, это уже грубость... Люди могут обидеться».

Я уже ляблю лябовь... Из далекой, придуманной мною деревеньки мне беззубо улыбаются бабки. «Ишо не то говорим, милка, ишо не то...»

Слово заслонило факты жизни. А они были таковы, что Ольга ехала с Сэмэном в Тарасовку.

Он сказал ей, что душой млеет в подмосковном лесе. Что он в нем как в материнской утробе.

Тепло, нежно, влажно.

— Поэт ты наш, — смеялась Ольга. — Я же про себя знаю другое. Я дитя бетона и асфальта. В лесу мне холодно, в степи мне жарко... Моря я боюсь... Горы меня подавляют... Мне нужна горячая вода с напором, теплый сортир, огонек газа в любую минуту. Телефон, телевизор...

Но Сэмэн ее не слушал, он смотрел в окно, а она только-только приготовилась сказать ему, что так же страстно, как лес, он любит грошики, но именно в лесу они как бы и без надобности. Ежики и елки — все бесплатные... Но смолчала. Как сказал этот щедрый на наследство Иван Дроздов? Мы не те, какие есть на самом деле. В нас во всех к чертовой матери перепутаны сущности...

«Ничего лично во мне не перепутано, — сказала себе Ольга. — Я проживаю свою собственную жизнь».

Тогда почему ей так тоскливо и хочется выпрыгнуть из электрички? А Сэмэн, наоборот, продолжает млеть, хотя чего млеть-то? Кругом грязь и спявший с ума дачник, рубящий лес налево и направо...

Приближалась Тарасовка.

Когда они подходили к дому, сестра Ивана Дроздова вывозила со двора груженую коляску под конвоем милиционера.

Увидев Ольгу, она благим матом стала на нее орать, и никому бы мало не показалось. «Проститутка» и «спекулянтка» — это были самые деликатные слова ее речи. Слова Ольги о том, что она приехала, чтоб все вернуть, просто нельзя было услышать.

— Вы! Полицай! — закричал Сэмэн милиционеру. — Остановьте бабу!

Теперь пришлось отвечать за полиция. И не было другого способа, как бежать в дом, где сестра Кулибина прикладывала к лицу мокрое полотенце. Она с ненавистью посмотрела на Ольгу и сказала, что всю жизнь жила с соседями в ладу, а теперь вот такой скандал...

— Не надо брать чужого, — зло ответила Ольга.

— Это же ты! Ты! — кричала сестра. — Он тебе привез свою мазню, я для тебя ее держала.

— Я же и виновата, — возмутилась Ольга, уходя со двора.

— Як казала моя бабуня, — засмеялся Сэмэн, — и на нашей вулицы собака насэрэ.

Но на станцию он идти отказался, сказал, что раз приехал — то приехал. Он сходит к этой тетке. «Глянуть надо...»

АЛЕКСЕЙ

Электрички в тот час отменялись одна за другой. Ольга замерзла, а когда поезд все-таки подошел, он был забит так, что она испугалась — не втиснется. Но ее хорошо примяли сзади, и она все-таки попала в тамбур, остропахнувший и горячий. Закружилась голова, и она подумала: «Не страшно. Тут я не упаду». Какое-то время ей даже казалось, что все-таки она теряет сознание, и в таком состоянии была протаскана в вагон, там, прижатая к стенке, она сумела даже ухватить глоток ветра из окна. В Мытищах ей повезло сесть, и она, уже сев, снова как бы потеряла сознание, но тоже страшно не было. Там, в сумерках мысли, она даже поговорила с Иваном Дроздовым, сказала ему, что о нем думает: надо же сообразить привезти ей картины, кто он ей, кто она ему? Он ей что-то объяснял, но в гаме людей она плохо его понимала и стеснялась, что его дурь (а что умного он может сказать?) могут слышать посторонние и будут удивляться, что такая вполне приличная дама имеет отношение к идиоту. Поэтому Ольга смущенно улыбалась налево и направо, показывая этим, что она отдает полный отчет в том, кто такой Иван Дроздов и где ему место.

В медпункте ей сунули в нос нашатырный спирт, голова стала ясной и легкой, было некоторое недоумение, как она сюда попала, но сразу все выяснилось: ее привел мужчина — «вот он!» — и она не первая сегодня, большой сбой в расписании и все такое.

Мужчина спросил, куда ей ехать.

— Посадите меня в такси, — попросила она и стала искать сумочку, но ее не было.

— У вас с собой ничего не было, — сказал мужчина.

Но она-то знала, что с ней была кожаная сумка с деньгами и ключами и с другой разной дребеденью. Ее втокнули в тамбур, и она держала сумку буквально на груди.

— Поверьте, — мужчина как бы оправдывался, — я внимательно посмотрел вокруг вас. Попутчики сказали, что вы сели ни с чем.

— Я вам верю. Тогда дайте мне телефонный жетон.

Кулибина не было. Значит, квартира все еще проветривается. Позвонила Маньке — занято.

— Поедемте ко мне, я тут рядом, — решительно сказал мужчина. — От меня дозвонитесь, и за вами приедут. Я зовусь Алексеем.

Они сели на трамвай и через десять минут были на Переяславке, а через двадцать она сидела в кресле довольно обшарпанной однокомнатки и ее поли чаем.

...Она вдруг четко вспомнила то свое состояние перед щелью между электричкой и платформой: ей ее не перешагнуть. Было не просто предчувствие падения, было само падение, иначе как бы она знала шершавость бетонной плиты, жар колес, разверстость земли, узость щели, которая по мере падения в нее пахла все время по-разному, и где-то глубоко-глубоко был сладко-пряный запах молозива, — Господи, она сто лет уже забыла это слово, а тут оно вернулось. Но в этот момент ее дернули за руку, и она переступила.

Она долго звонила. У дочери по-прежнему было занято. И дома никого. Была зла невероятно на всех. Хотя, как выяснилось потом, история была проста и забубенна. На телефонной линии, что к Маньке, произошла какая-то поруха.

Изгнавший всех из квартиры Кулибин забыл свои ключи дома. У Сэмэна ключей не было. Случилась эдакая забавная всеобщая потерянность.

То, что она осталась ночевать у первого попавшегося, то, что ее мозг оказался ленив и не придумал других вариантов, а даже как бы обрадовался возможности не думать, станет вопросом завтра. На тот же момент существование *нигде* было самое то.

— Знаешь, — скажет мне потом Ольга, — я поняла бомжей. Поняла неразборчивость их жизни. Тут так тут... Не тут, так там... Без разницы. Когда не надо выбирать, снимается почти вся тревога... Свобода выбора? Не морочь мне голову. Это изыск! Это рюшик! И головная боль... Счастье не в выборе. В его отсутствии.

Боже! Как я на нее кричала своим сохнувшим от нервности горлом, как я ее уличала! А она хотела от меня сочувствия. Ничего больше.

Кулибин же, несколько раз выходявший к автомату, решил, что Ольга у кого-то из знакомых, а может, вообще осталась в Тарасовке. Он подумал, что, не дозвонившись до Маньки, она сообразит позвонить в службу ремонта и успокоится. Ольга же решила, что Кулибин трясется над беременной дочерью и ему неохота возвращаться в дух ремонта. Конечно, был Сэмэн, который вернется... Ну так пойдет куда-нибудь, жил же он где-то до них...

Лежа в чужом доме, на чужой простыне, Ольга думала, что двадцать лет тому назад такое было невозможно просто по определению. Десять лет тому назад она бы сто раз подумала. Последнее время с ней только так и случается. Даже если свои простыни, то мужчины на них совсем чужие.

«Я свободна от общественного мнения, — думала о себе Ольга. — Из меня вырезали орган, который отвечал за это». И она зависла над этой оставшейся в ней пустотой (сгинь, проклятая!), в которой когда-то кишмя кишел страх — страх зависимости от отношения к ней не просто чужих, а чуждых ей людей. Все детство, вся молодость были прошиты этими нитками. Ибо нет ничего более ядовитого и злобного, чем то, что «люди скажут». Ведь никогда не скажут хорошо, а плохое нанизают, как монисто, длинное такое монисто, которое много раз можно обмотать вокруг шеи, до состояния полного удушья. Сейчас она не то что разорвала его — сейчас она близко не допустит к себе эти дрожащие, скрюченные, злобные пальцы людей.. Ольга повернулась на бок, скрипя чужим диваном. «Вот вам»... «Вот вам»...

Потом она провалилась в тяжелый сон, а когда проснулась, была чернющая ночь, и все уже выглядело совсем иначе. Почему все время занято у до-

чери? Почему Кулибин не вернулся домой? Почему она как дура поплелась за этим громко спящим в кухне мужчиной, почему легла на этот обшарпанный диван, до какого маразма можно дойти, если потерять над собой волю...

Она тихо оделась и тихо вышла. На улице была ночь, машин не было. Она выскочила навстречу первой попавшейся, но та объехала ее, как объехала бы лежащую собаку или камень. А вторая даже набрала скорость, чтоб проскочить мимо и не увидеть лица человека с протянутой рукой. Третья, правда, проезжала тихо, и ее как раз рассмотрели внимательно и, уже рассмотрев, припустили дальше.

— Вас тут никто не возьмет. — Оказывается, он вышел за ней и наблюдал. Алексей.

— Им что, не нужны деньги? — возмутилась Ольга.

— Но у вас же их нет, — засмеялся Алексей.

— Но я ведь не сирота казанская, — кричала Ольга. — Я с ума схожу, не случилось ли чего у дочери...

— Сходите с ума в доме, — сказал Алексей.

— Нет, я уеду, — кричала она. — Если вы такой чуткий, дайте мне деньги. Я верну вам сегодня же.

Он протянул ей деньги. Она подошла к фонарю посмотреть, сколько. Он дал ей бумажку в пятьдесят тысяч.

«За такие деньги меня никакой дурак не повезет к Маньке! Он что? Этого не понимает?»

— Спасибо, — сказала она. Что он за человек, если не понимает: ночью машины ездят за другие деньги! Они нюхом чувствуют слабую платежность стоящей на дороге женщины, вот и проскакивают мимо.

Пришлось возвращаться в дом. Ольга видела раздражение мужчины и то, как он сунул деньги в карман, а потом ушел в кухню и, судя по звукам, рухнул на раскладушку одетый, она же присела на краешек дивана, как будто сейчас встанет и уйдет, а было всего ничего — половина четвертого.

Утром телефон был починен, Манька прежде всего спросила, сколько денег у нее было в украденной сумочке. Узнав, цокнула зубом.

Алексей довел ее до троллейбуса. Они шли, и она пыталась разглядеть его внимательней, потому что не помнила его вчерашнего. В одной из подворотен возникло невероятное желание отдаться этому случаю и вернуться в обшарпанную (при белом свете особенно) квартиру.

«Подворотня» тут ключевое слово, скажет она потом. Просто место прохода, но не выхода. Но она-то уже знала, что это не так. Другой ряд. Подворотня... Вор. Ледяные капли за ворот. Воротило. Почему-то сюда же прибивалась ворона.

Она смотрела, как мужчина остался на улице. Плоховато одетый, из плохой квартиры, с пятьюдесятью рублями наличности. Она пробила талон, который ей дал Алексей, и ее тут же настигла контролерша. Посмотрела на дырочки, а потом — почему-то с ненавистью — на Ольгу. Почему так? Почему с ходу? Что ты обо мне знаешь, баба? Взгляд, которым ответила Ольга, был такой силы, что контролерша выпрыгнула из троллейбуса минуя ступеньки.

Ольга засмеялась ей вслед. Ну что ж, ну что ж... С ней все в порядке, в полном! Если она разит глазом.

Кулибин сидел на лестнице.

— Что? Не придумал, как открыть дверь? — спросила Ольга.

— А как? Как? Кроме как раскурочить? — развел руками Кулибин.

— Чего тогда сидишь? — возмутилась она. — Курочь!

— Подумать надо, — вяло ответил Кулибин. — Почему у Маньки нет наших ключей? На такой случай. Что за идиотия!

В конце концов дверь им открыл Сэмэн. Пришел с парнем, колдовали, колдовали — и открыли. В квартире стоял собачий холод. Все это время Ольга просидела у соседей в кухне, и хоть те были милы и сочувственны, Ольга понимала, что она их достала, что жалобная история, как ее обштопали в электричке, уже сходит на нет, что соседи сейчас вступают в опасный момент «энтузиазма доброты», которая уже совсем не доброта и ничего не имеет общего с сердечным порывом. Кто ж виноват, «энтузиазм» — слово, которое изначально опорочено нами же самими... Еще говорят «голый энтузиазм». Хотя у соседей был другой случай. Случай вполне и пристойно одетого энтузиазма... Но он уже напрягал.

Спасибо Сэмэну.

Потом Кулибин ей скажет, что все эти мастеровые дверей говнюки, если простой хохол может вскрыть замок. А по сему, как только Сэмэн все закончит, надо будет его, замок, сменить... Мало ли... Тем более, что и ее ключи украли... «У тебя в сумочке случайно не было адреса?»

— Успокойся, не было, — ответила она, хотя как раз думала, что на случай какого-нибудь несчастья (тьфу! тьфу! тьфу!) хорошо бы иметь при себе и адрес, и телефон, и имя-отчество. Мало ли...

«Но я не думаю эту мысль, не думаю, — шептала Ольга. — Просто надо быть предусмотрительной. Просто для страховки»...

Они так намаялись с этой дверью, что Ольга напрочь забыла спросить у Сэмэна: ну и что там за картины, стоило смотреть?

Он расставил их по стенке. Четыре картинки. Ольга сразу подошла к той, на которой черная земля отсвечивала серебром. На земле росла трава, и у нее был надорвавшийся вид. Как будто, истратив силы где-то в невидимом пространстве на пребывание на свету и виду, сил у горемыки травы уже не осталось. Она никла стебельком, с одной стороны, обреченно, а с другой — даже успокоенно, ибо прошла весь путь до конца, явилась миру, поколыхалась на ветру — и сейчас увянет. Земля же манила, ворожила колдовским серебряным светом, хотя уже было ясно, что это и не земля вовсе, одна кажимость, топь: шагни — и поймешь, каково было траве.

— Другие цикаваше, — сказал Сэмэн.

— О Господи! — закричала Ольга. — Живешь в Москве, в русской семье, можешь говорить по-русски?

— Только ради тебя, — чистейше сказал Сэмэн, как будто и не умел, припадая на тонюсенькое «и», перекатываться на разлапистые, тягучие «э»: «Сэмэнэ-э! Дэ-э ты й-е-е?» — Я хотел сказать, — говорил он, глядя на Ольгу с насмешливой неприязнью, — что другие картинки получше. Поинтересней. Это «Болото» хуже всех. Тут просто колер хорош.

— Не болото. Топь, — поправила она. — Как тебе удалось их заполучить?

— Что значит «заполучить»? Я купил их по десять долларов за штуку. Я, конечно, их обобрал, но они такую стойку сделали на доллар. Оказывается, есть еще люди, которые в глаза его не видели...

— Можно подумать, что ты их много видел...

— Много не много, но я купил эти картинки и с них чего-то наварю.

— Продай мне эту, — показала Ольга на «Топь». — Между нами говоря, она мне и предназначалась. Так я думаю.

— Сто... — ответил Сэмэн.

— Ты спятил? — закричала Ольга. — Спятил?

— Нет, — засмеялся Сэмэн. — Это мое последнее слово.

Кулибин пришел из ванной, где проверял, не каплет ли вода. Посмотрел на картинки.

— Ванькины? — спросил. — Мода на сумасшедших. Ты знаешь, как он рисовал? Смотрел на красивейшие пейзажи и рисовал ужас. Никогда я не мог понять: ужас уже был в его голове или пейзаж превращался в ужас, когда он на него смотрел?

— Какая разница? — разозлилась Ольга.

— Никакой. Просто так, — ответил Кулибин.

— Я хочу купить вот эту...

— А кто продает?

— Я, — ответил Сэмэн.

— Ни хрена себе! — Кулибин стоял с раскрытым ртом. — Ты-то при чем? Пришлось дать необходимые пояснения.

— У него не покупай, — твердо сказал Кулибин. — Я съезжу в Тарасовку. Поговорю с его сестрой — даром отдаст.

— Идиот, — пробормотала Ольга. — Просто круглый... И закроем тему! Все!

Однажды раздался звонок. Ольга взяла трубку. Женщина спрашивала Кулибина. Уже идя за ним, Ольга поняла: Вера Николаевна. Стало неприятно, а тут еще Кулибин отвечал как-то очень по-семейному: «Ты отодвинь коробку с антибиотиками, в углу будет пластмассовый стакан. Там термометр... А что, очень болит?... Надо врача... Аллохол помнишь где?»

Кулибин был сердечен, внимателен. Каким он был с ней. Но *такого* Кулибина в доме уже давно не было. Он был раздражен, зол... Он мягчел, когда звонила Манька. И вот теперь, когда позвонила *эта* женщина. Если бы не работающий Сэмэн, она бы высказала свои наблюдения сразу же... Но при чужом человеке...

— Это Вера, — сказал Кулибин Ольге, положив трубку.

— Нетрудно было сообразить, — ответила Ольга.

— Не чужая ведь, — как-то растроганно, чуть не со слезой вздохнул Кулибин, и это уже был перебор. Двадцать два!

— Езжай к ней, раз не чужая, — тихо, но внятно до противности сказала Ольга. — Я тебе давно это рекомендую очень настоятельно.

Он как-то замер на этих словах, будто хотел их разглядеть со всех сторон, будто впервые увидел и задумался над нехитрым смыслом «езжай».

— Что ж, я как припадочный буду бегать туда-сюда? — растерянно сказал он. — Это не дело...

— А кому это интересно, кроме нас с тобой?..

Он смотрел на нее тускло, и она поняла и посочувствовала ему. Он не освободился от людского мнения, он нормально, как научила мама, стоит и ждет, что скажут люди. И так и будет стоять. Вкопанный конь.

Не то что она боялась, что Кулибин уйдет. «И слава Богу, — кричала она себе, — и слава Богу. Жила без него — и прекрасно». В то же время, в то же время... Этот его тон в разговоре с крепкозадой и приземистой Верой Николаевной разворачивал события совсем другой стороной, являл мысли странные. Например, о конечности времени. Когда она лежала на хирургическом столе и ей готовили наркоз, она подумала: вдруг... Вдруг то, что она сейчас видит, — последнее? Последнее окно. Последние люди. Последний мужчина, он же хирург. Последние прикосновения. Но ей тогда было безразлично, потому что ей дали хорошее успокоительное, и она это знала, но, зная, была убеждена, что возникшее чувство у нее совсем не химической причины. Оно из нее самой, оно сущностное. А потому и нестрашное. И даже с намеком радости, что ли. Последнее *тут* — это надежда на первое *там*?

Сейчас же было другое: ощущение суженного и одинокого времени. Никто не стоял рядом и не трогал за руку. Последним был Кулибин, но и он уходил. Мог уйти.

... — Я не припадочный, — твердо повторил Кулибин, расставляя в своем мире все по местам.

Нашел же слово-мерку, прошелся с ним туда-сюда и отделился от припадочных. В нем в этот момент даже что-то обрелось, он как бы стал шире со-

бой, но одновременно и ниже, хотя все это было Ольгино, умственное, а головенка, скажем прямо, была слабенькая и пульсировала, пульсировала.

После ремонта квартирка вся заиграла. Ольга сказала:

— Давай сделаем перестановку?

Кулибин посмотрел на нее осуждающе.

— Пусть сюда переезжают дети.

Ну да... Об этом они уже говорили...

— Сама позвони им и скажи...

— Но почему? Почему? — закричала она, чувствуя, как время и пространство сжимались вокруг нее, и получалось: Кулибин — человек и отец хороший, а она — сволочь.

Как раз ввалилась сама Манька, такая вся моднющая, неозабоченная, хорошо отвязанная беременная.

— Клево, — сказала она, оглядывая квартиру. — Но ума поломать стенки не хватило. Хоть бы посоветовались...

— Какие стенки тут можно ломать? — не понял Кулибин.

— Да ладно вам, — засмеялась Манька, — вы люди клеточные, суженные.

— Мы это для тебя, — вдруг в торжественной стойке сказал Кулибин.

— О Господи! — закричала Манька. — Спятили, что ли? Мы покупаем трехкомнатную. Недалеко от вас.

Ольга испытала огромное облегчение, она даже выдохнула так громко, что они уставились на нее — муж и дочь.

— На какую гору идешь? — спросила Манька.

— Ни на какую, — ответила Ольга. Не объяснишь же про суженное пространство-время и то, как оно сдавило, а сейчас — спасибо, доченька! — отпустило.

— На какие же это деньги? — ядовито-обиженно спросил Кулибин, задетый ненужностью своей щедрости. Так старался, так махал кисточкой — и зря.

— На свои, — ответила Манька. — Подвернулась хорошая сделка. Да и наша однокомнатная сейчас в хорошей цене.

— Ну и слава Богу, — сказала Ольга.

Нельзя человека лишать смысла жизни. Кулибин был раздавлен поворотом событий, которые шли своим ходом и не требовали его жертвы. И Ольга это поняла сразу и даже посочувствовала Кулибину. Она-то давно не должник и не жертва в этой жизни, но она ведь и начала свой путь освобождения от этого не вчера. Хотя все это лишней пафос, а Кулибина, дурачка, жалко. Сто лет она этого не делала, а тут подошла и обняла его.

— А я рада, — сказала она. — И за них, и за себя. Что не надо снимать-ся с места.

Он был сбит с толку лаской жены. Надо же! Подошла и обхватила руками, такое забытое им состояние. И он шмыгнул носом, а Ольга подумала, что если им доживать жизнь вместе, то надо приготовиться, что старик у нее будет слезливый.

СЭМЭН

С ним рассчитались, и он ушел, хотя явно надеялся на прощальное застолье, грубовато намекая Ольге, что надо бы для такого дела кой-чего прикупить. «Да пошел ты!» — подумала Ольга. С того дня, как он отказался отдать или продать задешево картину Ивана Дроздова, она сказала: «Все!»

Он объявился, когда Кулибин был на работе, поздно вечером. В хорошем костюме, с хорошей стрижкой, такой весь не работяга, а чиновник иностранных дел.

— Пришел попрощаться, — сказал он по-русски, без этих своих украинских фокусов.

— Какие нежности! — ответила Ольга.

Сэмэн оглядел квартиру, присвистнул, увидев морщинку на обоях, рукой провел по подоконнику, похвалил расстановку мебели и, слегка подержав брюки, сел в кресло. Гость, черт его дерит.

— Куда теперь? — спросила Ольга, чтоб что-нибудь спросить, спросила стоя у дверей комнаты, в полной готовности проводить и захлопнуть замок.

— Пока в Грецию. Отдохну. Потом вернусь сюда. Есть хороший заказ.

С тем и ушел. Быстрым шагом первопроходца и проходимца.

Квартира лучилась чистотой. Хрустальные вазончики отстреливались маленькими, но пронзительными гиперболами света, фыр-фук во все стороны. Тяжелые шторы висели истомно с высочайшим чувством самодовольства. Кухня чванилась белизной, в трубах тоненько всхлипывала вода, запертая кранами какой-то прямо-таки наглой красоты. Даже Манька сказала: «Сантехнику выбрала правильную».

Кто меня любит на этой Земле?

Вот так упрешься мордой лица (теперь, оказывается, говорят «кожей морды лица») — и думай мысль. Как оказывается, очень поперечно стоящую для думания, мысль:

КТО ТЕБЯ ЛЮБИТ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ

«А никто! — сказала себе Ольга. — Никто!»

Размахивая во все стороны сумочкой, она торопилась в парикмахерскую, к толстой и оплывшей армянке Розе, к которой не шел новый клиент (Роза отталкивала неопрятного вида животом, она время от времени подтягивала его вверх со словами: «Опять, сволочь, сполз на колени»), зато от клиентов старых отбоя у Розы не было. Розин живот столько слышал и столько знал, он переварил столько слез и обид, что уже давно в гуманных целях выдавал вонне исключительно благотворную энергию.

— Роза! — сказала Ольга, плюхаясь в кресло. — Тебя кто-нибудь любит?

— Многа, — ответила Роза.

— Да ну тебя! — засмеялась Ольга. — Я ж не про твою родню, которую ты всю жизнь кормишь. Я про мужчину, для которого ты все на свете.

— Многа, — повторила Роза.

Ольга смотрела в зеркало и видела всклокоченную голову Розы. Крупный пористый нос не страдал комплексом неполноценности и был вполне самодостаточен, в голове такого носа не могли взбрыкнуть мысли об отделении или переустройстве. Булькатые, каурые Розины глаза смотрели с насмешливым равнодушием, которое стеночка в стеночку рядом с презрением, но еще не оно, просто живет рядом.

— Не понимаешь, — сказала Ольга. — Любили ли тебя так, чтоб за тебя, ради тебя...

— Ты сама кого так любишь? — перебила ее Роза.

— А кого?! — возмутилась Ольга. — Такие разве есть?

— Краситься будем? — спросила Роза, туго стягивая на шее Ольги простыню. — Как обычно или перьями?

— Я передумала, — вдруг резко встала Ольга и пошла к выходу. «Пусть она меня вернет, — молила она, — пусть вернет... О Господи!»

— Следующий, — сказала Роза, встряхивая простыню, на которой тихо умирал след Ольгиной шеи.

Я тоже стриглась у Розы. Я могу представить ход ее мыслей. Вот у нее большая разбросанная по миру семья и коротконогий муж Самвел, который строит дачу знаменитой артистке и каждый раз задает Розе глупый вопрос: разве человек может быть сразу красивым и свиньей? «Вах!»

Им хочется, чтоб их любили, могла подумать Роза сразу о всех русских женщинах, а чего ж сама не любишь как человек? Как она любит своего наивного дурака, у которого растет аденома.

Она сама делает ему массаж, потому что кто ж, кроме нее, сделает как надо? Самвел, мой дорогой, единственный, я тебя так люблю, дурака бестолкового, что мне некогда думать, как ты меня любишь... А может, и не любишь совсем, но вряд ли... Ты же плачешь мне в грудь, как плачешь Богу... А эта женщина все время чего-то ждет, ни разу не расстаравшись сама... Люди — дураки... Они ничего не поняли... Бедный Бог... Он с ними бьется головой об стену... Люби, говорит он, и не спрашивай сдачу. Но это им, видите ли, не подходит... Им дай сдачу. Они все начинают с конца.

Роза иногда проговаривалась: «Такая большая страна — и такие бестолковые в ней люди».

Кулибин же в тот день домой не пришел. Он все-таки оказался припадочным и пошел к Вере Николаевне. Синяя и обезвоженная, та сидела над тазиком, который был вполне сух.

— Я его ставлю от страха, — сказала она.

— Врача вызывала? — спросил он.

— Тоже боюсь. — Вера Николаевна смотрела на Кулибина таким неживым взглядом, что тот сразу стал звонить и кричать.

Смешно думать, будто крик у нас может быть каким-то там аргументом, но, видимо, подтекст существует не только в литературных сочинениях, он может передаваться по проводам и производить какие-то нужные действия. Приехал участковый врач, который уже отъездил свое и собирался в баню, но вот приехал, гневный, но и слегка чуткий. Он сам вызвал неотложку, Веру Николаевну отвезли в Боткинскую больницу, положили в коридоре острой хирургии. Вера Николаевна попросила Кулибина позвонить в школу и перечислила, что ей нужно привезти. В тусклом ее взгляде не было интереса ни к чему, и даже коридор был ею не воспринят никак, хотя рядом по его поводу визжала какая-то молодая, с виду вполне здоровущая кобыла, но что мы знаем?

Кулибин звонил Ольге, хотел объяснить ситуацию — ее не было дома. Потом он варил курицу, истово веруя в силу бульона, — не будешь же это делать в доме Ольги? Конечно, когда Ольги не было и вечером, он забеспокоился, но курица еще не уварилась, надо было ждать.

Он нашел Ольгу уже поздним вечером.

— Ты где? — спросила она.

— Понимаешь... — начал Кулибин.

— Понимаю, — ответила Ольга и положила трубку.

Он позвонил снова и закричал:

— Она в больнице! В больнице!

— Я не людоед, — ответила Ольга. — Не надо так орать. Что с ней?

Кулибин рассказывал, спотыкаясь и замирая на том, что было непонятно ему самому.

— Положили в коридоре, — закончил он.

— Ты дал?

— Что? — не понял Кулибин.

— Ты дал деньги, — уже кричала Ольга, — чтоб ее положили как человека?

— А кому? — не понимал Кулибин. — Там их столько...

— Дай старшей сестре. Она тебя уже ждет.

— Как ждет? Она меня не знает...

— Знает. Она ждет тебя с той минуты, как ты там появился...

— Ты говоришь глупости.

— Спроси у дочери, если не веришь. Она тебе объяснит лучше.

— Черт знает что, — сказал Кулибин и добавил: — Варю бульон, а курица оказалась старухой.

Порядочный человек — существо кровожадное, но втайне. Ибо только он знает число открученных голов, которые он отбрасывает в сторону, топчя в себе разнообразно пакостные мысли и чувства, дабы не проявились они вовне. Внутри у него могила поверженного им зла.

Непорядочный позволяет и мыслям, и чувствам гулять на воле. Он — Стенька Разин. Могилы не в нем. После него.

Есть и третьи. Живущие в состоянии хронической нервности по поводу мыслей и чувств. «Эту рублю, эту оставляю... Эту поляю водичкой, а эту подкормлю. Эта у меня на белых... Эта на черных... Эту выпущу вечером, а эта хороша к утреннему кофе».

Именно о порядочности или ее отсутствии мы говорили с Ольгой, то есть она говорила про бульон, который варит Кулибин, а я как бы про умное... Она меня раздражала тем, что, с одной стороны, задета *таким* вниманием Кулибина к *той* женщине, с другой — этой своей готовностью ей же чем-то помочь, как-то лучше устроить ее в больнице. И я сказала ей, что ее добро — плохого корня.

Она посмотрела на меня «злыми глазауси». Я отчетливо поняла, почувствовала: она сейчас от меня уйдет и больше не придет никогда. Я как бы увидела истончавшуюся в ней силу преодоления, которую всегда знала как могучую. В ней не осталось духа борьбы даже на мои слабенькие, чуждые ей мысли, и ей легче уйти от них к чертовой матери, чтоб не вникать, не углубляться в эти «хорошие плохие корни».

И я думаю. Пусть уходит. Я ничем ей не могу помочь, даже помочь себе у меня не получается. Я только знаю, что не надо ей пристраиваться к этому бульону.

Ольга встала и подошла к зеркалу, чтоб подкрасить губы.

Было странное несовпадение двух Ольг. Эта, стоящая спиной, остро хотела уйти, она отторгла меня, не понимая, с какой стати она тут и о чем ей со мной говорить. Спина как бы уходила от меня навсегда. Тогда как отражение лица в зеркале... О! Оно было совсем другим... На нем была растерянность и печаль, которые надлежало скрыть при помощи всего имеющегося косметического вооружения.

И тут я поняла, что за все годы, что мы с ней дружа *не дружили*, наши отношения так срослись, а несовпадения так совпали, что не уйти и не оторваться.

— Знаешь, — сказала она мне, — я иссякла. Не те лица, не те слова. Все какое-то случайное... Могло быть, а могло и не быть... А Кулибин меня просто доконал.

— Он и с тобой носился. Вспомни!

— Ну да, ну да... Все познается в предсмертье? Но надо жить... Надо крутиться, а я замираю на ходу... Как будто во мне что-то шелкает и говорит: «Не туда и не за тем»... Хочется чего-то простого и устойчивого, как куб. Скажи, куда мне кинуться?

— Не вздумай, — сказала я. — Куб у тебя есть. Его зовут Кулибин.

— А! — сказала она тускло. — Любовь...

Она собрала «негров» и убедилась, что они давно самоопределились. Она вдруг поняла, что мир, в котором она плавала как рыбка, изменил свои молекулы. В ее патронаже никто и не нуждался. «Челнок» шелкал четко, туда-сюда, туда-сюда. Ее помнили за добро первых уроков, но тут уже шла академия. Ее охватила паника, и неизвестно, куда бы она подалась, не приедь Ванда. Ванда открывала здесь лавку. Ей надо было, чтоб кто-то ее держал. Ольга поняла, что надо суметь скрыть от Ванды свое беспокойство. Надо напрячься и победить. Скрыла — и победила. Встретила Ванду с шиком, пус-

тила ей пыль в глаза. Пришлось нанять шофера, чтоб быстро оказываться в разных точках Москвы. С ходу, с лету она выходила на нужных людей. Она видела, что одинаково нравится и налитым густой, неподвижной кровью милиционерам, и уголовникам, что ее разглядывают жадно, но и с опаской. Острая на язык, она не выбирала выражений, а когда один милицейский чин набыл лоб на ее не самое изящное выражение, она упредила его слова, которые он начал выжевывать: «Бросьте, майор. Мы с вами не в музее, где говорят изящно. Вы знаете, что мне нужно, а я знаю, сколько это стоит. Погладьте свой лобик, не выдавливайте на нем морщины раздумий».

Хамство давалось ей легко, даже радостно. Сокрушать мужчин безусловной быстротой и меткостью ума было приятно и наполняло энергией. С удивлением она обнаружила в себе отсутствие женского интереса к партнерам дела. «Что-то рано», — сказала она себе. Однажды высокий и красивый налоговый инспектор положил ей руку на бедро, когда они ехали в лифте. Она не отодвинулась, потому что ей хотелось испробовать всю гамму чувств, которые ее охватили. Да, это ее взволновало. Рука у инспектора была широкая и заняла много места. Да, у нее сжались мускулы живота, и надо было проследить за дыханием, которое раньше всего могло выдать. Она укротила его, укротила спазм мускулов, она повернула лицо к мужчине, и ей даже не потребовалось слов, чтоб чужая рука соскользнула с вполне спелого ее тела. Конечно, она потом жалела! И дурой себя называла, и истеричкой, но над всем и под всем было еще и нечто другое. Ощущение собственной свободы.

Она никогда и никому не призналась бы. Но ее останавливало умирание Веры Николаевны. Кулибин тетешкал эту жену-нежену, и так получилось, что в день, когда он работал, его подменила Ольга. Пришла вечером убрать-прибрать, накормить... Вера Николаевна лежала, накачанная промедолом.

— А! — сказала тихо. — Это вы...

— Ну, ну, — ответила Ольга. — Пробьемся.

Глупее сказать трудно. Она дождалась, когда Вера Николаевна уснет, пошла к дежурной сестре, сунула ей в карман пятьдесят долларов.

— Слушайте, — сказала она, — пусть ей не будет больно, ладно?

— Уже скоро, — ответила та, отглаживая в кармане бумажку.

Возникло отвратительное чувство: она пожалела о деньгах. Взяла и выбросила на ветер. Во-первых, не богачка, во-вторых, жалкость этой взятки, а в сущности, мольбы. Не за Веру Николаевну, за себя.

Потом долго шла по коридору, шла, шла — и вдруг подумала: «Как долго иду, а еще и половины не прошла». Припустила, но ноги были нескорые, не гнулись в коленках, и больница, как боль, длилась, длилась, и эта, в которой она пребывала сейчас, и та, что была в ее жизни почти постоянной величиной.

Сначала мама. Боже мой! Она ведь была счастливица! Потому что ее так любил папа. Ноющую, капризную, с вечными претензиями, а он вокруг все хлопочет, хлопочет... Ушел раньше. Но той папиной любви в доме хватило надолго. Он заполнил ею пространство всей их жизни, и она, Ольга, так естественно, как должное, восприняла груз хлопот, и ни разу — ни разу! — не пришла в голову подлая мысль, что тяжело, неприятно, надоело, противно. Не пришла ни эта, никакая другая подобная мысль-гадина. Потому что папа высадил в доме такую любовь-преданность, что другое в нем просто не росло.

Вспомнился Вик. Вик. с больным сыном. И ее, Ольгины, мысли, что *такому* сыну лучше умереть. Конечно, ей хватило ума не ляпнуть это отцу, но разве мы говорим только словами? И она снова увидела, как тогда в трамвае Вик. Вик. загорел от нее жену, просто завис над той телом, чтоб она, Ольга, не дай Бог не задела ее своим ветром.

Уже на улице Ольга крикнула себе, что нечего себя расчесывать, она сама никакая не могучая, пинг-понговый шарик из головы вынули, а то бабахалась оземь, как какая-нибудь с падучей болезнью. А когда она выпрямлялась, всегда рядом кто-то был. Значит, жалели, значит, любили.

Значит, она не обделена. Маму нес папа, но и ей вполне обламывалась мужская защита и поддержка, как только надобилось — так и обламывалась. И в этом было, безусловно, что-то ценное, но в этом, столь же безусловно, чего-то не было. Она не понимала, чего. Додумывать мысль до конца — дело опасное: ненароком окажешься неизвестно где. Не пей из копытца, не пей, не распутывай дурной клубок, не распутывай — вдруг назад не смотается? Вдруг козленочком станешь?

И она остановила бег своей мысли. Не слабачка она безмозглая, чтоб не удушить мысль.

Когда похоронили Веру Николаевну — тут делается такой перепрыг во времени, незначительный по дням, но битком набитый веществом, в сущности, эфемерным. «Настроение» называется.

Так вот, выяснилось, что в жизни по добыванию денег и устройству похорон настроение занимает много места, хотя, казалось бы... до него ли?

Ну, взять, к примеру, того же Кулибина. Его легче всего взять, он рядом, он под рукой. Вот он ляпнул: Вера, мол, любила его по-настоящему, любила — и все, и не надо никаких доказательств, потому что любовь этого не требует. Она сама себя оказывает, а доказательства — это уже признак как бы и лишней. Доказывать надо невидимое.

Видимое-невидимое надорвало душу. Мало того что смерть сама по себе, даже чужая, тебя не касательная, даже облегчающая существование остающимся, все равно так нагнетается в жилы, и ты частями непременно умираешь сама. А тут еще заявления мужа о любви как бы уже бывшей, прошедшей, но, оказывается, почему-то вдруг оставшейся жить.

Мы сидим с ней на диване с ногами. Она — на моем месте, где я поджимаюсь влево, а теперь из-за нее гнусь в другую сторону, мне неудобно, и я злюсь, но не на нее — на себя. Всегда ведь сама предлагаю всем: садись где хочешь. Зачем вру, если есть место, где я не хочу, чтоб кто-нибудь сидел. Это место выено моим телом, моими поворотами, его нельзя занимать, произойдет ломка... Чего? Откуда я знаю? Может, жизненного эфира?.. Но мне неловко. Бормочу: садись где хочешь...

Ольга рассказывает, что Кулибин остался жить в квартире Веры Николаевны. Конечно, это, в сущности, его квартира, но добавляет: ее, Ольгины, деньги в нее вложены...

Неправильность поступков мужчин — большая тема. Перечисляет их все, подряд, вразброд. Все поступали не по-человечески.

— Они вообще люди? — спрашивает она меня. — Ну что ему (Кулибину) надо? Нет, ты не думай, что он мне нужен... На фиг!.. Просто хочу понять... Я не дура... Я могу понять трудные мысли... Поняла же я тогда путь спасения при помощи карлицы... Всю меня трясло, но поняла... Сына надо было увозить... Хотя нет, вру... Я спасла бы его здесь как миленького... Но сейчас мне как-то неудобно даже перед зятем... Мы не обсуждаем эту тему, где ночует Кулибин. Смешно же сказать — ночует у покойницы... Но странно, согласись? Даже если исходить из каких-то там чувств... Человека-то нет, а я, прости Господи, живая...

Мне неудобно сидеть на «чужой стороне». Сомлело бедро. Я тихонько его щиплю — мертвое. У меня трудная задача: я, частично омертвелая, должна подтверждать живость Ольги и ее совершенно справедливые претензии к Кулибину.

...Было у мужика две жены. Одна длинная, другая покорооче. Он был между ними как бы врастяжку. Та, что покорооче, отдала Богу душу. Не стало второго конца у растяжки. Куда по закону физики должен был прикнуть Кулибин? Элементарный случай резинки. А он возьми и окажись в другом месте, *пустом месте*, что совершенно неправильно, если поставить физический опыт.

Может, потому, что я омертвела уже всей ногой, мне ближе Вера Николаевна.

Вообще мне вдруг все стало ясно. Никакие мы не творцы своего счастья. Это нам не дано. Мы просто прибываемся к берегу, к которому нас несет, несет и — повезет — вынесет. Мы всегда выбираем то, что требует меньше усилий, а за тем, где усилий не нужно совсем, мы готовы постоять и в очереди. Поэтому мы и живем плохо, потому что взбивать молоко в сметану трудно.

Это никакого отношения не имеет к Ольге, она лихой моряк и почти знает, куда причалить... Это не имеет отношения к Кулибину, потому что, по моей логике, ему легче всего прибиться к Ольге. В конце концов, я и сама не щепка, которую несет куда ни попадя.

С какой же стати я думаю о том, что никак не годится случаю? Море, усилия, берег.

Не додуманные до конца мысли. У них замахренные концы, по которым другим не распознать, откуда начинался легкий бег ума и с чего это он обвис потом тряпочкой... Забитое — или забытое? — в горле слово.

Что это? Что? О ком это я? О чем?

— Оставь его, — говорю я Ольге. — Он устал. Он отлежится, а там Манька родит. Он восстанет на последний решительный — поносить на плечах внука. Ты еще потрепыхаешься, он уже нет... Это будет его последнее дело.

— Какое неудобное место! — сказала она, спрыгивая с дивана. Ну да, ну да...

Ее исторгли мои «эфирные изгибы». Она ходила по комнате туда-сюда, босой ногой по полу, большой, тридцать девятой, ногой со вспученными косточками пальцев. От ее хода шевелилось павлинье перо, подаренное мне ею же. Вообще-то я его всегда держала взаперти, меня смущал перий глаз, в котором скрывалось не понятное мною содержание. Как правило, вещи даются мне в понимание, я с ними лажу, они никогда не агрессивничают у меня в доме. Но на перо у меня не хватало то ли образования, то ли ума — мы с ним не ладили. Глаз смотрел на меня из каких-то других, чуждых мне миров, я ему не нравилась, но ведь и он мне не нравился... Красавец... Он как современные литературные тексты, что существуют исключительно сами по себе, просто как совокупность слов, повязанных с большим или меньшим изяществом. В них не хочется войти, их не хочется трогать, задом наперед они читаются с тем же успехом... Павлинье перо я выставляю на вид, когда приходит Ольга. Не хочу ее обидеть. Хотя она могла и забыть, что когда-то его дарила.

Сейчас Ольга гнет хлипкую паркетную доску, а щупальца пера вздыхают в унисон ее бегу по кругу.

— Да! Я еще потрепыхаюсь, — сказала она мне и поцеловала перо в глаз. Поди ж ты, как знала, что оно у меня нецелованное.

Потом я была у нее. Она пригласила меня посмотреть свеженькие итальянские костюмчики. Открыла дверь — вся такая тонкая и звонкая. Я чуть было не ляпнула, с какой, мол, стати на ней парад, но вовремя увидела Его.

Он сидел в кресле, широко расставив ноги, мощный и молодой.

Ее сегодняшний мужчина. Такие тела чаще всего достаются военным, а раньше их сплошь и рядом носили партийные работники. У них всегда широко развернуты колени, они никогда не ужимаются своей плотью, они знают: женщины обволокут их, сидящих в транспорте, осторожно, деликатно, по тайному молчаливому сговору сохраняющих этот раздвинутый циркуль ног. Я поняла, учаяла всю безнадёжность ее выбора.

Она хотела нас представить, но я перебила ее каким-то намеренным словом, она посмотрела на меня пронзительно — и понимая, и гневаясь одновременно. Прибегла к беспроегрышному. «Смотри, какая у меня хитрая

стенка, здесь у меня весь универмаг». Я оценила и ремонт, и новый ковер на полу, и телевизор с рекламного ролика, и бархат штор. Гордые кувшины на фоне белой стены выглядели, как всегда, изысканно, на дне одного из них Ольга когда-то прятала деньги. Избранник засобирался уходить. Я увидела, как в прихожей его рука скользнула в высокий Ольгин юбочный разрез и где-то там пробежала пальцами. Ольга чуть замерла, лодыжка затвердела, и открытые в высокой босоножке пальцы ног сжались... в кулачок. Секс явно собирався сыграть вступление, и я была тут так некстати.

Зачем же звала?

Закрыв за игроцом дверь, она встала передо мной с вызовом, и я поняла: она знает, что я видела. Хотелось ей отомстить, сказать что-нибудь эдакое о молодой старости, которая может быть долго невидимой, если ее не прятать намеренно, пусть лежит открыто. И она же может так полоснуть по глазам, когда начинаешь ухищряться. Но я смолчала.

— Кто он? — спросила я.

— Классный мужик. Из Татарии... Все может быть...

— А что? Еще не было? — засмеялась я.

— Более чем, — ответила она. — Надо решать с семьей. Там такая идиотка жена...

Я засмеялась. Это случилось непроизвольно, как икота. Я держала в руках самый мой любимый из Ольгиных кувшинов — кубачинский. Я помню, как она сказала мне, что больше не будет возить в Польшу утюги. Говорила и разворачивала этот кувшин. «Дай его мне!» — попросила я и взяла в руки тонкошее, изломленное в восточной неге чудо. Непостижимым образом похожее на утюг. Я понимаю, что это чепуха. Я знаю, что для меня слово произнесенное абсолютно формообразующе. Я из той странноватой категории людей, которые видят то, что слышат. Интересно, каково бы мне было в мире немом? Как бы я его постигала? Это вопрос на засыпку себе самой, той, что засмеялась на слове «идиотка жена».

Мы с кувшином забыли, что мы тут не одни, что Ольга слышит мой смех, а я, отсмеявшись спонтанно, забыла определить характер этого смеха. Видимо, он смеялся ядовито... «О, засмейтесь, смехачи!» Я заметила, как второй раз за маленькое время сжались Ольгины пальцы, теперь уже на руке, сжались в кулак настоящий, не умственный. «Сейчас она мне выдаст», — подумала я и даже ожидала этого с некоторым нетерпением. Каково оно будет, ее слово? Про что? Про какую меня? Ту, что принимала ее безоговорочно, или ту, что сейчас над ней смеется?

В кухне громкая капля выпала из крана. Я просто видела ее набрякшую сферу, секундно отразившую кусочек солнца, кусочек неба, кусочек дерева за окном, кусочек мельтешения бытия, такого, в сущности, однообразного, что капля брезгливо дернулась и упала навсегда.

Ольга еще продолжала стоять передо мной, интригуя юбочным разрезом, и новой краской для волос «Велла! Вы великолепны», и своим несказанным словом, но моя история о ней кончилась...

Жизнь, в сущности, вообще безнадежна. На ее выходе известно, что... И поиски любви безнадежны, если на выходе прискорбный «треугольник мужчины». Но ведь каждому свое. Мне не надо, а она будет трепыхаться до своих восьмидесяти двух... И будет еще много чего... Скоро, очень скоро она не поборет женщину из Татарии, как не поборола никаких других раньше, даже покойницу Веру Николаевну. Будет Кулибин возвращающийся-уходящий, будут роды у Маньки и младенец, худенький и такой слабо пищащий, что у нее разорвется сердце, но она его быстро-быстро сошьет крупными стежками суровых ниток, потому что именно тогда ей привезут партию французских платьев, сварганенных в Корее, и этот странноватый товар с блескучими лейблами и не очень качественной строчкой надо будет как-то трудоустро-

ить, а именно в этот момент возникнет... Ах, Боже! Как много всего заполняет жизнь по самую кромку, и живешь, боясь расплескать, но что?! Что мы боимся расплескать?

И я ее кантую, свою дорогую подругу, кантую покрепче от себя самой. В таком виде я могу разглядывать ее из далекого издали...

...Остается тайной — как она учуяла падение той последней капли? И мое ощущение ее падения? Бездарная со всеми своими мужчинами, она хорошо понимала женщин.

С тех пор она мне больше не звонила...

Облегчение от отторжения нелепой и бурной природы давно сменилось печалью. Мне не хватает Ольги. И я смотрю на телефон, хотя хорошо помню ее номер.

Но сама я гожу. Тоже истинно российское состояние: думать о природе бесконечного лукавства самого этого слова «годить». Чем не занятие для пытливого ума!

Между прочим, синяки у немолодых леди сохраняются дольше, чем у молодых. Это я к тому, что синеватый подтек на бедре я регулярно набиваю углом стола, когда срываюсь к телефону.

Я знаю формулу тоски. Ее вычислил великий таганрожец. «Мисюсь, где ты?» — написал он. Беспроигрышный способ для получения кома в горле.

Это Ольга-то — Мисюсь? — смеюсь над собой я. «Но ничего не надо объяснять, если надо объяснять», — сказал кто-то совсем из других времен.

Потому что если болит сердце по шалавой немолодой подруге, которая где-то пропала в поисках *окончательного мужчины*, а тебе хочется плакать и назвать ее Мисюсь, то назови, заплачь и успокойся.

А к синяку приложи капустный лист...



ЛЕОНИД ГРИГОРЬЯН

*

БЕЗ РОДСТВА

1

Под конец расхотелось хотеть
Ликовать, воевать, не сдаваться,
Непрерывно о чем-то радеть,
Вовлекать, окликать, отзываться,
Предаваться бесчинной гульбе,
Слыть любимцем, ходить в супостатах.
Все иссякло само по себе,
Не заботясь о веках и датах.
Расхотелось бездумно хватать
Сласти, радости, хронос и мелос,
Расхотелось запойно читать,
Говорить и писать расхотелось,
Бить поклоны у всех образов
И незнамо куда торопиться...
Да застряла живая крупица
В перешейке песочных часов.
А внизу-то песчинок не счесть —
Пирамидка готова к пределу.
Но у Промысла замысел есть,
Недоступный скудельному телу.

2

В телевизоре мутная дрянь,
А в троллейбусе дикая давка.
Остряки нагадали — и впрямь
Нашей жизнью становится Кафка.
Трубы фабрик уже не дымят,
На прилавках сосиски и виски,
Подбоченившись, нагло хамят
Все — от дворника до паспортистки.
Перекупщики шустро снуют,
Рэкетеры торговцев пугают,
Алкаши то поют, то блюют
И правителей грязно ругают.
Коробейники сводят с ума
Слабый пол бижутерией броской.
На развале — де Сад и Дюма
Вперемешку с Блаватской и Бродским.
Забирается солнце в зенит,
Пестрый люд согревая на равных.
Колоколенка нежно звонит,

Приглашая во храм православных.
Как ни хнычь, ни канючь, ни ершишь,
Ты не хочешь удела иного,
Ибо любишь нелепую жизнь,
Что само по себе и не ново.
Не сдавайся, прямее держись,
Принимая и храм и прилавки.
Это жизнь, это все-таки жизнь,
Ничего, что отчасти по Кафке.

3

Полуростепель-полуморозец...
Наглый шкет и затурканный дед.
Попрошайка, хамло, богоносец —
То икона в руке, то кастет.
Непонятная чуждая масса
И зловеще-лихая молва.
Генофонда лишенная масса
То юлит, то качает права...

Среди этого дикого мяса
Лучше так и дожить без родства.

Ростов-на-Дону.



БОРИС КАМЯНОВ

*

ПАЦАН И ДЕВКА

* *
*

Жена моя постылая — свобода.
Страшна — но что ж, в семье не без уroda...
Когда с работы прихожу домой,
Глядит в глаза мне сумрачно и долго,
Потом бутылку выставляет «Голда»
И скалится:
— Прими, любимый мой.

Живу с постылой вот уже три года.
Все понимая, не дает развода:
— Сдурел? — и крутит пальцем у виска.
И не найти другой на этом свете.
И вечно просят хлеба наши дети,
Пацан и девка, — Ужас и Тоска.

* *
*

...Просто корабли легли на дно,
Потому что море утонуло.

З. Палванова.

Обмелел я под занавес, словно Арал.
Тратил воду живую души опрометчиво.
Столько счастья я в жизни порастерял,
Что сегодня терять уже нечего.

Высыхает последняя влага на дне —
След пролившейся ливнем любви ли, болезни ли, —
И ни облачка больше в пустой вышине,
Где висят только звезды, как пестели.

А на дне пересохшего моря судьбы
Обнажились, повитые чахлою флорою,
Иудейского камня верблюжьки горбы —
То руины Содомы с Гоморрою.

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

*

ПРИЗРАК В КОРИДОРЕ

Опыт фантастических воспоминаний

Какой призрак? Почему в коридоре? Сказать по совести, я и сам этого до конца не знаю.

Прошлое не отпускает душу. Прошлое становится реальностью, настоящее размывается. Особенно реальны, неопровержимы становятся люди, покинувшие нас. Это просто аллея монументов — правда, не все из бронзы. Не важно. Они материальны и бесплотны одновременно. Еще Достоевский устами Свидригайлова сказал, что призраки существуют, только являются они не всем. Мне — являются. Они не отпускают душу, что-то хотят сказать... Мне кажется, я их понимаю.

Ну а почему в коридоре? Время, о котором большая часть этих воспоминаний, — время коммунальных квартир. А всякий знает: важнейшая часть коммунальной квартиры — коридор, в нем все и происходит. Ныне мы в других комнатах: побольше, посветлее, повыше, — но уютнее ли? Однако пространство коридора, метафизическое пространство, сохраняется и по сей день. Теперь в нем обитает призрак.

Эта книга — книга воспоминаний и старых историй, правдивых и не очень, — пишется много лет, и я публикую ее по частям. Я надеюсь продолжать ее и впредь. Подсознание провокативно. Если ты его потревожил — оно выбрасывает все новые и новые «старости». Столько всего неохваченного, как говорили в блаженные советские годы.

А вообще я не люблю длинных предисловий. И послесловий не люблю. Люблю то, что между ними. Ежели писал — писал.

ПОЛБРИКЕТА МОРОЖЕНОГО

С годами я куда отчетливее вижу то, что помню, чем то, что меня окружает. Это касается людей, книг, городов.

Встречаю старого товарища — седого, маститого, прославленного, — заходим в кафе поговорить... Через десять минут передо мною мальчик послевоенной поры — в линялых трусиках, в майке, в кожмитовых сандалетах. И вот уже мы в пионерском лагере на берегу Финского залива под Ленинградом. Зарываемся в мельчайший золотистый песок на пляже, потом долго бредем по мелководью, пока вода не доходит нам до пояса. Горнист на берегу трубит сигнал — нам пора возвращаться. Если хорошо покопаться в этом песке, то можно найти гильзы и даже целые патроны. Мы уносим их с собой и прячем. Зимой в классе я обменял свои патроны на иностранные почтовые марки.

В моем книжном шкафу стоит однотомник Лермонтова, изданный в 1940 году. Мне было пять лет, когда отец подарил мне его. Это книга большого формата, с тисненым портретом на переплете, в ней много иллюстра-

ций: Бородинское сражение, Кавказские горы, Тамара и Демон, Печорин и Грушницкий на дуэли. Другого Лермонтова для меня не существует. Стоит мне вспомнить:

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял... —

как я вижу Казбек и Демона — тех самых, что явились мне пятилетнему. Видел я и настоящий Казбек, видел врубелевского «Демона» в Третьяковской галерее, но со стихами в моей душе связана только эта книга.

В 1943 году мою маму вызвали из эвакуации с Урала в Москву. Она была преподавателем немецкого языка и в Москве стала работать в Военной академии. Вернулся вместе с ней и я. Мне тогда исполнилось восемь лет, мы поселились на Сретенке, в Печатниковом переулке. Война была в самом разгаре, я пошел учиться в первый класс. Школа располагалась рядом, в соседнем Колокольниковом переулке.

Сретенка, Рождественский бульвар, Кузнецкий мост и стали для меня главными улицами Москвы. И сейчас, сегодня, я вижу все это точно таким же, как застал тогда. На Сретенке было два кинотеатра — «Хроника» и «Уран». Там я смотрел фильмы, которые помню до сегодняшнего дня подробнейшим образом. Почему-то по большей части это были комедии — наши «Веселые ребята» и американские «Три мушкетера», «Джордж из Динки-джаза», — крутили и исторические фильмы, например «Леди Гамильтон».

В школе мы писали на обороте канцелярских бланков. Целый ящик сброшюрованных бланков стоял в углу класса. Если кому-нибудь не хватало бумаги, то, даже не спрашивая разрешения, ученик шел к ящику и брал несколько листков.

Из этих толстых серых листов торчали занозы, а иногда нитки, шнурки или веревки. Когда бланк вырывали, то по краю в нем оставались большие неровные дыры. На одной стороне этих листов были даже не напечатаны, а именно вытиснены графы. В них уже было что-то написано химическим карандашом. Но попадались и совсем чистые бланки, такие староста класса собирал и хранил отдельно, для контрольных работ. Учились мы уже отдельно, без девочек, что делало нашу школьную жизнь еще суровее.

Наступила весна сорок четвертого года. Салютовали в Москве часто. Был день, в апреле кажется, когда салют грохотал четыре раза. Ракеты запускали с нашего высокого восьмизэтажного дома в Печатниковом переулке.

Я тогда уже знал, что мы победили.

Во-первых, я видел отца, приехавшего в отпуск. Он сидел на коричневом широком диване, рассказывал мне смешные истории и делал все, что я просил.

Как-то, даже не мечтая об удаче, надувшись от нахальства, я попросил посмотреть пистолет. Отец тотчас достал матовый рубчатый «ТТ», вынул патроны, пощелкал курком и дал мне.

Он все время почему-то вспоминал довоенные случаи: про овчарку Леди, про какое-то озеро и дом с верандой на берегу, про то, как я однажды съел шесть порций пломбира. А я этого совсем не помнил, но мне было интересно, и я просил рассказывать дальше. Отец лежал на диване поверх лохматого верблюжьего одеяла и говорил:

— Лето любишь? Озеро, лодку? А купаться любишь?

— Ага, — отвечал я, — больше всего на свете. А ты каким стилем плаваешь?

— Стилем каким угодно: брасс, кроль и на спине.

— Ну да?

— А вот увидишь!

— Ты когда совсем вернешься? — схитрил я, ведь ясно было, что отец вернется после войны, и сейчас я узнаю, когда ей конец.

Отец задумался.

— К лету, — вдруг сказал он.

— Уже! — Я даже поперхнулся от радости. — К этому?

— Не важно, — ответил отец, — к лету, пойдем тогда в одно место, на пломбир наляжем.

— Нет, ты точно скажи!

— Это очень хорошо, что мы оба лето любим. Я скоро вернусь, вот увидишь.

— Вот увижу, — повторил я и очень всему этому обрадовался.

И отец тоже развеселился, подмигнул мне, вскочил и сказал, что сейчас мы пойдем в кино.

На другой день он уехал.

Осенью, в самом начале сентября, его убили. Случилось это возле маленькой речки в Эстонии, где он, наверное, плавал на спине, если выпадало время. Бывает ведь и на войне такое: поплаваешь, погреешься на берегу — и снова воюй.

Вот так, от отца, еще весной, я знал, что мы победили. Но я это видел и сам. По лицам, по выставке трофейного оружия в Парке культуры, по военным в гимнастерках, с ремнями и новыми погонами, при медалях и орденах и по многим другим военным, без ремней, в линялых, выношенных гимнастерках.

Мы учились во вторую смену. Утром я вышел во двор и узнал, что на Сретенке продают мороженое. Это была важная новость. Я еще никогда не видел, как продают мороженое. Следовало посмотреть.

Мы вышли на Сретенку впятером. Впереди шел Синька, он же Валька Синева, — человек, которому вполне можно было доверять.

Он довел нас до кинотеатра «Уран», и тут, прямо под щитом, на котором небольшими буквами военных объявлений было написано: «Новый фильм „Лэди Гамильтон“», — прямо под этим щитом стояла девушка в фартуке, а перед нею на распорках устроился узкий стеклянный сундучок.

Трудно было разглядеть, что именно содержит сундучок, но все-таки я различил белые кирпичики, уложенные в ряд.

Ближе мы не подошли — это не полагалось. Но, на наше счастье, с нами был Синька. Он-то все знал наверняка.

— Эти штуки и есть мороженое. Они называются брикеты. Один брикет стоит тридцать рублей. Но можно купить полбрикета за пятнадцать. Тогда целый брикет разрежут ножиком на две части. Вот как.

Мы разошлись. Не поверить Синева было бы просто глупо. Тридцать рублей! Об этом и говорить нечего. А тогда зачем торчать дальше возле «Урана», новость подтвердилась — и хватит с нас.

Пока мы стояли и глядели на стеклянный сундучок, никто мороженое не купил. А в два часа уже начинались уроки.

Но события не приходят по одному, они появляются сериями, так я думал. И военное слово «серия» звучало убедительно и неопровержимо.

Я был уверен: что-нибудь должно еще случиться за день — и оказался прав. На третьем уроке в класс принесли несколько пачек, завернутых в газеты. Развязывала их учительница Лидия Петровна долго и молчала все это время. Потом она подозвала старосту и сказала так:

— Нам принесли тетради. Настоящие тетради. В клеточку. Каждый получает по три штуки. Берегите свои тетради, других долго не будет.

И наш староста, расхаживая по рядам, выдавал каждому ровно по три тетрадки. Ах, какие это были тетрадки! В голубых обложках, с настоящими промокашками, а на обороте — таблица умножения.

Сразу писать в тетрадках никто не стал, их отложили для более важных уроков и контрольных, а может быть, и для того, чтобы показать дома совсем новыми.

Когда я вышел на Сретенку, только-только начинались сумерки. Девушка с мороженым по-прежнему стояла возле «Урана». Я прошел совсем близко от нее. Брикет, обернутый в прозрачную бумагу, лежал тем же ровным строем. Лицо у продавщицы было одновременно и виноватое, и надменное. Это было понятно. Она продавала брикеты по тридцать рублей, а рядом, в соседних магазинах, другие продавщицы аккуратно выстригали из карточек талоны разных достоинств — детские, рабочие, литературные и иждивенческие.

Я понимал ее, эту продавщицу. Я бы даже поговорил с ней, но это можно было сделать только покупая брикет или хотя бы половину.

Полбрикета. Известие о том, что брикеты разрезаются, заставило мою мысль работать. И план созрел в моей голове почти независимо от меня.

Я поглядел на двенадцать пар часов, выставленных в витрине часовой мастерской. Если я на что-то решился — не следовало медлить.

Я стал спускаться. Внизу, в самом глубоком овраге Москвы, между церковью и бульваром, раскинулся Трубный рынок. Я уже бывал там, помогал покупать картошку, а как-то раз меня водили туда для приобретения шапки-ушанки.

Я вошел в ворота и побрел в медлительной толпе, действия которой были мне малопонятны. Протягивая друг другу штаны и рубахи, шелкая зажигалками, шевеля ежиками для примусов, прохаживался по Трубному рынку неведомый мне народ. Кто эти люди? Быть может, они просто не поймут меня, и все тут. Я заговорю, а они не поймут. Может быть, бросить эту затею? Конечно, бросить!

Внезапно меня остановил стройный человек в кожаной куртке.

— Ну что? — спросил он.

— Я так, просто так, дяденька, — только и произнес я.

— Не ври, — настаивал собеседник, — папиросы?

— Вот, поглядите. — Я собрался с духом и вытащил три тетради в клеточку, слегка примятые брючным ремешком, под которым они хранились.

Человек взял тетрадки и посмотрел их внимательно, страницу за страницей. Потом скатал в трубку и сунул за пазуху.

Я лишился тетрадей. Собственно, угрозу я почувствовал сразу же, с первого слова, даже с первого взгляда на эту красивую фигуру в кожаной куртке.

— Отдайте тетради, дяденька, — попросил я, понимая, что никто мне тетрадей не отдаст.

— Дурак, — сказал он, — ну и дурак. Сколько ты хочешь?

— Отдайте тетрадки, — уныло попросил я.

— Ну, мне некогда, так сколько? — Он пошевелил пальцами в воздухе.

— Пятнадцать.

Он достал запечатанную пачку пятирублевков, открыл ее острым ногтем мизинца, тем же ногтем зацепил три бумажки и протянул их мне.

Над рынком зазвенел звонок, точно такой же, как в школе, — торговля заканчивалась.

Когда я вернулся к «Урану», девушка уже собиралась уходить. Она переключивала брикеты из сундучка в деревянный ящик и шевелила губами, должно быть пересчитывая их.

— Подождите! — крикнул я. — Подождите, пожалуйста.

— Я уже закрыла, чего тебе? — сказала она.

— Полбрикета, — попросил я так, словно и не думал платить.

Продавщица как раз держала последний брикет в руке, и кончики ее пальцев побелели от холода.

— А откуда у тебя деньги? — поинтересовалась она.

Я так и знал, что она спросит. Нельзя стоять целый день с таким виноватым и надменным видом, а потом не выяснить, откуда у меня деньги на мороженое.

— Это я копилку разбил и обменял, чтобы с мелочью не возиться, — сказал я, наблюдая за ее лицом.

Она улыбнулась. Объяснение было принято.

— Ладно, — согласилась она, достала перочинный нож и разрежала брикет пополам. — А этим будешь есть, — и добавила еще гладкую палочку, закрученную с обеих сторон.

Уже совсем стемнело. Я сел на бульварную скамейку, мысленно разделил свой полбрикета на части и съел, подцепляя кусочки мороженого палочкой.

Конечно, это было вкусно. Но потом, когда мороженое кончилось, вся история сызнава прошла передо мной. Проданные тетради, рынок, вранье о копилке. Я не боялся наказания, да и наказывать меня было не за что. Ведь это были мои тетрадки, мои, мои собственные. Но сколько я ни повторял это, легче мне не становилось. И вдруг, впервые в жизни, я отчетливо понял, что именно со мной происходит и почему мне так плохо. Меня жег сам расчет, механизм моего преступления. И еще то, что весь класс будет писать в тетрадках и только мне придется ходить к ящику за этими проклятыми тисненными бланками. Почему-то мне стало чуть-чуть легче, когда грядущий позор представился так реально.

Я опустил голову. Я зажмурил глаза — спасения не было. И вдруг густой пестрый свет пронзил мои опущенные веки. В уши толкнулся гром. Салют! Но почему такой яркий, громкий, особенный? Неужели победа? Победа!

Я вскочил на скамейку и закричал: «Мы победили! Мы их победили! Мы всех победили! Победили! Ура! Победили...»

— Что с тобой, мальчик? — спросил какой-то удивленный прохожий. — До победы не так близко, мы взяли город...

В грохоте я не расслышал, какой. Я побрел в сторону, вышел на боковую дорожку и посмотрел в небо... Крепкое, весеннее, зеленое небо Москвы, совсем не такое, как сейчас, никаких отсветов, бликов, сияний — затемнение. Проекторы кроили его на неровные куски согласно своей загадочной стратегии.

С этой минуты началось для меня совсем другое время. Время, уроки которого я постарался выучить и запомнить навсегда.

ЗООПАРК НА ДОМУ

Когда-то, еще в бытность мою ленинградцем, я писал сценарии для документального кино. Идеологии я сторонился. Поэтому сюжеты, которые я предлагал начальству киностудии, должны были отличаться интересной и оригинальной тематикой, чтобы их купили, несмотря на крайнюю отдаленность от идеологии. Вот я и придумывал.

Придумал я и такой сценарий — «Ноев ковчег». И стал искать подходящего человека. И нашел. Звали его Петр Николаевич Атуев. Профессия у него была странная — мастер спорта по шашечной композиции. Однако главное его достижение состояло в другом.

Жил он в коммунальной квартире на улице Пестеля, в одной, правда очень большой, комнате. И в этой комнате кроме него проживало, как он выражался, девяносто восемь зоологических единиц. Часть их мне запомнилась: три обезьяны, две свиньи, штук пять кошек, четыре собаки, неопределенное количество мелких грызунов — белых мышей, хомяков, морских свинок. Но больше всего было птиц и несметное число каких-то загадочных богомолов и палочников.

Птицы были разные, по большей части попугаи. Не только маленькие волнистые попугайчики, но и огромные роскошные какаду. Вот эти самые какаду и кормили всю честную компанию. Атуев их дрессировал, а разнообразные советские киностудии, в том числе «Ленфильм», нанимали для участия в исторических фильмах. За один киносъемочный день попугай зарабатывал двенадцать рублей, а я — член профкома драматургов — в то время за один больничный день получал десять рублей и очень неплохо на них жил.

И вот киностудия заключила со мной договор, предусмотрительно заменив идеологически неприемлемое название «Ноев ковчег» на «Зоопарк на дому», что гораздо больше соответствовало тогдашней жизни. И я начал работу над сценарием.

Для этого я ежедневно приходил к Атуеву и вел с ним разнообразные беседы. Атуев очень осторожничал, да это и понятно: время было нелегкое, а ему приходилось содержать себя и девяносто восемь зоологических единиц.

И вот как-то вечером устроился я в углу его комнаты в вольтеровском кресле и расспрашиваю его о всякой всячине, а ответы записываю на магнитофон. Почему-то он старается по всякому поводу непременно представить себя ортодоксальным марксистом, человеком, твердо стоящим на материалистических позициях.

— Скажите, пожалуйста, дорогой Петр Николаевич, — спрашиваю я, — у вас такой обширный опыт общения с животным миром, как вы считаете, животные, птицы, насекомые имеют разум? Или же все их поведение объясняется элементарными рефлексам?

А сажу я в кресле прямо напротив огромного старинного буфета мореного дуба. На крышке буфета — площадка для индийских скворцов, так называемых майн. Их было у Атуева восемь штук. А майна — уникальная птица, она гораздо лучше попугая воспроизводит человеческий голос, знает много слов и четко их произносит.

Около буфета передо мной на стуле сидит Атуев. И он мне отвечает:

— Евгений Борисович, это однозначно. Все поведение представителей животного мира регулируется исключительно рефлексам. Мой немалый опыт полностью подтверждает учение академика Павлова.

И только он это сказал, как восемь индийских скворцов громко и необыкновенно четко произнесли хором, обращаясь ко мне: «Товарищ поздний посетитель, уже одиннадцать часов вечера, птичкам спать пора».

ПЕРСИДСКИЙ КОВЕР

О, как давно это было! Где-то в шестидесятых. Я жил тогда в Ленинграде, у Пяти Углов. И была у меня отдельная комната. И в комнате этой частенько собирались поэты и внимавшая им публика.

И вот как-то раз приехал из Москвы поэт С., человек талантливый и весьма почитаемый. Он позвонил мне и сказал, что закончил лучшую книгу своих стихов, книга называется «Молитвы». И он хотел бы некоторые стихи из этой книги прочесть ленинградской аудитории, и в этом смысле он рассчитывает на мою комнату.

Я немедленно согласился, назначил чтение на ближайший вечер и стал обзванивать своих знакомых — пишущих и внимающих. Чтение я назначил на семь часов вечера, но в шесть ко мне неожиданно без звонка явился знаменитый ленинградский поэт Г. И был он уже изрядно пьян.

Зная его непредсказуемую натуру, особенно после второй бутылки водки, я Г. как раз и не пригласил, хотя в ту пору очень увлекался его талантливой поэзией. Все эти свои соображения я тут же честно изложил Г. Выслушав мои объяснения, он сказал:

— Послушай, ты не можешь меня выгнать, я пьян и того и гляди попаду в милицию. Я должен отрезветь, а для этого хорошо бы поспать.

— Где? — недоуменно спросил я. — Комната ведь одна, и через час придут гости.

— А вот я вижу у тебя ковер на диване, — несколько странно отреагировал на мои слова Г.

И действительно, единственным достойным украшением моей комнаты был огромный настоящий персидский ковер.

— Вот что, — продолжал Г., — я придумал. Ты закатаешь меня в этот ковер, получится весьма солидный валик, и передвинешь его к стене. Придут гости, пусть С. им читает, а я посилю. А если я сейчас уйду, то обязательно попаду в милицию, и ты будешь в этом виноват.

Так мы и сделали.

К семи начали собираться гости. Пришел С., взволнованный и нарядный. На столе стояла разумная порция водки и кое-какая закуска. Но прежде мы решили выслушать «Молитвы». С. достал из портфеля рукопись и нервно разглядел ее.

Началось чтение. Это были хорошие, талантливые стихи. Каково же было мое удивление, когда после очередного стиха кто-то явственно произнес: «Барахло!» Присутствующие переглянулись. Увы, хулителя никто не обнаружил. Зоила среди гостей не было. Тогда все сделали вид, что ничего не случилось. Чтение продолжалось.

С. был прирожденным чтецом-декламатором, он читал четко, хорошо поставленным голосом, авторская интонация тонко подчеркивала смысл стиха. Он прочитал еще несколько стихотворений — и тут опять послышалась дерзкая реплика. И я понял — это говорит Г., закатанный в ковер.

Однако вторая реплика вывела С. из себя. Он тоже догадался, откуда исходит голос. Пришлось раскатать персидский ковер.

Г. сделал вид, что глубоко спит.

— А ну вставай! — закричал я. — Вставай и немедленно уходи!

Г. открыл глаза и сразу же увидел на столе водку. Но было поздно. Он понял, что ему придется уйти.

— Дайте же хоть выпить, — жалобно застонал он.

Благородный С. налил ему граненый стакан водки. Г. выпил не закусывая. Я вывел его в коридор и подал ему шапку и пальто.

— Зачем ты так? — спросил я его. — Ведь С. читал хорошие стихи.

— Я не мог удержаться, слишком уж соблазнительно было мое положение, — ответил Г., захлопывая дверь.

А вечер, к удовольствию собравшихся, пошел своим чередом.

ШАПОКЛЯК

Мой приятель Федя работал в Музее Достоевского в Ленинграде, а другой мой приятель, Дима, узнал, что на Кировной улице открывается пивной бар «Дубок». Вместе с Димой мы зашли к Феде и пригласили его на открытие бара.

— Я могу уйти с работы только в служебную командировку, — сказал Федя, — тем более что у меня для этого есть повод: надо починить шапокляк Федора Михайловича. Сделать это могут только в реставрационных мастерских Эрмитажа.

И он вынул из шкафа шелковый цилиндр. Это и был шапокляк Достоевского, то есть цилиндр, в который вставлялась пружина, и он мог благодаря пружине складываться или распрямляться.

Мы положили его в брезентовую сумку и отправились в «Дубок». Бар только что открылся и был заполнен передовой молодежью, нам достались последние три места.

Там мы заказали по паре пива на каждого и закуску — брынзу и уже разделанную воблу.

Только мы пригубили пиво, как заметили за соседним столом нашу знакомую Лялю Петрошилову.

Ляля была интересной блондинкой с несколько запутанной биографией. Было известно, что пиво, шампанское и водка подталкивают ее к красивым, эксцентричным поступкам. Она взяла свою кружку пива и пересела за наш столик. Мы поделились с ней брынзой и воблой.

Когда мы допили пиво, Ляля сказала: «Поехали ко мне на дачу в Лисий Нос. Там сейчас живут мои подруги Викуля и Соня. Я их не видела со вчерашнего дня и очень по ним соскучилась».

Мы взяли такси, купили две бутылки шампанского и поехали. В мастерскую Эрмитажа Федя решил зайти потом. Пока мы ехали, Ляля горько жаловалась на то, что жизнь стала невыносимо скучной. «Почему?» — спросил Федя. «Неужели ты сам не понимаешь? Что за жизнь — день идет за днем, и ничего не случается». Мы сочувственно закивали.

В Лисьем Носу на даче было просторно и прохладно. Викуля и Соня оказались приветливыми девушками, тоже несколько соскучившимися по всяким событиям. Мы уселись за стол и провозгласили первый тост.

Викуля и Соня включили магнитофон; Джерри Маллиган играл музыкальную пьесу «Фестивал майнор», что переводится как «Грустное празднество». Ляля выпила два бокала шампанского, и ей как будто стало не так скучно. Через двадцать минут она подтвердила это, заявив, что будет танцевать на столе, как француженка из «Фоли Бержер».

Всем понравилась эта мысль, а Федя сказал, что француженки в этом случае обязательно надевают цилиндр. И он подал Ляле цилиндр, который достал из брезентовой сумки.

Ляля надела его набекрень, встала на стул и оттуда запрыгнула на круглый стол. Джерри Маллиган снова играл свое «Грустное празднество». Ляля начала танцевать на столе под эту музыку, но вдруг покачнулась. Шапокляк на ее голове тоже покачнулся — и упал на пол; пружина выскочила из него, и он рассыпался. Мы ахнули, особенно ахнул Федя.

Все мы очень огорчились и не знали, как нам быть. Тогда Федя задумался и спросил, есть ли в доме обувная коробка. Ляля принесла коробку из-под итальянских туфель «Балли».

— А есть ли у вас клейкая лента скотч? — спросил Федя.

Ляля тотчас принесла и клейкую ленту. Федя сложил обломки шапокляка в коробку, надвинул крышку, заклеил ее скотчем и на коробке написал: «Не открывать без особого разрешения. Специальный фонд».

Было уже поздно, командировка Феди закончилась. И мы повезли коробку назад в Музей Федора Михайловича Достоевского.

ПОДАРОК ДЛЯ ГЛАВЫ ДЕЛЕГАЦИИ

Был когда-то у меня в Ленинграде друг — редкий в те времена тип либерального начальника, что и не прошло ему даром. Он рассказал мне такую историю.

Делегация ленинградских писателей отправилась в Монголию. Он — во главе делегации. Всё честь по чести. Две недели мотались по монгольским степям, выступали со стихами и прозой, крепили советско-монгольскую дружбу. Но все втайне ждали заключительного вечера, когда монгольское начальство будет провожать их домой. И на этот вечер возлагались большие надежды.

Дело в том, что в СССР считалась тогда самой модной и современной одежда из кожи. А Монголия как раз и была производителем таких вещей. До настоящего Запада добраться было ох как трудно, да и стоило там это удовольствие Бог знает сколько. И поэтому монгольская кожа вполне шла в зачет и обозначала ваше присутствие на мировом олимпе моды.

И вот наступил этот долгожданный вечер. Накануне монгольское начальство затребовало список делегации, где была бы точно отмечена иерархия ее членов. Кожа выдавалась строго по порядку и значению. В делегации было восемь писателей, и вручение подарков начали с конца, наградив переводчика Н. кожаной жилеткой. Следующий товарищ получил уже кожаный пиджак и был несказанно доволен. Третьему по списку вручили комплект из

пиджака и жилетки, потом в ход пошли кожаные пальто разного достоинства.

«Что же подарят мне? Если седьмой и восьмой члены делегации получили комплекты из кожаных костюмов, плюс пальто, плюс кожаная кепка спецпокроя!» — думал мой приятель.

И он даже представить себе не мог, как монгольское правительство наградит его.

И вот поднимается член правительства, занимающий гораздо более высокое положение, чем предыдущий представитель. Он начинает перечислять заслуги нашего героя перед монгольской литературой, и, по словам его, эти заслуги неисчислимы и неоценимы. Но все-таки они требуют соответствующей награды. И с этими словами нашему герою, как главе делегации, вручается кожаная шкатулка, инкрустированная костью, где лежит крупница высушенного конского навоза. А навоз этот, по словам вручающего, является абсолютной святыней, ибо он принадлежит легендарному жеребцу — прародителю монгольской конницы, и выше этого подарка не может быть ничего. Пришлось принять шкатулку со священным навозом.

На обратном пути из Монголии руководитель делегации с нескрываемой завистью поглядывал на своих пришедших в монгольскую кожу подопечных делегатов. И, вспомнив знаменитое изречение: «Восток — дело тонкое», — пришел к выводу, что иногда гораздо лучше стоять первым с конца, чем, будучи во главе, получать высшие почести в виде рукавов от жилетки.

ПИСТОЛЕТ «БЕРЕТТА»

Куда-то исчез мой старинный приятель Леня Карачун. Удивительный человек. Вечно молодой. Я его помню еще с пятидесятых годов. Он тогда играл на аккордеоне в танцевальном зале Дома культуры имени Кирова в Ленинграде. Потом Леня быстро пошел вверх, он был директором киностудии, руководил оперным театром, еще чем-то. Перебрался в Москву.

Я его встретил в Доме кино. Он рассказал мне, что возглавляет труппу «Айс-ревю», которой доверено воплотить трилогию Брежнева на голубом льду. Это было почти невероятно. Выходило, что Леонид Ильич будет кататься и танцевать на коньках. Но на дворе стоял 1982 год, и удивляться не приходилось. Кстати, Леня пригласил меня к себе домой.

— У меня все новое, — сказал он, — квартира, жена. Ты любишь раков?

— Очень, — ответил я откровенно.

— Приходи в субботу, — сказал Леня, — будут раки, баночное пиво, кое-кто зайдет.

И он дал мне визитную карточку с адресом.

Выяснилось, что Леня живет в знаменитом доме около площади Маяковского, в квартире таких размеров, что казалось, в ней есть комнаты, куда еще не ступала нога человека.

Новая жена Лени, красавица-манекенщица Тамара, первым делом показала мне ванную. Все четыре стены и потолок были сделаны из цельных зеркал, пол — черного мрамора, на подзеркальниках — не менее сотни хрустальных флаконов и каких-то мне незнакомых тюбиков. Но главное — колоссальная ванна, тоже оправленная в черный мрамор, была до краев полна живыми раками. Некоторые выбирались наружу и устрашающе шевелили клешнями.

В ванную вошел Леня и зачерпнул раков эмалированным ведром. Он варил их на кухне. Уже начали собираться гости. Ни с кем из них я не был раньше знаком, но самую приметную гостью узнал сразу — знаменитая кинозвезда Ирина Червинская. Ее изысканная красота в этой квартире была как бы вослицательным знаком в конце строки. Она затмевала всех.

Рядом с ней за столом сидел примечательный мужчина. Смуглый, рослый, коротко остриженный брюнет в белом двубортном костюме. На раков

он нажимал меньше всех, пил пиво и джин и страстно смотрел на свою соседку, которая, наоборот, оказалась выдающейся любительницей раков.

Леня время от времени отлучался на кухню и приносил оттуда все новые и новые порции раков. Варил он их по всем правилам: с луком, морковкой, укропом, лавровым листом, петрушкой и большим количеством соли. Раки получались изумительные. Тут же стояло в неограниченном количестве баночное пиво «Хайнекен», о котором в те времена еще мало кто слышал. Настроение было у всех лучше некуда.

Один лишь смуглый мужчина в белом костюме не очень веселился. За весь вечер он не проронил ни слова, а только поглядывал на свой золотой «Роллекс».

Ровно в десять он еще раз взглянул на циферблат и поднял руку. Все замолчали.

— Спасибо, — сказал он, — спасибо, но мне пора. Через полтора часа я улетаю в Каир. Это был мой последний вечер в Москве, и он оказался очень приятным. Я благодарю всех, а вас, — он повернулся к Ирине Червинской, — в особенности.

— А зачем вам в Каир? Лучше оставайтесь с нами, — ответила ему Ирина и взяла с тарелки самого большого рака.

— Это невозможно, — задумчиво сказал ее сосед. — Я боец Организации освобождения Палестины. Более того, я начальник личной охраны Ясира Арафата. И я должен быть на посту.

Все изумленно притихли. Ирина Червинская временно отложила самого большого рака.

Тогда начальник охраны Арафата медленно и торжественно вытащил из-под белого пиджака пистолет. Изумленные гости сидели тихо, как загипнотизированные.

Это был автоматический итальянский пистолет системы «беретта». Из пистолета точным, сильным движением он выбил обойму, из обоймы — патроны.

— Я хочу подарить каждому по одному патрону на память о себе и об этом прекрасном вечере. Я не уверен, что в моей жизни будет много таких вечеров, я не могу быть уверен даже в завтрашнем вечере.

И с этими словами он встал и вышел. Леонид и Тамара пошли его провожать в прихожую, а Ирина вздохнула и принялась крушить своего самого большого рака.

Патрон от «беретты» лежит у меня в ящике письменного стола, и, когда я ищу скрепки или запасной баллончик для авторучки, я натываюсь на него.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Это было в середине шестидесятых годов. Утром 31 декабря мне позвонил Игорь Иванович Ермаков, ленинградский художник, иллюстратор двух моих детских книжек.

— Женя, где вы встречаете Новый год?

— Еще не знаю, Игорь Иванович.

— Приезжайте ко мне на дачу в Комарово, я живу в Академгородке, в доме Порай-Кошица. Ужин я организую. В двенадцать выпьем шампанского, а потом пойдем куда-нибудь по-соседски.

Я подумал: хорошее предложение. Комарово, снега, лес, Финский залив, ужин, шампанское, дача. Следовало соглашаться.

— Я тоже куплю вина и приеду к одиннадцати.

— Вот и чудесно, — сказал Ермаков и повесил трубку.

Электричкой в 21.40 я выехал в Комарово с Финляндского вокзала. Дом Порай-Кошицев я знал, с сыном академика я когда-то учился в Технологическом институте.

Дверь отворил Игорь Иванович. Мы расцеловались, я вручил ему свои две бутылки полусладкого. Стол уже был накрыт, в углу стояла невысокая елочка. Пахло воском, масляной краской, старым деревом — чем-то дачным, уютным.

— Значит, празднуем вдвоем? — спросил я Ермакова.

— Зачем же вдвоем? — как-то загадочно ответил Игорь Иванович. — С нами будет дама, вернее, девушка. Сейчас я ее с вами познакомлю. — И он громко позвал: — Таня, Танечка!

Из соседней комнаты вышла девушка лет семнадцати — восемнадцати. Позже выяснилось, что она студентка первого курса Текстильного института. Ермаков представил нас и вдруг сказал:

— А мы познакомились с Танечкой только что, сегодня, в магазине на станции. Я ей сумки до дома донес, а потом обедали в Репине, в «Волне».

Танечка была довольно милостива и скромна: розовая кофточка домашней вязки, белый воротничок.

В полдвенадцатого я открыл шампанское проводить старый год. Ермаков включил «Спидолу».

Прозвучали Кремлевские куранты. Мы подошли к елке, Ермаков зажег свечи, прикрепленные к ветвям. Выпили еще по бокалу шампанского, снова сели за стол.

— Теперь потанцуем, — сказал Ермаков. И принес из той комнаты, где скрывалась Таня, коробку старых пластинок, еще на 78 оборотов. Там оказался и «Цветущий май», и «Брызги шампанского», и «Рио-рита». Мы по очереди танцевали с Таней, и когда я спохватился, на часах было без десяти два.

— Ну что, будем пить чай или пойдем куда-то?

Ермаков не ответил. Какая-то задумчивость, даже проблема промелькнула у него в глазах.

— Женя, можно вас попросить на минуту выйти со мной на веранду?

Я накинул пальто, и мы вышли на промерзшую веранду. На улице стоял изрядный мороз, наверное, больше двадцати градусов.

— Где вы думаете ночевать? — спросил меня Ермаков.

— Как — где? Здесь, на этой даче, тут же несколько комнат.

Ермаков помолчал, потом набрался духу и сказал решительно:

— Женя, простите меня ради Бога, но тут вам ночевать нельзя. У вас есть друзья в Комарове, можно пойти в Дом творчества писателей, а может быть, к кому-нибудь еще на дачу. Это ведь новогодняя ночь, люди еще не спят, вы найдете какой-нибудь приют.

— А в чем дело, Игорь Иванович, как же так, вы ведь пригласили меня?

Ермаков опять помолчал.

— Женя, я, конечно, чувствую немалую вину перед вами, но поймите и меня. Когда мы танцевали с Таней, она сказала, что не останется со мной, если вы будете на даче. Идите сейчас же, пока еще не так поздно.

— Уже не поздно, а рано, — сказал я.

Ермаков ничего не ответил, вопрос был исчерпан.

В осеннем польском пальто, в нетеплых башмаках я вышел на улицу. В общем, у меня были какие-то знакомые дома в Комарове, но никто меня не ждал. Я знал привычки этих людей: они, конечно, уже все спят, пусть эта ночь и новогодняя. Первая электричка в Ленинград только часов в шесть утра. Остался Дом творчества.

Полчаса я почти бегом добирался до него. Дом конечно же был заперт. Кое-где в окнах светился еще огонь — но как попасть туда? Разбудить дежурную старушку? Но она наверняка меня не пустит. Пустить меня может только директор. К счастью, мне было известно, где он живет: тут же, в двадцати метрах от Дома творчества, в деревянной даче, на первом этаже. Становилось все холоднее, надо было решаться.

Я долго стучал в дверь этой директорской дачи. Никакого результата. Наконец я постучал в окно. Через пять минут дверь открылась. На пороге

стоял директор в полушубке. Я понял, что он уже лег спать и ему пришлось одеться.

— Что такое, кто вы такой, что-нибудь случилось?

Я вступил в Союз писателей только в 1986 году. В Доме творчества я иногда бывал у кого-нибудь из знакомых, но директор меня конечно же не знал и, по всей вероятности, никогда не видел.

Над крыльцом горела стоваттная лампочка, я внимательно взгляделся в лицо директора. Оно мне не понравилось. Передо мной стоял хмурый, насупленный человек, все приметы крайней осторожности, абсолютного недоверия ко всему на свете проступали на его физиономии. Было ясно, что, если я скажу ему правду, он меня не пустит, и тогда хоть погибай. Надо врать.

И я рассказал такую историю. Я московский писатель, член Союза писателей, приехал на Новый год в Ленинград, живу в гостинице «Октябрьская». Меня пригласили на Новый год в Комарово, на дачу. Компания перепилась, и произошла драка. На этой даче я ночевать не могу. Я ушел. Я прошу пустить меня на несколько часов в Дом творчества, куда угодно: на диванчик в прихожую, просто посидеть в кресле в холле. На улице слишком холодно, можно замерзнуть. Первой электричкой я уеду.

— Это безобразие, сейчас четвертый час ночи, я не могу вас пустить в Дом творчества без путевки.

— Как же быть, ведь я замерзну? Сяду на крыльце Дома творчества и умру, и утром, когда писатели пойдут на завтрак в столовую, мой труп будет валяться у них под ногами.

— Что вы такое говорите, это шантаж. Где ваши документы?

— Документы мои остались в гостинице, но меня знают живущие у вас писатели: Вера Федоровна Панова, Давид Яковлевич Дар, Леонид Николаевич Рахманов. Разбудите их, они подтвердят.

— Ни в коем случае. Нарушить покой таких людей! Вы понимаете, о чем вы просите. Тем более, что они встретили Новый год и теперь отдыхают.

— Как же быть?

— А никак. Идите себе гуляйте.

— Но я же замерзну! Такой мороз — не шутка. Может быть, вы пустите меня к себе, ну, хоть в коридор.

— Что вы, товарищ, это невозможно.

И все-таки я, как это теперь говорится, его достал. Он и сам порядочно замерз, пока стоял на крыльце. Наконец он меня спросил:

— А как ваша фамилия, товарищ?

Я понял: сейчас он решит, пускать меня или нет. Если я назову ему свою, настоящую, фамилию, он меня не пустит. Она ничего ему не говорит, такого писателя он не знает, даже не слышал никогда. Если я назовусь, например, Евтушенко — это абсурд. Он может знать Евтушенко в лицо. Но и раздумывать нельзя, нельзя молчать десять минут, вспоминая свою фамилию.

— Бабель моя фамилия, — сказал я.

— Товарищ Бабель. — Голос директора стал уже умиротворенным, вполне нормальным. — Это непорядок, так не поступают. Вы могли бы позвонить мне днем.

— Бывают чрезвычайные обстоятельства.

— Я вас понимаю, но поймите и вы меня. Хорошо, пойдемте, я положу вас в бильярдной.

Своим ключом он открыл дверь Дома творчества и провел меня в бильярдную. Я залез на бильярдный стол, шапку положил под голову, накрылся пальто.

— Приходите завтракать в десять часов. С Новым годом, товарищ Бабель! — И директор ушел.

Я, конечно, так и не заснул. Кое-как дотерпел на столе до рассвета и спустился вниз, ждать завтрака мне не хотелось. Дежурная выпустила меня, я пошел на станцию.

Давид Яковлевич Дар рассказал мне о том, что случилось за завтраком. Дар, Панова, Рахманов сидели за одним столом в столовой. Директор обходил столовую и поздравлял писателей с Новым годом. Обнаружив, что я исчез, он забеспокоился. Он вспомнил, что я ссылаясь на Дара, Панову и Рахманова.

— Вы знаете московского писателя Бабеля, он приезжал ночью, я пустил его переночевать в бильярдную?

Директору все объяснили.

— Значит, это был авантюрист, — только и сказал он. Он не очень переживал. Уже проверили — в Доме творчества ничего не пропало.

СРАВНИТЕЛЬНО СЧАСТЛИВЫЙ БРАК

Жил во время моей молодости в Москве известнейший драматург У. Он ухитрился написать такие ловкие, своеобразные пьесы, что они пришлись по вкусу почти всем театрам мира. Он ездил по театральным городам, восходил на подмостки и вкушал земную славу, возвышенно говоря, под гром аплодисментов. И плюс к славе получал, конечно, немалые гонорары.

Но как-то, вернувшись в Москву после долгого гастрольного отсутствия, он задумался в том смысле, что видел все: величайшие столицы, обильные банкеты со знаменитостями, лучшие музеи мира и самые богатые магазины, однако за всей этой суетой пропустил одну немаловажную деталь — он не встретился с жрицей любви мирового класса, которая показала бы ему историю эротического искусства в лицах и позах. Он как-то просто об этом забыл, запаматовал, и это показалось ему обидным.

У. стал наводить справки, нет ли такой жрицы в Москве, он даже готов был оплатить ее искусство по самой высшей ставке. И приятели У. дали наконец ему положительный ответ. Одна такая есть, но только не в Москве, а в Перловке, живет без телефона, и надо послать ей телеграмму, что У. и сделал. Он пригласил ее в ресторан, и она, конечно, пришла. И оказалась внешне весьма респектабельной дамой в оренбургском пуховом платке. После десерта она подтвердила, что знает всю технику любви от античной Греции до шведской сексуальной революции, включая восточные и южноафриканские элементы. Краткий курс — одна ночь, цена — двести рублей. Но непременное условие: никаких подарков, особенно цветов и конфет, алкоголь тоже не нужен — в крайнем случае, у нее есть. Просто надо приехать в десять часов вечера в Перловку, вручить двести рублей — и все будет в лучшем виде. Но главное и обязательное условие — приехать одному. Это категорически, никаких приятелей, иначе она работать не будет. На том и порешили и назначили день. У. очень переживал и много думал о том, что произойдет в эту ночь в Перловке.

Но переживать одному, конечно же, скучно и совершенно ни к чему. И пришлось У. поделиться своими надеждами с приятелем, актером К. Тот чрезвычайно загорелся:

— Я тебя умоляю, возьми меня с собой! Я хоть взгляну одним глазком, ведь другого такого случая в жизни не будет.

— Ни в коем случае, — отрезал У.

Но каким-то гипнотическим образом К. его уговорил, тем более что К. негде было ночевать и он всякую ночь проводил у разных знакомых.

— Я лягу на кухне или посижу там же на стуле, не может такая женщина из Перловки не понять моего положения.

И они поехали. И она, конечно, была очень недовольна и сначала отказалась наотрез. Но актер К. невероятно канючил, даже пустил слезу и на-

помнил, что утвержден на роль в двухсерийном фильме «Путь к сердцу». А У. все время вертел в руках конверт с деньгами, и, конечно, они ее уломали. Она вынесла на кухню матрас и одеяло, о белье не могло быть и речи, и скрылась в комнате с платежеспособным У. Вскоре оттуда донеслись какие-то экзотические звуки, и по этим звукам К. представлял себе, что именно происходит — древнегреческий вариант или южноафриканский, а остальное дорисовывало его творческое воображение. Но вот минут через двадцать все замолкло и наступила абсолютная тишина, только во тьме гавкали перловские собаки. Это насторожило К. Нарушая все клятвы и обещания, он подошел к двери и при свете ночника увидел, что У. мирно и глубоко спит. И К. пронзила мысль, что за ночь заплачено двести рублей, а использовано только двадцать минут. Мысль эта для К. была нестерпима, и он вошел в комнату и сказал все, что он по этому поводу думает. И самое удивительное, что женщина из Перловки с его доводами согласилась и отправилась отдавать свои долги на кухню к С., где их и застал утром хорошо выспавшийся У.

Он хотел было устроить им нервную сцену, но оказалось, что все не так просто. Оказалось, они успели полюбить друг друга, и это была не отговорка, а чистая правда. Они даже вступили в законный брак и были полгода сравнительно счастливы.

НА ЛОВЦА И ЗВЕРЬ БЕЖИТ

Эта история тоже произошла со мной, но я имел глупость повсеместно ее рассказывать, поэтому и стала она на время чем-то вроде расхожего анекдота.

А первоначально все обстояло так. Много-много лет назад поехал я в Среднюю Азию выступать от Бюро пропаганды Союза писателей СССР. В самом начале своего долгого пути я оказался в Узбекистане, где все было замечательно. Да, собственно, и путевка моя была выписана на Узбекистан. Но как-то раз мне пришлось пересечь границу союзной советской республики, и я оказался в туркменском городе Чарджоу, известном своими дынями. Чтобы отметить путевку, я должен был явиться в обком партии. Прямо с поезда, голодный и грязный, направился я в обком. И пришел туда в неурочное время — начался обеденный перерыв, который имеет в Средней Азии весьма неопределенную продолжительность. Я выяснил, кто из обкомовского начальства ведает культурой, и уселся у дверей его кабинета.

Невероятно хотелось есть и еще больше — принять душ, но я боялся упустить обкомовского чиновника. Так прошло более двух часов. Я совсем отчаялся и решил уж было махнуть рукой, отметить на следующий день, как вдруг в другом конце коридора послышались шаги. Душа моя воспряла, и я бросился навстречу этим шагам. И действительно, по коридору шел человек в шевиотовом френче, внешне полностью вписывающийся в обкомовскую породу.

— Вы такой-то? — спросил я с надеждой.

— Да, — к моей радости, ответил обкомовский товарищ.

— На ловца и зверь бежит! — воскликнул я с восторгом.

Внезапно лицо чиновника резко омрачилось.

— Документы, — глухо сказал он.

Долго и придиричиво рассматривал он мои бумаги. Наконец вернул их мне и рявкнул с сильным акцентом:

— Ты почему меня зверь назвал?

Я растерялся. Предстояло нешуточное объяснение.

— Я не в том смысле, — залепетал я. — Это просто русская поговорка. Я вас жду, а вы идете навстречу. Я — ловец...

Он не дал мне закончить:

— А я, значит, зверь, да? Я, руководящий работник, — зверь?

Только тут я понял, в какое идиотское положение попал. Я снова что-то твердил про народные поговорки, про русские идиомы, клялся, что не хотел его обижать. Но лицо его становилось все мрачнее и мрачнее.

— Иди за мной, — наконец сказал он мне сквозь зубы.

Мы зашагали по обкомовским коридорам. По табличке над дверью я понял, что он привел меня к первому секретарю.

«Первый секретарь, конечно, тоже туркмен, — сообразил я. — Теперь я окончательно погиб».

— Подожди здесь, — скомандовал он и скрылся в кабинете.

Я ждал минут десять. Дверь открылась, появился мой провожатый:

— Заходи.

Я вошел в огромный роскошный кабинет. В дальнем его конце сидел полный человек в белом костюме. Мой обкомовец с ходу заговорил по-туркменски, и только русское слово «зверь» было мне понятно. Оно неоднократно мелькало в монологе. Наконец первый секретарь обратил на меня внимание.

— Ты зачем оскорбляешь наших товарищей при исполнении? — спросил он меня на чистом русском языке.

Я снова стал что-то объяснять про поговорки и идиомы. Слушал меня первый секретарь минут пять. Вскоре это ему надоело.

— Поговорка сама собой, а оскорбление «зверь» — отдельно, — наконец сказал он. — Ты у нас выступать не будешь, ты откуда приехал?

— Из Ташкента.

— Вот и езжай обратно, там тебе и место.

— Эх ты! — проговорил мне вдогонку оскорбленный. — Научишься отличать, где зверь, а где ловец, тогда и приезжай.

И я поплелся на вокзал.

«ДОНАЛЬД»

Если бы я не жил две недели в Репине, на даче Игоря Левина, если бы он не катал меня на своей «шестерке», никогда бы в это не поверил. Но мне пришлось в это поверить.

Итак, расскажу по порядку.

По профессии я — инженер-механик, однако по специальности почти не работал. Но связь со своей студенческой группой я всегда поддерживал. В-первых, из сентиментальных, даже ностальгических соображений, а во-вторых, потому что в моей группе были хорошие ребята и, конечно, милые моему сердцу девушки.

И вот в 1979 году праздновала моя группа юбилей — двадцатилетие окончания института. И меня не забыли. Позвонили в Москву, попросили приехать на банкет. Я прилетел в Ленинград часа за два до банкета. И прямо из аэропорта поехал в гостиницу «Европейская». В этой-то гостинице, вернее, на чердаке ее, в ресторане «Крыша», и был заказан банкет.

Прошел он очень мило и благополучно, всех я увидел, со всеми поговорил, произнес несколько тостов. Короче, был сам собой очень доволен. И только часов в одиннадцать я спохватился, что у меня еще нет ночлега.

С этим вопросом я и обратился к своему соседу, бывшему старосте нашей группы Игорю Левину.

Игорь был абсолютно трезв, весь вечер у меня на глазах пил только боржоми, и поэтому его согласие дать мне ночной приют на даче в Репине вполне успокоило меня.

Чтобы как-то отблагодарить его, я купил в буфете армянского коньяка, и около полуночи мы тронулись в путь на его «Жигулях».

Белые ночи уже догорали, но стояла еще та удивительная матовая дымка, подсвеченная закатным огнем, которая до сих пор никем из видевших ее

описана не была. И я в силу своей скромности тоже воздержусь от этого описания. Наличие у Игоря Левина машины и дачи в аристократическом Репине меня несколько удивило. Но чужие дела — тьма-тьмушая, и когда мы вошли в ладный каменный дом, стоящий неподалеку от Финского залива, я никакого удивления не высказал, за что и был вознагражден.

Спать не хотелось совершенно, и при этом у нас была бутылка пятизвездочного армянского коньяка. Игорь сварил в большом джезве кофе, и мы прошли на веранду. Закурили, помолчали.

— Ну что? Удивляешься? — наконец спросил меня хозяин.

— Удивляюсь, — честно признался я.

— Тогда слушай, — сказал он. — Вот уже девять лет я работаю в кристаллографической лаборатории Горного института. Семь лет был там инженером-прибористом, а теперь я начальник этой лаборатории. Вот в этой лаборатории все и случилось.

Дело было три года назад. Как-то раз пришли ко мне в лабораторию три еврея. Я никогда особенного интереса к еврейским делам не проявлял и, сказать по совести, почувствовал себя не в своей тарелке. Оказалось, у них пустяковая проблема. Были это торговые евреи, все трое работали в галантерейных магазинах. Они мне объяснили, что есть на свете еще четвертый еврей, тоже галантерейщик. И вот этот четвертый еврей намыллится эмигрировать.

Я не понимал, чего они хотят от меня и какое все это может иметь ко мне отношение.

«А вы не спешите, — ответили мне. — У этого еврея русская жена Катя и дочь-школьница с редчайшим именем Семирамида. Так вот, они никуда уезжать не собираются, и посему четвертый галантерейный еврей должен им выплатить алименты вперед за весь срок до самого Семирамидиного совершеннолетия».

Сумма этих алиментов была весьма внушительной, но четвертый галантерейный еврей окончательно решил ехать на Запад и собирал необходимые деньги для своего выкупа. По этому поводу он и продавал все то имущество, которое полагал своей собственностью.

«Как фамилия этого еврея?» — спросил я.

«Блох».

И при этом старший из галантерейщиков вытащил из-за пазухи бархатный мешочек. А уже из мешочка он вытряхнул на ладонь какую-то блестящую штучковину и протянул мне.

«Что это?» — спросил я с недоумением.

«А вот с этим вопросом мы и пришли к вам».

Штучковина была величиной с голубиное яйцо.

«Мы думаем, что это страз, то есть стекло, ограненное под бриллиант», — объяснил старший.

Я повертел ее перед глазами и сказал, что мне тоже так кажется.

«А сколько это может стоить?»

«А уж это не по адресу обращение», — ответил я галантерейщикам.

«И все-таки?» — настаивали они.

«Скорее всего, ничего не стоит. Но я могу посмотреть... Только вам придется оставить это на сутки у меня».

«Ну ладно, мы оставляем, мы вам верим, а Блох завтра зайдет к вам сам».

И с этими словами галантерейщики ушли.

А я тут же включил электронный микроскоп и начал исследовать это голубиное яйцо. И через десять минут мне стало ясно, что я держу в руках огромный уникальный бриллиант. Я взвесил его, в нем оказалось чуть больше ста каратов. Но разве дело только в величине. Это был замечательный камень, и отшлифован он был виртуозно. Тогда я взял английский справочник

и через полчаса определил, что это за камень. Знаменитый бриллиант «Дональд»! Алмаз, из которого его огранили, нашли в Южной Африке в 1907 году. Во время Второй мировой войны «Дональд» исчез, и с тех пор его больше никто не видел. И вот он лежал передо мной.

Признаюсь, я растерялся. Промелькнули разные варианты. Сбежать с ним немедленно? Но куда? Сказать Блоху, что это страз, и выкупить его? Наконец, объявить Блоху всю правду и остаться честным человеком? Последнее я и предпочел. Кроме прочего, мне были известны проклятия и беды, которые навлекают такие камни на своих хозяев. И я решил вернуть «Дональда» Блоху, предварительно узнав у него всю правду.

Назавтра в конце рабочего дня в моей лаборатории появился Блох. Это был почти карикатурный еврей, как говорится, отрада для антисемита. Но его внешность мало меня интересовала.

«Сколько может он стоить, вы выяснили?» — с ходу спросил меня он.

«Обождите, обождите, сперва расскажите мне честно и подробно, как эта штука к вам попала».

«А тут нет никакой тайны, это досталось мне от покойного отца».

«А ему?»

«Во время войны мой отец был военным врачом. Он воевал на Северном флоте. Плавал на лидере „Решительный“. В сорок третьем году „Решительный“ сопровождал один из союзнических конвоев. Немецкая авиация практически разгромила этот конвой. Крейсер „Ливерпуль“ пошел ко дну. Кое-кого из команды удалось спасти и принять на борт „Решительного“. В их числе был смертельно раненный английский морской офицер. Он умирал на руках моего отца. А отец за два года службы на Северном флоте кое-как, с грехом пополам овладел английским. И вот перед смертью тот английский офицер передал отцу две вещи — массивный серебряный портсигар и мешочек с этой вот штуковиной. Портсигар он отцу подарил, а эту стекляшку попросил после войны передать в Лондон. Причем сказал, что это просто семейный талисман, цены он не имеет. Отец запомнил адрес, который назвал ему англичанин. Но скажите, пожалуйста, можно ли было в сорок пятом или в каком-либо ином году что-нибудь переслать в Лондон?»

«А что стало с вашим отцом?»

«Он умер от инфаркта в пятьдесят третьем году, через десять дней после Сталина».

«Он успел вам назвать лондонский адрес?»

«В том-то и дело, что нет. Отец умер внезапно, на работе».

«Тогда слушайте», — сказал я.

Тут Левин налил по рюмке коньяку и широким жестом обвел свои владения. И я обо всем догадался, прежде чем он продолжил.

— Это все Блох оставил тебе?

— И не только это. Я женился на бывшей жене Блоха, Екатерине, и удочерил Семирамиду.

— Ты счастлив? — вопросительно выкрикнул я.

— Сравнительно, — ответил Левин.

— А как Блох? Что с ним?

— Он нам не пишет. Начал, видимо, новую жизнь.

— И ты совсем ничего о нем не знаешь?

— Нет, кое-что знаю. Новый год я всегда встречаю в семейном кругу. У нас неплохая квартира на Мойке. И вот как-то сидим около елки за праздничным столом. Катя, Симоша и я. Вдруг телефонный звонок. Телефонистка говорит: «Вас вызывает город Сан-Диего». Я даже о существовании такого города до сих пор не слыхал. Ну, Сан-Диего так Сан-Диего. И тут щелчок в трубке, и я понимаю, что другого столь же картавого голоса нет во всем мире. На проводе был Блох. Поздравил с Новым годом. Я, конечно, поинтересовался, где он устроился, как живет. А он отвечает: «Ты спроси

лучше, с кем я живу». — «В смысле бабы?» — спрашиваю. «При чем тут баба! — говорит Блох. — Я живу с Дональдом!» И тут телефонистка начинает нас разъединять. «Не надо ли чего?» — кричит Блох. «Конечно надо! — кричу я. — Пришли нам хорошие джинсы. Кате, Семирамиде и мне...»

— Прислал? — спросил я Левина. — Забыл небось.

— В том-то и дело, что прислал, — ответил Левин.

Мы допили коньяк, и Левин похлопал себя по заду, на котором красовался знаменитый лейбл «Леви Страус».

ПИШУЩИЕ МАШИНКИ ИЗ ЛЬВОВА

История эта произошла в 1939 году, во время «освободительного» похода Красной Армии в Западную Украину и Белоруссию, когда Сталин и Гитлер делили между собой Польшу. Тогда же вместе с воинскими частями в города после танков и пехоты ворвались и советские писатели. Был среди них и Н. — довольно известный журналист и прозаик, всем своим существом прикинувшийся к победителям. Их было десятка два, этих деятелей советской литературы, обнаруживших в захваченных городах законные трофеи, а попросту говоря — мебель, ковры, сервизы и прочее барахло, которое они по дешевке скупали, а то и присваивали безвозмездно. Говорят, что Алексей Толстой пригнал тогда в Москву несколько вагонов, битком набитых такими «трофеями».

Что же касается Н., то он был скромнее и цель его была вполне определена: хорошие западные пишущие машинки «Ремингтон», «Ундервуд» — вот что ему мерещилось, и он бродил по редакциям и квартирам города Львова, отыскивая именно их. Но почему-то ему не везло: сервизы и ковры попадались и там и тут, а вот пишущих машинок не было.

Тем временем война не ждала, армия наступала, и Н. удвоил энергию своих поисков. Наконец удача улыбнулась ему. На окраине Львова набрел он на разгромленное помещение редакции какого-то журнала. Окна были выбиты, столы перевернуты, горы бумаг громоздились на полу, и среди всего этого развала валялись две пишущие машинки. Обе они были прихвачены Н. и погружены в его багаж. В спешке наш писатель даже не стал особенно вникать, что это за машинки. Он знал, что они с иностранным шрифтом, но это его не беспокоило, так как еще в Москве он выяснил, что это не очень существенно. Поменять шрифт на русский, или, как говорят специалисты, «сменить корзину», — плевое дело.

Довольный Н. двинулся дальше за армией и проделал победоносный поход до конца. Были, правда, проблемы с багажом, ведь машинки весили изрядно, но, как говорится, своя ноша не тянет, и в конце концов обе машинки благополучно прибыли в Москву. Их торжественно установили в кабинете писателя, и они поражали его семью и друзей, ибо в те времена зарубежная техника в Советском Союзе была чрезвычайной редкостью. Наконец Н. вызвал мастера, чтобы переделать эти редкостные механизмы на русский лад, после чего ему не терпелось приступить к написанию своих выдающихся произведений.

И вот тут-то обнаружилось нечто ужасное и фатальное. Это оказались еврейские пишущие машинки. Та редакция, где подобрал их Н., была редакцией еврейского журнала, писали здесь по всем еврейским правилам, справа налево, и каретки в таких машинках двигались соответствующим образом. Никакая переделка ничем не могла им помочь, машинки ей не поддавались. Правда, был один выход — использовать их по назначению и впредь сочинять на идиш, но, хотя Н. и был евреем, такая перспектива его категорически не устраивала.

ТАЛЛИНСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Случилось это в последние годы так называемого застоя. Был тогда в силе один очень известный журналист, человек близкий к власти, неистовый обличитель империализма, чьи статьи и заметки попеременно украшали собой то «Правду», то «Известия». Большую часть жизни он проводил на проклятом Западе, и нравы родной страны сильно стерлись в его сознании.

Надо сказать, что у героя нашего повествования (назовем его Потановым) имелась в Москве давняя жена, но, прочно обосновавшись в Париже, Потанов об этом факте как-то подзабыл. А поскольку мужчине не годится быть одному, то и прилепилась к нему некая эмигрантская девица по имени Жанна, сильно уступающая ему в годах, но весьма недурной внешности и выдающихся деловых качеств. Она крутила и вертела уже стареющим газетным вельможей и явно вела к тому, чтобы стать его официальной половиной. Понимая, что закрепить свое положение она сможет только в Советском Союзе, Жанна настаивала на поездке в Москву и вообще на историческую родину.

И добилась своего. Однажды морозным декабрем они явились в столицу советской империи. Жанна была довольна путешествием, но все-таки брежневская Москва после Парижа показалась ей изрядно скучной. А тут на носу Новый год, и Жанна поинтересовалась, нельзя ли отметить этот праздник в более европейской обстановке. Так и возникла мысль поехать на Новый год в Таллин, где в те времена все-таки ощущался вполне европейский лоск, чувствовалась другая атмосфера и особый, не московский комфорт. Да и просто было ей любопытно: другие люди, другие рестораны, другие улицы.

Сказано — сделано. Потанов связался с ЦК Эстонской компартии, его заверили, что он желанный гость по высшему разряду, и забронировали для него люкс и новогодний столик в гостинице «Виру».

Утром 31 декабря Потанов со своей спутницей прилетели в Таллин, прогуляли по средневековым улочкам, и ровно в одиннадцать часов вечера они, нарядные и в лучшем настроении, появились в ресторане. Это был весьма роскошный ресторан, самое шикарное место в Эстонии. На сервированном столике уже ждали гостей угри и миноги, водка, коньяк и шампанское, и наша чета, с удовольствием все это обзрев, предвкушала новогодний пир.

Надо сказать, что Жанна была особой, сильно продвинутой в смысле моды. И она, естественно, появилась в умопомрачительном парижском туалете, в который, по замыслу кутюрье, входили сапожки, чья тончайшая замша являла собой сплошные кружева, украшенные фестонами. Вот эти-то элегантные сапожки и привели к катастрофе.

Первым их разглядел приставленный к столику официант. И он со смущением, но твердо заявил, что по инструкции даме в сапогах в ресторане находиться не положено. Потанов объяснил ему, что это не обычные сапоги, а особые, они задуманы как часть вечернего туалета, а заодно намекнул официанту на свое высокое положение. К несчастью, Потанов не учел педантизма и въедливости эстонцев и, пожалуй, их обычно замаскированную неприязнь к гостям из Москвы. Официант был неумолим. Тогда Потанов потребовал метрдотеля. Однако за несколько минут до Нового года отыскать метрдотеля оказалось непросто. А когда его все-таки нашли, то положения это не улучшило. Он немедленно сослался на инструкцию и посоветовал Жанне подняться в номер и сменить сапоги на туфли. Но туфель Жанна как раз с собой и не прихватила, а купить их в половине двенадцатого новогодней ночи было невозможно.

Потанов пришел в полное бешенство, он достал свои документы и сообщил, что он всех уволит и прикроет этот антисоветский ресторан. Однако даже директор отеля «Виру» не помог ему, опять же ссылаясь на всемогущую инструкцию. Тогда Потанов позвонил первому секретарю Компартии Эстонии прямо домой. Тот выслушал яростные речи Потанова, посокрушался и

сказал, что помочь он может только одним, а именно пригласить Потанова с его спутницей на новогоднюю ночь к себе лично.

Но этого как раз Жанне не хотелось, а может быть, сам Потанов понял, что приглашение чисто формальное и главный коммунист Эстонии вовсе не жаждет его видеть в новогоднюю ночь.

Короче говоря, без десяти минут двенадцать чета Потановых пребывала все еще в подвешенном состоянии. Новогоднее настроение было напрочь испорчено, но новогоднюю ночь надо было как-то провести. Тогда у изобретательной Жанны родилась спасительная идея: она велела накрыть праздничный стол в номере, что эстонцы поспешно и сделали.

Так и просидели они эту ночь без оркестра и праздничной толпы, вдвоем, в хмуром одиночестве, и наутро, злые и обиженные, улетели в Москву, а оттуда — в Париж.

И чувствовалось в этой истории что-то мистическое, видно, Высшая сила проявила свое недоброжелательство.

Вскоре Потанов охладел и к Жанне, и к Парижу и поехал доживать свой журналистский век за океан, в истинную столицу империализма — город Нью-Йорк. Но этого советского века, увы, Потанову оставалось очень немного, потому что на горизонте маячили совсем другие времена.

ВИНО «ТИПА БОРДО»

Когда-то я услышал эту историю от Валентина Петровича Катаева. Еще в пятидесятые годы, во времена хрущевской «оттепели», он оказался в Париже с группой самых отобранных советских писателей и их жен.

Во всей этой группе Катаев был наибольшим знатоком и любителем Парижа. Он прилично объяснялся по-французски и бывал в Париже еще в двадцатые — тридцатые годы. Короче говоря, Катаев взялся показать своим собратям по перу город. Предварительно было договорено, что экскурсия эта не должна длиться более двух часов. Потом скромный обед, а далее писательские жены намеревались посетить знаменитый универмаг «Тати», всемирно известный своими низкими ценами.

Что можно посмотреть в Париже за два часа? Естественно, немного, и все-таки Катаев ухитрился вместить в эту прогулку и Нотр-Дам, и Дом инвалидов, и Елисейские Поля, и набережные Сены. В результате прогулка получилась достаточно утомительной, и когда наступила обеденная пора, все вздохнули с облегчением. Надо еще упомянуть, что валюты у наших писателей было очень мало. В те баснословные времена туристам обменивали смехотворную сумму — рублей тридцать или что-то вроде того, но советских писателей начальство все-таки отличало — сумму им увеличили вдвое.

Поэтому Катаев направил своих спутников отнюдь не в «Куполь» или «Селект», а подыскал кафе поскромнее, как раз неподалеку от вождяленного универмага «Тати». Идея была предельно ясна: как можно проще и скорее перекусить, а затем перейти улицу и приобрести в «Тати» настоящие французские шмотки.

Хозяин кафе, сообразив, что перед ним иностранцы, проявил максимальное гостеприимство, сдвинул столики и позвал официанта. Катаев вслух прочитал меню и, хотя понимал, что обедать писатели намерены самым экономным образом, все-таки решил, что без двух-трех бутылок легкого столового вина обойтись нельзя. Какое недорогое вино заказать? С этим вопросом Катаев весьма неосторожно обратился ко всей компании. И тут жена одного писателя, видимо слышавшая кое-что по части французского виноделия, спросила: «А нельзя ли чего-нибудь типа бордо?» Остальные согласно закивали головами.

И Катаев это выражение «типа бордо» автоматически перевел на французский. И тут произошла явная заминка. Хозяин что-то быстро и горячо

сказал официанту. Что именно — Катаев не разобрал: его знаний языка оказалось недостаточно.

Официант выбежал из кафе. Хозяин удалился. Потянулись минуты ожидания. Никакой еды на сдвинутых столиках не появлялось. Писательские жены нервничали. «Тати» — совсем рядом, а уйти невозможно, ведь заказ уже состоялся. Так прошло полтора часа. В конце концов дама, проявившая эрудицию, поднялась и заявила, что с нее довольно. «Полтора часа! — справедливо возмущалась она. — Такого и у нас не бывает!»

Наконец вернулся официант. Сразу за ним у столика появился и хозяин. И они опять возбужденно о чем-то заговорили. Катаев внимательно прислушался и понял, в чем дело. В кафе было неограниченное количество бордо, но по приказанию хозяина официант отправился в магазин искать вино «типа бордо», которое заказала аристократка из России. Официант обошел десятки магазинов, побывал даже на винном складе, но вина «типа бордо» в Париже не оказалось.

Все это Катаев сквозь смех и объяснил присутствующим. Принесли просто бордо, и хозяин даже от себя добавил одну бутылку. Обед пошел своим чередом.

О ЛИБЕРАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ

Эту историю рассказала мне бывшая балерина Женя Маргулис. Когда-то Женя выступала на лучших сценах, но век балерины недолог — и вот теперь она доживает свои дни в Венеции. И остались от старой артистической жизни у Жени две привычки — путешествия первым классом на самолетах лучших компаний и кот по имени Пушкин. Причем кот — это, прямо скажем, нечто особенное. Во-первых, он пушист и огромен. Абсолютно черного цвета и любит свою хозяйку до безобразия. А Женя, как говорится, немного выпивает.

И вот летят они с котом рейсом Нью-Йорк — Рим, удобно расположившись в кресле первого класса. А в первом классе, как известно, все время бесплатно подносят спиртные напитки — причем напитки эти высшей категории. Вот Женя и приняла три-четыре лишние рюмочки коньяка «Хенесси». Надо сказать, что рейс был полупустой и первым классом летели всего три-четыре пассажира. Женя откинула ручки кресел и расположилась отдохнуть, а кот Пушкин по старой привычке улегся на живот своей хозяйке. И в таком виде они мирно отошли ко сну.

Поспали пять минут — и вдруг их будит стюардесса.

И со всевозможными объяснениями говорит, что вот этого нельзя; но вместе с тем привычной профессиональной рукой поправляет на Жене плед, который укрывает ее и кота.

Женя ничего не поняла. Может быть, нельзя спать на соседних креслах? И спросила об этом стюардессу.

— Нет-нет, спите сколько вам угодно, если хотите еще «Хенесси», то я сейчас принесу, ведите себя совершенно свободно, ведь наша авиакомпания — самая либеральная авиакомпания в мире. Но то, чем вы занимаетесь с вашим котом, пока не предусмотрено нашими правилами.

Тут уж Женя взвилась:

— Да ничем я с ним не занимаюсь, просто он мне греет живот.

— Нет, — говорит стюардесса, — может быть, он вам греет живот, а может быть, и что другое. Мне под пледом не видно.

— Так снимите ваш плед, — отвечает Женя, — и вы сами во всем убедитесь.

— Плед я не имею права снимать со спящего пассажира, нам это строго-настрого запрещено. А вот кота придется посадить в особое отделение.

Пушкин словно понял, о чем речь, жалобно замурлыкал и еще теснее прижался к своей хозяйке.

— Нет, кота я в обиду не дам, ни в какое отделение он не пойдет, — категорически заявила Женя. — А мне бы еще рюмку «Хенесси» с минеральной водой.

— Это пожалуйста, с нашим удовольствием, — говорит стюардесса, — но только если вы мне не подчиняетесь, я приведу командира корабля.

И она подает Жене рюмку «Хенесси» и скрывается в проходе. А Женя, решив, что инцидент исчерпан, натягивает на себя и на Пушкина второй плед и опять засыпает.

Но не проходит и пяти минут, как ее снова будят. И на этот раз перед ней стоит не стюардесса, а огромный элегантный мужчина-голландец в летней форме.

И он говорит:

— Дорогая госпожа Маргулис, вы нас ставите в очень неудобное положение. Всем известно, что наша авиакомпания — самая либеральная авиакомпания в мире. Мы не пресекаем даже откровенные гомосексуальные и лесбийские ласки. У нас есть на этот счет инструкция, подписанная в Амстердаме, в штаб-квартире нашей компании. Но мы, голландцы, страдаем известным формализмом: там, в этой инструкции, ничего не говорится насчет котов... Может быть, уже произошли какие-то послабления в смысле котов, а я об этом ничего не знаю. Работа, видите ли, заедает. Но если вы настаиваете, то я немедленно по радио запрошу Амстердам. И тогда, конечно, мы принесем вам свои извинения.

Жене все это изрядно надоело. Она стряхнула пледы. Перепуганный Пушкин прыгнул ей на плечо.

— Вот что, — говорит Женя, — во-первых, дайте еще рюмку коньяка, а во-вторых, убедитесь, что ничего предосудительного не происходит. Просто мой кот решил поспать у меня на животе. Ему четырнадцать лет, и он к этому привык. Он очень нервное создание, и вы его пугаете.

— Упаси Господь, — говорит командир корабля. — Наша авиакомпания — самая либеральная авиакомпания в мире. Она всегда становится на сторону животных. Но вы поймите и наше положение. Может быть, лучше все-таки радировать в Амстердам? Там, в крайнем случае, могут для вас сделать исключение.

— Боже мой, — говорит Женя и садится в своем кресле. — Перестаньте мучить меня и моего высоконравственного кота. У него ничего подобного и в мыслях не было. Ему четырнадцать лет. Он и мышей уже не ловит. А вы с такими подозрениями. Кроме того, ступайте к себе в кабину, ибо ненароком наш самолет может рухнуть в Атлантический океан.

— Но вы дайте нам слово, что ничего подобного больше не повторится, — вдруг говорит стюардесса, появляясь из-за плеча командира.

— Теперь все благополучно решено, — говорит командир и удаляется.

И стюардесса уже по собственному почину принесла последнюю рюмку «Хенесси» — лайнер самой либеральной в мире авиакомпании заходил на посадку над Римом.

ЭРОТИЧЕСКИЕ СОНЕТЫ

В 1976 году я писал сценарий научно-популярного фильма о Валерии Брюсове. Работал я в музее поэта, расположенном и посегодня в особняке «модерн» на проспекте Мира. При музее существовал кружок любителей брюсовской поэзии. Руководил им ныне покойный поэт и переводчик Владимир Рогов.

Однажды Рогов подошел ко мне и поинтересовался, занят ли я вечером.

— Свободен, — ответил я.

— Оставайтесь после закрытия музея, — сказал мне Рогов. — У нас большое событие. В архиве нашелся венок сонетов. О них ходили глухие слухи среди брюсоведов, но только сегодня он будет впервые публично прочитан. Сонеты очень пикантные. Их, как вы понимаете, четырнадцать, и каждый посвящен определенной женщине, связанной с Брюсовым.

Я, конечно, остался.

Когда последний посетитель музея ушел, бывшая гостиная брюсовского дома преобразилась. Выключили электричество, зажгли свечи в канделябрах. К восьми часам вечера в гостиной собралось человек двадцать пять. Каждому дали чашечку черного кофе и рюмку коньяку. Присутствовала и директриса музея, в прошлом — секретарша Иоанны Матвеевны Брюсовой, вдовы поэта. Назовем ее Анной Павловной. Рогов сидел в глубоком кресле, с бюваром на коленях. Наконец он величественно поднял руку, требуя внимания, и открыл бювар. Мы ждали начала чтения, но немота поразила Рогова. После долгой паузы он спросил у директрисы:

— Анна Павловна, вы не брали рукопись?

Директриса твердо ответила:

— Нет.

— Но я вчера репетировал и оставил стихи в этом бюваре.

— За рукопись вы ответите головой, — сказала директриса.

— Может быть, взял кто-нибудь из работников музея?

Но все опрошенные работники решительно свою вину отрицали.

— Что же, пора расходиться, — сказал я.

— Обождите, — перебила меня Анна Павловна, — я хочу кое-что объяснить. Выпейте-ка лучше коньяку.

Присутствующие выпили.

Анна Павловна зачем-то подошла к окну и посмотрела на распахнутую форточку.

— Я знаю, что случилось с рукописью, — сказала она. — Сонеты взяла Иоанна Матвеевна.

Даже такой никчемный брюсовед, как я, твердо помнил, что Иоанна Матвеевна умерла много лет назад. Знали это и остальные.

Анна Павловна продолжала:

— Дело в том, что Иоанна Матвеевна всегда очень ревновала Валерия Яковлевича. У нее было достаточно поводов для этого. Она даже как-то сказала ему, что на все его жестокие измены ответит столь же жестокой верностью. Конечно же ей неприятно сегодняшнее собрание. Вот она и решила временно похитить рукопись. Она, кстати, постоянно посещает музей. Я открываю ей форточку, и она через нее влетает в дом...

Тут Рогов вскочил и от ужаса поднял над головой трость.

— Что вы говорите, Анна Павловна, это же безумие!

— Это не безумие, а объективный факт.

Что-то замкнулось в голове Рогова, и он выпалил:

— Как член партии, я запрещаю вам вести подобные речи!

— Вы с какого года член партии? — спросила его Анна Павловна.

— Какое это имеет значение, ну, с шестьдесят шестого.

— А я член партии с тысяча девятьсот двадцать четвертого года. Я пошла с большевиками по ленинскому призыву.

Сокрушенный Рогов опустился в кресло.

Анна Павловна спокойно продолжала:

— Иоанна Матвеевна бывает в нашем музее два раза в неделю, обычно по вторникам и пятницам. Она очень педантичный человек. Сегодня какой день?

Ей напомнили, что среда.

— Вот видите, она и вчера не изменила себе. Это она забрала рукопись, но она непременно вернет. Она очень заботится о сохранности музейных материалов.

— Когда вернет? — спросил кто-то из угла гостиной.

— Я думаю, в пятницу.

— Я уйду, — крикнул Рогов, — не желаю находиться в этом сумасшедшем доме.

— И вы считаете себя Брюсоведом? — язвительно спросила Анна Павловна.

— Да, я считаю Брюсова великим поэтом.

Но Рогова нельзя было остановить, он удалился, опираясь на трость.

— И давно это с Иоанной Матвеевной? Я имею в виду ее посещения, — спросил я.

— Впервые она пришла восемь лет назад, когда уборщица разбила любимую чашку Валерия Яковлевича. Иоанна Матвеевна ее склеила. Хотите посмотреть?

Директриса достала из горки кузнецовскую чашку и пустила ее по рукам. Никаких следов разрушения на чашке не наблюдалось.

— Все мы помним осколки этой чашки, — слышались подтверждающие голоса.

— А что это за записка? — вдруг закричала какая-то женщина.

— Где? — И все бросились к столу, на котором стоял подсвечник позолоченной бронзы. Его массивное основание прижимало клочок бумаги.

Я подбежал первым, выхватил бумажку, поднес к глазам. На ней были только цифры, выведенные пером «рондо», — 12 464. Я зачитал число.

— Это номер по инвентарной описи, — сказала Анна Павловна, — номер рукописи сонетов. А ну-ка дайте мне.

Она внимательно рассмотрела записку:

— Почерк Иоанны Матвеевны, уж мне ли не знать его.

Вопрос был исчерпан.

Последнее, что я увидел, уходя из Брюсовского музея, — Анна Павловна встала на стул и прикрыла форточку.

ЧЕЛОВЕК СО ЗВЕЗДЫ

Несколько лет тому назад вместе с Анатолием Приставкиным и Фазилем Искандером ездил я в Тарханы на лермонтовский праздник. Все проходило очень красиво, торжественно и замечательно.

После праздника пензенское начальство повезло нас в ресторан, расположенный прямо в хвойном лесу, и там на славу угостило. А потом нас доставили в лучшую гостиницу города Пензы.

Было жарко, хотелось после обеда отдохнуть. Но вечером предстояло еще одно выступление в городском театре, и я решил привести себя в порядок, для чего и надумал принять холодный душ. Но только я встал под воду, как кто-то настойчиво постучал в дверь. В одном халате я выскочил в коридор.

Прямо на пороге моего номера стояло пять человек. Один — вплотную ко мне, и четверо — поодаль.

— Простите, нам нужен Евгений Борисович Рейн.

— Это я.

— Разрешите войти?

Они прошли в комнату, достали из сумки две бутылки водки и разложили на столе довольно щедрую закуску. Потом назвали свои имена.

— Чем могу служить? Кто вы?

— Мы — лермонтоведы.

— А где вы работаете?

— Нигде не работаем, мы уже на пенсии.

— Вы филологи?

— Нет, что вы, мы все бывшие военные врачи.

— А в каком смысле вы лермонтоведы?

— А в том смысле, что мы разгадали тайну смерти Михаила Юрьевича.

Тут я подумал, что сейчас услышу про наемного убийцу, который стрелял из кустов по великому поэту. И оказался совершенно не прав.

Спешить было некуда, и мы выпили по рюмке. После этого главный лермонтовед сказал:

— Десять лет мы разгадывали эту тайну.

— Какую именно? — поинтересовался я.

— Мы ответили на вопрос, кто стрелял в Лермонтова.

— Разве не Мартынов?

— Мартынов своего выстрела не сделал.

— Как, разве не он убил поэта?

— В том-то и дело, что не он.

Тут они заговорили все разом:

— Мы изучили подлинное судное дело. Мы сделали чучело Лермонтова. Пять лет мы возили его в лес и там стреляли по нему из дуэльного пистолета. Мы определили ход пули в теле Лермонтова.

Видно было, что передо мной серьезные люди, однако я ничего не понимал. Мы выпили еще по рюмочке и помолчали.

— Истина заключается в том, — сказали мои гости, — что Лермонтов выстрелил в себя сам.

— Как это — сам? Он что, самоубийца?

— А вы не догадываетесь, кто такой Лермонтов?

Это был риторический вопрос, я не стал на него отвечать.

— Замечали ли вы когда-нибудь, что все земные пейзажи Лермонтов описывает как бы из космоса? И почему его так интересовала личность Демона? Вы поняли наконец, откуда Лермонтов?

— Как, разве он не из Тархан?

— Разумеется, нет. Лермонтов — гость из космоса. Он родился на планете в системе звезды Сириус. Он — представитель космоса, его послали к нам для повышения качества русской поэзии.

Я перестал задавать вопросы и удвоил внимание.

— Что вы знаете про Сириус? — спросили они.

Я не знал абсолютно ничего, кроме названия.

— Сириус — очень влиятельная звезда, она всегда возвращает своих уроженцев назад. Пришла пора и Лермонтову вернуться на родину.

— Поэтому он и выстрелил на дуэли в себя? — догадался я.

Врачи облегченно вздохнули: наконец-то я высказал правильную мысль.

— Выстрел в себя на дуэли — это способ вернуться назад на Сириус.

— А как быть с Мартыновым? — тупо продолжал настаивать я.

— При чем здесь Мартынов! — в один голос закричали лермонтоведы. — Его Лермонтов просто уговорил поучаствовать, это был маскарад. И Мартынов, просто как друг, пошел ему навстречу.

— А кто лежит в гробу в крипте церкви в Тарханах?

— В гробу лежит подставное лицо. На Сириусе Лермонтов жив до сих пор, ведь там живут гораздо лучше, чем на Земле, совсем другая цивилизация.

— А стихи он там пишет? — поинтересовался я.

— Пишет и даже иногда присылает в Пензу, конечно под псевдонимами.

— Вы их читали?

— А что же мы делали эти десять лет?

На столе появился весьма солидный альбом с какими-то газетными вырезками.

— Это откуда вырезки? — спросил я.

— Из наших районных газет. У Лермонтова много псевдонимов, и все разные, — пояснил главный военврач. С этими словами он достал из сумки объемистую рукопись. — Передайте наше открытие, кратко изложенное здесь, в Москву.

Тут в мой номер зашел Искандер, пора было собираться на вечер в театр. Я бросил рукопись в чемодан, а в Москве доставил ее в Литературный музей, где она по сей день и находится.

ИОСИФ

В истории нашего знакомства есть прелесть старого анекдота, который теперь уже не годится, «не к масти». Но из песни слова не выкинешь, из жизни факта не выбросишь.

Конец пятидесятых годов. В Ленинграде повсеместно возникают какие-то диковинные литературные кружки. В июне 1958 года состоялся мой первый вечер поэзии «городского масштаба». Проходил он в знаменитой «Промке» — ДOME культуры Промкооперации на Петроградской стороне. Я прочитал стишки, друзья похвалили. Вдруг слово попросил юноша из публики. Выпустили его на трибуну неохотно. Председатель вечера Лев Мочалов славился осторожностью.

Юноша в зеленой штормовке поднял руки к кумачовым плакатам, облепившим зал. Это было время кампании за химизацию. «Химия, — было написано на плакате, — это...» — и далее шло перечисление всяческих незамедлительных благ, что принесет с собой химия. Юноша патетично прочел лозунг. «Вот, — сказал он, — вот чем дышит время, а о чем пишет Рейн?» Далее он ловкой параболой сравнил мои стихи с лозунгами уже отброшенными. Все это походило на иронический розыгрыш.

Мочалов задумался и лишил оратора слова. Затем на трибуну поднялся очередной мой приятель.

Забавно, что об этом эпизоде мы вспомнили с Иосифом только много лет спустя, когда я впервые приехал к нему в Нью-Йорк.

А уже в 1959 году состоялось наше личное знакомство, которое также не обошлось без курьеза.

И поныне в Лондоне работает на Би-би-си наш общий приятель Ефим Славинский. В пятидесятые годы он долгое время кантовался в Ленинграде, заканчивал там университет, нанимался на какие-то временные работы. Он был родом из Киева и пребывал в Ленинграде по большей части без прописки, снимая углы, и каждый раз его очередное жильё превращалось в этакую богемную штаб-квартиру. Как-то раз в Ново-Благодатном переулке (это около метро «Парк Победы», по тем временам — почти окраина Ленинграда) он снял большую трехкомнатную квартиру, где немедленно завелась и закипела полубогемная-полулитературная жизнь.

Кажется, была осень 1959 года. Я только что закончил Технологический институт, но уже занимал в ленинградской непечатающейся литературе достаточно известное положение как автор нескольких поэм, одна из которых (она называлась «Артур Рембо») была на общем слуху.

Среди множества знакомых Славинского, поэтов и непоэтов, был один человек, который теперь живет в Париже и занимается переплетным делом, — Леонид Ентин, больше известный на русском Западе под кличкой Енот. В те далекие времена они с Бродским были довольно близкими друзьями. И как-то раз, когда я появился у Славинского в Ново-Благодатном переулке, Енот подошел ко мне и сказал: «Слушай, ты должен сделать одно общественно полезное дело. Здесь у нас находится некий безумный юноша, который сочиняет стихи и никому проходу не дает со своими совершенно идиотскими творениями. Не мог бы ты, как мэтр, ему внушить, что он должен все это раз и навсегда бросить? Давай я тебя с ним познакомлю». И через минуту он, сходя в соседнюю комнату, подвел ко мне юношу, лицо которого постоянно заливалось густой свекольной краской от смущения и возбуждения — так краснеют именно рыжие люди. А Иосиф в ту пору был ярко выраженным рыжим мальчиком, что со временем несколько отступило.

В тот вечер я договорился с ним, что на другой день он придет ко мне (а жил я тогда на Красной, ныне Галерной, улице) и почитает стихи. Мне исполнилось тогда двадцать четыре года, ему — девятнадцать, а в этом возрасте пятилетняя разница оказывается чрезвычайно существенной.

И он пришел. Ничего общего со словами Ентина его стихи не имели: вовсе не идиотские или ничтожные вирши, это, однако, не были еще и ранние стихи Иосифа, которые ныне всем известны. То, что он прочитал мне в первый раз, сейчас довольно-таки трудно определить.

Молодой Бродский в то время проходил этап, который я условно обозначил бы как этап журнала «Иностранная литература». В этом журнале он читался всевозможных переводных авторов — Назыма Хикмета, Пабло Неруды, Рицоса — и сочинял полусвободные стихи с космическими сравнениями, с явно заимствованными и в третьих зеркалах отраженными метафорами... Это была какая-то плохо переваренная «уитменовщина». Я стал все это ему объяснять, но не думаю, что получилось достаточно вразумительно. Я и тогда не был крупным теоретиком.

В своей поэзии я придерживался совсем иных принципов и тогда же попытался объяснить Иосифу, что не стоит ориентироваться на иноязычные образцы, что поэзия должна быть звеном национальной культуры, национальной просодии, что у нас есть собственный звук, что в стихах должна быть и рифма, и ритмическая дисциплина. В общем, я излагал свои взгляды, опираясь в основном на поэтов, которых тогда больше всего любил, — на Блока и Пастернака. Надо сказать, что тогда я любил также поэзию конца двадцатых годов: Багрицкого, Луговского, Тихонова, Семена Кирсанова.

Бродскому они тоже в какой-то момент не были чужды. Он вообще — Пикассо поэзии, он пережил огромное число разных периодов, пропустил через себя множество влияний, расшелушивал поэтов, как семечки, и продвигался дальше. Со мной же такое не происходит: я включаю в себя поэта — и надолго остаюсь под его обаянием.

Итак, мы поговорили, и он понравился мне необычайно. И по-человечески, и с точки зрения одаренности, которая была столь велика и очевидна, что тексты, им прочитанные, как бы с нею еще не соприкасались. Было видно, что он весь — впереди, что это пока еще пред-сказание, пред-чувствие.

Он ушел, сказал, что скоро уезжает «в поле» с геологической партией. Миновало, пожалуй, больше полугода — и раздался звонок. Он вернулся, мы снова встретились, и вот тогда он стал читать совершенно другие стихи. Припоминаю, что это были «Воротишься на родину...», «Памяти Феди Добровольского» — уже настоящий ранний Бродский. Стихи были хорошо организованные, с мучительно растянутой интонацией — в них присутствовал уже праэлемент того, что можно назвать истинной поэзией Бродского. Все без исключения, что он тогда мне прочел, было талантливо. И я понял, что передо мной одаренный, выдающийся поэт!

Буквально с этого дня началась наша дружба.

Через некоторое время я обменял свою комнату и переезжал на улицу Рубинштейна (Троицкую). Бродский был моим единственным помощником, мы совершали этот переезд вдвоем. Как сейчас помню: внесли ящики, я открыл пару бутылок какого-то кислого сухого вина... Он жил на углу Литейного и Пестеля (бывшей Пантелеймоновской) — это остановки три троллейбусом или минут десять — пятнадцать пешком от моего дома. Таким образом, мы оказались совсем рядом, стали видеться чуть ли не ежедневно, и я наблюдал, как он становился сам собой.

Я познакомился с родителями Иосифа. Отец его, Александр Иванович, был знаменитым фотокорреспондентом, мать, Мария Моисеевна, тогда уже не работала. С ними меня связывали многолетние трогательные отношения, я часто бывал у них и после отъезда Иосифа. И они, как мне кажется, относились ко мне совершенно по-родительски. В то время, когда мы познакомились, я подозреваю, отец и мать Бродского постоянно ставили ему меня в

пример. По сравнению с их сыном я казался вполне благополучным человеком. Они очень переживали, что Иосиф нигде постоянно не работает. При этом его родители вовсе не были представителями «ослепленного поколения», особенно отец. Уж Александр Иванович прекрасно знал, в какой стране мы живем, но он знал также и то, чем грозило Иосифу его вечно безработное существование. Я очень хорошо помню, что во время процесса над Бродским, несмотря на все издевательство суда, на приговор, отец его выглядел очень гордым. Это трудно объяснить, но, по-моему, именно тогда родители Иосифа впервые осознали, кто был их сын. Мне вспоминается один эпизод во время суда. Когда Иосиф отвечал на вопросы по поводу стихов, то Александр Иванович смотрел на него как-то особенно восторженно, словно забыв о том, где он находится, открывая что-то в собственном сыне до той поры неизвестное.

Однако надо вернуться к нашему с Иосифом соседству.

Итак, я жил в те времена на улице Рубинштейна в Ленинграде, неподалеку от Пяти Углов, а Бродский — в знаменитом доме Мурузи на углу Литейного и Пестеля. Мы часто и долго гуляли, доходили до Гавани, до глубин Васильевского и Петроградской. Сидели в каких-то дешевых кафе, пивных.

Я любил его комнату, похожую на каюту для дальнего подводного плавания. От фотолаборатории отца она была отгорожена платяным шкафом, окно было навсегда занавешено одеялом. Диванчик, круглое кресло, маленький письменный стол, книжные полки. На сундуке расстелен спальный мешок. На полу стояла электроплитка, заляпанная выкипевшим кофе. Кофе, самый крепчайший, поглощался десятками чашек в любое время суток.

А Иосифу нравилось бывать у меня, хотя комната моя была куда менее экзотичной. Но ведь человеку надо куда-нибудь пойти, переменить обстановку.

Засиживались мы друг у друга, бывало, допоздна, иногда даже до утра. Но лишь засиживались, ранние визиты друг к другу как-то не практиковались. Я помню только одно исключение.

Кончалась зима 1963 года. Время было довольно мирное, «вегетарианское», оставалось еще несколько месяцев до статьи в «Вечернем Ленинграде», до обвинения в тунеядстве, ареста, процесса, ссылки. Два или три дня мы не виделись, может быть, даже и не звонили друг другу. Сейчас уже трудно вспомнить почему, но ведь в те времена мы как-то подрабатывали — писывали очерки, киносценарии, переводили стихи. Даже на самую скромную жизнь надо было зарабатывать. Вот я и торчал на киностудии или сидел за машинкой.

Звонок в дверь вырвал меня из самого глубокого, предрассветного, сна. Я посмотрел на часы — десять минут седьмого. Первая мысль: это КГБ. С обыском так обычно и приходят — очень рано, чтобы застать врасплох. Достают тебя из постели тепленьким, растерянным. Это уже их психологическая победа. Но может быть, это просто ошибочный звонок? Я не торопился открывать, вспоминал, что хранится у меня — какие рукописи, книги. Позвонили опять. Делать нечего, я накинул халат и пошел отворять дверь. Почему-то даже не спросил, кто пришел. На площадке стоял Иосиф. Что-нибудь, наверное, произошло, решил я, но уже хорошо, что это не КГБ. Слава Богу!

Он опередил меня, сказал первый: «Прости, пожалуйста, прости. Я час назад только закончил, наконец я это сделал». — «Что?» — «А вот сейчас услышишь. Только не сердись, киса». — «А я подумал, что КГБ». — «Ну вот, видишь, на этот раз всего лишь я. Порадуйся и пригласи меня». — «Заходи, безумец».

Мы прошли в комнату. Я сел на край дивана в халате, переодеваться не стал. Иосиф снял пальто, поставил стул посреди комнаты, достал из внутреннего кармана пиджака машинопись — «Большая элегия Джону Донну». Вышло так, что он разбудил меня, чтобы прочесть мне стихи о великом сне.

Все строки спят. Спит ямбов строгий свод.
 Хореи спят, как стражи, слева, справа.
 И спит виденье в них летеиских вод.
 И крепко спит за ним другое — слава.
 Спят беды все. Страдания крепко спят.
 Пороки спят. Добро со злом обнялось.
 Пророки спят. Белесый снегопад
 в пространстве ищет черных пятен малость.
 Уснуло все. Спят крепко стопы книг.
 Спят реки слов, покрывшись льдом забвенья.
 Спят речи все, со всею правдой в них.
 Их цепи спят; чуть-чуть звенят их звенья.
 Уснуло все: святые, дьявол, Бог.
 Их слуги злые, их друзья, их дети.
 И только снег шуршит во тьме дорог.
 И больше звуков нет на белом свете.

Это очень длинные стихи, но тогда я этого не заметил. Они тянулись ровно столько, чтобы воплотился замысел.

Было еще темно за окном, мы перешли на кухню, сварили кофе.

Я вспоминаю, что недели за две до этой ночи Иосиф спросил меня, слышал ли я что-нибудь о Джоне Донне. Имя я знал, но и только. Английский поэт-метафизик, жил при Елизавете, кажется, был священником. Но я сказал, что можно обратиться к Ивану Алексеевичу Лихачеву, одному из самых образованных филологов в Ленинграде: он знал несколько языков, много переводил, писал стихи, дружил в давние годы с Михаилом Кузминым, потом, естественно, сидел. «Отведи меня к нему», — попросил Иосиф.

Лихачев жил в самой глубине Петроградской, уже у Невки, где-то на верхотуре типично петербургского дома в стиле модерн. Я правильно угадал: он не только знал и любил Донна, но у него были и книги. Он рассказал много занимательного. Донн был богословом, его держали в Тауэре за то, что он тайно обвенчался с племянницей лорда-канцлера, он действительно — я не ошибся — был священником, даже настоятелем лондонского собора святого Павла. Лихачев снял с полки книгу и стал нам переводить с листа отрывки из «Большого заветания» Джона Донна. Он прямо на наших глазах сделал очень квалифицированный подстрочник. Оба мы были поражены: эти нагромождения, метафоры, грозди образов, эта титаническая свобода и фантазия — и когда? — в начале семнадцатого века! Что мы об этом знали? Да почти ничего.

Иван Алексеевич переводил около часа, ему и самому было интересно. Вдруг он сделал паузу: «Еще?» — «Нет, хватит, — решительно сказал Бродский, — мне достаточно». По-моему, наш хозяин даже немного обиделся: «Ну, как хотите, тогда давайте чай пить». — «Я, пожалуй, пойду», — сказал Иосиф. Чай остался пить я один.

Я не собираюсь рассказывать о психологии творчества. Только факты — вот моя скромная задача. Не знаю, сколько времени писалась «Большая элегия» — две недели, два дня? Дата в собрании сочинений — 7 марта 1963 года. Но это, конечно, дата завершения.

Поэтическая география тогдашнего Ленинграда была довольно-таки пестрой. Город был плотно заселенным заповедником поэтов с очень большим «коэффициентом полезного действия»: многие имена появились потом в печати, это — Кушнер, Горбовский, Британишский, Городницкий, ныне покойный Леонид Агеев, Нина Королева, Яков Гордин, писавший в те времена стихи, рано ушедший из жизни замечательный кинорежиссер Илья Авербах (он был членом именно *нашего* поэтического кружка).

Наиболее же влиятельным литобъединением, таким магнетическим центром, являлся кружок, который вел Глеб Сергеевич Семенов. Это «лито» собиралось при Горном институте, и участников его называли «поэтами лейб-гвардии Семеновского полка». Существовал еще кружок поэтов при Ленинградском университете, с которыми мы находились в явной оппозиции, поскольку в него входили люди слишком привязанные к официальной

советской литературе, уже издавшие свои первые книги или первую книгу готовившие. Очень интересная группа поэтов ориентировалась на самый «левый» (в ту пору!) край русской поэзии: занимались Хлебниковым, знали Хармса, Введенского, Заболоцкого и прочих обэриутов... Правда, все это «чуть-чуть», поскольку тексты обэриутов тогда еще оставались практически неизвестны. В нашу компанию входили Лев Лосев, Владимир Уфлянд, Михаил Еремин — они были самые близкие наши друзья. Вместе с ними мы как бы противостояли группе Глеба Семенова — «народолюбцам», которые тогда еще все пытались понять, чего же хочет время и широкая публика от поэзии.

Иосиф посещал почти все кружки, но не прижился ни в одном. Он был «как незаконная комета среди расчисленных светил». Он смотрел на поэтическое дело тоньше и яснее. Его мало интересовали наивные и полудетские манифесты, а интересовали личности. Так, например, он одно время очень увлекался поэзией Глеба Горбовского — поначалу действительно талантливой и какой-то особенной, отличающейся ото всех.

Шло время — и наши отношения закреплялись. Вскоре мы представляли собой ясно очерченную группу: Бродский, Бобышев, Найман, Авербах и я, тогда же к нам присоединился еще один замечательный, на мой взгляд, малоизвестный и не вполне реализовавшийся прозаик Сергей Вольф (он перекроил свою судьбу, а ведь всегда писал стихи). Руководителя у нас не было, а «правофланговым» считался я — в силу своего тогдашнего темперамента и обилия теоретических фантазий.

Это был сплошной уходящий в прострацию разговор о том, что мы должны связать времена и взять на вооружение поэзию, условно говоря, 1930 года, когда, как мне казалось, произошло слияние разных тенденций русского серебряного века.

Символизм, акмеизм и футуризм соединились в одно — в поэзию советского взлета, когда одновременно раскрылись Пастернак и Мандельштам и конструктивисты Багрицкий, Сельвинский, Луговской, а в Ленинграде появилась и давала замечательные творения группа Обэриу; не менее интересны были и младшие поэты — Адалис, Гитович... Попытка как-то связаться с той поэтической эпохой и являлась в то время как бы исходной точкой моих теорий, тогда мне эта поэзия казалась некой общей почвой, на которую следовало бросить наши семена. На каком-то этапе моя теория пленила и Иосифа; помню, как он очаровывался даже ранним Тихоновым, — но его гнал вперед собственный дар.

А самой важной фигурой в раннем формировании Бродского была Цветаева. Я прекрасно помню, как это началось. В Ленинграде и сейчас живет мой старинный приятель Борис Понизовский. 7 января 1960 года мы пришли к нему на Рождество — Иосиф, я и еще несколько человек. И кто-то из Москвы привез Понизовскому поэмы Цветаевой, которых мы тогда не знали, — «Крысолов», «Поэма Горы» и «Поэма Конца». В течение долгого вечера мы их читали вслух с листа. И вдруг я заметил, что Иосиф как-то совершенно переменялся — он выхватывал эти листы и все время пытался читать их сам, глазами. Потом он все-таки выпросил у Понизовского на время эти тексты и вскоре стал сочинять свою главную юношескую поэму «Шествие», которая — совершенно цветаевская. Именно тогда в его стихи перешло цветаевское длинное-длинное дыхание, переносы, водопадная масса слов. Я уверен, что в молодости Цветаева была главным поэтом Иосифа, это лежит в подоснове, на дне всей его поэтики, куда он потом постоянно намывал новые и новые слои...

С Ахматовой же Бродского связывала личная дружба и общие нравственно-человеческие установки. У нее было очень широкое восприятие, и она ясно понимала, что главное в поэте — его личность и объем души. И еще она чувствовала, провидела будущее, судьбу. Это ведь о Бродском она написала в 1962 году:

О своем я уже не заплачу,
 Но не видеть бы мне на земле
 Золотое клеймо неудачи
 На еще безмятежном челе.

Кстати, с Ахматовой я тоже знакомился дважды. В первый раз — когда мне было двенадцать лет. А затем я пришел к ней уже будучи студентом, и с этого момента отношения с Анной Андреевной стали дружественными и продолжались до самой ее смерти. О том, как я познакомил с Ахматовой Бродского, он сам подробно рассказал в известном интервью с Соломоном Волковым.

Иосиф сознается, что когда я предложил ему поехать к Ахматовой, то сам он не очень-то понимал, куда и к кому я его везу. Тогда еще он стихов Ахматовой не читал, и за этим именем ему виделся лишь некий не слишком внятный смысл.

Через знакомых, которые постоянно курсировали между Ленинградом и Комаровской дачей Анны Андреевны, я передал ей, что приеду со своим другом-поэтом. Помню, что это было воскресенье. Мы приехали, пришли в ее «будку», а у нее в этот момент сидели какие-то иностранцы. Анна Андреевна попросила нас немного погулять. Мы пошли на Щучье озеро, выкупались, потом погуляли по Комарову. Часа через два вернулись в «будку». У Ахматовой уже никого не было. Не помню, чтобы мы оба читали стихи, но помню, что Анна Андреевна долго рассуждала о том, что такое «герметизм», то есть что такое стихи с закрытым смыслом, который не поддается немедленной расшифровке. Дословно помню одну ее фразу: «Знаете, это вовсе не существенно — понятно или непонятно, важно, чтобы сам поэт что-нибудь имел в виду».

У Иосифа был с собой фотоаппарат (отец научил его снимать, и одно время Бродский даже подрабатывал съемкой). В тот день он много снимал меня, а я снимал его. Многие фотографии того дня остались. К сожалению, на них нет Анны Андреевны. Может быть, она не позволила себя фотографировать? Она относилась к этому опасно и ревниво. А может быть, фотографии просто утрачены. Однако позже Иосиф сделал великолепный портрет Ахматовой. Фотография эта до сих пор находится у меня.

Но Комарово для Иосифа было связано не только с Ахматовой. Позже, кажется уже в 1962 году, он жил там в академическом поселке на даче профессора-генетика Райсы Львовны Берг. Дача эта подолгу пустовала, потому что Райса Львовна руководила институтом в Новосибирске, и она поселила в доме несколько человек, в том числе и Иосифа. В одну из комнат наезжал я, жил там и наш друг, художник Яша Виньковецкий, который спустя много лет в эмиграции в США покончил с собой.

Тогда у Иосифа был роман с Мариной Басмановой — главным адресатом всей его любовной лирики. У него есть замечательный цикл, который называется «Песни счастливой зимы», — это именно та зима, проведенная на Комаровской даче.

Я тоже — не в деталях, однако совершенно ясно — ощущал будущее Иосифа: над ним всегда как бы простиралось облако его судьбы. У других была биография, жизнь, а у него — судьба. И он — ярчайший образец того рода людей, у которых она есть. И он всегда сам шел ей навстречу, отвергая всякие увертки. Его тянула и вела сила, от которой он не пытался увильнуть. Ему суждены были огромное пространство и огромный разгон.

А ведь он мог, пожалуй, избежать всех ленинградских несчастий, суда и ссылки. Он даже приехал в Москву и лег в больницу (я уже как-то писал об этом), но — передумал и решил вернуться в Ленинград. Я сам его проводил, посадил в поезд. И здесь у него сказалась не только интуиция — он рационально, интеллектуально, нравственно понимал, что нельзя (и не нужно!) убегать от своей судьбы. Иначе она тоже может отвернуться от тебя, изменить тебе. Контрапункт, который вел его по жизни, — это сочетание вернейшей интуиции и могучего интеллекта.

Накануне отъезда из СССР Иосиф провел по разным бюрократическим обстоятельствам недели две в Москве, куда я к тому времени уже переехал. Мы встречались тогда каждый день, и я вместе с ним ходил по всем инстанциям.

Потом мы не виделись шестнадцать лет.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ССЫЛКИ

Август в 1965 году выдался жаркий и душный. И произошло все это в воскресенье. Я томился в своей комнатухе в коммуналке на улице Кирова (ныне, как и прежде, Мясницкой) над старой разбитой пишущей машинкой. Заканчивал киносценарий, срок сдачи которого был, что называется, позавчера. Часов в двенадцать утра послышался звонок в дверь. Я никого не ждал. Открыл кто-то из соседей. И вдруг в мою комнату постучали. Я вышел — и не поверил своим глазам. Передо мной стоял Бродский. Совсем недавно, в мае и в начале июня, я был у него в ссылке в деревне Норенская Архангельской области. Там отметили его двадцатипятилетие.

Мы обнялись, и я все сообразил. Я знал, что Верховный суд амнистировал его. Больше он не считался тунеядцем, получившим по заслугам.

— Ты прямо из Норенской? — спросил я его.

— Да, — ответил он, — только что с поезда.

— Боже мой, ты на свободе! Это надо отметить.

У меня была бутылка грузинского вина, я откупорил ее, и мы выпили по бокалу.

— Ты должен отдохнуть, привести себя в порядок.

Однако в моей коммунальной квартире не имелось даже душа. Весь комфорт обеспечивался краном на кухне. Да и вообще сидеть в убогой, обшарпанной комнате не хотелось. И я придумал: надо позвонить Василию Аксенову. Он человек добрый и отзывчивый, он нас пригласит. Так оно и случилось. Через час мы были в квартире Аксенова возле метро «Аэропорт». Бродский полез в ванну, а мы стали думать, как лучше отметить такое событие. В те баснословные годы, чтобы попасть в воскресенье в приличный ресторан, требовалось выстоять многочасовую очередь. Но очередь под палящим солнцем на раскаленном асфальте... Нет, на это мы были не способны. И вдруг Аксенова осенило:

— Надо позвонить Женьке, он может все.

И я понял, что он нашел ключ к ситуации. Ведь он имел в виду Евтушенко. А Евтушенко действительно в те времена мог все. Я позвонил и, по счастью, застал знаменитого поэта дома. Мне не пришлось долго объяснять, что к чему.

— Я звоню в «Арагви» и выезжаю за вами. — Евтушенко был и остался человеком быстрого действия.

Прошло еще какое-то время, и вот мы в черной «Волге» Евтушенко подъехали к Юрию Долгорукому, который, как известно, возвышается напротив ресторана «Арагви». А «Арагви» тогда считался лучшим, самым кавказским, самым вкусным и престижным рестораном Москвы.

Огромная очередь тянулась до улицы Горького и заворачивала за угол. Мы кое-как пробились через толпу, и швейцар увидел Евтушенко сквозь стеклянную дверь. Этого оказалось достаточно. В холле нас встретил уважаемый господин — директор ресторана. Он братски расцеловался с Евтушенко и Аксенова тоже поприветствовал как старого знакомого. Бродского и меня представили. Затем нас провели в кабинет, где официанты уже накрывали стол. Здесь было тихо и прохладно — чего лучше. Но лицо нашего лидера затуманилось. Кабинет чем-то не устраивал его. Вдруг он решительно произнес:

— Нет, мы пойдем в общий зал, поэт должен быть вместе со своим народом.

Официанты переглянулись, но смолчали. Я понял, что здесь слово Евтушенко — закон. Нас повели в общий зал. Это было низкое сводчатое помещение, украшенное росписями на кавказские темы. Сказать, что в зале было тесно, — значит ничего не сказать. Казалось, что спичку нельзя протиснуть в этой тесноте.

— Может быть, вернемся назад? — робко предложил Бродский.

Но Евтушенко никогда не отступал.

— Поэты должны быть среди своего народа, — повторил он.

Появился метрдотель. Перекрывая шум зала громовым голосом, он попросил посетителей подняться со своих мест. Официанты начали сдвигать столы. Минут через десять освободилось место еще для одного столика. Его и внесли, уже с приборами и хрусталем, из кабинета. Никто не спрашивал, чего мы хотим, — видимо, здесь хорошо знали вкусы Евтушенко. Все, чем богаты кавказские пиры, немедленно появилось на нашем столе. Евтушенко произнес первый тост, естественно в честь освобождения Бродского.

Но тут я заметил, что вся эта шикарная обстановка — вина, закуски, взвинченная атмосфера застолья — как-то не радует Иосифа. Видимо, слишком разительным был контраст с его ссыльной жизнью, а может быть, он просто устал. Он почти не ел и не пил и только много курил, бросая изредка какие-то обрывочные фразы. Мы же втроем нажились на вкусную еду, на отличное вино, возбужденная атмосфера шумного ресторана сделала нас крикливыми и громогласными. Верховодил, конечно, Евтушенко. Он поднимал тост за тостом, читал наизусть стихотворение Бродского «Пилигримы», подбивал вино, распоряжался относительно горячего. Так прошло часа два. Вдруг Евтушенко поднялся и двинулся к выходу.

— Куда он? — спросил я у Аксенова.

— Соскучился без женского общества, сейчас приведет барышень.

Аксенов хорошо знал, что говорил. Действительно, Евтушенко вернулся с двумя вполне пикантными девицами. Слава Богу, за нашим столом было место и никого больше поднимать не пришлось.

Теперь все внимание нашего тамады переклочилось на новоприбывших. Где он их достал, мне было непонятно. Девицы быстро догнали нас по части выпитого и поинтересовались, с кем сидят.

— Мы велосипедисты, — объяснил им Евтушенко, — я, например, чемпион Советского Союза.

— Почему он скрывает свое имя? — спросил я шепотом все у того же Аксенова.

— Да что ты, стоит им узнать, что это настоящий Евтушенко, как они падают в обморок.

Гремел оркестр, табачный дым густо нахлобачился под низким потолком. Бродскому, видимо, все это было в тягость.

— Я пойду, Женька, — шепнул он мне, — они и не заметят.

И он действительно тихо, не прощаясь, по-английски ушел. А мы еще долго сидели в этом дымном и темном зале, пили вино, шутили с девушками, смеялись...



ВИКТОР КОЛЛЕГОРСКИЙ

*

НА ВОЗДУШНОМ ОКЕАНЕ

* *
*

К брату Тибальту в обновах сосновых,
В звездное лето со скоростью света —
Двое блаженных в семействе сверхновых:
Альфа Ромео и бета Джульетта.

Аква тофана от брата Лоренцо,
Тайного брака загробная нега.
Краешек рая — Верона, Виченца...
Четверть секунды до часа омега.

Нательная живопись

Испещрен, изукрашен
С головы и до пят,
Краснозвездных пять башен
Под тельняшкой горят.

Вавилонского флота
Боевой управдом
Словно фресками Лота
Наводняет Содом.

В инвалидной коляске,
И дыра в сапоге,
И какие там краски
На иззябшей ноге...

И наскальная фреска
На жалчайшем из тел —
Как пасхальная врезка
В наш печальный удел.

* *
*

Дмитрию Цесельчуку.

У виноградных пагод, у врат иного Рима,
Блаженных райских ягод стена горит незримо —

То радостью синайской затеплится в латыни,
То радугой китайской заблещет нам в пустыне.

О, посох пилигрима, о, горечь винограда
У врат иного Рима, у стен иного сада...

Но дивная прохлада повеет из-за туч —
И стен чумного града коснется райский луч.

Бах

О, это вышнее паренье
И пенье ангельского клира,
Когда поправшие забвенья
Листы бесценного клавира

Вдруг обретают очертанья
Давно исчезнувшего мира,
Преображаясь в содроганья
Одушевленного эфира!

И стройный образ мирозданья
Насквозь пронизывает мера,
Пока исполнена звучанья
Та серафическая сфера,

Что исторгает это пенье
Из музыкального размера.
...И постигают поколенья
Секрет чудесного примера.

* *
*

Б. О.

На воздушном океане
Без руля и без ветрил
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил.

По чудесному капризу
По небесному лучу,
По вселенскому карнизу
Мы скользим плечом к плечу.

Мы слились с надзвездной пеной,
С горним воздухом высот
И на краешке вселенной
Свой закончили поход.

* *
*

За блаженное бессмысленное слово...
О. М.

О, заумь! О, бессмыслица чудесная,
Случайная, блаженная, прелестная...

Ну кто, скажи, тебя не заучил —
Хоть первые три слова: *дыр бул щыл?*

Я помню, как великий пушкинист,
Живой цитатник, энциклопедист,

Невосполнимых замыслов запасник,
Началу века дивный сопричастник,

На склоне лет нам лекцию читал.
Уж в памяти его зиял провал.

Мучительно стихи припоминая,
Немел он, от подсказки расцветая.

Всё помнили его ученики,
А он уже не помнил ни строки,

Уже всего «Онегина» забыл,
Но не забыл волшебных *дыр бул щыл*.

С амнезией жестокой в поединке
Их бодро произнес он без запинки

И две еще строки за ними — пусть
Браня, кляня, но с ходу, наизусть,

Бессмыслицей, конечно, их считая,
До девяноста лет не забывая...

И нам, наверно, сколько будем жить —
Невнятицы заветной не забыть.

Город

Фантасмагория

I

Афины Севера, близ Фив курило-финских,
Где венценосный царствовал Ликург,

Рим цезарей, град кайзеров латинских,
Языкеский Юпитербург,

Коврига рижская от Лютерова хлеба,
Лютеция латгальская, Париж,

И, наконец, венец пустого неба,
Ингерманландскою Венецией горишь.

II

Коврига черствая от Лютерова хлеба,
Лютеция латгальская, вполнеба

На крыльях серафических паришь
В сухой, евангелический Париж,

В рай, парадиз, элизиум балтийский,
Ганзейский, залетейский, лютецийский,

Из праха — к Баху вышнему в чертог.
И впрямь, где Бах — уж верно, там и Бог.

III

Лютеция латгальская, Пальмира,
Из вавилонян в римляне, вполмира

На крыльях фосфорических паришь
В ночной, люциферический Париж

Под шелест в елисейских магазинах
Забробных роз в египетских корзинах —

Небесных роз, блаженных райских роз.
...Эфирный град на крылышках стрекоз!

* *
*

Шар земной, словно шар от бильярда,
Как Персей, подхвати на лету —
В пустоту, на разрыв миокарда,
С головою Медузы во рту. .

И уже не Медузы, а Музы
Слыша голос на Млечном Пути,
В запредельную звездную лузу
Путеводным шаром покати.



БОРИС ЕВСЕЕВ



БАРАН

Рассказ

Баран был сыт. Маленькие масляные глазки его туповато и нежно плавали на узкой горбоносой мордочке, как плавают, стоя на месте, черно-золотые капли жира в продолговатой рыбнице. Баран лежал на подстилке из мелконарезанной, но вовсе не трухлявой, чуть даже припахивающей полевом соломой. Жесткий морозец осени, свисавший с бетонных стен тонкими оголенными проводками, легко покалывал его тугую мездру, обшитую плотно курчавящейся, голубовато-дымной шерстью. Баран был сыт и был пьян. В голове его тяжкими водно-спиртовыми парами перекачивались далекие пространства, вспыхивали белые луны, сменяли друг друга места зимовий и места пастбы, стоял тихий рев речных протоков, билось мягкое звездное бляенье овечьих стад... Прошлая жизнь представлялась теплой, близкой и была приятной. Жизнь нынешняя, несмотря на довольство и сытость, — тревожила.

Вдруг баран вскочил: сперва, подкинув задок и вильнув спиной, на задние, обтянутые темными полусапожками, ноги, затем — на передние. Звук свистящий, звук потаенно-острый, звук вынимаемой из ножен гурды, звук, витавший над всеми его предками, сбегавшими с кавказских взгорий к наглухо забитым птичьим свистом садам Тегерана и оттуда кочевавшими до курящегося диким асфальтом Дамаска, резанул его по ушам.

Нагнув голову, баран прислушался. Звук не повторился. Однако раздался другой. Еще более страшный, еще более понятный — звук сглатывающего слюну, жадного до крови и дымящихся бараньих потрохов человека. Этот звук обмануть не мог. Надо было убежать, бежать! Не задерживаясь и не раздумывая, баран отступил немного назад и с разбегу въехал головой в показавшуюся ему непрочной стену. Бетон загудел тревожно... Встряхнувшись и недоумевая, баран отбежал от стены, примерился еще раз и вдруг остановился как вкопанный: в темноватый дверной проем входили двое. Собрав всю свою силу, всю невидимую миру решимость и злость в комок под ребрами, баран затаился, стих...

Двое вошедших работали здесь же, за бетонной стеной, на стройке. Хорошо выкормленный, а в последние дни даже слегка выпоенный вином баран должен был стать венцом их сегодняшнего дня. Должен был принести удачу, отогнать иногда выскакивающую из пустых проемов и упырем впивавшуюся в шею тоску, должен был помочь уйти от плывущей низко, едкой — как облачко сигаретки египетской — опасности. Правда, сейчас никакой опасности вошедшие вроде не чувствовали. Но зато ее хорошо чуял замерший посереде каменной, без окон каморки баран.

Борис Тимофеевич Евсеев родился в 1951 году, окончил Институт им. Гнесиных и Высшие литературные курсы, живет в Подмосковье. Автор нескольких поэтических сборников, вышедших в свет в 1993 — 1995 годах, печатал стихи и прозу в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Согласие», «Континент», «Москва», «Волга», «Урал» и др. В «Новом мире» публикуется впервые.

Тем временем за бетонными стенами начинался вечер. И люди, начало его ощутив, стали к макушке вечера, к дымящейся вином и кровью вѣчере, без промедленья готовиться.

Один из вошедших был турок. Второй в точности не знал, кто он такой: тонкий, ястребиный, с чуть загнутым кончиком прозрачный нос, зеленые глаза и русая борода прямоугольником выдавали в нем славянина, но жесткие, черные, островками растущие на лысеющем темени волосы говорили как будто совсем о другой крови. Люди и баран несколько секунд словно примерялись друг к другу, прислушивались к скорости струенья крови, оценивались к медленно, в такт биению жизни опускавшимся и вздымавшимся ядрам в паху... Но тут же, словно навалив на это прислушивание кучу покруче, наплевав на что-то важное, из тишины вдруг начавшее выступать, круглолицый и толстоусый турок запел:

И он сказал ей перед третьим поцелуем:
Я закажу тебе шашлык с бараньим...

— Заткнись, — оборвал турка бородатый. — Заглохни. Не видать тебе ее!
— Так уж и не видать! Перевидаемся, и не раз...

Турок, невысокий, подвижный, обложенный по животу обманчивым жирком, турок с лицом пьяноватым, оплывшим, иногда глупо-веселым, иногда возвышенно-отрешенным, сделал шаг вперед, быстро нагнулся, подлез барану рукой под живот. Баран тут же туповато и спокойно отступил в сторону, но турок уже нащупал, что ему было надо, засмеялся и сказал чисто по-русски, так чисто, как говорить таскающему мешки с мусором разнорабочему вроде бы и не полагалось:

— На месте... Куда он денется? А, старшой? Закатаем ей жареного?

— Пошли, — как-то недовольно и даже злобно отозвался на «старшого» тонконосый, называвший себя иногда карпатороссом. — Бери его за курдюк. Ну!

То легонько подталкивая под зад, то оглаживая и щекоча восковой, теплый, не отвердевший еще как следует рог, турок погнал барана в стройдвор.

Во дворе, отгороженном от улицы негустой, но прочной и очень высокой решеткой, никого не было. Инженеры и десятники давно разошлись, иногородние рабочие — других на стройке не держали, — похлопывая руку об руку и зевая, сидели в двух обогреваемых автобусах фирмы. Барана надо было колоть здесь, потом освежеванную тушу, спустив кровь, переносить в машину и катить на ней в гости к двум не слишком молодым и не очень красивым женщинам. С этими двумя могла быть и третья — гнучая, как хлыст, совсем юная, но уже и тяжелая где надо. О ней турок и карпатсросс вспоминали про себя с внезапной дрожью и неприсущей им обоим кротостью. Но третьей могло сегодня и не быть. Это нервировало, раздражало...

— Давай его в душевую. Там кровь спустим.

Ни у турка, ни у карпаторосса ножей не было, зато были две острые долгие спицы, ими надо было колоть барана в сердце, колоть неожиданно и нежно, колоть так, чтобы животина не успела до смерти перепугаться, чтобы вкус страха не успел впитаться в клеточки плоти и мясо не отдавало потом мертвечиной, убоиной.

— Лады, — кивнул турок. Он на минуту распрямылся, выпустил бараний хвост, бессмысленно засмеялся. Предстоящий забой ознобил его жестковатой, судорожной радостью, хотя колоть должен был, конечно, не он, а старшой.

Турок распрямылся. Баран отступил на шагок назад, и в ушах его запела не пастушья дудка — запела глухо и сдавленно боевая труба. Труба звала, труба подталкивала и понуждала к действию.

Что есть силы и почти без разбега баран ударил турка крепким лбом под правое колено. Турок упал как переломленный. Баран неуклюже, но и быстро развернулся на месте, мелко топоча узкими копытцами, побежал к вы-

пускавшим недавно рабочих и потому не замкнутым еще воротам, скользнул в них...

— Ну, ты... Набил кендюх! — крикнул карпаторосс. — Держать надо крепче!

— Мясо сбежало! — зареготал хорошо говорящий по-русски турок.

Турок думал, что баран, как это и свойственно всем его сородичам, за решеткой остановится, тупо уставившись на ворота или еще куда, и тогда он, турок, отведет барана в душевую, подождет, пока старшой заколет его, а затем уже сам бережно спустит кровь, освежает тушу. И потом они барана схавают, отпразднуют месяц безделья и отдыха в Москве свежим мясом и через несколько дней подадутся дальше, куда надо. На Кавказе они свое дело сделали. И в Москве им, попадающим на лету в монету, способным завалить «стингером» не только вертак, но даже идущего на бреющем «сухого»; им, научившимся взрывать и мягко опускать в воду в заданном направлении высокие, легкие каменные — может, римские еще — акведуки; им, умудрявшимся прятать целые составы с гуманитарной помощью, наваленной небрежно поверх оружия, — в Москве им делать было нечего.

И еще кое-что, кроме отсутствия настоящей работы, смущало их здесь. Что именно, они навряд бы могли сказать. По ощущению же, невыговариваемому вслух, получалось, что, несмотря на криминальные водоворотцы, несмотря на кипящий и бьющийся по краям этих московских водоворотцев мусорок и пену, жажда борьбы и смерти здесь как-то пропала. А вместе с жадой пропало, казалось, и само уменье бороться и убивать. И это им — профессионалам до мозга костей — не нравилось. И хотя вслух об этом не говорилось, и без всяких разговоров турок видел, что в Москве, на липовой этой стройке, карпаторосс размяк, притупилась его знаменитая реакция, командирский тенорок вязнет в томной лени, а стройка начинает интересоваться уже не как дыра, куда их устроили на месяц-другой отсидеться и где они ни черта не делали, и ни один фирмач ни разу не сказал им про это, а как место, где нюхают кирпич, чисто зализывают бетонные швы — словом, обманывают себя никому не нужной мужицкой работой.

«Ишь пригрелся, — сипел про себя турок. — Строитель выискался... Такую руку портит! Ну, стало быть, командировать я теперь буду...»

— Мясо сбежало, — прореготал турок вслух во второй раз и добавил небрежно, как бы даже с долей презрения к собеседнику, чего никогда себе прежде не позволяя, зная тяжелую руку старшого: — Ну, далеко не убежит...

— Быдло... Уйдет мясо... — весело и грозно сморщил свой тонкий нос старшой.

Турок и вправду на этот раз слишком много говорил, слишком долго подымался. Баран же, выскочивший в Стрелецкий переулок и на миг приостановившийся, устремился тем временем, обминая автобусы фирмы и чьи-то «бээмвэшки», на Сретенский бульвар и затем дальше, дальше к Сретенке, на юг...

— Заводи машину, давай за ним! — гаркнул карпаторосс.

Со стройки всех рабочих в дешевую гостиницу отвозили автобусы, и только они с турком пользовались вмиг предоставленным, снаружи проблескивающим искоркой, но внутри уже слегка захламленным «Москвичом». «Москвич», добродушно заурчав, неторопливо взял с места.

Час, когда поет боевая труба, для каждого из нас свой!

Выйдя со службы около семи вечера, я тихо плелся вверх по Стрелецкому к Чистым прудам. Осень внятно шерудела сзади слабо пахучей жестковатой метелкой. Выскочивший из решетчатых ворот баран метнулся мне прямо под ноги и резко встал. Затем, чуть постояв, словно дивясь этой ненужной и нелепой остановке, выпустил со слабым стоном клокотавший внутри кисло-

ватый воздух, тут же обратившийся в пар, и, выцокивая копытцами и, как захмелевшая женщина, раскидывая в стороны разъезжающиеся на тонкой ледяной корочке асфальта ноги, рванул куда-то в зауженные до почти полной непроходимости сретенские тупички, проулки...

Двое в «Москвиче», потеряв беглеца из виду, вырулили было на бульвар, однако сразу сообразили: сюда, в плотный поток машин, баран вряд ли сунется, — и тут же увернули назад, в переулки, под сень желтокаменных, криво и низко нависающих над дорогой сретенских домов.

Баран влетел в безмашинный, безлюдный двор и попал в каменный мешок. Сзади, совсем недалеко, были те двое. Баран чувствовал приближавшую этих двоих механическую силу загревком, спиной, чувствовал, как всегда, не оборачиваясь, потому что оборачиваться назад баранам совершенно не для кого и незачем.

Шорхнули тормоза. У въезда в заложенный бетонным блоком двор — чтобы не могла проехать машина — встал алый «Москвич». Баран боднул головой воздух, постоял еще секунду и толкнулся лбом в какие-то замалеванные зеленью стеклянные створки, потом, побегав перед этой неподдавшейся дверью, нырнул в другую, приоткрытую, врезанную в глухую каменную стену чуть поодаль.

Баран промчался по двум длинным коридорам, ворвался в полузатемненный, вспыхивающий то зелеными, то красными огоньками зал, сдвинул в сторону прямоугольный, тоже крытый зеленью, стол и у стола другого, облепленного мужчинами в узких, ласточкиных, свадебно-черных одеждах, остановился. Дальше бежать было некуда. Туманясь взором от цветных огоньков, баран видел ошеломленных, еще не приступивших к игре мужчин, примечал, как забегала вокруг обслуга, чувствовал, как его берут за уши, толкают в бока, видел, как через какое-то время вошел специально приглашенный из соседнего заведения человек в белом огромном, налезавшем на когтистые брови колпаке, слышал, как бровастый с удовольствием и как-то залиvisto крикнул, щелкнул пальцами, и в зал, стесняясь свадебной публики, вбежали двое мальцов-крепышей, тоже в колпачках и в передничках белых. Мальцы стали толкать барана под ребра, вцепились в шерсть, пытались сдвинуть его с места то силой, то лаской...

— Он где-то здесь. Отсюда его забрать — два пальца обоссать... — сказал турок.

— А вот это навряд. Заведение тут, видать, шикарное. А рожа у тебя... — Карпаторосс глянул на сидящего за рулем турка и во второй раз за вечер ухмыльнулся. Ухмылка его была жестковатая, сухая, таящая в себе скрытую убойную силу, но все ж приманчивая и к себе располагающая. — Ну, не пропадать же мясу... Надень клифт.

Они скинули рабочие халаты, переоделись прямо в машине и, чуть пообтряхнув с себя пыль и разглаживая мятые рукава пупырчатых пиджаков, вступили в каменный, осенний, не слишком холодный, но уже, конечно, и не теплый двор.

Баран стоял на месте до тех пор, пока к нему откуда-то из недр заведения, из недр казино не вышла роскошная, с белыми, рассыпанными по плечам волосами женщина. Женщина была в длинном бархатном густо-изумрудном платье с небольшим разрезом на боку. Присев, нежно охлопывая и успокаивая барана, она так же, как и турок, незаметно огладила бараний живот, перевела дыхание, тихо хмыкнула и мягко через плечо сказала кому-то:

— Отнеси его в машину, потом езжайте домой. Он пойдет, пойдет... Бэря, бэря, мэш-мэш-мэш... Пойдешь? А?

К барану подошел прямой как лопата человек, и в помещении не снимавший каракулеву шапку-кубанку. Был он похож на равнинного пастуха, хотя на лице его не было бороды, в руках — кнута, а за пазухой — плюющего огнем черного дрючка с загогулиной. И баран, силе которого мог сейчас позавидовать снежный барс ирбис, враз успокоившись — час его не пришел, не пришел еще! — побрел за пастухом.

Турок и карпаторосс толкнулись в ту же размалеванную дверь, что и баран. На дверь подсобки они внимания не обратили. За стеклянными створками, бывшими, собственно говоря, черным ходом или, верней, входом для своих, их встретили двое.

— Куда, босота? — гавкнул лениво один из охранников.

— Туда, — ответил карпаторосс с печальной сухостью, враз сковавшей разбирающегося в людях охранника по рукам и ногам, и чуть заметно кивнул головой.

— Баранца своо шукаем! — как бы слегка извиняясь за убийственный взгляд старшего, зачастил турок. — Не забегал сюда? Ась?

Перед входом в игорный зал их перехватили уже плотней.

— Кого ищем, ребята? — Трое в униформе казино — пурпурная жилетка на пуговицах, коротковатые, свободные черные брюки, чуть напоминающие покроем каратистские, — подошли, обступили неслышно полукругом, вели себя сдержанно, профессионально.

— Пропустите их, — сказала вдруг вынырнувшая откуда-то сбоку женщина с белыми, рассыпанными по плечам волосами. — Они же играть пришли! Вам ведь «блэк-джек», ребята, нужен, так?

Турок молча кивнул.

— О, какие экземпляры... — как бы про себя глухо пропела светловолосая. — Потолкуем? — Она кивнула в сторону и, чуть вздрагивая бедрами, пошла по коридору. — Барана ищите? Или вы охрану на пушку взяли? Вы ведь пробойщики?

Они и вправду показались ей этими полубезумными-полугениальными потрошителями автоматов. «Пробойщики» появлялись здесь нечасто, их достаточно быстро вычисляли и, дав выдоить дочиста этим хитрованам два-три автомата, выставляли с миром за дверь. Чаше в «пробойщиках» обретались создания юные, «интеллектуальные», но попадались и чистые «практики», постарше. Женщина еще раз оглянулась — ей бросились в глаза мягкая тигриная поступь шедшего впереди турка, суховатая воинская посадка головы карпаторосса... Она на мгновение напряглась — слишком тренированы они для «пробойщиков!» — но тут же и расслабилась, вспомнив про мощную охрану внутри казино.

Они вошли в комнату с игральными автоматами по стенам и овальным пустым столом. Двое остались стоять. Женщина села на свободный стул.

— Так, значит, барана ищите?

— Ищем, — сказал вышедший теперь, после разведки, как и положено, вперед карпаторосс.

— Я баранчика вашего покупаю...

Карпаторосс улыбнулся, медленно покачал головой.

Этим он хотел сказать, что баран не продается, потому как баран теперь — что-то вроде жертвы, жертвы, которую их научили приносить на юге, в горах, и которая давала им, убийцам и безбожникам, хоть какую-то уверенность в сохранении своей жизни при непремennom условии отнятия жизней чужих. И, конечно, барана, как зримый символ этого нового язычества, они отдать ни за что не могли, даже если б красотка эта вместо денег оплатила натурой. Но ничего этого карпаторосс не сказал, не из-за сложности даже, а из недоверия к лишним словам и движениям и по привычке к экономии жесточайшей во всем: в спиртном, в развлечениях, в любви. Толь-

ко хорошая пища с дымящейся кровью дозволялась вволю. Именно поэтому карпаторосс, взглядом уже обезжавший сидевшую на стуле с головы до пят, взявший ее мысленно за плечо и попробовавший на крепость бретельки ее бархатного платья, не сделал к ней и шагу.

Но здесь ошибку допустил турок. Ошибку, за которую старшой в другой раз, может, и открутил бы ему кой-чего. Однако сейчас карпаторосс был разнежен долгим отдыхом, был затуманен мыслями о пище, о дымящейся лужице бараньей крови...

Турок ошибся, приняв сухой, мгновенный туман в глазах старшого за решение барана отдать, а женщиной здесь же и немедля попользоваться.

Решив так, турок развернулся к двери лицом, а к говорящему спиной, чтобы не мешать старшому, пока тот будет договариваться с этой бабой, и, уверенный, что его никто не видит, выдернул из-за пояса тяжелую «беретту», переложил ее во внутренний карман пиджака. Турок и думать не думал применять здесь оружие: казино он считал забавой для маменькиных сынков, для толстожопых обалдуев и для извращенцев, встретить здесь равного себе профессионала не рассчитывал, вынул пистолет только для того, чтобы тот не помешал возможному телесному контакту, и даже не снял «беретту» с предохранителя.

Хозяин заведения Евгений Пальч Д., или как здесь все его запросто звали — Блэк-Джек (за пристрастие к этой очень быстрой и несложной игре, требующей лишь вострого глаза, умения уследить за простыми комбинациями и сделать полный расчет карточного стола ровно за шестьдесят секунд), — хозяин казино решил развязаться «с этой желтоволосой тварью» навсегда. Мало того что она наставляет ему рога! Мало того что кидается на первую попавшуюся рвань вроде этих вот мокрушников (а что двое, за которыми он сейчас наблюдал, глядя в экран телевизора, мокрушники, Пальч, очень чуткий к жизни своей и настроженный к жизни чужой, определил сразу). Мало! Она теперь еще козлами-баранами решила заняться!

Но перед тем, как выставить эту тварь из казино и со своей загородной дачи, выставить с голой задницей и, конечно, без единой зеленой бумажки, он решил навсегда укоротить ей язычок, заодно обезопасив себя от подозрительных, неясно зачем пожаловавших гостей. Чуть кривящийся на правый бок, черноусый и чернолицый Пальч, не в последнюю очередь называемый Блэк-Джеком и за эту свою черноту, выслал из операторской дежурного оператора и пригласил в нее своего заместителя. Сейчас оставалось только решить, пугнуть этих двоих или...

— Верхняя система в срядке? — насупившись, спросил Пальч.

Турок опустил «беретту» в карман пиджака и так и остался стоять лицом к дверям, всем своим видом показывая: мешать старшому он не будет.

— Я дам хорошую цену... А вдобавок для таких, как вы, экземплярчиков, — светловолосая понизила голос, — могу кой-чего добавить.

Карпаторосс снова отрицательно мотнул головой, но шаг по направлению к чем-то настоорожившим его, таким же бархатистым, как платье, и таким же изумрудным, как ящерка на камне, глазам сделал. Он спешил. Его ждала беспечальная и бесконечно долгая вечеря с кровью. И в этом чужом, искусственном мире мелких обчетов, карточных домиков, жетонов, фишек, маленьких стальных всадников и стеклянных, накрывающих столы колпаков ему задерживаться не хотелось.

Все могло бы обойтись, но турок совершил еще одну, и последнюю на сегодня, ошибку: ощутив спиной, что старшой идет к женщине, он, дурачась, оскалился, поднял левое плечо, опустил руку в карман пиджака, схватил «беретту» за рукоять и сквозь подкладку стал целиться в дверь.

И турок и карпаторосс были профессионалами настоящими: почти в одно и то же мгновенье оба почувствовали: в комнате что-то не так. Им (и

снова почти одновременно) помнилось: кто-то за ними наблюдает — словно там, на Кавказе, из-за острых камней, из засады. Турок опустил плечо, резко развернулся к столу; карпаторосс остановился, словно кем-то окликнутой, затем вдруг нырнул влево...

Пальч, наблюдавший за всеми действиями мокрушников, увидел движение толстого кавказца, целившего в дверь, и резкий шаг другого, возможно хотевшего взять желтоволосую заложницей и потом за эту тварь еще требовать денег, — Пальч важно, даже, как почудилось заму, надменно поднял вверх указательный, а затем и средний палец правой руки. Что это означает, зам знал. Надо было привести в действие последнюю самоделку кустаря Пальча. О том, что Пальч — когда-то студент авиационного института — во всех игровых комнатах казино над потолками, рядом с фирменными системами слежения, применяющимися повсеместно, ухитрился установить допотопные, но хорошо телемеханикой управляемые снайперские винтовочки, кроме зама знала только желтоволосая. Самонаводящаяся система, на думку зама, была слишком уж кустарная. Однако ее безотказность (проверенная ночными «потешными» стрельбами) вызывала смешанное со стойким страхом уважение. Зам дважды нажал оранжевую пипочку, торчавшую прямо перед ним из щитка; через несколько мгновений на потолке комнаты с ореховым овальным столом раскрылась неширокая щель, потом раздались два мушкетерских хлопка, и оба незваных гостя, ожидавших нападения откуда угодно, но только не с «неба», не с потолка, упали.

Турок умер сразу, а карпаторосс успел еще вспомнить о баране. «Баран, бля... Бар...ан...» — выхаркнул он, и Пальч радостно захлопал в ладоши: «Сработала, сработала!» Он был счастлив, как ребенок. Пальч ценил удобства. Полжизни он прожил в сортире. Сейчас из сортира вылез. И залезать в него опять, то есть входить в контакт с ребятами, которые защищали бы его во всех случаях жизни, не хотел. А автоматика — она кого хошь уломает!

«Ай да Пальч! Ай да сукин кот...» Пальч опустил на стул, еще раз тихонько плеснул ладошками.

— Зачем? — с опозданием заорала, а потом и завывла с экрана желтоволосая. — Заче-е-е-м?!

«Затем, чтоб знала, шлюха, — ругнулся про себя, отключил звук, а потом даже жидко и вроссыпь плюнул в мелькавший экранец сразу посерьезневший Пальч. — Затем».

Баран тихо плыл по Москве.

Поездка в машине казалась ему долгим, сладко томящим плаваньем по великой огненной реке. Человек в кубанке не захотел запереть барана в багажник, как велела ему хозяйка. Он бережно поставил барана на заднее сиденье и, зная упорство и твердость духа этого туповатого на вид животного, даже не пытался его уложить. Баран бездвижно глядел в окно. Он не видел людей, хотя порой лица их выскакивали и мелькали совсем близко, не видел мостов, пролетающих низко над головой, не видел других, иногда огромных, резко сигналивших, машин. Он видел, он обонял одну только дикую влагу бытия, несущую на себе бессчетные огни, видел, как она колышет громадными тушами волн, и успокаивался, словно и ему теперь было дозволено глотать эту влагу. И от такого питья рог его становился тверже каменных домов, а спина и шея — мощней волочимого по задам и окраинам Москвы, снижаемого до пустырей и железнодорожных станций мутно-вечернего, коегде аккуратно продырявленного звездочками неба.

Тех двоих с маленькими круглыми дырками в темени давно унесли, а светловолосая женщина все еще билась в истерике. Затем, отплакав, умывшись и вновь подкрасившись в дамской комнате, она послонялась бесцельно по заведению, поотиралась близ игорных столов, позвонила на дачу:

— Руслан? Привез барашка? Я к утру буду... Покорми его плотненько, лапа...

Человек в кубанке долго слушал пустую трубку, потом вдавил ее в прямоугольник телефонного аппарата и, медленно наливаясь ему самому непонятным гневом, стал бросать в стоявший на полу середь комнаты развязанный рюкзак всякую дорожную мелочь.

«Этой лахудре не видать больше ни меня, ни барана. Ни меня, ни его».

Человек в кубанке, не слишком торопясь, но и не затягивая сборы, упаковываясь, взял все, какие имел, деньги, затем сходил в спальню женщины, вынул что-то из ее шкатулки, тщательно замкнул дачу на все замки, ключи выкинул в канаву и поехал на машине в близко расположенный, нежно прижигающий небо сигаретными огоньками то и дело садящихся и взлетающих самолетов аэропорт. Баран привык уже к этой теплой, напоминавшей плавностью хода высокую арбу машине. И здесь ему, несмотря на дурящий и морочащий запах сгорающей нефти, нравилось.

Двое, еще недавно собиравшиеся в душевой спускать баранью кровь, потому что, хотя мясо с кровью они и любили, пачкать машину не хотели, — двое убитых лежали теперь в пустом крохотном дворе. Кровь им не спускали, но кровотока своего они уже не чувствовали. Двор, в который их вынесли, никак не соединялся с тем каменным мешком, куда сдуру забежал баран, и располагался за квартал от заведения Палыча. Двое лежали рядком, укрытые, хорошо и смиренно лежали, но вроде и ждали чего-то. Смерть, которую они заслужили сто и тысячу раз, пришла сейчас. Никто из них теперь не был старше, никто не был младше. Они лежали, и ядра их уже перестали вздыматься и опускаться, капилляры перестали подрагивать, а мозг, стеклянная, вмерзал в холодноватую протоплазму ночи. Их готовились вывезти за город, и турок с карпатороссом это чувляли, как чует место будущего захоронения улетающими искорками сверхсознания почти каждый с виду умерший, а на самом деле продолжающий по-иному жить человек. Плата за живое мясо, за не испорченного страхом барана оказалась слишком высокой, и они о несоразмерности этой платы словно бы догадывались: жесткая, ледяная досада растекалась по их недовольным лицам с открытыми глазами, оставленными глядеть на немилый теперь белый свет то ли по небрежности, то ли из-за естественного презрения охраны ко всему недвижущемуся, неживому. И лишь спицы, которыми двое должны были колоть барана и которые брезгливая охрана, дотошно осмотрев все их вещи и машину, аккуратно вложила в наружные карманы пиджаков, иногда весело проблескивали из-под наваленного на мертвых рванья...

В казино тем временем игра шла немаленькая. К утру взлетели ставки на столах с покером и «блэк-джеком»; вертелась и сладко ныла рулетка; отирали пот крупье-мужчины в таких же, как и охрана, жилетках и брюках, только с крапчатыми бабочками на шее и табличками на груди, смахивали быстрые слезы с веерных ресниц крупье-девушки, гремели, перетряхивая то сладкую карамель, то погребальные камешки, то жареные орешки, то дробленые человечьи кости, игровые автоматы, женщина с великолепными плечами и рассыпанными по ним волосами снова умывалась в дамской комнате, но больше не красилась, сидела понуро на кушетке. Потом, вспомнив о чем-то — может, и о баране, — засобиравшись на дачу.

И баран тоже припомнил на миг светловолосую, крепко и коротко обласкавшую его женщину, но тут же о ней и забыл, поглощенный надвигающимися на него новыми и радостными сотрясениями и смещениями бытия.

Человек в кубанке оставил машину в километре от громадного, ревущего аэропорта и теперь шел пешком, гоня перед собой жидкой хворостинной барана. Он не стал покупать билет, а пройдя в служебное помещение, крат-

ко переговорил о чем-то с пилотами нужного ему рейса, и те за полцены провезли его на отдельном микроавтобусе к трапу самолета.

И баран, упершийся вдруг перед трапом, напомнившим ему сходни, ведущие на какую-то баржу, где стояло тысячеголосое, тихо-свиристое бляенье его не готовых умирать сородичей, — и баран, войдя в самолет, приготовился к наихудшему. И впрямь: когда вспыхнули красные огни и заработали турбины, баран подумал, что свистит над ним и рокочет готовая уласть гурда, звенит топор или нож. Но потом самолет взлетел, свист немного опал, и баран почувствовал: происходящее — вовсе не конец. Почувствовал: там, куда его отправляют, он сможет еще чаще, еще плотней, чем прежде, крыть свое стадо, сможет медленно поедать стебли травы, прогонять изжеванную траву сквозь все отделы желудка — через рубец, через сетку, через отдел, называемый теми, кто не понимает его назначения, книжкой, через сычуг, — а потом выпускать эту отвердевшую жвачку сладкими черными катышками через заднее отверстие, из-под курдюка.

Человек в папаше взял барана с собой в полупустой салон первого класса и, как игрушку, поставил ногами на два кресла, мягко ткнув мордой в иллюминатор...

И поплыли близ морды бараньей курчавые облака, поплыла плоская, как выгон для пастьбы, изрытая оспинками жизни и вздувшимися над ними сладкими пузырьками любви равнина, которую баран почти не видел, но пупром своим хорошо чувствовал. Затем равнина пропала, стало холодней, баран стал зябнуть, начал помалу наливаясь бешенством и уже приготовился расшибить лбом затянутое прозрачным бычьим пузырем видовое отверстие, потому что холода не любил, но потом как-то незаметно впал в текущую дрему, как впадал в нее и раньше — например, в бетонных стенах строящегося московского дома. Час спустя потеплело, самолет стал снижаться, потянуло вдруг сквозь железо и резину, сквозь иллюминаторы и запертые двери запахом горных снегов и запахом горьким, степным. Все возвращалось, куда ему возвратиться было положено. И баран тоже возвращался пусть и не в те места, из которых его вывезли, но все ж в места близкие. Возвращался потому, что круги и спирали жизни существуют и для баранов.

Скупко поговорив с пастухом всамделишным, настоящим, человек в кубанке выпустил барана к небольшому, пока не ставшему на зимовку стаду: черед барана не настал еще, он был слишком доверчив, был слишком молод, а потому должен был попользоваться отведенным ему сроком сполна. Об этом говорила человеку в кубанке вся литая мощь, вся упругая стать барана.

Наступало ясное, без облачка утро. Баран, бляя и мутнея глазами, пошел грудью на стадо, и в ушах его вновь запела короткая, боевая, может, обретающаяся в небе, а возможно, существующая лишь в воображении людей и животных труба. И человек в кубанке, трубу эту тоже услышав, развернулся и медленно двинулся в город, начинавшийся сразу за невеликой, но своею нравной, спадающей с гор рекой, — город, который успел сильно призабыть, для него, без сомнения, опасный, но теперь не вызывавший и тени тревоги, потому что сердце уходящего было сейчас шире тревоги, звонче страха и сильней поющей трубы...

Баран бежал! Он был жив, он сопел, дышал.

Может, именно далекий бараний дых вернул на секунду ощущение жизни тем двоим. И они, словно почуяв отбираемую у них долготу выдоха и прерывистость вдоха, уходящую навечно прелесть теплой земляной осени, вздрогнули разом в рыхлых, еще не смерзшихся и оттого пропустивших их последние шевеленья комьях. Им было уже не до стрельбы, не до вечера с кровью. Губы карпаторосса вытянулись в нить, губы турка чуть раздернулись, кривясь. Не для того, конечно, чтобы сыпать словесной дрянцой вро-

де: «Я закажу тебе шашлык с бараньим...» или пришептывать: «Москва — Ивану, Кавказ — барану», а для каких-то иных, прощальных, никогда прежде не произносившихся звуков, которые, если говорить правду, ничего уже изменить не могли. Потому что к местам, где, пригнув голову, мчался на вожака незнакомого стада баран, уже уходили остатки их разодранных в кло-чья, ожидающих теперь только вечной смерти душ. Но и уход душ не был сейчас для них главным! Главным сейчас было вообще не движение, а остано-новка, замиранье, встреча. Как встретят? Оглянут как? И от этого опроки-дывающего вверх ногами весь белый свет ожидания, наступившего в минуту отлета, жесткий лихорадочный трепет пробрал насквозь мусорник близ при-городного кладбища. Дрожала окаменевшая грязь, дрожало крошево листьев, дрожала сухая трава. Вихрь этот последний, вихрь грозный напугал кладби-щенского сторожа, спавшего невдалеке в похилой времянке, сорвал с ближ-ней могилы жестяной венок и ушел, завинтившись штопором, к небу.

А баран все бежал! Он словно немного вырос, шерсть его не клубилась больше, она улеглась одной плотной серо-голубой волной, ноздри горбатого носа вздрагивали, набухали от ветерка и от внутреннего напряжения, копытца вонзались в землю жестко, коварно, грозно. Баран бежал, останавливался, вновь бежал. Этими пробежками-остановками он словно проверял на кре-пость свой неопиcуемый, свой дикий восторг, промерял длину не связанно-го больше ни с какими помехами и случайностями существования...

По горам, по долам ходит шуба да кафтан.



ПУБЛИЦИСТИКА

МАРК ФЕЙГИН



ЧУЖАЯ ВОЙНА

Российские войска и пограничники стоят в Таджикистане. Точнее, воюют в этой центрально-азиатской республике. Еще в 1992 году, когда в этом бедном и забытом уголке распавшегося СССР вспыхнула кровавая гражданская война, россияне задались вопросом: что делают там наши военные и за что воюют? Минуло пять лет, но эти вопросы, как и тогда, остаются без ясного и серьезно обоснованного ответа со стороны власти.

Чтобы разобраться в причинах сложившейся ситуации с присутствием российских войск в Таджикистане и «таджикской проблемой» как таковой, прежде всего следует определить, какова политика российского правительства относительно этого азиатского государства и региона в целом. Проблема эта состоит из следующих частей: первое — национальные интересы России как великой державы Евразии. Второе — наши экономические интересы как собственно в Таджикистане, так и в Центральной Азии и соседствующих с регионом странах. Еще один немаловажный аспект — судьба русского и русскоязычного населения не только в Таджикистане, но и в других странах региона: станет ли таджикостанский «вариант» решения проблем русскоязычного населения моделью для соседей, или все-таки Россия этого не допустит. И наконец — проблема наркотиков, быстро приобретающая как в регионе, так и в самой России звучание не менее грозное, чем в Бирме или Колумбии.

Итак, откуда же досталась нам, по меткому определению Солженицына, («Как нам обустроить Россию»), проблема «груза „среднеазиатского подбрюшья“»?

* * *

Таджики — потомки древнего ираноязычного населения Средней Азии: согдийцев, сако-массагетов и тохаров. Язык таджиков — один из иранских языков. Начиная с VI — X веков над Средней Азией устанавливается владычество тюркских народов, и таджики становятся населением «второго сорта». В XVII веке создается Бухарское ханство, затем Бухарский эмират во главе с узбекскими династиями, и большинство таджиков оказывается на его территории. После 1868 года это государство становится вассалом России, но сохраняет полную внутреннюю независимость. Тогда же населенная таджиками территория древней Бактрии — земли южнее Амударьи — была присоединена к Афганистану. И формально, и фактически Бухара оставалась суверенным государством феодально-чиновничьего типа, со своими армией, денежной системой и т. д., вплоть до 1920 года, когда Красная Армия захватила

Фейгин Марк Захарович родился в 1971 году. Кандидат юридических наук, специалист в области муниципального права. В 1993 — 1995 годах был депутатом Государственной Думы, состоял во фракции «Выбор России». Автор ряда опубликованных, в том числе и на страницах нашего издания («Вторая Кавказская война» — 1995, № 12), публицистических работ по национально-политическим проблемам государств бывшего СССР.

его. Таким образом, до 1920 года таджики прямо не контактировали с Россией, не являлись ее подданными и европейского влияния, в отличие от узбеков и прочих народов региона, не испытывали.

Ожесточенная война против Красной Армии не затихала до 1934 года. Ранее, в 1924 году, центральная власть провела так называемое «национально-территориальное размежевание»: на месте бывших Туркестанской Советской Автономной Республики, Хорезмской и Бухарской «народных советских республик» были созданы республики в составе СССР, в том числе Таджикская Автономная Республика в составе Узбекистана, преобразованная в 1929 году в союзную. Но неравноправие народов региона сохранилось и при советской власти: так, древние культурные центры таджикского народа — Бухара и Самарканд — и не менее 40 процентов всех таджиков были оставлены в составе Узбекистана. Столицей Таджикистана стал крохотный городок (скорее большой кишлак) Душанбе. Таджикистан наряду с другой республикой-изгоем — Киргизией — всегда был самой бедной, забытой и заброшенной республикой СССР. Кишлаки жили той же жизнью, что и пятьсот, и тысячу лет назад. Зато в столице появилось многочисленное русское, армянское, татарское, немецкое и еврейское население, вокруг которого за полвека сформировалась таджикская интеллигенция.

Региональные особенности

Худжандская (Ленинабадская) область — север страны. Население — таджики, узбеки и русские. Туда в советский период направлялось до 70 — 80 процентов всех инвестиций, предназначавшихся Таджикской ССР, а северные кланы с 20-х годов составляли партийную, государственную, культурную и хозяйственную элиту республики. Экономически область тесно связана с Узбекистаном.

Гармская группа регионов (Каратегин и Вахио-Боло) — Северо-Восток республики. Каратегинцы (гармцы) — остатки древнейшего населения страны, они отличаются от остальных даже внешне: высокие, часто светловолосые и светлоглазые, жители Гарма похожи на обитателей средней Европы. Гарм — самая нищая, отсталая и неравноправная часть страны. Путь «наверх» гармцам был полностью закрыт. С 70-х годов именно там появляется подпольный ислам, проповедниками которого стали так называемые «мирские шейхи». Борьба КГБ против них не привела к успеху. В 80-х годах имелись случаи проникновения афганских моджахедов в Гарм, провоз литературы и оружия. В 90-х Гарм — бастион непримиримой исламской оппозиции.

Кулябская область — область на юге Таджикистана. В 60-е годы в этот тогда малонаселенный район переселяли безработных из Худжандской области, из Узбекистана. Кулябцы в большом числе работали в милиции, служили в армии. Нищета и колоссальная безработица способствовали формированию из жителей области мощных преступных сообществ по всему Таджикистану. До сих пор в Кулябе очень много узбеков и арабов, ставящих себя выше таджиков. Куляб с 1992 года — оплот коммунистических и мафиозных сил.

Курган-Тюбинская область — Юго-Запад республики. Как и соседний Куляб, заселялся в 60-е годы переселенцами, но в основном из Гарма и Памира. Были и узбеки. Вражда гармцев и узбеков, неприязненное отношение курган-тюбинцев к кулябцам превратили область в 1992 году в оплот Демократической партии Таджикистана и в поле боя с кулябскими отрядами.

Гиссарский и Турсунзадевский районы — небольшая область на западе республики, населенная узбеками. Там при помощи правительства Узбекистана в 1992 году были созданы отряды для борьбы с исламско-демократической оппозицией, сыгравшие большую роль в разгроме «исламо-демократического» режима в Душанбе осенью — зимой 1992 года.

Горно-Бадахшанская автономная область (Памир) — огромная автономия, занимающая 40 процентов территории Таджикистана. Богата полезными ис-

копаемыми. Население — бадахшанцы (ягнобцы, язгулемцы, дарвазцы, ваханцы, шугнанцы, рушанцы и другие). Они — прямые потомки древних обитателей этих мест и близки к каратегинцам. В Таджикистане памирцы были самой приниженной частью населения. Особенно тяжело было памирским киргизам — их вовсе не считали за людей. Тем не менее памирцы дали Таджикистану большую часть интеллигенции, деятелей науки, культуры и искусства. Памир после крушения СССР и начала гражданской войны в республике пытался отделиться от Таджикистана. Большинство хотело бы присоединиться к России (в Хороге поставили памятник Николаю II, присоединившему в 1895 году Восточный Памир к России). Другие готовы объединяться с Афганистаном, Киргизией или Китаем. Важная деталь: жители Припамирья придерживаются исмаилизма — ветви шиитского ислама, который настолько далеко отошел от ислама ортодоксального, что, по сути, это отдельная религия. Исмаилиты твердо выступают за светское государство и демократию западного образца. Духовный глава исмаилитов Ага-Хан живет в Швейцарии. Мультимиллиардер, он оказывает большую помощь бедствующему Памиру. В общем, при всей ненависти памирцев к победителям-красным они пытались и пытаются держаться в стороне от гражданской войны. Но душанбинский режим считает Памир неотъемлемой частью Таджикистана и неоднократно пытался подчинить его военными и экономическими методами.

У грани...

Перестройка и гласность буквально взорвали нищизн Таджикистан. Огромная безработица, последствия демографического взрыва, засилье хундандцев и узбеков, произвол и беззаконие властей, могущество преступных группировок, сросшихся с властями и правоохранительными органами, — все эти факторы, усиленные ростом влияния «мирских шейхов» и активностью демократической интеллигенции в столице, создали взрывоопасную смесь. Теряя контроль над ситуацией, власти при помощи КГБ разыграли в феврале 1991 года в Душанбе уже апробированный в Тбилиси, Баку, Фергане и Оше сценарий: организовали погромы русского и армянского населения, которые были подавлены силами армии и госбезопасности. Было введено чрезвычайное положение, сотни людей погибли. Но, как и во всех других случаях, эффект оказался обратным: демократическое движение резко усилилось и вышло на поверхность. В том же 1991 году создаются Демократическая партия Таджикистана, движение «Растохез (Возрождение)» и Партия исламского возрождения (ПИВ). Власти в марте 1992 года проводят президентские и парламентские выборы, на которых демократы получают около 35 процентов голосов, исламисты — около 10 процентов, коммунисты — более 50 процентов. При этом страна раскололась: Душанбе и Курган-Тюбе, а также Памир проголосовали в основном за демократов, Гарм — за исламистов, Хунданд и Куляб — за коммунистов. В Кулябе прокатилась волна насилия и убийств сторонников демдвижения, к которым были огульно причислены все жители гармского и памирского происхождения, интеллигенты и личные враги местного начальства, милиции и бандитов, сросшихся в единую преступную корпорацию. Демократы и исламисты заявляли, что результаты голосования были подтасованы. Таким образом, выборы, точнее, их итоги поставили республику на грань гражданской войны.

Война

В апреле 1992 года в Душанбе появились беженцы-демократы из Куляба. Их изгоняли, избивали и насиловали боевики местного уголовного «авторитета» С. Сафарова, впоследствии лидера «Народного фронта», и милиционеры под руководством Л. Лангариева, а также банда, состоявшая в основном

из арабов и узбеков, под предводительством Ф. Саидова. Эти лидеры объявили себя защитниками дела Ленина — Сталина — Андропова, поэтому членов этих группировок называли «юрчиками» — по имени Юрия Андропова. Беженцы потребовали прекратить террор и расположились на площади Шохидон, перед дворцом новоизбранного президента-коммуниста Р. Набиева. К митингующим присоединились тысячи душанбинцев — сторонников демократов, а из Гарма прибыли исламисты, называвшие себя ваххабитами. Русифицированное население Душанбе не понимало этого арабского названия и для простоты назвало ваххабитов «вовчиками». Милиция и КГБ не решились на разгон многотысячного митинга, и власти пошли по другому пути: на соседней площади Озоди был организован митинг сторонников президента и компартии. На митинг автобусами привезли несколько тысяч человек из Куляба. К началу мая противостояние двух перманентных митингов стало опасным: люди прибывали непрерывно, происходили стычки. 1 и 2 мая милиция и «люди площади Озоди» попытались разогнать «людей площади Шохидон», но безуспешно. 5 мая из президентского дворца вынесли более 1200 автоматов с боеприпасами и раздали «людям Озоди». На «шохидонцев» обрушился шквал огня. Демократы и исламисты бросились опустошать охотничьи магазины и строить баррикады. Бои охватили город. Из Курган-Тюбе и Гарма прибыли тысячи демократов и «вовчиков», вооруженных двустволками и самопалами. Красные, не выдержав натиска, 9 — 10 мая погрузились на автобусы и грузовики и уехали в Куляб. Душанбе оказался в руках оппозиции.

* * *

Демократы и исламисты не стали брать власть в свои руки. Парадоксально, но они до конца войны называли себя «оппозицией». Президенту Набиеву пришлось пойти на формирование коалиционного правительства. В него вошли несколько демократов и коммунистов, а большинство составили независимые хозяйственники, преимущественно худжандцы. Тем временем на юге страны разгорелась война. В Кулябе после изгнания оппозиционеров установился мафиозно-коммунистический военный режим. Кулябские отряды начали регулярные боевые операции против Курган-Тюбе, где оборонялись отряды оппозиции. Обе стороны активно вооружались. Российские войска и пограничники объявили нейтралитет, при этом продавая оружие и тем и другим. Но все же симпатии российских офицеров были на стороне «юрчиков». Оружия те получали гораздо больше, а многие офицеры — уроженцы Таджикистана уходили в отряды С. Сафарова. Военные операции и взаимный террор в течение лета 1992 года буквально опустошили Кулябскую и Курган-Тюбинскую области. На счету и той и другой стороны появилась бронетехника и тяжелое вооружение. Коалиционное правительство в Душанбе оказалось совершенно недееспособным. Президент тайно (и не очень) помогал «юрчикам». Председатель Верховного Совета республики С. Кенжаев бежал в Куляб и организовал собственные отряды боевиков. Экономика разрушалась, бандиты и политики, разница между которыми становилась все меньше, разорвали страну на вотчины. Не имея достаточных вооруженных сил, не имея возможности справиться с красным Кулябом, которому деньгами и оружием помогали худжандские кланы, демократы стали шире привлекать гармских ваххабитов — «вовчиков». Тысячи молодых безработных людей, одурманенных пропагандой «мирских шейхов» и наркотиками, получали оружие и отправлялись на фронт. Многие вливались в ряды всевозможных ОМОНов и милиции, пробавляясь террором и грабежами. Вооруженные силы «исламо-демократов» стали неуправляемыми. В августе в Курган-Тюбе и его окрестностях происходили жестокие бои. Гармские отряды, прибывшие на помощь курган-тюбинцам, отбросили «юрчиков» назад, в Кулябскую область. Потом произошла чудовищная резня: боевики в белых и зеленых повязках окружили узбекский квартал в Курган-Тюбе и поголовно вырезали

все его население. Нападениям подверглись и русские. Только вмешательство дислоцированных в городе подразделений 201-й дивизии остановило бесчинства озверевших боевиков оппозиции. Победа в Курган-Тюбе имела для исламо-демократов более негативные, чем позитивные последствия. Во-первых, победителями оказались не демократы — курган-тюбинские рабочие и столичная учащаяся молодежь, а жестокие и неуправляемые гармские исламисты. Правительство в военно-политическом отношении стало зависеть от исламистов, что оттолкнуло душанбинцев, курган-тюбинцев и бадахшанцев. Во-вторых, русское население и, что особенно важно, армия начали активно поддерживать кулябцев. В-третьих, активизировался Узбекистан: правительство И. Каримова принялось поддерживать кулябцев оружием и вообще всем необходимым. Более того, на территории Узбекистана были сформированы, вооружены и обучены отряды узбеков из Таджикистана. Среди них выделялся бывший офицер Советской Армии, участник афганской войны Махмуд Худойбердыев. В начале сентября они захватили Гиссарскую долину. Там укрепились новая группировка «юрчиков» — Гиссарско-Турсунзадевская. Она перерезала железную дорогу, соединяющую Душанбе с внешним миром. Над Душанбе, Гармом и Памиром нависла угроза голода (Гиссару помогал Узбекистан, Кулябу — Худжанд). В сентябре демократы арестовали и выслали из столицы президента Набиева, обвиненного в помощи «юрчикам». Через несколько недель он умер при невыясненных обстоятельствах. Временным президентом был объявлен памирский демократ Искандаров. Но смена верховной власти не изменила положения. 24 сентября отряды кулябцев, пропущенные «нейтральной» российской 201-й дивизией, неожиданно ворвались в столицу. Разбитые в уличных боях, кулябцы, опять же под прикрытием российских войск, покинули Душанбе. «Вовчикам» удалось отбросить их и от столицы, но это была последняя победа. В течение октября кулябцы и гиссарцы развернули массированное наступление на Курган-Тюбе и после ожесточенных боев овладели руинами города. Население бежало в Душанбе, а отряды исламо-демократов укрепились в Колхозабаде, вблизи Курган-Тюбе. Охвативший республику хаос, экономическая катастрофа, помощь «юрчикам» со стороны Узбекистана и российских войск, осада гиссарцами Душанбе, падение Курган-Тюбе, нежелание Памира приходить на помощь властям — все это вынудило правительство Искандарова пойти на переговоры. В конце ноября 1992 года в Худжанде под охраной российских войск состоялась странная «сессия Верховного Совета Таджикистана». По сути, исламо-демократы и красные достигли соглашения. Было решено прекратить гражданскую войну, легализовать все политические партии, распустить вооруженные отряды и провести выборы. Соглашение предусматривало формирование новой армии и ОМОНа из отрядов противоборствующих сторон. Для этого исламо-демократы должны были впустить в Душанбе кулябские и гиссарские отряды. Те 10 декабря вошли в столицу и начали разоружение деморализованных сторонников Искандарова. Начались массовые убийства «неустановленными лицами» демократов и просто внешне похожих на памирцев и гармцев. Десятки тысяч людей бежали в Курган-Тюбинскую область, где еще держались отряды «вовчиков», в Гарм и на Памир. Кто мог, ехал в Россию, Туркменистан и Киргизию. Руководители демократического и исламского движений скрылись в Афганистане. Естественно, ни о каком «примирении» не было и речи. Все партии, кроме коммунистической, были запрещены, свободная пресса разгромлена, против демократов и исламистов развернут чудовищный террор. При помощи российских войск и правительства Узбекистана «юрчики» начали наступление на Гарм и остававшуюся в руках оппозиции часть Курган-Тюбинской области. За две недели Курган-Тюбинская область была полностью захвачена, большинство жителей бежали в Афганистан. Опустошенная область была присоединена к Кулябской. Ныне объединенная административная единица называется Хатлонской областью. Столица ее, естественно, — Куляб. Наступление на Гарм оказалось значительно тя-

желез: более четырех месяцев кулябско-гиссарские отряды при помощи узбекской авиации продвигались через гармские районы к Памиру и границе с Киргизией. Ценой больших потерь к марту 1993 года Тавилдара, Обигарм, Гарм и Джиргаталь были захвачены. Отряды оппозиции отступили в Припамирье, на Памир, в Киргизию и Афганистан. «Вовчики» перешли к партизанской войне.

В результате войны 1992 года экономика Таджикистана была полностью разрушена. Погибло более 100 тыс. человек, около 1200 тыс. стали беженцами, из них около 400 тыс. ушли в Афганистан. В республике установилась террористическая диктатура кулябских отрядов, номенклатуры из Худжанда и мафиозных группировок, связанных с теми и другими. Гражданская война в Таджикистане — единственный во всем постсоветском пространстве пример неприкрытого сотрудничества, и более того — военной победы блока коммунистической партии и мафиозных структур. И победа в этой войне была одержана при помощи демократической России и ее армии.

Кулябская диктатура в Душанбе в 1993 — 1996 годах

Блок номенклатуры, коммунистов и мафии оказался неустойчивым. Разбогатевшие номенклатурщики из Худжанда, не принимавшие открытого участия в войне, хотели легализовать свои капиталы. Для этого они должны были провести некоторые реформы полурыночного характера для «законного» захвата госсобственности. Но кулябцы-победители, пролившие моря как своей, так и чужой крови, вовсе не желали отдавать власть богатым союзникам. Гиссарские узбеки также требовали своей доли власти. Внутри собственно кулябской группировки возникли разногласия: узбекско-арабская группировка Ф. Саидова вступила в конфликт с таджиками С. Сафарова. В кровавых междоусобных столкновениях весной 1993 года оба лидера «юрчиков» были убиты. Гиссарские лидеры были оттеснены на третий план, хотя и получили «в кормление» один из крупнейших в Азии алюминиевых заводов в городе Турсунзаде. В дальнейшем, под давлением России и Узбекистана, президент которого И. Каримов быстро разочаровался в новом душанбинском режиме, новое таджикское правительство, во главе которого стал кулябец Э. Рахмонов, приступило к косметическим реформам. Были проведены парламентские и президентские выборы. Ничего общего с настоящими демократическими выборами они, разумеется, не имели. Только компартия была допущена к парламентским выборам, а конкурент Рахмонова в борьбе за президентский пост — худжандец, крупнейший в стране предприниматель А. Абдулладжанов — подвергался травле и вынужден был обосноваться в Москве. Оппозиция не признала результатов выборов и активизировала партизанские действия.

Оппозиция в 1993 — 1996 годах

В настоящее время непримиримые противники кулябцев составляют Объединенную таджикскую оппозицию (ОТО), к которой примкнули остатки Демократической партии и движения «Растоhez». Во главе ОТО — умеренный исламист Абдулло Нури, бывший муфтий Таджикистана А. Тураджонзода и бывший лидер Демпартии Ш. Юсуф. Влияние демократов сошло почти на нет; столичная интеллигенция и учащаяся молодежь отчасти перебиты, в большинстве же покинули страну. На партизанских базах в Таджикистане и Афганистане преобладали крестьяне из Гарма и Курган-Тюбе, бежавшие от террора кулябцев. В лагерях Афганистана имелись от 10 до 15 тыс. вооруженных боевиков оппозиции, которых вооружили и обучили в 1993 — 1994 годах саудовские и пакистанские структуры. Естественно, что такая помощь усилила исламскую компоненту оппозиции. На территории Таджикистана — на юге Хатлонской области, в горах Гарма и Припамирья —

действовали 5 — 6 тыс. партизан. Еще 2 — 3 тыс. находились в отрядах оппозиции на Памире, а подпольные группы в Душанбе, по данным МВД республики, насчитывали до 3 тыс. вооруженных боевиков. Это достаточно грозная сила, если учесть невысокую боеспособность четырнадцатитысячной правительственной армии и двадцатитысячных сил МВД.

Оппозиция еще в 1994 году предложила мир на следующих условиях: амнистия, демократические свободы, формирование временного переходного правительства из расчета 30 процентов мест — представителям оппозиции, 30 процентов — представителям нынешней власти и 40 процентов — независимым. Далее оппозиция предложила провести свободные парламентские и президентские выборы. При этом ОТО постоянно подчеркивает, что она не предполагает создания исламского государства по иранскому или «талибскому» образцу. Трудно возразить против того, что подобные условия представляются вполне справедливыми.

Российские войска

Российские войска в Таджикистане состоят из пограничников, ведущих бои на границах, и 201-й мотострелковой дивизии, составляющей костяк так называемых миротворческих сил. Нынешнее положение российских войск выглядит очень странно: пограничники (18 тыс. человек) три года вели непрерывные бои с отрядами оппозиции, в то время как воинские части — «миротворцы» — с начала 1993 года пытались не ввязываться в междоусобицу. При этом Россия твердо поддерживала нынешний режим в Душанбе, лишь изредка требуя у Рахмонова переговоров с оппозицией. Немаловажно то, что в 201-й дивизии раньше были очень сильны прокоммунистические симпатии, сейчас же офицеры и бойцы в большинстве сочувствуют Народно-патриотическому союзу России и Жириновскому. Пограничники и «миротворцы» — единственная реальная сила, спасавшая режим Рахмонова от нового витка гражданской войны и поражения в ней.

Русскоязычные

В конце 80-х годов в Таджикистане проживало около 600 тыс. русских, украинцев, немцев, армян, татар и евреев. Как и в других среднеазиатских республиках, русскоязычные составляли большую часть врачей, учителей, квалифицированных рабочих. На юге республики процветали немецкие совхозы. Так как таджики были наименее европеизированным народом региона, русско-таджикские контакты были слабее русско-узбекских или русско-казахских. Смешанные браки были крайне редки. Местная пресса десятилетиями культивировала в русскоязычном населении патерналистские настроения. Советский Союз воспринимался подавляющим большинством русскоязычных как империя, в которой они — элита, а инородцы — дикари. Естественно, это порождало глухое недовольство таджиков. После беспорядков 1990 — 1991 годов начался исход русского и русскоязычного населения. К концу 1994 года русских и русскоязычных в республике осталось 88 тыс. человек, и половина из них — пенсионеры, которым некуда и не на что уезжать. Среди оставшихся русских большинство вынуждено нищенствовать. Причем победители — «юрчики» — относятся к русским с открытым презрением и любят над ними поиздеваться. По мнению очень многих русских, «вовчики» были куда более терпимы к русским. Опирающееся на Россию правительство Рахмонова явно не желает делать ничего, что позволило бы русскому населению поправить свое положение в республике, дабы вернулись беженцы, без которых экономика Таджикистана не может работать. Так или иначе, русская община в Таджикистане обречена на постепенное исчезновение. А если бы победили «вовчики», обозленные участием российских войск в войне на стороне их противников? По крайней мере, ждть, что положение русских в этом случае улучшится, тоже не приходится.

Соседи

Узбекистан — претендент на абсолютную гегемонию в Центральной Азии. Узбеки — самый многочисленный народ региона, наиболее грамотный и всегда занимавший в неофициальной имперской «табели о рангах» первое место. Республика имеет самую развитую в регионе экономику. Режим президента И. Каримова — безусловно диктаторский, антидемократический. При этом жесткая экономическая политика привела к беспрецедентному во всем постсоветском пространстве притоку иностранных инвестиций. Так, в Узбекистане раньше других республик созданы сборочные предприятия американских, японских, турецких и южнокорейских фирм. Положение ташкентского режима осложняется несколькими факторами. Первый — нехватка воды. Истоки рек находятся в Киргизии и Таджикистане, что приводит к военно-политическому и экономическому давлению Ташкента на соседей. Второе — наличие мощного исламского оппозиционного движения в Ферганской долине. Светский, националистический режим Ташкента ведет с движением жесткую борьбу. Третье — наличие националистического движения таджиков Узбекистана, численность которых в Самаркандской и Бухарской областях составляет несколько миллионов человек, и национальное самосознание, десятилетиями подавлявшееся, в последние годы явно просыпается. Так как в Таджикистане проживает более 1 млн. узбеков, национальные противоречия постепенно усиливаются. Ташкент помог «юрчикам» победить, но самостоятельность нового душанбинского режима, оттеснение таджикских узбеков от власти, лавирование Душанбе между Ташкентом, Москвой и странами Запада заставили Узбекистан изменить отношение к режиму «юрчиков». Затем под влиянием различных факторов (о них речь впереди) Ташкент решительно потребовал проведения переговоров Душанбе с оппозицией и заключения мира. Очевидно, Ташкент желает ослабления власти официального Душанбе, чтобы вновь усилить свое влияние на таджикские дела.

Афганистан играет противоречивую роль в таджикском кризисе. Военный министр свергнутого талибами правительства Афганистана Ахмад-Шах Масуд (таджик) контролирует большую часть афгано-таджикской границы и активно помогает таджикским партизанам. На его территориях действовали лагеря таджикских беженцев и центры обучения боевиков. Заявления президента Афганистана Раббани (тоже таджика) о нейтралитете официального Кабула в отношении внутритаджикского конфликта ничего не значат; северо-восток Афганистана, где размещены таджикские беженцы и партизаны, находится в руках именно военного министра, а не президента. Нельзя не учитывать и то, что сегодня таджиков в Афганистане около 40 процентов населения и их политическое и военное влияние очень велико на территориях, свободных от талибов. Прежде враждебные, а ныне союзные президенту Раббани в войне с талибами войска генерала Дустума состоят из афганских узбеков (их более 2 млн. в Афганистане) и действуют в интересах Ташкента. Узбекистан поставляет Дустуму оружие, боеприпасы, продовольствие, горючее. В период союза Ташкента с «юрчиками» войска Дустума нападали на «вовчиков» на афганской территории. Теперь же, после охлаждения Ташкента к режиму Рахмонова, Дустум перестал интересоваться отрядами таджикских оппозиционеров. Афганистан разорван на южную часть, где властвуют афганцы-талибы, и север, где укрепились отряды национальных и религиозных меньшинств, не приемлющих исламского фанатизма. Победить друг друга они явно не могут, и война в этой стране будет продолжаться много лет. А это значит, что любые оппозиционеры из республик Средней Азии, и Таджикистана в особенности, будут находить помощь и приют в той или иной афганской провинции.

Киргизия нейтральна, но Бишкек выражает беспокойство судьбой киргизов, проживающих в Таджикистане. Известно о преследованиях киргизов в Худжандской области и Гарме, о голоде в киргизских районах Памира, куда не поставляется продовольствие.

Китай совершенно индифферентен к конфликту, но крушение таджикско-китайской границы в 1992 году привело к массовому вселению китайцев в Восточный Памир. Уже год назад на востоке Памира китайцев было больше, чем коренных жителей. Через этих людей поступает на Памир большинство товаров, в Китай ввозятся наркотики и оружие. Пытаются закрепиться на Памире и повстанцы из Революционного фронта освобождения Уйгуристана, и тибетские партизаны. Это неизбежно усиливает внимание Пекина к памирским и таджикским проблемам.

Бадахшанская (Памирская) проблема

О некоторых особенностях Памира (Горно-Бадахшанской автономной области) уже говорилось. После выборов 1992 года у власти в автономии встали местные демократы. В гражданской войне Памир участия не принимал, но памирцы, жившие в Душанбе, активно поддержали демократов. В результате победы «юрчи́ков» многие тысячи памирцев и родственных им гармцев в столице и Курган-Тюбинской области были вырезаны, десятки тысяч оказались в Афганистане или бежали на Памир. Кроме того, на Памир (в Калайхумбский и Ванчский районы) отошли партизанские отряды исламо-демократов. Силы самообороны Памира (4 — 5 тыс. человек) соблюдали нейтралитет, но не стали выдвирать партизан-гармцев, так как ждали вторжения войск душанбинского режима и надеялись на помощь партизан. Кроме того, на Памире действуют многочисленные отряды наркомафии (наиболее известная группировка — убитого три года назад Леши Горбатого). Весной 1993 и 1994 года силы «юрчи́ков» пытались продвинуться к столице Памира Хорогу, но были остановлены самообороной и партизанами. Душанбе вело по отношению к Памиру типичную политику «кну́та и пряника»: то «неопознанные» самолеты бомбили памирские кишлаки, то объявлялась экономическая блокада, то отправлялись караваны с гуманитарной помощью. Несколько памирцев были с помпой назначены на третьеразрядные посты в центральном правительстве. Памир с радостью отделился бы от Таджикистана, но не имеет возможности: ни Россия, ни Киргизия не хотят присоединять к себе оторванный от всего мира район и ссориться с Душанбе. Афганистан с удовольствием воссоединил бы Памир с афганским Бадахшаном, но памирцы-исмаилиты и киргизы совершенно этого не желают. С точки зрения памирцев, их афганские соплеменники — нищие дикари. Главная беда Памира — полное отсутствие промышленности и современного сельского хозяйства. Лишь два высокогорных шоссе соединяют Памир с внешним миром: одно — с Душанбе, другое — с киргизским городом Ош. С октября по апрель эти дороги непроходимы. После начала гражданской войны огромную роль в жизни Памира играет транспортировка местных и афганских наркотиков через Ош в страны СНГ и далее в Европу и Китай. В условиях блокады, впрочем, ничего другого памирцам не остается. Единственный источник существования, альтернативный наркоторговле, — помощь главы исмаилитов Ага-Хана, но Швейцария далеко, и эта помощь ненадежна. Весной 1995 года режим Рахмонова спровоцировал столкновения российских пограничников с памирской самообороной — до этого отношения были вполне корректные, и памирские ополченцы помогали русским солдатам охранять границу. Главком миротворческой 201-й дивизии Патрикеев открыто обвинил власти Душанбе в провокации, развязывании военных действий на Памире — и был снят и отозван в Москву. Тем временем напряженность на Памире не спадает, и если самооборона открыто объединится с партизанами-«вовчиками», положение пограничников станет крайне тяжелым: они могут быть отрезаны и уничтожены. Командиры самообороны пытаются восстановить статус-кво, но при этом готовы отстаивать интересы Памира от посягательств душанбинского режима.

Наркотики

Говорят, что русские войска и пограничники держат таджикско-афганскую границу, чтобы в Россию не хлынул колоссальный поток афганских наркотиков. Безусловно, такая опасность есть. Но граница, проходящая по извилистому, мелководному Пянджу, не поддается строгому контролю, пограничников слишком мало, наркокурьеры имеют связи в приграничных кишлаках. И поток наркотиков из Афганистана в Россию не ослабевает.

Население приграничных районов Таджикистана вынуждено заниматься контрабандой наркотиков из-за отсутствия иных источников заработка. Они участвуют в транспортировке наркотиков из Афганистана и Пакистана через территорию республики в соседние Узбекистан и Киргизию. Оттуда товар попадает уже в Россию. Объем контрабанды постоянно растет, особенно на Кумсангирском и Пянджском направлениях.

Ежегодно через Таджикистан проходит не менее 250 тонн наркотиков, но пограничниками задерживается не более 10 — 15 процентов. Следует отметить, что во всем объеме наркотиков таджикские составляют лишь одну пятую. Официальные власти Душанбе утверждают, что таджикская оппозиция существует лишь за счет продажи наркотиков, и каналы транспортировки контролируются исключительно ее вооруженными группировками.

Существуют три основных направления переправки наркотиков через Таджикистан. Первый маршрут героина и опия лежит через Пяндж. Здесь афганские наркоторговцы продают товар перекупщикам, которые доставляют его в Душанбе, снабжая, таким образом, не без помощи правоохранительных органов и таможи российских оптовиков. Второй путь пролегает через пограничный Хорог. Поступающий груз перевозится через киргизский город Ош, далее — в Узбекистан, Казахстан и Россию. В Россию наркотики поступают и третьим путем — через поселки Ленинградский и Ховалинг, а также непосредственно через Душанбе.

Отдельные высокопоставленные чиновники таджикского руководства не только не противодействуют контрабанде наркотиков, но и непосредственно ею занимаются. В этих обстоятельствах доводы о необходимости пребывания российских войск и пограничников в Таджикистане для недопущения контрабанды наркотиков представляются особенно сомнительными: и вооруженная оппозиция существует за счет торговли наркотиками, и официальные власти Душанбе, интересы которых защищаются Россией, тоже занимаются этим сверхприбыльным бизнесом.

Не секрет, что в наркобизнес вовлечены и российские военнослужащие. Факты соучастия военных в транспортировке наркотиков периодически становятся предметом обсуждения в российских средствах информации. Однако дела подобного рода редко имеют судебное продолжение. Еще со времен войны в Афганистане известны случаи перевозки наркотиков военными. После распада СССР и начала гражданской войны в Таджикистане контрабанда наркотиков стала совершенно неконтролируемой, и присутствие российских войск на таджикско-афганской границе положения не изменило.

Обратим внимание и вот на что. Основной зоной выращивания и переработки сырья для получения наркотиков, ориентированной на российский рынок, является также Чуйская долина в Казахстане и прилегающие к ней районы Киргизии. Границы этих республик с Россией никто закрывать не собирается — это нереально. В Волгоградской области, на Северном Кавказе, в Красноярском крае, в Бурятии, в Читинской области, в Приморье и Приамурье десятки тысяч гектаров земли заняты коноплей и маком. Это сегодня дает львиную долю наркотиков на российский рынок. А еще Украина и Крым с огромным количеством конопли и мака! Все большую опасность приобретает и ввоз синтетических наркотиков из Китая.

Если серьезно пытаться перекрыть таджикско-афганский путь героина и опиума, следовало бы взять под жесткий контроль не границу на Пяндже, а

Ошский тракт и ашхабадскую железную дорогу. Это технически куда проще и эффективнее. А сейчас все попытки доказать, что наши пограничники в Таджикистане представляют собой нечто вроде американского Управления по борьбе с наркотиками или элитной колумбийской 4-й антинаркотической бригады, не представляются серьезными. Цифры, приводимые различными службами в оправдание этой теории, малоубедительны.

Национальные интересы и политика России

Внешняя политика России в целом и политика государства относительно стран СНГ напоминает марсианские каналы. Споры на эту тему, а тем более попытки серьезного анализа неизбежно превращаются в исследования ведомственных интересов различных российских организаций — министерств, корпораций, банков и проч. — относительно той или иной страны или международной проблемы. Так и будет до тех пор, пока российское государство не станет действительно государством, а не рыхлым конгломератом разнообразных структур, паразитирующих на тощем бюджете и рвущих друг другу глотку из-за каждого доллара.

Российские войска в Таджикистане остались после роспуска СССР по тем же причинам, что и в прочих странах бывшей империи. Во-первых, их было некуда и не на что выводить. Во-вторых, в Минобороны и вооруженных силах как таковых и поныне немало таких людей, которые считают распад Союза временным зигзагом истории. На таких же позициях стоял Верховный Совет, что явилось одним из решающих факторов вооруженного конфликта в октябре 1993 года. Госдума, особенно нынешнего состава, продолжает линию разгромленного президентом Ельциным Верховного Совета. Левая оппозиция, доминирующая в высшем законодательном органе власти, эксплуатирует ностальгию большинства россиян по распавшемуся СССР. Это очень опасная игра, так как она позволяет различным ведомствам и группировкам вести различные игры на всем постсоветском пространстве.

Армия сегодня — это горы оружия и совершенно бесконтрольные снабженцы. Если уж в самой России навести порядок в войсках невозможно, то что говорить о частях и подразделениях, оказавшихся за границей. Они — идеальное поле для деятельности воров и аферистов как в военной форме, так и в малиновых пиджаках. Группа российских войск в Германии, наши части в Закавказье, в Приднестровье, на Северном Кавказе и, конечно, в Центральной Азии демонстрировали примеры тотального разворовывания всего и вся, полного падения дисциплины и забвения морали. Оговорюсь сразу: это не относится к подавляющему большинству офицеров и солдат. Но та часть армии, которая паразитирует на армейских бедах, чрезмерно велика, и до сих пор никто не может положить конец ее преступной деятельности. Те, кто наживаются на поставках для армии, конечно, не интересуются политикой и экономикой, безразличны им и интересы России. Для того чтобы сохранить кормушку, они поддакивают тем, кто требует реанимировать уничтоженную большевиками Российскую империю или воссоздать СССР.

Таджикские власти любят говорить о богатствах недр своей республики. Это правда: нефть, газ, золото, уран, цветные металлы, энергия горных рек теоретически могли бы стать базой для подъема национальной экономики. Но вспомним, что соседний Афганистан и ряд стран Тропической Африки ничуть не беднее. Гражданские войны, неграмотное население, привыкшее воевать и не умеющее работать, отсутствие квалифицированных кадров, да и просто дорог не позволят этим странам в обозримом будущем занять места среди благополучных государств мира. Тем не менее к природным богатствам Таджикистана проявляют интерес компании и фирмы из разных стран. Естественно, набирающие силу российские финансовые и промышленные группы также заинтересованы в разработке и экспорте богатств республики. При этом старые экономические и личные связи плюс широкое распространение

русского языка в стране делают, казалось бы, Таджикистан естественным плацдармом для российского экономического проникновения. Однако правительство Душанбе, опирающееся на российские войска и прямую финансовую помощь Москвы, в экономике ориентируется на западные и восточные компании. В коридорах правительственных учреждений Душанбе постоянно мелькают немцы, японцы, французы, американцы, пакистанцы, корейцы — представители малоизвестных фирм. В горах Каратегина, в Вахшской долине и на Памире кроме торговцев наркотиками, российских пограничников, оппозиционеров-моджахедов и частей правительственной армии бродят группы самых экзотических личностей: геологи, работающие на иностранные компании и фирмы, загадочные японские «археологи», таинственные китайцы, бывшие офицеры КГБ, работающие неизвестно на кого...

А вот российским предпринимателям в Таджикистане ставят различные препоны. Очевидно, таджикские власти понимают, что при нормальной конкуренции русские быстро добьются полного контроля над хозяйством страны, и не хотят этого. Не стоит и говорить о том, что никакой рыночной экономики в Таджикистане нет. Группировки и кланы, опирающиеся на вооруженные отряды и контролирующие промышленность, сельское хозяйство и торговлю, заключают контракты так, как им нравится. А правительство страны составлено из представителей этих группировок. Не удивительно, что настоящей конкуренции они не желают, и им выгодней работать с иностранцами, причем не на серьезной, долговременной основе, а по принципу «урвал — и слава Богу». Даже почтовые марки суверенного Таджикистана печатает какая-то неизвестная на родине немецкая фирма.

Когда говорят о богатствах Таджикистана, хочется сказать: хорошо, конечно, принять участие в разработке этих ресурсов, но как же алмазы и нефть Северо-Западной и Центральной России, Колымы и Штокмановского месторождения? Якутские алмазы и нефть? С нынешней экономической политикой мы и то, что у нас под ногами, не можем рационально использовать на благо стране. Не можем договориться насчет казахстанской и азербайджанской нефти, проваливая один проект за другим, а киваем на Таджикистан: вот, мол, исламистов победим — и тогда... Когда это будет — через пятьдесят или пятьсот лет? А до того наши солдаты будут погибать в боях чужой войны, на деньги российских налогоплательщиков будет существовать совершенно чуждый России режим, а потом все это отойдет какой-нибудь Исламской конфедерации или Великому Туркестану.

Примирение

Переговоры о мире, начавшиеся еще в 1995 году, долгое время шли медленно и безрезультатно. Власти рассчитывали на военную победу в союзе с российскими «миротворцами» и пограничниками. Оппозиция апеллировала в основном к России, пытаясь доказать, что в случае победы «исламо-демократическая» власть сумеет наладить с Москвой лучшие и более выгодные для обеих сторон отношения, чем рахмоновский режим.

Целых четыре года войска Душанбе штурмовали партизанские базы и кишлаки в Припамирье. Российские войска с конца 1992 года устранились от участия в военных операциях правительственных войск, за исключением охраны границы и особо важных стратегических и промышленных объектов. Подробно описывать атаки и контратаки, налеты и схватки — дело военных историков. Для нас важен результат: весной 1997 года, когда и власти, и оппозиция вплотную приблизились к миру, свыше 40 процентов территории республики контролировалось оппозицией. Партизаны сначала последовательно громили все направленные в горы карательные экспедиции, затем сами перешли в наступление. К апрелю 1997 года партизаны были уже на подступах к Душанбе.

Уступчивость Э. Рахмонова объясняется действием нескольких факторов. Во-первых, так и не удалось втянуть российские войска в операции против партизан. Во-вторых, альянс политических, экономических и территориальных группировок, захвативших власть в декабре 1992 года, развалился. Богатый Худжанд требовал большего куска от пирога власти. Кроме того, неуправляемые и агрессивные боевики — кулябцы и гиссарцы — препятствовали стабилизации экономики, а ведь ради экономического контроля над республикой худжандцы во время войны финансировали «юрчиков». Уже летом 1993 года в Худжанде начали поговаривать о создании автономии или свободной экономической зоны, раздавались и призывы о присоединении к Узбекистану. В декабре, всего через год после победы над «исламо-демократами», душанбинские власти высадили десант в Худжанде, чтобы воспрепятствовать набирающему силы местному сепаратизму. После этого премьер А. Абдулладжанов ушел в отставку. Впоследствии в Худжандской области неоднократно происходили выступления против кулябского засилья.

Гиссарско-регарская узбекская группировка, созданная под патронажем Ташкента, также пыталась потеснить кулябцев, опираясь на 11-ю бригаду таджикской армии, составленную из местных узбеков — бывших боевиков Народного фронта. Благодаря помощи земляков из-за границы эта бригада стала самой боеспособной в республике. В феврале 1996-го, весной и осенью 1997 года 11-я бригада и местные власти оказывали давление на Э. Рахмонова, причем их политические требования были сумбурны и противоречивы: полковник М. Худойбердыев требовал то смещения неугодных ему членов правительства, то немедленного мира с партизанами, то, наоборот, прекращения всяких контактов с оппозицией. Цель этих, на первый взгляд, нелепых маневров была одна: сохранить узбекский анклав вокруг алюминиевого завода самостоятельным, закрепить и усилить свое влияние в столице. В сентябре 1997 года войска Э. Рахмонова смогли привлечь к операции против 11-й бригады российских «миротворцев», и властолюбивый полковник был разгромлен. Вряд ли эта победа принесла спокойствие лидерам кулябцев: половина страны контролировалась оппозицией, а бывших союзников, худжандцев и гиссарцев, приходилось приводить к повиновению железом и кровью. Сами бывшие кулябские народофронтовцы понесли к этому времени большие потери в боях и междоусобицах и лишились наиболее авторитетных вождей. Оппозиция в таких условиях стала для кулябцев более желанным партнером, чем богатый Худжанд или гиссарская вооруженная креатура Ташкента. Недаром еще в 1995 — 1996 годах Душанбе, ведя переговоры с лидерами оппозиции, наотрез отказывался от любых контактов с А. Абдулладжановым и худжандской группировкой.

Оппозиции также было необходимо сохранить свое воздействие в традиционных зонах влияния и избежать раскола. Многие полевые командиры все меньше слушались вождей движения, другие перешли к уголовщине и превратились из партизан в бандитов. В 1996 году главнокомандующий партизанскими силами Р. Содиров был смещен со своего поста. Впоследствии он попытался сыграть в свою игру, выступая как против Душанбе, так и против своих вчерашних подчиненных. Памир, отразив с помощью партизан-оппозиционеров войска душанбинского режима, дистанцировался от оппозиции. Худжандские группы, выражая время от времени солидарность с оппозиционерами, от прямого сотрудничества воздерживались, так же как и гиссарцы.

Наконец, со стороны Афганистана в действие вступил совершенно новый грозный фактор — талибы. С конца 1996 года это движение, поддерживаемое Пакистаном, Саудовской Аравией и Туркменистаном, овладело тремя четвертями территории страны. Президент Раббани, лидер таджиков Ахмад-Шах Масуд, узбекский вождь Р. Дустум, шииты-хазарейцы и исмаилиты-бадахшанцы объединились перед лицом опасного врага. О феномене талибов будет сказано ниже; главное, что талибы так напугали и традиционных лидеров Афганистана, и таджикскую оппозицию, и официальный Душанбе, что

немедленный мир стал единственным выходом для всех. В сентябре 1997 года было создано коалиционное правительство. Беженцы стали возвращаться к родным очагам из-за Пянджа, а отряды партизан — вливаться в вооруженные силы республики. Этот процесс нелегок — слишком много крови и зверств было с обеих сторон. Но сегодня против мира выступают лишь неконтролируемые группировки «непримиримых» — как «юрчиков», так и «вовчиков» — да остатки узбекской бригады М. Худойбердыева, действующей в приграничных с Узбекистаном районах.

Каким будет Таджикистан после окончания гражданской войны? Сегодня ответа на этот вопрос нет — слишком многое зависит от способностей к сотрудничеству, толерантности и выдержки прежних врагов (справедливости ради стоит отметить, что этих качеств до сих пор очень не хватало и тем и другим, в особенности кулябским народофронтам). Главный вопрос тем не менее в том, как будет развиваться ситуация вокруг республики. Маленький и бедный Таджикистан практически полностью зависит от Ташкента, Кабула (или Мазари-Шарифа — столицы антиталибских сил), Москвы, Исламабада, Алма-Аты, Вашингтона, Пекина, Тегерана... Проще перечислить тех, от кого Таджикистан не зависит! И в первую очередь будущее республики и региона зависит от исламского фактора.

Исламский экстремизм

Что такое исламский фундаментализм и откуда он взялся? Неспециалисты иногда считают, что это какая-то специфическая особенность, имманентно присущая мусульманам и время от времени выливающаяся в кровавую дикость. Это не так. Фундаментализм — порождение второй половины XX века.

Исламское общество очень традиционно и имеет жесткую внутреннюю структуру. Пророк Мухаммед в отличие от Иисуса Христа или Будды Шакьямуни оставил своим последователям четкие распоряжения, как им жить. Поэтому ислам — не только духовное учение, но и некий кодифицированный свод правил поведения, пронизывающий все — от сексуальных отношений до формы государственной власти. Конечно, каждый народ пытался «приспособить» эти жесткие правила к национальному характеру и традициям. В результате степень исламизации оказалась различной, и каждый мусульманский народ открыто привержен наряду с Кораном и шариатом своим традициям и обычаям, называемым арабским словом «адат», что значит «обычное право». В нормальных условиях ислам терпим к адату и прочим большим или мелким отклонениям от суровой традиции.

И все же повторюсь: при всех «но» исламское общество чрезвычайно консервативно. Оно строится по принципу «большой семьи» и включает обычно три поколения родных. Территориальная же структура основана на общем происхождении или припадлости к определенному толку ислама. Так организованы почти все исламские общества — от Западной Сахары до филиппинского острова Минданао. Веками эта структура была достаточно статичной; междоусобные войны и вторжения иноверцев не влияли на нее почти никак. Будучи подорванной, например, англичанами в Судане, французами в Алжире или Россией на Кавказе, она мгновенно регенерировалась и даже укреплялась, несмотря на убыль населения. Более того, при массовых переселениях в другие страны (черкесы и чеченцы — в Гурцию, арабы — в Занзибар, на Яву, в тот же Таджикистан, индонезийцы — в Голландскую Гвиану, алжирцы — во Францию) исламское общество как бы клонировалось, создавая абсолютно идентичные структуры порой на другом континенте.

Ситуация резко меняется, когда мощные внешние влияния совпадают со столь же масштабными сдвигами внутри общества. Для исламских стран таким «двойным» толчком явилось бурное проникновение европейской культуры вкупе с глубокими социальными, экономическими и политическими ре-

формами — также по европейскому образцу. Традиционная структура общества начинает деформироваться, размываться, в обществе идут процессы атомизации, возникают новые, нетрадиционные структуры, а чаще — гибридные, совмещающие традиционные ценности и формы общежития с новыми.

Быстрый слом или резкая модернизация традиционного общества неизбежно вызывает социальные и политические конфликты. Если же консервативное общество обладает еще чувством великодержавности, повышенным самоуважением и самооценкой, сознанием принадлежности к древней культуре и т. д., острейшие конфликты неизбежны. Отвлекаясь от темы, вспомним, что именно таким обществом была дореволюционная Россия, которую Великие реформы 1861 — 1911 годов буквально вырвали из общинной дремоты. Быстрый рост уровня жизни, расцвет культуры, экономический рывок, формирование правового государства и демократии не спасли общество от чувства глубочайшей фрустрации, тотального недовольства всем происходящим, мистического ожидания Апокалипсиса. Кончилось это грандиозной катастрофой, причем большевики победили тогда, когда реорганизовали покоренную ими страну на дореформенных принципах, точнее, на понятных для традиционного сознания основах, к тому же в крайне извращенных формах. В этом смысле колхозы — не что иное, как наследие старой крепостной общины, секретарь обкома — не губернатор даже, а воевода, из тех, кого Петр I не успевал отправлять на дыбу за произвол, воровство и беззакония, и т. д. Наш отечественный большевизм (точнее, национал-большевизм) был основан как на извращенных почвенных традициях, так и на западном марксизме. Очень похоже события развивались в Иране. Радикальные реформы 1963 — 1977 годов («белая революция шаха и народа») буквально на глазах изумленного мира превращали древнюю полузависимую страну в богатую, развитую, с населением, чье благосостояние и уровень образования росли невиданными темпами. Трагедия 1979 года — это результат бессмысленного и беспощадного бунта. А кто взбунтовался? Восстала рвущаяся ткань традиционного общества — та самая община, люди-атомы, выброшенные из той жизни, которой их предки жили тысячу лет. И «красные кхмеры», ужаснувшие мир, и перуанские коммунисты из движений «Сендеро луминосо», и РДТА также возникли в результате быстрых реформ хотя и не в исламских, но традиционных обществах, среди народов с повышенным чувством собственного величия. В странах исламской культуры фундаментализм принимает все более жестокие формы. Босвики исламского подполья из Алжира и Египта, Ливана, Ливии и Турции, индийского Кашмира и южнофилиппинских островов — экстремисты крайней степени. Для них даже иранские муллы — жалкие либералы, достойные презрения. Стоит подумать о том, что будет, если подобные движения появятся где-нибудь на наших границах...

Современный фундаментализм — это попытка вернуться в прошлое, но вовсе не реальное, а выдуманное идеологами, не имеющее ничего общего с действительной традицией народа. Поэтому социологи и вынуждены были придумать новый термин в противовес консерватизму и традиционализму.

Талибы — бич Афганистана и угроза Центральной Азии — движение этой формации. Правда, реформ в Афганистане не успели провести ни Захир-Шах, ни президент М. Дауд. Провалились и попытки строительства социализма под прикрытием советской армии. Но главное было сделано: традиционное общество было подорвано. 7 миллионов беженцев, перемещения масс народа внутри страны, мобилизации правительственной армией и моджахедами, вторжение чуждой культуры и господство совершенно непонятной идеологии — и все это в стране, которая и в исламском мире была одной из самых консервативных! Беженцы, особенно молодежь, стали теми «атомами», которые должны были собраться вокруг какого-то понятного «ядра». Вожди джихада, от светского Гайлани и умеренного Ахмад-Шаха до неистовых ис-

ламистов Г. Хекматиара и А. Сайяфа, не могли стать этим ядром. Они враждовали между собой, не в силах принести мир измученной стране, дискредитировали себя дворцами в Пешаваре и Исламабаде, вызывающей роскошью на фоне всеобщего горя и страданий. Последний монарх, престарелый Захир-Шах, был основательно забыт — он уехал в эмиграцию в 1973 году. Роль «ядра» взяли на себя скромные муллы. Они проповедовали «чистоту ислама», и ничто другое не могло привлечь нищих беженцев, ненавидящих «неверных» оккупантов, разрушивших их кишлаки, не доверяющих вождям, для которых война — источник дохода и власти.

Режим талибов привлек собственно афганцев-пуштунов, неграмотных и бедных крестьян и жителей малых городов. Более образованные, свободные от догм таджики, захватившие Кабул в 1992 году после падения Наджибуллы, оказали талибам яростное сопротивление. Возвращаться в VII век они не желают. Узбекский анклав вокруг Мазари-Шарифа — осколок просоветского режима, сохранившийся благодаря тому, что генерал Дустум вовремя перешел на сторону моджахедов-победителей. В зоне, подконтрольной «афганскому Чапаеву», режим светский, напоминающий современный Узбекистан и ориентирующий на опять же светскую турецкую модель общества. Приверженцы «еретических» толков в исламе — бадахшанские исмаилиты (эти, кстати, сражались в годы войны на стороне советских и кабульских правительственных войск, так как им ненавистен религиозный фанатизм) и шииты-хазарейцы, дикие и нищие потомки монгольских завоевателей, — прикнули к Дустуму и Ахмад-Шаху из чувства самосохранения. Их талибы просто истребили бы.

Таджикские беженцы и партизаны, оказавшиеся в Афганистане, с самого начала пользовались негласной поддержкой Масуда. Когда талибы прорвались на север Афганистана, таджикские отряды братьев Содировых и другие активно сражались на стороне своего союзника. В частности, они сыграли огромную роль в разгроме талибских и пакистанских частей, штурмовавших базу Масуда — Панджшерскую долину. Но еще большую угрозу талибы представляют официальному Душанбе, как, впрочем, и Ташкенту, и Ашхабаду. Дело в том, что для фундаменталистов государственные границы не имеют никакого значения, а помощь США, Саудовской Аравии и военное участие Пакистана делают талибов очень грозным противником.

После падения Кабула остатки правительственной авиации перебазировались в Куляб, а когда летом 1997 года талибы временно заняли Мазари-Шариф, Раббани и Масуд короткое время «гостили» в Душанбе. Стоит упомянуть, что их союзник Дустум получает помощь от Ташкента, а скорее всего, и от Москвы. Талибы объединили врагов — Масуда с Дустумом, таджикских оппозиционеров с правительством кулябских народофронтцев, во всяком случае в отношении афганского конфликта. Это стало решающим фактором заключения мира в Таджикистане.

Чего следует действительно бояться, так это создания таджикского «ответвления» талибов или чего-то в этом роде. Ведь Таджикистан после семидесяти лет советской власти, подавления басмачества, кровавой коллективизации, массовых переселений на курган-тюбинскую «целину» в 50 — 70-х годах, гражданской войны 1992 — 1997 годов представляет собой идеальную базу для фундаментализма. Социальная структура там разрушена не меньше, чем в Афганистане, а нищета и страдания — в той же мере удел простых людей. Да и американские и саудовские деньги могут поспособствовать рождению «таджикских» талибов.

При всем этом победа фундаменталистов в исламских странах вовсе не фатальна. Тунис и Марокко с этим справились. Грамотная экономическая политика, умелое использование лучших, гуманистических традиций ислама, необходимая жесткость по отношению к обскурантистским силам, осторожное проведение реформ свое дело сделали. Малайзия и Индонезия также практически свободны от радикального ислама.

Охранять границу в Таджикистане для сдерживания исламского экстремизма — нелепость. Как будто это СПИД или чума, не знающая границ. Традиционные в Средней Азии центры воинствующего ислама — Ферганская долина и Хивинский оазис, но они расположены в Узбекистане. Это — проблема Ташкента. Вернее было бы взять под жесткий контроль казахско-узбекскую, киргизско-узбекскую и киргизско-таджикскую границы, благо Казахстан и Киргизия — военные союзники России и там стоят наши части. Казахи и киргизы никогда не были склонны к воинственному исламу, и трудно представить, что они «заразятся» им от таджиков или афганцев.

Что делать?

Прошло шесть лет после крушения СССР, а Россия так и не определила свое место в мире. Никто — от президента страны до рядового обывателя — не знает, кто наши союзники — Белоруссия, США, Китай, Куба? Также не ясно, кто враг. Какова цель государственной политики — то ли омочить сапоги в теплых морях, то ли отпустить на все четыре стороны Чечню? В каких границах существовать нашей стране? Наконец, какая судьба ждет все призрачные квазимежгосударственные союзы типа СНГ, Таможенного союза (или это «союз четырех»?), российско-белорусского то ли союза, то ли чего-то еще?... Без ответа на эти вопросы представить себе наше будущее невозможно.

Американец Хантингтон несколько лет назад поразил мир простой до банальности идеей: борьбу идеологий сменит борьба цивилизаций. Странно, что идея эта не приходила никому в голову раньше. Например, когда после сокрушительного поражения арабских армий в Шестидневной войне 1967 года мечети во всем арабском мире чуть ли не после векового перерыва вдруг наполнились верующими. Или когда иранские, турецкие и египетские интеллигенты стали отпускать бороды и снимать галстуки, а дамы, окончившие Сорбонну и Кембридж, надели паранджу. Когда стало ясно, что демократическая, процветающая Япония — не совсем демократическая, не очень либеральная, а вполне традиционная и связана с Европой и США лишь неразрывными экономическими узами. Что Черная Африка отчего-то не поддается благотворному влиянию европейской цивилизации. Что Китай и Вьетнам способны развивать рыночную экономику, сохраняя жесткий тоталитаризм. И далее, и далее...

Определять место России в этой новой мировой системе — дело долгосрочное, историческое и в задачи настоящей работы войти не может. В рамках статьи остается российская политика в Таджикистане и Центральной Азии в целом. Отталкиваясь от всего вышеизложенного, можно сказать следующее: Таджикистан, Узбекистан, Туркмения принадлежат к исламскому миру и с каждым годом все более отдаляются от России. Наша задача — защищать там свои экономические и военно-стратегические интересы, а также организовывать переезд остающихся там соотечественников на историческую родину. Киргизия и Казахстан не входят в мир ислама, хотя и киргизы, и казахи исповедуют ислам. Европеизация там пустила достаточно глубокие корни, а русскоязычное население составляет соответственно 40 и 55 процентов. При умелой объединительной политике Россия может создать с этими государствами устойчивый союз конфедеративного типа. В этом случае возникнет буфер между бурлящим миром ислама и Россией, которая безусловно является страной европейского культурного ареала, хотя и очень самобытной. Мы — не мусульмане, не китайцы и не африканцы. Мы — наследники европейской византийской культуры, что бы ни говорили ретрограды и демагоги. И мы — граница Европы с исламским, китайским и японским мирами. Мы нужны друг другу — Россия Европе и Европа России.

Российская империя завоевала Среднюю Азию в 1864 — 1895 годах как раз из геополитических соображений. Английская экспансия — афганские

кампании 1838 — 1842 и 1878 — 1880 годов, персидский поход 1856 — 1857 годов — могла приблизить границы Британской империи к Каспию и приаральским степям. Россия в попытке противостоять этому заняла Хиву, Бухару и Коканд — древние монархии, разделившие Центральную Азию еще в XVII веке. Иран и Афганистан стали буфером между двумя империями, причем, как упоминалось выше, Хива и Бухара сохранили самоуправление. Занятые Россией территории стали генерал-губернаторством, на которое российские законы и принципы управления распространялись лишь частично. Экономической выгоды завоевание Туркестана не принесло. О серьезном культурном влиянии также говорить не приходится: поезжайте в предгорья Копет-Дага, в сурхандарьинские кишлаки, в Тавильдару или Фергану. Вы увидите, что люди живут так же, как тысячу лет назад, — редкие машины и телевизоры не в счет. А «европеизированная» ташкентская или ашхабадская интеллигенция после 1991 года с подозрительной скоростью сменила ориентиры, забывает русский язык и неистово молится в мечетях. Это вовсе не укор: каждый народ имеет право на свою культуру, и нелепо говорить о том, какая лучше. Однако насколько же эфемерным оказалось русское, европейское влияние между Каспийским морем и Памиром!

В одну реку не войдешь дважды. Не стоит надеяться, что все вернется на круги своя. Россия обретает свое место в мире, свою цель и сущность. Не будем обольщаться: новая Россия не будет похожа ни на Россию советскую, ни на Россию дореволюционную, ни на допетровскую Московию или Киевскую Русь. На наших глазах рождается новое государство, населенное народом так же отличающимся от прежнего, как современные итальянцы — от римлян или греки — от древних эллинов. Соответственно, у нового народа, точнее, нации — новая территория, новая ментальность, новые интересы. То же — и в Центральной Азии: советские правители декларировали создание «советских социалистических» республик — Туркмении, Узбекистана, Таджикистана. Это был толчок, приведший к новому витку этногенеза; сейчас мы видим его результаты. Народы, «составленные» советскими модельерами-конструкторами из разных племен, общин и кланов, становятся реальностью. С этим ничего не поделаешь. Нужно принять это как данность. Правильнее — постараться понять, что происходит там, где недавно была наша общая родина, и научиться жить в этой реальности. Налаживать новые связи и отношения, отталкиваясь от того, что тот же Таджикистан — другая страна.

Возможно, это вызовет сожаление у тех, кто жил, отдыхал, путешествовал, работал в советской Средней Азии. К тому же остается нерешенной проблема русского населения в новых суверенных государствах.

Но держать войска и участвовать в войнах там, где это бессмысленно с точки зрения национальных интересов России, нельзя. Это может привести к тому, что мы привыкнем к участию в чужих войнах за чужие интересы.

Ноябрь 1997 г.



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ЮРИЙ ГЛАЗОВ

*

АДАПТАЦИЯ

Фрагменты воспоминаний

...**В** Рим мы прилетели поздно вечером 20 апреля 1972 года. Нас встретили наши друзья — Юрий Штейн и Володя Наумов. Трогательно было увидеть их лица вдаль от Москвы. Но нам было, к сожалению, не до разговоров. После такого растянутого и напряженного дня мальчики валились с ног от усталости. Хотелось спать, прикоснуться головой к любой подушке. Наш пятилетний Яшенька, русоволосый озорничок, шел к выходу аэропорта с закрытыми глазами: он спал на ходу. Девятилетний Гриша тоже плохо понимал, что происходило с нами. Им не приходило в голову, да они и не могли понять, что в этот день мы попрощались со страной, в которой каждый из нас родился.

Исса Панина заказала для нас гостиницу, рядом с собором св. Петра. Она почему-то думала, что с нашим приглашением в Англию мы останемся в Риме только на день-два. Если нас ждут в Лондоне, то зачем нам оставаться в Риме? За гостиницу надо было платить из наших скудных запасов валюты. С несколькими чемоданами мы расположились в небольшом, но приличном номере. Дети сразу же затихли. Скоро все уснули.

Я проснулся рано утром, когда семья моя безмятежно спала. Мне потребовалось некоторое усилие, чтобы понять, где мы находимся. Часы еще не пробили восемь. Видя наши разбросанные и полуоткрытые чемоданы, мирно спавшие головки наших детей, вспомнив, куда мы прилетели, я вновь почувствовал вместе с неизбывной радостью наплыв острой и горькой тоски. Я оделся, оставил крепко спавшей Марине записку, что скоро вернусь, и вышел на улицу. Меня тянуло в собор св. Петра.

Прохладное утро освещало. Москва осталась где-то очень далеко. Плохо верилось, что еще несколько дней назад я пребывал в зоне большой опасности. Никто теперь не следовал за мной по пятам. Я находился в громадном городе, в котором почти никого не знал. Но меня это никак не страшило. Отсюда я мог уехать куда мне заблагорассудится. Хочу поехать в Израиль — пожалуйста. В Англию — может быть. Скорее всего, в Америку. Все говорят, что Штаты нас радушно принимают.

Я шел по утреннему Риму, вдоль набережной бурлящего Тибра. Перед собой я видел громадный купол св. Петра. Не сказка ли все это? Сколько лет ты мечтал обо всем этом — и вот сбылось. И не надо было переплывать Черное море — от Батума до турецкого берега. Не нужно было идти на лыжах через финскую границу. Судьба спокойно все устроила... После четырех лет небольших неурядиц. Что ожидало меня в будущем? Чем буду я зани-

Юрий Глазов — писатель, публицист, известный правозащитник (см. его воспоминания о А. Д. Сахарове — «Новый мир», 1996, № 7). Под давлением КГБ в апреле 1972 года был вынужден с семьей эмигрировать. В настоящее время живет в Канаде.

Другие главы из мемуарной книги Юрия Глазова см. в журналах «Звезда» (1997, № 8) и «Нева» (1997, № 12).

маться? Продолжать свои занятия лингвистикой? Или же мне переключиться на русистику и советологию?

Я шел в собор и слегка поеживался от утренней прохлады. Справа от меня быстро неслись воды Тибра, холодные волны. Как будто бы они о многом мне говорили. Тут закончил свои дни св. Павел. И здесь распяли св. Петра. Камо грядеши? Что таят для меня грядущие годы? Едва ли когда-нибудь я возвращусь в Россию. Знакомые говорили, шептали, предрекали. Не знаю, ничего не знаю. Я хочу жить на Западе, хочу вырастить своих детей, заботиться о моей семье. Мне обрыдло быть изгоем, отщепенцем. Никогда в жизни не примирюсь с той системой, в которой мне пришлось столько лет прожить и столько перестрадать. Там остались мои друзья. Я начал чувствовать, как меняется мое отношение к ним. Они стали для меня еще более родными. Они там ждут наших писем. Они перестали беспокоиться теперь за моих детей и за мою безопасность. Странно, но прошел всего лишь один день, как мы улетели из Москвы.

На широких улицах пробуждающегося города было совсем мало народу. Будний день — пятница. Никому из прохожих до меня не было дела. В этом я чувствовал для себя настоящее оздоровление. Они спешили по своим делам. На их лицах я не видел той озабоченности, угрюмости, что меня всегда поражала в советских людях.

Я вступал на площадь Св. Петра. Видел пред собою знакомые контуры собора, о котором всегда столько думал. Внутренне я ликовал, что прилетел из Москвы именно в Рим, в Вечный город. Я видел глубокий смысл в этом, и меня охватывало удивительное чувство, что свой первый день в Риме я начал с посещения собора св. Петра. Какая громадная площадь перед этим храмом! Сколько людей из года в год, из века в век собирается перед собором, перед зданием, где выбирают пап. Размеры этой площади, величие самого собора меня поражают и завораживают. Мысль о другой, по-своему тоже величественной, площади даже не приходит мне на ум. Той площади, по которой я шел не раз во время демонстраций и после занятий в библиотеке. Слава Богу, что я об этом совсем не думал. Мне хотелось как можно быстрее войти в собор, найти там священника и исповедаться в своих грехах. Их много у меня. И в последнее время не было ни сил, ни возможности спокойно говорить с каким-либо священником. Тем более, что мои священники там, в Москве, были мои друзья и я часто заранее знал, что они мне простят мои грехи.

Я приближался к лестнице перед собором. По обеим сторонам от фасада я увидел знаменитых швейцарских стражников. При виде их нарядной позолоты, шлемов и невинного оружия в руках трудно было сдержать улыбку. Но они были далеко от меня и даже не смотрели в мою сторону. Кому мне сказать спасибо за свое освобождение? Другьям? Хорошим людям на белом свете? Самому Богу? Вот они, тяжелые двери собора, но открываются они довольно легко. Сколько лет понадобилось мне, чтобы дойти до этих дверей, чтобы войти в этот громадный собор? Но пока мне было даже не до величия собора. Мне нужно было найти священника, которому я мог бы открыть душу.

Прошел в глубь храма и быстро нашел тот зал, где священники принимали исповеди. Они принимали их на самых разных языках, кроме русского. Я подошел к священнику, который выслушивал исповеди на нескольких языках, включая английский. Лицо священника было скрыто от меня за покрывалом перед его исповедальней. Да, у меня были грехи. Мне нужно было освободиться от их груза. Теперь, когда я начинаю новую жизнь. Священнику, меня слушавшему, не было большого дела от моего прошлого. Ему было почти все равно, что я только что прилетел из России. Вероятно, десятки и сотни людей проходили через его будку с такими же рассказами. Он был строг со мной, этот священник. Прежде чем отпустить мне грехи, он очень настойчиво и резко спросил меня, намерен ли я не повторять эти свои поступки впредь. Я обещал. Все оказалось так, как мне хотелось. Я отошел

от исповедальни с чувством большого облегчения. Я мог начинать новую жизнь со спокойным настроением и бодрый духом.

Мне требовалось перевезти мое семейство в пансион, где обычно останавливались изгнанники нашего типа. За пансион должна была платить организация, которая принимала нас на свое обеспечение.

Хозяйка пансиона встретила нас очень радушно. В глазах ее мы были теми, кем являлись на самом деле: беженцами. Нам была предоставлена громадных размеров комната с высоким потолком, куда мы внесли наши чемоданы. Нас вкусно накормили. На столе появилось несколько бутылок вина, и мы весело отпраздновали наш приезд в Рим.

Была уже середина дня. Мы позвонили в Москву нашим друзьям. Нас соединили удивительно быстро. Они очень радовались за нас. Шутка ли, после всех этих лет, после всех непрерывных мытарств мы наконец оказались в полной безопасности! Это было правдой, и вместе с тем наши новые заботы только начинались. С точки зрения советских людей, сидевших в лагерях, эти заботы были пустячными. И все-таки в них было свое напряжение.

Нужно было найти организацию, которая бы взяла нас на свое содержание, пока будет оформляться наша эмиграция в ту страну, которую мы выберем. ХИАС¹ рассмотрит вопрос о нашем обеспечении при условии, что мы откажемся от услуг Сохнута². Сохнут будет о нас заботиться, если мы решим ехать в Израиль. Нет, туда ехать я не хотел. Все, что я узнавал в последнее время, меня настораживало. Эти бесконечные споры, у кого русская жена, а у кого нет. Кто был по паспорту русский, а кто еврей. С моими мыслями, с моими идеями ехать туда не стоило. В особенности теперь, когда я узнал, что израильские власти не испытывают больших симпатий к тем моим друзьям, которых называют в нашей среде «демократами». С «сионистами», иными словами, с теми, кто считал, что нужно ехать только в Израиль, мне не так легко было найти общий язык. То были симпатичные люди, но для того, чтобы оставаться в их среде, мне необходимо стать другим человеком. Опыт всей моей жизни показал, что приспособиться к требованиям советской власти я так и не смог. Четкие требования активистов-сионистов, их идеализация Израиля с некоторых пор оставляли меня довольно равнодушным. Я симпатизировал Израилю, но ехать туда мне не хотелось.

Я встретился с представителем Сохнута в его кабинете. Поблагодарил его за помощь, которую они оказали нам при выезде из Советского Союза, но довольно твердо сказал, что в Израиль по самым разным причинам ехать не могу и не хочу. Представитель Сохнута показался мне довольно мрачноватым, но он ни на чем и не настаивал. Просто дал мне подписать какой-то документ, который подтверждал содержание нашего разговора.

В ХИАСе меня принимали совсем по-другому. Там что-то знали обо мне и о наших трудностях в Советском Союзе. Меня и Марину принимала там очаровательная девушка Сюзанна, с которой было приятно разговаривать. Даже слегка пококотничать. Она с улыбкой сказала, что в скором времени собирается выходить замуж. Я испытывал чувство облегчения, что кто-то понимает, откуда мы выехали. Разумеется, эта организация собиралась о нас заботиться все то время, пока мы будем находиться в Риме в ожидании визы в Америку. Куда ж нам было ехать, как не в Америку?

Страна, где говорят по-английски. Где живет народ столь мне симпатичный. Большая страна с бесчисленными университетами, о которой я мечтал с юности. Все прекрасно. Ни о чем больше не надо беспокоиться. Эта организация будет платить за наш пансион. Даст немного денег на покупку одежды.

Но чтобы не оставалось недоговоренностей, я решил сказать, что мы — христиане.

¹ ХИАС — Еврейская благотворительная организация.

² Сохнут — международное агентство, оказывающее помощь евреям в обучении их языку и репатриации в Израиль.

Был прекрасный весенний день. Светило солнце. Рим был наполнен светом. Наша милая Сюзанна ласково меня встретила и на мою просьбу уделить мне несколько минут усадила меня в удобное кресло рядом со своим рабочим столом. Она продолжала улыбаться и слегка кокетничать. Я сказал, что я еврей, верующий в Иисуса Христа. Она улыбаясь ответила, что это едва ли имеет какое-то значение для человека, признающего себя евреем. На минуту она умолкла и спросила, хожу ли я в церковь. Я ответил утвердительно. Она заметила, что вряд ли это имеет какое-либо значение, но сообщила мне, что хотела бы поговорить со своим начальством. На этом наш разговор закончился, и мы распрощались. Сюзанна обещала позвонить.

На другой день мне был звонок из ХИАСа все от той же милой Сюзанны. Она попросила меня прийти в их учреждение на другой день вместе с женой и нашей взрослой дочерью. В указанный час, в десять утра, мы все вместе прибыли в их учреждение, нас не заставили долго ждать. Пока наши сыновья развлекались со своими солдатиками, нас троих попросили войти в кабинет к заведующей римским отделением ХИАСа. То была дама лет пятидесяти, ничем особенно не примечательная, чтобы можно было ее как-то особенно запомнить. Рядом с ней сидела молчаливая Сюзанна. В присутствии заведующей она меньше улыбалась, но приветливость не совсем исчезла с ее лица.

Заведующая усадила нас в кресла рядом со своим столом, спросила о том, как прошли наши первые дни в Риме, и перешла прямо к делу:

— Мы поговорили здесь по поводу того, что вы сообщили нам относительно вашей веры, и хотели бы спросить вас, ходите ли вы в церковь.

Марина, Леночка и я переглянулись. Ответ, конечно, мог быть только один:

— Да, мы ходим в церковь.

— В таком случае мы должны вам сказать, что наша организация никак не может о вас заботиться. Иными словами, у нас нет по отношению к вашей семье никаких обязательств.

Мы вышли из здания ХИАСа. Я отправил Марину и детей в пансион, а сам решил срочно заняться поисками организации, которая могла бы нам помочь.

Посоветовался с некоторыми своими друзьями. Одни говорили, что нам придется ехать в лагерь для перемещенных лиц, а он находится где-то в сорока или пятидесяти километрах от Рима. Придется жить в палатках в течение нескольких месяцев. Другие советовали обратиться в христианские организации. В одну из них я обратился, но она должна была вот-вот закрыться, и помощи от них ждать нельзя. Несколько часов я метался из одной организации в другую. Было смешно и грустно. Стоял чудесный день в Риме. Город кишел туристами. По улице ходили почти обнаженные молодые люди: в коротких шортах, босиком. В кармане у меня было несколько сот долларов, которые нам обменяли в России перед отъездом. Этих денег хватало бы всего на несколько дней. За это время несколько раз мы с Мариной заходили в магазины, покупали продукты. На прилавках лежала такая вкусная ветчина, которую я в жизни никогда не ел. При одном взгляде на нее слюнки текли. Громадные куски мяса невольно тоже притягивали взор. В Москве мы привыкли видеть замороженное, малопривлекательное на цвет мясо. Здесь же базары буквально ломились от всякой снеди, от фруктов и овощей: помидоры, гранаты и баклажаны, всевозможные ягоды, манго и мандарины, сочные груши, спелые яблоки — чего только не было на этих прилавках! И при всех моих первых неудачах, при неясности нашего будущего я не испытывал отчаяния, как-то рано или поздно все должно устроиться.

Мне посоветовали обратиться в Международный комитет беженцев. Ехал я туда в конце дня, утомленный и подавленный. Впечатления дня несколько прибили меня. Кабинет заведующего этим комитетом был не столь внушительен, как светлые и просторные залы ХИАСа. Но секретарша комитета встре-

тила меня довольно приветливо, и д-р Корач, заведующий этим учреждением, принял меня почти сразу. Он усадил меня в старенькое кресло напротив себя и спросил, чем может мне помочь. Родом из Югославии, он был постарше меня, выглядел солидно, но не напускал на себя важности. Разумеется, хорошо говорил по-английски. Я рассказал ему немножко о своей семье, как мы оказались в Риме. Упомянул организацию ХИАС и признался, что они не хотят заботиться о моей семье.

— Почему же? — спросил он, как мне показалось, не без некоторого юмора. Вообще мне приятно было разговаривать с этим человеком. Он в свое время боролся против немцев, а потом против коммунистов, хотя о прошлом своем не распространялся.

— Потому что я еврей и верю в Христа.

— А разве сам Иисус Христос не был евреем? — философски заметил он.

По сути дела, это и было самой значительной частью нашего разговора. Тут же он отдал распоряжение своей милой секретарше принять нас на обеспечение, уплатить за постой в пансионе и выдать небольшие деньги на ежедневные расходы. Я ликовал и не мог поверить, что дела так быстро устроились и мне не пришлось кривить душой. С этим человеком можно было говорить обо всем. О нашем движении в России. О возрождающемся там христианстве. Тут же мы поговорили об убиении царской семьи в 1918 году, и я выслушал его слова о несправедливости этого деяния. Он хотел как можно скорее познакомиться с моей семьей. И заверил, что оформление нашей визы в Америку не будет связано ни с какими затруднениями. Д-р Корач говорил о возможности сделать это весьма быстро, но мне не хотелось торопиться. Мы были в Италии, и слишком многое надо было узнать и посмотреть, прежде чем двинуться в Новый Свет. Как будет, так будет. С доктором Корачем мы подружились, и в самом скором времени я понял, насколько правильно поступил, расставив все точки над «i».

Вот теперь я мог наконец перевести дух и с вернувшейся ко мне беспечностью взглянуть на мир вокруг. Никогда в жизни мне не забыть этих первых дней в Риме. Если я когда-либо был по-настоящему счастлив, так именно в эти дни. То было подлинным воскресением для меня. Я чувствовал каждую секунду, каждую долю мгновения, что поправляюсь, исцеляюсь, прихожу в себя. После долгих четырех лет, когда меня непрерывно мучила и жгла неведомая мне боль. Я и до сих пор не могу сказать, какая именно была во мне боль, но чувствовал ее физически почти в любой части тела, особенно в самом сердце. Только в обществе близких и любящих друзей эта боль на короткое время отходила. И еще помогала молитва, искренняя и напряженная. Но вот теперь, оказавшись в этом громадном и прекрасном городе, я вдруг почувствовал глубочайшую в себе перемену: снова ощутил себя живым и молодым.

То лето в Италии изобиловало встречами с американцами и европейцами. Однажды у друзей я познакомился с американцем, аттестовавшимся представителем американского правительства. Американец специально прибыл из Вашингтона для встречи с новыми эмигрантами. По случаю его приезда для нашей группы был устроен обед в хорошем ресторане. Это был долгий вечер с общими разговорами о российских делах. Представитель американского правительства хорошо, хотя и суховато, говорил по-русски. Он был высок, презентабелен, звали его Уоллес Вендт.

Уоллес не являлся первым американцем, приехавшим на нас посмотреть. Одним из первых был Абрам Брумберг, выпустивший книгу о движении протеста в Советском Союзе, в которой он приводит множество документов. Это был симпатичный человек лет сорока. Хорошо все понимавший, оказавшийся в курсе наших дел. Мы с ним разговаривали несколько вечеров, расспрашивая друг друга о странах, в которых выросли. Ответы его были не всегда внятными. Меня интересовала ситуация в Америке, интеллигенция,

подроставшее молодое поколение. На десятки вопросов я так и не получил ответа. В частности, отношение интеллигенции или просто образованных людей к правительству, к секретным службам в Америке. С Абрамом Брумбергом, человеком открытым и как будто бы лишенным предрассудков, я совсем не мог всерьез говорить о религиозных проблемах. Религия его просто не интересовала, тем более христианство. Как социальное движение, как форма протеста религия, безусловно, вызывала в нем громадный интерес, но отнюдь не в личном плане. И мне казалось, что он присматривался, а нельзя ли написать статью о ком-нибудь из нас. Но, видимо, статьи так и не получилось.

Довольно видная и влиятельная журналистка хотела написать обо мне статью в виде интервью. Но она собиралась заострить вопрос на моем еврействе и моем христианстве, в то время как мне было трудно говорить о своих религиозных чувствах. Еще недавно я принадлежал к научному миру. Кроме того, взаимоотношения еврейства и христианства представлялись мне таким сложным и нерешенным вопросом, что трудно было высказывать свои мысли по проблеме глубоко личной и довольно-таки болезненной. Я мог напороть много глупостей в интервью, которое моя новая приятельница-журналистка готова была напечатать в ведущей западноевропейской газете. И я решил повременить.

...Вскоре Уоллес пригласил нас всей семьей в ресторан. Это происходило на берегу моря в предместье Рима — Тервоянико (после пансиона мы поселились там в отдельном коттедже). Мне было приятно беседовать с суховатым, но много знающим американцем и — сознавать, что за обед он платил не из собственного кармана. Американское правительство в лице своего представителя проявляло внимание к одному из тех, кто прибыл на Запад, еще не поостыв от накала внутрисоветских страстей. Наши встречи продолжались.

Я не помню, на каком языке мы обычно говорили. Он предпочитал говорить по-русски и понимал все. А я, дурень, даже не спросил его, где он приобрел такие познания в русском языке. Насколько я понимаю, на русскую землю нога его не ступала. В гостинице ли, где он снимал довольно скромный, но приличный номер, в нашем ли небольшом коттедже в приморском Тервоянико, где семья моя пребывала в течение июля месяца, мы вели с ним напряженный и серьезный разговор.

Уоллес расспрашивал меня во всех подробностях о моей жизни — важных подробностях. Семья, образование, работа над диссертацией, мои научные труды, участие в демократическом движении, исключение меня из системы Академии наук. Кто принимал участие в моем изгнании? Как прожил я те четыре года? Как мне помогали? И кто?

Беседы с Уоллесом были для меня своего рода катарсисом: едва ли не впервые на Западе со мной разговаривали на серьезном, профессиональном уровне. Правда, я не совсем понимал, почему Уоллес так подробно меня спрашивает. С одной стороны, он говорил, что хочет помочь мне и моей семье. У меня не было никаких секретов: все, что ему рассказывал, я собирался со временем описать в книге. С другой стороны, я все-таки не лыком был шит. Я собирался ехать в Америку. И мне казалось, что, при моем «безупречном» боевом прошлом, американцам, проверявшим мои документы на въезд, важно знать, кто я таков. Начнешь кобениться, скрывать, темнить — не придется ли ехать в Австралию, да и то не сразу? Будешь тут ковыряться среди беженцев год-другой. А детям надо учиться, мне — работать. Нет, я говорил все это не ради страха иудейска. Мне казалось, что американцы должны знать, что *там* происходит.

Когда Марина и дети уходили купаться, наша беседа продолжалась. Уоллес задавал вопросы, я отвечал «во всех подробностях», а он быстро выстукивал это на портативной пишущей машинке. Особенного чувства тщеславия, что мною занимаются, у меня не было, но и неприятного чувства тоже. Мне

казалось, что так надо, и я словно освобождался от какого-то большого груза, много лет меня давившего.

А Уоллес дорвался до «нужного» человека. У него было немало вопросов, в особенности его интересовали встречи, которые у меня были с нашей самой «родной» организацией по имени КГБ. Вот когда начинаешь разговаривать с американцами, такими, как Уоллес, то начинаешь осознавать свое глубокое родство с системой, воплощенной прежде всего в КГБ. Тюрьмы я не отдавал, хотя четыре года до выезда по милости этой организации провисел в воздухе, ожидая ареста. Я рассказывал, например, о попытке завербовать меня или просто заарканить перед несостоявшейся поездкой в Японию в 1964 году. А вот говорить ли мне, что мой родной брат работал в КГБ и его оттуда, возможно по моей милости, пошарили? Но и это часть моей биографии. И если я хочу, чтобы мне доверяли, этот факт я должен им сообщить. Я сказал, Уоллес записал и больше к этому вопросу не возвращался. Теперь я, пожалуй, понимаю, что в Америке сын за отца не отвечает, как и брат за брата. Но в душе у меня остался ком печали и угрызений, что я «накапал» на брата.

Что было плохо с Уоллесом — это то, что нам с ним приходилось все время сидеть в помещении. Ведь в такую погоду можно было бы и погулять на свежем воздухе, вдоль моря. Посмотреть, как отдыхают итальянцы, послушать их оживленную болтовню, полюбоваться красивыми женщинами. Увидеть, как сорока и пятидесяти лет мужики гоняют мяч по берегу моря, играя вроде как в крокет. Меня бесконечно умилял вид этих мужичков, занятых такими невинными играми. И невольно вспоминались *наши*. Едва ли они стали бы заниматься такими пустяками по два-три часа. Им подай несколько бутылок водки или «бормотухи», и они заведут свой особенный разговор. А тут, среди этих десяти — двенадцати итальянцев, принадлежащих к простому званию, я вижу напряженное внимание к катаемым мячам и ядрам и что-то нигде не замечаю вина. Уоллесу до этого не было дела. Закат и цвет вечернего неба его не интересовали. Разговоры наши были довольно-таки обстоятельными, а после разговора он уезжал.

Уоллес говорил, что хочет помочь. Он регулярно созванивался с нужными инстанциями в Вашингтоне, и последние были, кажется, довольны его находкой, то бишь мною. Уоллес предполагал пригласить меня в Западную Германию, где я выступил бы перед группой его коллег, но до этого дело не дошло. В скором времени мне предстояло поехать со всей семьей в Бергамо, к падре Нило — читать курс лекций в их летней школе «Руссия христиана». Уоллес мне говорил, что собирается выколотить для меня небольшой грант, но, как он выразился, на нашем пути стояла бюрократия. Многое зависело от нее.

Я дал ему почитать обе мои книги — «В лабиринте» и «Тесные врата». Они пока были в рукописи. С фотопленок, которые я переправил, еще будучи в Москве, в Англию, я отпечатал рукописи, любезные итальянские монахини помогли мне сделать несколько копий на фотокопировальной машине.

Уоллес прочитал обе мои книги едва ли не в один присест. На меня это произвело впечатление. Он остался ими доволен и считал, что их надо скорее издавать. По его мнению, мои книги, в особенности «Тесные врата», объясняли, почему в советском обществе такая пассивность. Вместе с тем он говорил, что мои книги предполагают достаточно высокую подготовку читателя. Мне казалось, что он стал относиться ко мне с большим уважением.

Однажды я оказался вместе с ним в обществе его приятеля или коллеги, прилетевшего из Штатов. Это был высокий и, как мне подумалось, не менее сановитый американец. Мы разговорились. Он расспрашивал меня о моих знакомых в Москве. Чувствовалось, что оба довольно неплохо знают московское общество. Интересовался, к моему удивлению, ученым-математиком, на которого у меня был зуб: по моим сведениям, он пустил по Москве утку, что я провокатор КГБ. Коллега Уоллеса хотел что-то знать об этом ученом — что бы это могло значить?

Но гораздо более серьезным открытием для меня явилось другое. Оказалось, что эти высокие и сановитые американцы вовсе не хотели радикальных перемен в России! Как выразился приезжий, откуда мы знаем, что какой-нибудь новый пришедший к власти безумец не нажмет кнопку ядерной ракеты и та не полетит в сторону Штатов и весь мир не провалится в тартарары. Уоллес, правда, не поддерживал своего приятеля. Но мнение это мне глубоко запомнилось. Они так и говорили: «Лучше дьявол нам известный, чем неведомый ангел». Это был совсем иной разворот дела, и это меня насторожило. Я уже слышал о тесном сотрудничестве американских и советских властей, об обмене секретной информацией между КГБ и ЦРУ. Раньше я этому не верил. Но надо ли это исключать совершенно?

В один из июльских дней Уоллес сообщил важную для меня новость, попросил, чтобы это оставалось конфиденциальным. Мне дается грант размером в четыре тысячи долларов на полгода, но с условием, чтобы я никуда не уезжал из Европы. Уже точно не помню, четыре на полгода или восемь тысяч на год. Для меня это были приличные деньги, в то время я ломал голову, как прокормить семейство. Уоллес подчеркнул, что деньги эти — просто дар.

Я поблагодарил Уоллеса, хотя и не понимал, зачем сидеть в Европе, когда я собирался ехать в Америку. Из головы у меня не выходила другая мысль. После нескольких моих выступлений и интервью в Риме, после того, как я начал собирать подписи в защиту арестованного Петра Якира, одна наша знакомая как-то отвела меня в отдельную комнату и очень внятно сказала по-английски:

— Юрий, вас используют! (You are used!)

Я спросил ее, как это может быть. Ведь я не говорю ничего сверх того, что думаю. Доброжелательная молодая женщина, которой я уже привык доверять и которая была настроена в защиту наших друзей, сказала, что может только повторить свои слова. Что это могло значить? Что значит эта субсидия?

Уоллес собирался домой за океан. Приглашал к себе в гости, когда я буду в Америке, говорил, что у него всегда можно остановиться. Давал телефоны, домашний и служебный. Перед отъездом сказал, что мне позвонит его сослуживец в здешнем граде, Гауэр. Очень славный, дескать, человек, и через него мы будем поддерживать связь.

В скором времени действительно позвонил Гауэр, и мы встретились. Он был энергичен, деловит, необыкновенно подвижен и атлетически сложен. Мы встретились несколько раз, в том числе на его новой квартире в Риме.

Таких больших квартир, как у него, я в жизни своей не видел. Комнат, наверное, тридцать. Несколько этажей. Множество дорогих восточных ковров и годящихся для музейной экспозиции статуй из Китая и Индии. Жил он в этой громадной квартире вдвоем с женой.

Гауэр был вполне приветлив и относился ко мне очень дружески. Что мне в нем импонировало, так это его решительная настроенность против Советов: надо наносить удар, от которого Кремль не оправится. Что мне не нравилось, так это его безбожие, чтобы не сказать сильнее. Когда я расспрашивал Гауэра о его вере, то поначалу он отвечал уклончиво, но в конце концов получалось, что он как бы богоненавистник. Как Иван Карамазов, он не отрицал существования Бога, но не принимал Его творения. Когда он пытался установить со мной более дружественные или даже короткие отношения, мне показалось, что его жена, довольно бесхитростная дама, пыталась как-то остановить мужа, намекая, что я несколько другой человек, чем хотелось бы Гауэру. Бог, по Гауэру, все-таки был, а вот американской интеллигенции как бы вовсе не существовало в природе. Такой его ответ воспоследовал, когда я пытался понять, как американская интеллигенция относится к своему правительству. А было это в пору больших демонстраций студентов и профессоров по всей стране против вьетнамской войны, и совсем незадолго

до этого у Никсона произошел казус с Уотергейтом. Дурак-то я был дурак, но Гауэру в то время сказал, что Никсон с этим делом накрылся и едва ли ему следовало бы выдвигать свою кандидатуру в президенты на второй срок. Гауэр отвечал на это что-то невнятно-циничное. Вскоре он напомнил мне, что деньги, о которых говорил Уоллес, я получу через него. Но пока денег не было.

Жизнь наша в это время была полна разнообразных впечатлений. Осталась в памяти встреча с Иньяцио Силоне и его женой Дариной. Силоне пригласил нас с Мариной на обед в превосходный ресторан. Стоял довольно знойный вечер. Мы расположились за столиком под открытым небом. Еда была изысканная, официанты — вежливы и услужливы. Дарина была молода, красива и умна. Муж ее был весьма необычный человек. В Силоне чувствовалась значительность, в ту пору известному писателю перевалило за семьдесят. Он казался несколько грузным. У него был как будто бы слегка отсутствующий взгляд, но на самом деле я редко на своем веку видел более внимательного и наблюдательного человека.

Рассказчиком он оказался совершенно необыкновенным. Над нами ступило ночное римское небо. Молчаливый официант приносил блюдо за блюдом. Никто вокруг не толкался, не шумел. Сюда приходила римская аристократия. И этот вечер запомнился мне как совершенно особенный. Мы сидели за столом с интеллигентными людьми, которые от меня ничего не хотели. К слову сказать, Дарина все время порывалась познакомить меня с итальянскими индологами, чтобы подыскать мне работу по специальности. А я от этого уклонялся, хотя и предоставлял все воле Божьей. Мне так не хотелось возвращаться к моей скучной лингвистике и демонической мифологии. Университеты в Италии поражали тем, что там никто не учился: студенты все время устраивали демонстрации протеста.

А Силоне рассказывал, как совсем недавно был приглашен на встречу с советскими писателями. Он едко и метко характеризовал их лицемерное поведение. Английский язык Силоне был великолепен. И он с большим остроумием описывал тех советских функционеров, что так насолили ему за жизнь. Ведь в 20-х годах Силоне был секретарем Пальмиро Тольятти и много времени провел в Москве. Он знал нашу политическую кухню из первых рук. И это ему принадлежит пронизательный афоризм: «С коммунистами до конца могут сражаться только бывшие коммунисты!»

...Много времени уходило на переписку с московскими друзьями. В Москве начиналась большая смута из-за ареста Петра Якира. Не верилось, что Петя Якир почти с самого начала пребывания в тюрьме стал давать показания на своих друзей.

Собравшиеся уезжать паниковали: советское правительство требовало каких-то невсроятных сумм в уплату за полученное образование. Платить десятки тысяч кому было под силу?

...В августе мы собирались ехать в Сериате всей семьей. Что ж, нам везло. После Тервоянико, с его чудесным морем и пляжем, нам предстояло пробыть еще месяц на лоне дивной природы в Северной Италии. Нашей семье в замке Сериате отводили большую отдельную квартиру. Сериате был расположен в нескольких милях от Бергамо, жемчужины итальянской церковной архитектуры. А в часе езды на машине — Милан, дивный современный город, который мне нравился почти как Рим.

Наш поезд отправлялся в воскресенье утром, дело происходило в начале августа. Оставалось встретиться на прощанье с Гауэром, который почему-то пожелал меня увидеть на вокзале перед самым отъездом.

Еще раньше Гауэр сказал, что передаст мне часть моего гранта, о котором шла речь с Уоллесом Вендтом. Расходы в семье были большие, и я с нетерпением ожидал момента, когда получу первую часть обещанного. Поезд уходил в 10.25 утра, и я постарался заблаговременно привезти на вокзал семью, расположиться в вагоне, заранее зарезервировав места, иначе могли и со-

гнать. Все-таки удобнее, если те семь или восемь часов, что мы должны были ехать, дети будут сидеть, не доставляя лишних хлопот.

Наше свидание с Гауэром было назначено за пятнадцать минут до отправления поезда в начале перрона. На вокзале страшная сутолока. Народ метался от одного состава к другому. Мне предстояло продрасться сквозь толпу к хвосту поезда, найти там Гауэра и быстро вернуться к семье. Согревало чувство, что опустевший кошелек на некоторое время пополнится хотя бы небольшой суммой.

И вот наконец я увидел Гауэра. Он спокойно стоял у колонны и сделал мне знак подойти к нему. Поздоровались. Одет он был в то утро довольно невзрачно и в толпе неприметен. Гауэр понимал, что мне некогда. Позже я сообразил, что он прекрасно все рассчитал.

Гауэр протянул мне конверт с деньгами — там лежали итальянские лиры. Чуть ли не полтора миллиона, а в переводе на доллары это было триста долларов. Чуть-чуть больше. Что-то очень для меня неприятное заключалось в подобной передаче денег в эти часы в такой толпе. Я не был уверен, что нас никто не фотографировал. Может, советские, а не исключено, и сами американцы. А почему он передает мне деньги на вокзале? Я невероятно спешил, боясь опоздать на поезд. И уже почти опустил конверт в карман, когда Гауэр попросил расписаться в получении денег.

Он протянул маленький листок, где я увидел свое имя, цифру полученных денег и знакомое мне имя Уоллеса Вендта. Написано все было по-английски. Впопыхах я поставил свое имя, уже собираясь бежать, как вдруг в глаза мне бросились три буквы против имени Уоллеса Вендта: «Col.». Я быстро попрощался с Гауэром, отбежал и, приближаясь к нашему вагону, вдруг понял, что эти три буквы означают не что иное, как начало слова «*полковник*» — «Colonel».

Нужно было тут же вернуться и швырнуть назад эти деньги. Триста долларов. Тридцать червонцев. Тридцать сребреников. Почему в качестве первой порции была выделена эта символическая сумма? Я не люблю число тринадцать, но еще больше не люблю число тридцать. Стараюсь никогда не занимать и не давать ничего в сумме тридцати рублей, долларов, тысяч лир. И вот на тебе, вляпался! Наконец я разыскал свой вагон и уселся рядом с семейством. Поезд тронулся. Разумеется, я сказал Марине, что видел Гауэра и он мне дал полтора миллиона лир.

Выехали из Рима. Проезжали мимо живописных итальянских городов, церквей, долин и холмов. Неповторимая итальянская природа, поистине в ней есть что-то божественное. Мы уезжали из Рима почти на месяц. Я должен буду читать там лекции о советской действительности после Сталина большой группе итальянцев, которые ежегодно приезжают в Бергамо со всех концов страны. И не только итальянцев: кто-то приедет из Западной Германии, из Швейцарии. Конечно, это не Бог весть что, но все-таки начало чего-то.

Но не в радость была мне на этот раз божественная природа Италии, ее небо, о котором так мечтал Мандельштам. Мне не сразу стало понятно, что произошло, но я уже почувствовал, что в меня вошла отравленная игла. И ее острие чуть-чуть кололо сердце. Мне так не нравилось это число в «тридцать сребреников». Уоллес никогда мне не говорил, что он полковник. Полковник *чего*? Американской армии? Ну, это еще куда ни шло! Хотя мне не хотелось иметь дело и с полковником американской армии. Но, по-моему, к армии Уоллес не имел отношения. Он имел отношение к правительству, так он мне сказал.

Я ругал себя последними словами. Я еще ничего не говорил Марине, но она чувствовала, что со мной творится что-то неладное. Проходимец ты, размазня и бармалей, говорил я себе. Можешь обманывать себя сколько угодно, но ты попал в лапы ЦРУ.

Ну хорошо! А что плохого в ЦРУ? КГБ был для меня невозможной организацией. В КГБ я не мог бы пробыть мысленно даже и минуты. Я вспомнил, как в 1964 году меня хотели послать в Японию и какой-то сотрудник КГБ сказал мне, что позвонит — может быть, позвонит — перед самым моим отъездом. Как же у них все хорошо разработано! Не обязательно, не непременно, но, вероятно, может и позвонить. Ну, не сравниваешь же ты в самом деле КГБ с ЦРУ? И что ты знаешь о ЦРУ? Если советская печать ругает ЦРУ, то, значит, это не такая уж плохая организация! А кто же будет бороться против советской власти? Единственно, кто борется, — это ЦРУ. The Central Intelligence Agency. Ну хорошо. Положим, у меня против этой организации ничего и нет. Быть может, я даже готов в ней работать. Может быть, меня таким образом проводят через первый тест. А потом предложат работу. В это плохо верилось: они не доверяют приезжим, даже нам, участникам такого напряженного движения против советских властей. Думают, может, и среди нас шпионы. Но Уоллес прочитал мою книгу «В лабиринте» и мог убедиться в том, что я собой представляю. Кроме того, я ему все о себе рассказывал, и он меня внимательно слушал. Боже мой, если результатом этих разговоров будут эти несчастные тридцать сребреников, периодически мне выдаваемые, то что все это значит? Грант есть грант, и его, насколько я знаю, не выдают малыми толиками!

Вообще мне не нравилось быть связанным ни с какой секретной организацией! Не лучше ли вернуть эти деньги вообще? У меня еще будет возможность подумать и решить за это время, что делать. Во всяком случае, всегда остается этот выход: вернуть деньги и вернуться в прежнее состояние.

А если я возвращу деньги, разрешат ли мне вообще въехать в США? Быть может, после всего этого мои шансы в качестве иммигранта будут сведены на нет. В хорошенькую историю я влип.

Я настроился на то, что деньги по возвращении верну. Но очажок напряжения в душе сохранялся. Подчас хотелось сесть на самолет и слетать в Рим, чтобы вернуть деньги и расквитаться. Гауэр, подстроив встречу за несколько минут до отхода поезда в Милан, проделал весьма простой и не очень-то оригинальный трюк. Произойди этот разговор и передача денег с распиской за обыкновенным столом или в обычных условиях, все было бы иначе. И еще думалось с обидой о другом. Какого же невысокого мнения о нас эти ребята из ЦРУ, если наши энтузиазм и самопожертвование, проявленные в столь опасные годы, они пытаются купить и окупить этими ничтожными долларами.

А еще я слышал, что по американским законам ЦРУ не разрешается действовать на территории самой страны. Иными словами, пока я за пределами Америки, Уоллес и его коллеги могут проявлять ко мне интерес и мне будет трудно оборвать с ними отношения, ибо только США дают иммигрантам право гражданства. Во Франции, Германии или Англии, куда ехать мне совсем не хотелось, можно прожить много лет, да так и остаться на положении беженца. И проси каждый раз за Бога ради разрешения, когда тебе надо переехать из одной страны в другую, не говоря о многих других неудобствах.

Единственное средство сохранить независимость — это въехать в Америку, а туда путь мне может быть закрыт, если я начинаю кобениться. Да и тут они тоже могут мне устроить бездну неприятностей, прояви я чрезмерную строптивость. Я оказывался едва ли не в заколдованном круге, тем более что многого еще просто не знал.

Этот небольшой эпизод отравил мне последующий месяц, который мог бы оказаться сказкой, чудесной сказкой в нашей жизни. Мы доехали до Милана, и там падре Нило встретил нас как самых дорогих гостей. Нас доставили в замок Сериате, отвели нам отдельные великолепные покои в красивом двухэтажном особняке. Дети наши были сыты и веселы. У них было полно игрушек и друзей, которые съехались в Летнюю школу на август. Огромный сад с его вековыми деревьями и сонмом благоухающих цветов был для них

любимым местом развлечений и игр. У нас появились новые друзья, которые наперебой звали к себе в гости.

Я прочитал за август в общей сложности лекций двадцать. Слушатели хорошо понимали по-русски и живо откликались на боль России. Интеллектуализм, проникнутый и пронизанный духовным христианством, всегда оставался для меня дорогой и близкой чертой в людях.

Мои болезни прошли. Я снова был здоров и молод. Я находился среди хороших людей, и странно — мне казалось, среди них не было никого, кто бы меня ни любил. Всю мою жизнь, всегда, непонятно почему кто-то меня недолюбливал или просто ненавидел.

Основателем школы Сериате³ был не падре Нило, а доктор Петро Модесто. В то лето мне не довелось увидеться с ним, но я часто слышал о нем много хорошего как от падре Нило, так и от других моих новых приятелей в Сериате. По их рассказам Петро Модесто представал каким-то удивительным человеком, носителем большой учености и великой персональной ответственности за судьбу России. Модесто являлся профессиональным философом и перевел почти всего Владимира Соловьева на итальянский язык. В годы основания «Руссия христиана» Петро Модесто был католическим священником, но потом так случилось, что он влюбился, женился и у него родился сын. От веры Петро Модесто никак не отказался, но получил от Ватикана диспенсацию на снятие сана и на женитьбу. Жена его, Хельга, происходила из Германии. По прошествии семи-восьми лет я познакомлюсь с Петро Модесто и подружусь с ним. Я увижу перед собой пример подлинного смиренного мудрия и безропотного несения своего креста. Я многому научусь от этого человека, которого буду называть отцом Петром. Ведь греческие и русские священники женятся и не утрачивают сана. А в то время, когда я впервые услышал о Петро Модесто и о том, что с ним произошло, от своих новых друзей в Сериате, я не уловил в их речах даже намек на укоризну или осуждение его. Преобладали слова благодарности ему за многое, что он сделал. А по лицу падре Нило при разговоре о Модесто пробегала тень печали. Потеря все еще им остро ощущалась и, вероятно, была невосполнима. И я ловил себя на мысли, что сам часто спешил со своей укоризной людям, не зная еще всей глубины того или иного факта, события, драмы. Опять и опять вспоминаются слова Генриха Гейне, пришедшего на кладбище: «Поднимите камень над могилой каждого из здесь лежащих: там скрыта мировая трагедия».

У падре Нило были и свои не всегда отрадные отношения с начальством. После II Ватиканского собора наметилось сближение с Православной Церковью, и Ватикан был не склонен критиковать положение религии в Советском Союзе. Падре Нило мало об этом говорил, но чувствовалось, что внутри у него кровоточила рана. В Италии, да и только ли в ней одной, нарастало радикальное движение молодежи: необъяснимым образом идеалы коммунизма все еще притягивали к себе умы. Распространялось движение христиан-марксистов. Мне поначалу казалось, что это просто лазутчики из стана коммунистов в христианской церкви, но дело обстояло сложнее. От самого же Ватикана падре Нило фактически не получал никакой серьезной поддержки по этой части.

Более того, в коллегии «Руссикум» при Ватикане, где ведали русскими делами, творилось нечто невообразимое. Едва ли там можно было услышать хотя бы слово критики в адрес СССР. Из Советского Союза в «Руссикум» приезжали учиться некоторые священники, и это считалось большой победой. На несколько лет приезжал сюда православный священник Владимир Рожков, приятель Левитина-Краснова, который не скрывал своих связей с

³ Об исследовательско-издательском центре «Христианская Россия» в Сериате (Италия) см. заметку Анны Вичини («Новый мир», 1991, № 2) и интервью с одним из основателей этого центра Романо Скальфи («Новая Европа», 1997, № 11). (Примеч. ред.)

советскими официальными инстанциями. Митрополит Никодим, о котором все в Москве без стеснения говорили, что он связан с органами, почти не вылезал из «Руссикума». Странная получалась ситуация. Ведь в Римской Церкви оставался в сане кардинала выпущенный из советского ГУЛАГа Слипый, которого я однажды в середине лета навестил в его курии в Ватикане. Кардинал Слипый, святой человек в возрасте восьмидесяти лет, преспокойно спал в своем кабинете, в то время как громадное здание, в котором он пребывал, просто-напросто было заперто на крепкий замок. Я долго стучался в железные двери. И этот старый человек должен был спуститься с четвертого этажа вниз, чтобы на мой громкий стук открыть большие, тяжелые и древние двери. Он без обиняков сказал мне, что в лагере ему было лучше и легче, чем на воле и на чужбине, в Ватикане.

В конце нашего пребывания в Сериате мне позвонили и сказали, что меня хотят повидать люди из Вашингтона. Помню, провел с ними целый день — солнечный, сухой, светлый — в роскошном ресторане на склоне высокой и красивой горы, куда нужно было въезжать на машине кругами. Вид открывался великолепный. Огромное голубое небо простиралось над нами. На столе стояли превосходные вина, меня угощали великолепными яствами, но мне было нехорошо. Я чувствовал себя несчастным.

Со мной разговаривали двое людей явно из ЦРУ. Муж и жена. Его звали Чарльз, а ее — Коллет. Я был начеку. Старался не называть имен. Говорил, в основном, то, что было написано в моих книгах и статьях. Самое неприятное было то, что они считали, будто *имеют право* на беседу со мной, а я не имею возможности послать их к чертовой матери, как бы мне этого ни хотелось. Их право на мое время проистекало, видимо, из того гранта, что я как бы получил через Уоллеса. Я не мог от них отделаться еще и потому, что собирался, если мне дадут визу, ехать в Америку. Связан ли был этот разговор с получением мною визы? Наверное. В голове у меня вертелась фраза, сказанная падре Нило, точнее, всего лишь три слога в ответ на мой вопрос, кто в конечном счете дает санкцию на визу в США таким людям, как мы:

— Си-Ай-Эй!⁴

Во время разговора, который продолжался в общей сложности часа три, я чувствовал себя не в своей тарелке и, вероятно, производил впечатление идиота. Пребывал я в чрезвычайно напряженном состоянии, было ощущение, что все висит на волоске и я все на свете забыл. Чарльз же, который, кстати, передвигался на костылях, задумал экзаменовать меня по анкете с целью определить мой интеллектуальный уровень. У американцев это называется «установление Ай-Кью». Я сейчас не помню точно, о чем он спрашивал. Запомнилось только, что он интересовался именем Гёте и, кажется, Гегеля.

Чарльз производил неплохое впечатление и симпатизировал нашему движению. По своему неразумию я в то время еще не полностью отделался от иллюзии, что цели нашего движения совпадают с благими устремлениями американского общества или, во всяком случае, наиболее благородных и возвышенно настроенных американцев.

Мои собеседники производили впечатление способных людей, много знали о Советском Союзе. Мне претила необходимость разговаривать с ними в той роли, которую я не понимал или создавал себе в своем больном воображении. Как будто я являлся их осведомителем. Конечно, я не собирался быть их сотрудником. Трагикомедия состояла в том, что ежели они усматривали во мне честность и полагались на нее, то делали как бы все возможное, чтобы лишить меня этой внутренней честности.

Казалось, сам горный воздух Италии располагал к доверию. Во всяком случае, окрестный пейзаж привел Чарльза в восторженное состояние духа. Наверное, ему осточертело коптеть в своем душном кабинете в Вашингтоне и удалось убедить начальство в необходимости командировки в Италию.

⁴ То есть ЦРУ.

От Чарльза не могло укрыться мое скверное настроение. И он явно хотел умаслить меня своими рассказами. Он стал рассказывать мне о встречах со Светланой Аллилуевой. Чарльз встречался с нею несколько раз, и она также согласилась отвечать на эту анкету. Ее ответы свидетельствовали, по его словам, что Светлана принадлежит к категории гениев. В то время я был высокого мнения о Светлане. Ее первая книга об отце произвела на меня большое впечатление, и я согласился с Чарльзом.

Другой рассказ — об Аркадии Белинкове. В отличие от Светланы Аллилуевой, в то время процветавшей в Америке, Белинков, фейерверком взлетев на Западе, трагически и неожиданно быстро ушел из жизни. Белинкова я воспринимал как своего и сердцем, и умом, и всем своим существом. Его письмо в ПЕН-клуб, написанное незадолго до смерти, легло едва ли не в основу моего видения мира. Не забыть того дня, когда Валентин Турчин положил мне на стол в Москве несколько листочков этого белинковского послания и обронил фразу:

— По этому письму видно, что западная интеллигенция еще хуже нашей!

О Белинкове Чарльз отзывался с уважением, но отметил, что тот не имел должного понятия об американской действительности. Однажды, в конце их беседы, состоявшейся в вашингтонском кабинете Чарльза, Белинков после очередной зубодробильной филиппики по адресу западной интеллигенции протянул Чарльзу свою новую статью и сказал: «Вот, напечатайте ее!» Чарльз добавил, что Белинков совсем не понимал американской интеллигенции и не был ею принят. Но он и не понимал, что ЦРУ и Чарльз в частности лишены были, как он сказал, возможности печатать такую статью. Для этого Белинков должен был, конечно, обращаться к самой прессе, к издателям журналов.

Если Чарльз при первой же встрече со мной столь доверительно говорил о своих встречах со Светланой Аллилуевой и Аркадием Белинковым, то сколько раз и что он будет рассказывать потом обо мне, какие мои слова будет цитировать при встречах с русскими эмигрантами и беженцами? Откровенничая со мною, он явно допустил психологическую ошибку.

Мы покидали Бергамо с чувством грусти, что каникулы истекли.

В Риме я поспешил увидеться с Гауэром, мы встретились едва ли не на следующее утро после нашего возвращения в Рим. Мы сидели в небольшом кафе в центре города. Я сказал Гауэру, что по трезвом размышлении решил вернуть ему деньги. И глазом не моргнув, хотя в его взгляде и можно было заметить тень разочарования, он положил конверт в карман и спокойно сказал, что порвет расписку. Ее я назад и не требовал — поверил ему. Радости моей не было предела: я снова обретал свободу от тайных пут, совесть освободилась от терзаний и грязи.

А в конце августа пришла виза в Америку.

...Нью-Йорк, о котором я столько читал и слышал, неприятно меня поразил. Торопливость и суета мгновенно обрушились на нас. Из аэропорта нас везли шоссевыми дорогами и улицами, которые показались мне кривыми, загроможденными, а самое неприятное, огороженными громадными, но некрасивыми и грязноватыми зданиями. После праздничных и нарядных проспектов Рима, очаровывающего красотами древности и средневековья, Нью-Йорк ошеломил меня нищетой и убогостью кварталов, через которые пролегал наш путь. Нам приготовили гостиницу в районе 23-й улицы, называлась она «Лейдем».

По приезде в Нью-Йорк меня принял председатель Комитета беженцев. Это был чех с безукоризненными манерами и изысканным английским, в котором едва-едва слышался иностранный акцент.

Помню, его звали Карл. Мне показалось, что он слишком высокого мнения обо мне: он без обиняков тут же порывался звонить людям, о которых я много слышал, но обращаться к которым сам постеснялся бы. Меня поразило, как запросто он позвонил в бостонскую квартиру Романа Осиповича

Яacobсона, всемирно известного лингвиста и литературоведа, и начал с ним говорить обо мне. С Романом Осиповичем я был знаком еще по Тарту и некоторое время поддерживал с ним переписку. Позже из Москвы я отправил ему некоторые свои работы, а он прислал мне несколько своих статей со словами дружеского привета, которым я, правда, не придавал чересчур большого значения. Яacobсон в моих глазах был монархом, величественным эмиром в мире науки, которой я до недавнего времени занимался.

Поговорив коротко с Романом Осиповичем, Карл передал трубку мне. Роман Осипович тепло меня поприветствовал, вспомнил нашу встречу в Тарту, спросил, сколько мне лет, и, узнав о моем возрасте, сказал, что, наверное, мне будет нетрудно найти работу. Во всяком случае, я еще не был слишком стар. Сам Яacobсон, прибыв в Америку в начале 40-х годов, многие годы мыкался без работы. Американские ученые не бросились к нему с объятиями, хотя и в ту пору он был широко известен. Он неожиданно спросил, что я думаю о Филине. Филин, по моим сведениям, представлял собой малопривлекательное явление в мире лингвистики, хотя был редактором журнала «Вопросы языкознания» и возглавлял ведущий академический институт. Поэтому я удивился вопросу Романа Осиповича и постарался, как мог, смягчить свой ответ, но, разумеется, ничего хорошего о нем сказать не смог, поскольку в Москве за ним упрочилась вполне определенная репутация.

Выслушав мой ответ, Яacobсон умолк на мгновение и заметил, что Филин регулярно посылает ему свои ученые труды с трогательными посвящениями, со словами уважения. Потом он спросил меня о некоторых общих знакомых в мире языкознания, в частности о И. И. Ревзине, который вскоре после болезни (когда за свою правозащитную деятельность я лишился работы и был под колпаком у КГБ) специально зашел ко мне, чтобы обличить меня в «бесовстве», и после этого мы ни разу не виделись. Об этой истории, о партийности Ревзина, о его подозрительности я, разумеется, говорить не стал, но что-то промямлил в ответ Роману Осиповичу, на что он философски изрек:

— Да, какие это все прекрасные люди. Здесь таких нет!

Яacobсон пригласил меня приехать к нему в Бостон и сказал, что оплатит мне дорогу, присовокупив, что имеет в виду проезд автобусом.

...Знакомство с Александрой Львовной Толстой. В ней меня поразило, как точно она воспринимала все факты о жизни в Советском Союзе, создавалось впечатление, будто она только вчера оттуда выехала. Умный смех, четкая реакция на детали советской жизни.

Александра Львовна хорошо говорила по-английски. Отца своего продолжала глубоко любить, но, будучи православной, трезво понимала, в какую сторону он уклонялся. Мне льстило, что меня пропускали в ее комнату без задержки. Обычно кто-то стоял на страже, и пройти к ней было весьма непросто. В особенности строга была ее подруга и сотрудница по Толстовскому фонду Татьяна Шалфус, которой исполнилось около восьмидесяти лет, но старость как будто бы не подбиралась к этим женщинам. Они делали великое дело, помогая русским беженцам. Александра Львовна решила похлопотать за меня и при мне позвонила в то лекционное бюро, где проработала всю жизнь, просвещая американцев о России. Было несколько неловко выслушивать, что она говорила боссу этого бюро обо мне. Но когда я приехал к нему в офис в центре Нью-Йорка, на работу он меня — после продолжительного интервью — не пригласил. Ему нужна была по крайней мере рекомендация еще одной дочери Толстого или самого Сталина. Но теплый отзыв обо мне Александры Львовны до сих пор меня согревает.

Другое знакомство — с Романом Гулем, издававшим «Новый журнал». Гулю в ту пору перевалило за семьдесят. Он многое повидал на своем веку, и его мемуары, выходявшие в последние годы жизни и после смерти, важны для каждого, кто интересуется судьбой русской эмиграции, ее интеллигенции.

Лысый череп и высокий лоб, сосредоточенные, уставшие, но все еще полные упрямства глаза Гуля, лицо округленное, но с четкими линиями напоминало мне римские скульптурные портреты. Жена его, одного возраста с ним, оставляла впечатление покладистого, мягкого, молчаливого создания. Квартира в Нью-Йорке, где они жили, была довольно скромной, но вполне приличной. Попасть к ним оказалось не так-то просто. Роман Борисович проявлял заметную осторожность в своих контактах с людьми и ни на один день не забывал трюки КГБ.

Как собеседник он был очень интересен. Много знал, и память оставалась острой, свежей. Свою точку зрения он не стеснялся высказывать, и она мне нередко казалась резковатой. В то время он еще поддерживал отношения со Светланой Аллилуевой и восторженно говорил о ней. Круг его друзей не был, как мне кажется, особенно широк — многие отходили от него из-за резкости его суждений. Глеб Петрович Струве, с которым я познакомился на одной из конференций в то время, мало о ком отзывался положительно, и Роман Гуль в это небольшое число положительно охарактеризованных им людей не попадал.

По приезду в Америку Аркадия Белинкова у него с Гулем поначалу возникла дружба, но длилась она недолго. Историософская концепция Белинкова пришлась Гулю не по душе, и на какой-то стадии их приятельские отношения оборвались, а доступ к журналу для Аркадия Белинкова был закрыт вплоть до его безвременной кончины.

В один из тихих и дождливых вечеров мы сидели у Гуля дома, пили чай и беседовали. В какой-то точке нашего разговора мое отношение к советской власти показалось ему чересчур мягким. И он спросил меня напрямую:

— Если бы перед вами сейчас стоял кагэбист, а в руке у вас был пистолет, вы убили бы его сразу, без размышления, в упор?

И укоризненно покачал головой, когда я ответил «нет».

Однажды нас пригласила на обед в свой большой дом семья Родзянко. Здесь мы сидели за одним столом с состарившейся дочерью Родзянко, с его внуком, его женой, правнучкой и многими другими его потомками. Вечер проходил интересно, оживленно. Марина Родзянко была в ударе, рассказывала много смешного. Но потом вновь и вновь возвращалась к теме для нее больной. Нет, мол, ее отец, Михаил Родзянко, царя не предавал. На отца возвели поклеп. При нас извлекались из заветного сундука какие-то книги, рукописи. Все это сопровождалось возбужденными признаниями. А мне уже это не казалось существенным. И эти люди уже вжились в Америку, и те события отстояли от нас на десятилетия. Олег, сын Марины Родзянко, поражал энергией, уверенностью. Это открылось мне не сразу, а несколько позже. Старушка мать, такая ласковая, добродушная и домашняя, так напоминающая мне ушедшую русскую жизнь, времена графов Ростовых и быт русских дворян, заслушалась смешными рассказами моей жены Марины, от которых я и сам часто заливался смехом до коллик в животе, вдруг как-то приуныла и заметила как бы про себя, но так, что это было слышно всем за столом:

— Милая моя душенька, вот вы все рассказываете нам о жизни в вашей стране. Но как же так получается, что жида, те самые жида, которые учинили эту ужасную революцию, теперь убегают из этой страны, а?

Сын подавал матери отчаянные сигналы, а она продолжала жаловаться и на евреев, и на сына, что он ее все время задевает ногой. Старушка являлась ровесницей пушкинской Пиковой дамы, и обижаться на нее было бы нелепо.

Назавтра, чуть забрезжил свет, она прибыла собственной персоной в наш маленький домик принести свой извинения. Бедная женщина не спала всю ночь и страшно переживала вчерашнее. Она не понимала, что мы тоже евреи. В старое время евреи, принявшие православие, переставали быть таковыми...

Мы любили проводить время у Гнучевых и Потаповых. Это были милейшие люди. Миша Гнучев, тоже прямой потомок Льва Толстого, всегда

принимал нас с особой теплотой. Он любил Россию, жил мыслями о ней, но самое главное — он был какой-то на редкость добрый, обвораживающий человек. Хотя и со своими странными понятиями и наблюдениями. Так, он доверительно нам сообщил: «В Америке, если человек не примыкает к масонам и не еврей, дороги ему нет». На день-другой я, признаться, загрустил, но потом убедился, что это, к счастью, преувеличение.

Постоянной работы мне не предлагали, но приглашений выступить с лекциями было немало.

Помню, в первой половине ноября состоялось мое выступление в Колумбийском университете, куда меня пригласили на семинар, которым руководил широкоизвестный Збигнев Бжезинский, возглавлявший там Научно-исследовательский институт по вопросам коммунизма.

Говорить нужно было по-английски среди специалистов — во время их ланча. Несколько дней я серьезно готовился, чтобы выступить на тему «Поведенческое двуязычие в советском обществе». Сдается мне, что это был мой конек: сам я по выучке был лингвистом и теперь переносил некоторые законы лингвистики и языкового билингвизма на общество и поведение в нем.

Перед выступлением я с четверть часа беседовал с профессором Бялером в его небольшом, заваленном книгами кабинете. До пятидесяти шестого года, насколько мне известно, он работал в партийном аппарате Польши, а потом ушел на Запад, прихватив с собой секретный доклад Хрущева о Сталине. Факт необыкновенно примечательный, если учесть психологию кремлевских лидеров, хорошо понимавших, что доклад рано или поздно проникнет на Запад, и, может быть, чем раньше, тем лучше. Вспоминая мои разговоры с Северином Бялером, я все еще ощущаю холод за его вежливой улыбкой и пышными, в пол-лица усами.

Минут за пятнадцать до начала семинара Бялер ввел меня в кабинет Збигнева Бжезинского. То был не кабинет, а громадный зал — намного более просторный, чем тот, в котором мне предстояло выступать перед сотрудниками его института. В громадном кабинете было довольно светло из-за больших окон, хотя день выдался пасмурный. Письменный стол Бжезинского стоял посредине холла. Занятый своими мыслями о предстоящем докладе, я не успел понаблюдать, что стояло по стенам кабинета, хотя и припоминаю, что книжные шкафы и полки, портреты и фотографии на стенах, шторы на громадных, во всю стену окнах — все это было изящно, добротно, отмечено хорошим вкусом. И сам Бжезинский, поздоровавшийся со мной посреди зала, был быстр, энергичен, внимателен и нервно-спокоен. Мы не успели обменяться и несколькими фразами, как Бялер оставил нас наедине, и я даже не успел приглядеться к Бжезинскому, как вдруг зазвонил телефон у него на столе и он поднял трубку. Во время разговора он продолжал стоять, знаком пригласив меня сесть в одно из кресел, и мне запомнилось выражение его возбужденного лица во время разговора. В решительные минуты Бжезинский напоминает волкодава: глаза сверкают и жертве несдобровать. Но в тот день и час Бжезинский казался любезным. Я не знал, с кем он разговаривал, но готов держать пари, что это был ведущий, если не самый главный деятель Демократической партии. Дело происходило неделю спустя после президентских выборов, республиканцы выиграли, Никсон стал президентом, но и демократы, среди которых Бжезинский играл важную роль, не сложили оружия. Демократ Макгаверн потерпел сокрушительное поражение несмотря на то, что над Никсоном навис Уотергейт. Звонивший явно благодарил Бжезинского за его роль в чем-то, и выдающийся советолог сиял, выслушивая похвалы по телефону. Говорил он внятно, почтительно и вместе с тем необыкновенно сердечно.

Закончив разговор, Бжезинский, казалось, с удивлением обнаружил меня в своем кабинете и медленно приходил в себя после важного телефонного

звонка, обмениваясь со мною незначащими фразами. Разумеется, он не считал нужным сообщить мне, с кем и о чем был разговор, но и сам факт, что я при нем присутствовал, что-то значил в его глазах.

Вместе с Бжезинским мы вошли в зал семинаров, и он представил меня своим коллегам. Их было человек сорок. Каждый из них разворачивал свой ланч, и в первые минуты моего выступления я старался не размышлять над тем, что их больше интересует: содержание ли пакета, который был им вручен женой или возлюбленной перед выездом из дому, или суть моего видения той системы, которой они более или менее профессионально занимались. В ту пору я был очень высокого мнения о моих слушателях. Я стремился не ударить в грязь лицом, хотя никогда не знаешь до конца, имел ли ты успех, или над тобой про себя посмеялись, похлопав для приличия в конце выступления. Бжезинский сказал в конце семинара несколько похвальных слов, назвав мой доклад «исключительно стимулирующим». Я удивился резонансу от этого моего выступления. Некоторые новые знакомые, как будто бы никакого отношения к Колумбийскому университету не имевшие, поздравляли меня с успехом и говорили, что в институте, руководимом Бжезинским, обсуждается вопрос о принятии меня на работу.

Выступить в Гарварде меня пригласил Ричард Пайпс. Был он мне симпатичен: специалист по истории России, в ту пору директор Русского центра, а в скором будущем — ведущий советник по делам России при президенте Рейгане. С густыми темными волосами, с выразительными карими глазами на живом лице, он всегда держался с большим достоинством и вместе с тем естественно, без малейшей показухи. Весь Гарвард, да и со временем едва ли не вся интеллигентная Америка знали его в лицо благодаря частым выступлениям по телевидению, но никогда в нем не проступало и намек на тщеславие. У нас будут свои разговоры в последующие годы, и я еще буду писать о своем удивлении в связи с некоторыми его взглядами и суждениями, но что-то мне очень понравилось в этом человеке, родившемся в Польше и говорящем по-английски с небольшим акцентом. Голова его работала как компьютер. Никогда не замечал в нем ни малейшего заискивания перед кем-либо, ни снисходительной позы, не видел, чтобы он тратил время на пустые разговоры. Наряду с этим, когда его коллеги набирали в рот воды и боялись критиковать советские власти, он открыто выступал в американской прессе по поводу репрессий против диссидентов, в частности в связи с судебным процессом Петра Якира.

В тот вечер в Русском центре что-то приподняло меня и понесло. Я отложил отпечатанные на машинке бумажки и говорил, как мне подсказывали чувство и разум, стараясь не упускать из виду глаза моих слушателей. В течение пятидесяти минут я, кажется, сумел сказать главное из того, что продумал за все эти годы. После этого вечера я приобрел множество друзей, с которыми сохранились отношения и по сю пору. Я видел перед собой моих друзей, которые оставались на родине, сидели в тюрьмах, томились в ссылке. И в то же время меня охватывало чувство — приятное и чуточку тщеславное, — что мальчик, некогда бегавший босиком по дождевым лужам по Новослободской улице в Москве, теперь выступает перед учеными мужами Гарварда и достославными жителями Бостона.

Поездка в Гарвард осталась вехой в моей жизни. Раз увидев спокойные корпуса университета, великолепную и завораживающую библиотеку Уайднера с мраморной лестницей, с обилием воздуха и пространства, а самое главное — эти мириады редких книг и старинных журналов, хотелось бросить все на свете и в уединении засесть читать, думать, писать. Но пока это казалось недостижимым. Пока приходилось по-прежнему выступать перед американцами, говорить о том, что происходит в России. Небольшое суденышко, на котором вместе со мною находилась моя семья, все еще швыряло по волнам. А уж пора было бы и ему войти в спокойную бухту.

В пред рождественские дни семьдесят второго я полетел в Брюссель на Международный симпозиум, посвященный пятидесятилетию СССР. По дороге решил остановиться в Лондоне и Париже.

В Париже, конечно, не преминул забежать в редакцию «Русской мысли», с редактором которой, Зинаидой Алексеевной Шаховской, у меня еще с момента пребывания в Риме завязалась довольно теплая переписка. В уходящем году в газете было напечатано несколько моих статей. Зинаида Алексеевна сердечно встретила, пригласила на разговор со мной журналиста и поэта Кирилла Померанцева — на ланч в кафе, где говорить было нелегко: слишком много людей набилось туда и каждый старался перекричать другого. В Кирилле Померанцеве мне нравилась его способность восторгаться и негодовать — он до конца дней оставался живым и неравнодушным человеком. Княгиня Шаховская, с подкупающим интересом к людям, всем своим обликом напоминала собеседнику, что он должен понимать, с кем говорит. Наша беседа протекала довольно живо, мы перескакивали с пятого на десятое, и все-таки последнее слово оставалось за нею. Разговор коснулся «Доктора Живаго». Для меня эта книга была и остается важной частью жизни. Княгиня Шаховская и Кирилл Померанцев настойчиво утверждали, что роман столь восторженно принят был читающей публикой не из-за своих художественных достоинств. Я же до сих пор не научился отделять в этой книге, ставшей столь известной и читаемой, сиюминутный успех от ее высоких литературных качеств.

В Париже беседовал я и с Никитой Струве. Никита Алексеевич был хорошо нам известен своими публикациями еще за много лет до этой встречи. Признаться, я ожидал увидеть перед собой несколько более жизнерадостного человека, на его же лице, когда мы встретились, были следы печали и забот. При этом мне даже трудно было определить характер его озабоченности. Не было ни слишком теплого рукопожатия, ни сердечной улыбки, ни радости встречи людей, у которых был контакт в недавнем прошлом. Мне даже показалось, что время от времени я ловил на себе его испытующий взгляд. По его воспоминаниям об Анне Ахматовой он мне виделся совсем иным человеком.

Одно обстоятельство в редакционной линии «Вестника РХД» меня огорчало. Никита Алексеевич примыкал к активным сторонникам Русской автокефальной церкви, попавшей в сильную зависимость от Московской Патриархии. Меня несколько покорило, что Никита Алексеевич довольно хорошо был обо мне информирован. Откуда-то ему было известно о моей дружбе с литовским патером Станиславом Добровольским. И что я первый его нашел и познакомил с ним других. Правда, ничего отрицательного о нем и этой моей дружбе он не сказал, хотя в последующих публикациях в «Вестнике» я постоянно встречал антикатолические высказывания ведущего редактора. Знал он и то, что я был католиком. Он как-то осторожно осведомился, действительно ли я являюсь католиком или только сльву таковым. Как я ни пытался убедить себя, что все эти годы Струве приходилось работать в исключительно напряженных условиях, я никак не мог освободиться от тяжелого и саднящего чувства при нашей беседе. Видимо, Никита Алексеевич, с его напряженной осторожностью, тонким пониманием дела, отличной осведомленностью, был мне, что называется, противопоказан.

В Брюсселе меня, как участника симпозиума, поселили в первом классе отеля в самом центре. Кажется, в такой гостинице я в жизни своей еще не жил: все просторно, изысканно, высокий потолок, ванная сверкает мрамором и белоснежной чистотой. Правда, за громадным окном с тяжелыми шторами шумит большой город, мешают спать идущие сплошной лавиной машины.

Начинается конференция. Как я уже упоминал, она посвящена пятидесятилетию провозглашения СССР. Я никогда раньше не думал, что в 1922 году произошло что-то интересное и решающее, но кому-то пришлось в голову пригласить нас с разных концов земли, дабы мы сказали, что думаем о совет-

ской системе. Понятно, что никто ничего хорошего о ней не говорил. Но докладчики собрались интересные. Здесь оказалось немало участников французского Сопротивления. Мне запомнилось выступление какой-то очень известной француженки, которая мне показалась весьма левой. Меня в ту пору от этой левизны все еще поташнивало: по своей наивности я думал, что, уехав из советской страны, сумею дистанцироваться от красных флагов, левых лозунгов, антиимпериалистических манифестаций. Но не тут-то было.

Как обычно, началась серия докладов, и каждый, разумеется, хотел блеснуть. Хороший и серьезный доклад сделал Леонард Шапиро, мне как-то очень по душе пришлась его основательность, честность, непримиримость к тоталитаризму.

Дмитрий Панин докладывал о преступлениях советской лагерной системы. Говорил хорошо, но чересчур эмоционально. Было ясно, что человек, доживший до шестидесяти лет, из которых добрая треть проведена в лагере, не может вести себя на кафедре на манер западных академических ученых. Что меня сильно резануло в докладе Дмитрия, так это его частые ссылки на Солженицына и их многолетнюю дружбу. Многим был хорошо известен характер Солженицына, во всем соблюдавшего конспирацию и свой собственный расчет, и я был почти уверен, что у Дмитрия возникнут серьезные проблемы с Александром Исаевичем, в то время все еще жившим в Москве. Панин чувствовал себя возбужденным, он находился в центре внимания. Дмитрий поздравил меня с докладом, хотя признался, что по-английски плохо понимает.

Прекрасный доклад был прочитан Питером Рэддуэем. Он старался быть сдержанным, не выходить, как это часто делают русские, за рамки чисто рационального подхода, но нельзя было не видеть в его лице и силу, и энергию, и умение посоперничать с выступавшими до него. В нем чувствовалась основательность. Когда мы сидели за одним столом, он очень интересовался всем, что касалось Александра Галича и генерала Петра Григоренко. В ту пору предпринимались попытки пригласить Галича в Скандинавию, и, конечно, многие стремились облегчить участие генерала, заточенного в психиатрическую больницу. Питер не просто интересовался — чувствовалось понимание дела и желание помочь. В нем с избытком хватало мужества и умения постоять за свои убеждения. Лет за десять до этого Питер побывал в России и испытал на себе пристальный интерес к его особе со стороны кагэбистской системы.

От разговора с Питером у меня остался, однако, некоторый неприятный осадок. Я скоро увидел, что с ним трудно было вступать в душевный разговор — по крайней мере для меня. Еще в Лондоне он поинтересовался моей религиозной принадлежностью, и слово «католик» звучало не совсем положительно в его устах. Здесь он пошел несколько дальше. Сидя напротив меня за одним столом, он почему-то повел разговор о моей работе. У меня к тому времени намечался определенный просвет: мною заинтересовался Бостонский колледж, из других колледжей также поступили предложения читать лекции по русской и советской тематике. К моему изумлению, Питер, поджав сомкнутые губы, посоветовал не искать работы по русистике и советологии, а продолжать мои занятия индологией и лингвистикой. Я промолчал. Более важно было то, что Маршалл Шульман и Питер Рэддуэй информировали друг друга о происходящем. Из нескольких встреч с Шульманом я почувствовал, что мне там ничего не светило, хотя он и занимал высокий пост директора Русского института. Не было ли со стороны Питера Рэддуэя попытки — в такой «деликатной» форме — пояснить мне, в какой ситуации я находился? И это лишний раз должно было убедить меня в правильности моего решения не ехать в Англию. Вместе с тем я сделал любопытное наблюдение. Маршалл Шульман, человек очень осторожный в своих высказываниях и ратовавший за сближение с брежневской Россией, явно был приятельски связан с Питером Рэддуэем, выступавшим с крайних позиций в отноше-

нии репрессивной советской системы. Наблюдение, не лишенное интереса для понимания западной действительности.

В свои шестьдесят Панин выглядел великолепно: ослепительный красавец, русский барин с пронзительными голубыми глазами. С ним начали носиться, всюду приглашать. За него многое говорило: семнадцать лет отрубил в лагерях, друг Солженицына, герой романа «В круге первом». Митя прошел испытания лагерем, встречался со смертью и голодом, участвовал в лагерных восстаниях. После выхода из лагеря, на советской «воле», тоже показал себя молодцом. Физически закалялся, бегал с тяжелым рюкзаком на дальние дистанции, купался в ледяной воде. Занимался йогой, медитацией, усиленно молился в церквах, самоотверженно писал свои труды. Поддерживал отношения с очень узким кругом людей, хотя многие в Москве знали имя Панина — во всяком случае, знакомые с книгами Солженицына, а таких были тысячи. Митя вел тогда подпольную жизнь, исполненную героизма.

На Западе Дмитрию, сдается мне, первоначальный успех несколько вскружил голову. Многие стали читать его книгу, но все ли в ней поняли? Митя покорял своей внешностью, и это происходило сразу же после первого, даже поверхностного, знакомства. Митя, на мой взгляд, был подлинным Дон Кихотом. Он явно хотел поднять Запад на борьбу с жестоким и вероломным коммунизмом. Но во Франции ли следовало начинать такую борьбу, где каждый третий был коммунист и критика Советского Союза в то время представлялась не совсем уместной? Языков Митя не знал, но действовал исключительно напористо, быстро ссорился и портил отношения с друзьями и покровителями...

Наш симпозиум «успешно» завершил свою работу, в то время как Кремль бросал миллионы долларов на дезинформацию и обработку западного общественного мнения. Бельгийские газеты, по-моему, даже не посчитали нужным что-то написать о нашей конференции. Но перед самым ее закрытием, под занавес, несколько ее участников, включая и меня, были приглашены в какую-то небольшую комнату. Среди присутствующих, как помню, были Митя и Исса Панины, В. Д. Поремский, Питер Рэддуэй. В общем, за небольшим столом там оказалось человек десять — двенадцать. Обсуждался треклятый вопрос, как нам объединить силы для борьбы с коммунистической системой и опять, *pota bene*, — надо ли сообщать друзьям в России и говорить в русскоязычной печати о том, что на Западе мало интересуются положением дел в Советском Союзе.

И все тот же Митя, которого мне здесь трудно было узнать, настолько он горел и кипятился, возбужденно декларировал, что не надо об этом писать в Россию, ибо те немногие, что борются против режима, станут жертвами разочарования, у них опустятся руки. Сидящие за столом внимали, как будто не возражая против такой постановки дела. В не меньшем возбуждении я повторил то, что сказал когда-то в Риме, а именно, что там, в России, наши друзья борются против режима, рискуя свободой и жизнью. Сам я не забыл, как горько мне было в те времена, когда в ответ на мое выступление в феврале 1968 года и последующий остракизм я ничего не услышал со стороны Запада. Об этом я не сказал, но о Галиче упомянул, как он в первые дни после своей гражданской казни напрасно пытался поймать хоть что-нибудь о себе по западному радио. И, добавил я, единственно, что нам нужно делать, — это сообщать нашим друзьям правду, ничего, кроме правды.

О Боже, какие гневные взгляды ощутил я на себе! Митя был ужасно мной недоволен. Поремский уже успел махнуть на меня рукой. Питер Рэддуэй молчал. Исса, бедная Исса, которая включилась в напряженную политическую деятельность, также выразила недовольство моими словами и торжественно заявила, что я не могу претендовать на единственно правильную интерпретацию того, что происходит в России.

В один из последних вечеров со мной пожелал поговорить наедине Леонард Шапиро. То был седеющий джентльмен, очень добрый и необыкновен-

но корректный. Он отлично говорил по-русски, хотя все время казалось, что вместе с его акцентом и специфическими речениями мы переселяемся в начало столетия. Он завел разговор о вере. Выходец из еврейской семьи, разносторонне образованный, влюбленный в русскую литературу и наше прошлое, Леонард Шапиро расспрашивал меня о моем христианстве, очень тянулся к вере. Официальная церковь, в православном ли облике или католическом, его мало привлекала. Много лет занимаясь историей российских коммунистов, он соприкасался с невероятным злом, отягощавшим душу. Видимо, его ум и чувства нуждались в противовесе. Он с добрым участием слушал мои рассказы, и наш разговор о вере, Христе остался в моей памяти как веха в первые месяцы моего пребывания на Западе. В конце разговора он сказал мне, что из существующих христианских течений его наиболее привлекала англиканская церковь. В будущем, посетив Лондон, я навестил его в его квартире, заставленной книгами и старинной мебелью. На несколько лет я приобрел на Западе душевно чуткого, интеллигентного старшего друга. Жаль, что мы жили в разных странах.

Перед тем как покинуть Бельгию, я заехал в христианское издательство «Жизнь с Богом». Об этих милых людях, которые там все еще трудятся, я непременно буду писать еще. Их в этом брюссельском гостеприимном доме было немного, но скольким мы были им обязаны! Оказавшись в их тихом монастырском пристанище, я увидел священника-иезуита отца Антуана, которого знал еще во время его приездов в Россию. Оказывается, прошедшей весной отец Антуан специально прилетел в Москву, еще не зная о моем отъезде, и привез громадную сумму денег на тот случай, если бы власти захотели взимать с меня деньги за мое образование. Вскоре после нашего отъезда такой закон был принят и некоторое время действовал.

Я возвращался в Америку преисполненный надежд на мою новую жизнь. Наступало Рождество 1973 года — наш первый новый год в Новом Свете.



ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

ДМИТРИЙ ХАРИТОНОВИЧ



ФЕНОМЕН ФОМЕНКО

Научные открытия сегодня не столь уж сильно будоражат общественное мнение. Два-три десятилетия назад космические путешествия, пересадка сердца и многое иное заставляли нас замирать от восторга. Ныне это не так, особенно если говорить о науках гуманитарных. И все же даже сейчас появляются гипотезы, способные взволновать многих. К таким гипотезам безусловно относится учение о Новой Хронологии (далее она будет обозначаться НХ).

Около 1980 года крупный специалист по топологии академик Анатолий Тимофеевич Фоменко, опираясь на математико-статистические выкладки и отраженные в древних источниках наблюдения небесных явлений, выдвинул предположение о том, что вся традиционная хронология (он называет ее «скалигеровской», по имени французского ученого Жозефа Жюста Скалигера, выпустившего в свет в 1583 году трактат «Новый труд об улучшении счета времени», где впервые была предпринята попытка создать сводную хронологию всемирной истории) неверна, а следовательно, ошибается и вся мировая историческая наука, базирующаяся на этой хронологии. Нельзя сказать, чтобы эта идея была абсолютно нова. Первым — и А. Фоменко с коллегами признают это — хронологию, резко отличающуюся от общепринятой, предложил известный террорист, многолетний сиделец Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей Н. А. Морозов. Морозовские теории Фоменко и его соратники, в частности Г. В. Носовский, а также В. В. Калашников и другие (в дальнейшем я буду именовать их *Авторы*, ибо не знаю, кому из них принадлежит честь того или иного открытия, доказательства, аргумента и т. п.), развили, модифицировали и изложили в целом ряде книг на русском и английском языках — я насчитал всего восемнадцать, — это и есть учение о Новой Хронологии, как называли его сами создатели.

Все труды приверженцев НХ я не одолел, но с рядом из них, дающих, как мне представляется, достаточно полное представление о НХ, я ознакомился¹, равно как и с довольно скудной полемикой по ее поводу².

Скажем прямо: НХ довольно-таки популярна, о ней говорят, некоторые учебные заведения включают труды *Авторов* в число рекомендуемой литературы, они выходят под эгидой первого вуза страны — МГУ, и это обязывает меня присмотреться к означенному учению попристальнее. Оговорюсь сразу:

¹ Ниже использованы следующие работы: Фоменко А. Т. Методы статистического анализа нарративных текстов и приложения к хронологии (распознавание и датировка зависимых текстов, статистическая древняя хронология, статистика древних астрономических сообщений). М., Издательство МГУ, 1990 (далее — «Методы»); Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима. Факты, статистика, гипотезы. Т. 1. [Русь.] Т. 2. [Англия, Рим.] М., Учебно-научный центр довузовского образования МГУ, 1995 (далее — «Новая хронология», не путать с Новой Хронологией, или НХ, — названием всего учения в целом); Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология древности. М., «Факториал», 1996 (далее — «Империя»).

² См., напр., «Природа», 1997, № 2.

я — старый консерватор, безусловный приверженец скалигеровской хронологии («скалигеровщины», как пишут *Авторы*, — см.: «Империя», стр. 390), а поспею не являюсь сторонником НХ.

Но желание высказаться по поводу этой теории вызвало у меня вопрос: а к кому будут обращены мои строки? *Авторам* мой текст вряд ли нужен. На протяжении по меньшей мере семнадцати лет Фоменко и его команда не обращают внимания на критику со стороны специалистов, продолжают надстраивать и достраивать свои гипотезы новыми аргументами (или тем, что они считают аргументами) и повторяют аргументы (или то, что они, опять же, считают таковыми) старые. Для них их теории если и не являются абсолютной истиной, то чем-то приближенным к ней. Книги *Авторов* пестрят заявлениями типа: «По-видимому, окончательная в целом версия ПРАВИЛЬНОЙ ХРОНОЛОГИИ (сохраняю здесь и далее все особенности графики трудов *Авторов*, которые ОЧЕНЬ любят БОЛЬШИЕ буквы. — Д. Х.) древней и средневековой истории была предложена А. Т. Фоменко в 1979 году» («Империя», стр. 20).

С другой стороны, мои коллеги-историки не обращали особого внимания на теорию Фоменко и других, считая ее вообще выходящей за рамки науки, а поспею и научному обсуждению не подлежащей.

Но есть еще широкий читатель, человек интеллигентный, безусловно интересующийся историей. Он желает разобраться во всем, однако не имеет профессиональной подготовки в науке истории. Он либо читал труды Фоменко и других, либо что-то слышал о них, но не готов ни сразу принять ошеломляющие открытия *Авторов*, ни отвергнуть их, исходя из принципа «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». К такому читателю и обращены мои строки.

В чем же суть НХ? По утверждению ее создателей, все существующие ныне описания мировой истории неверны, подлинная история была совершенно иной. Мы ничего не знаем о том, что было до IX — начала X века н. э., все источники до 900 года должны быть передатированы, более или менее точные сведения (и те достаточно искажены) появляются с 1300 года, и только с конца XVI — XVII века НХ сливается с общепринятой. До VIII — IX веков царил каменный век, в упомянутую эпоху появились медные орудия и где-то в X — XI веках — железные. Единственным известным нам государством тогда был Древний Египет, он же Древний Рим, ибо Римом (по *Авторам* — Рим I) тогда называлась Александрия Египетская. В те же X — XI века зародилась первая иероглифическая письменность. Тогда же, скорее всего в XI веке, происходит перенос столицы в Рим II — Константинополь, он же Иерусалим, он же Троя. Именно в Риме II в 1095 (или 1089) году был распят Христос и тогда же возникла единая всемирная христианская религия, хотя до этого существовало некое «дохристианское» христианство. Указанный Рим II был мировой империей, в которую входили Египет, Русь, Турция, Германия, Франция, Испания, Италия и др. Западные провинции империи в XII веке отпали и пошли войной на столицу. Произошел раскол Второй империи, Запад обрел своего главу — германского императора. Однако в XIV веке возникло новое государство — Русь, она же Орда, она же Монголия, государство русско-славянское в основе своей, хотя и с включением тюркских народов. Это государство с центром в Новгороде, как тогда именовался нынешний Ярославль (Москва основана лишь около 1380 года), охватывало всю Европу, в том числе Западную, Сибирь, Турцию, Балканы, Китай, Индию — словом, весь почти Старый Свет, кроме Юго-Восточной Азии, Аравии и Африки к югу от Сахары. Возглавлял эту Третью империю русский царь, он же великий князь, он же хан. В XV веке начинается раскол, в первую очередь религиозный, но и политический, именно тогда прежде единое христианство распадается на православие, католицизм, ислам, иудаизм, буддизм, западная часть империи-III стремится отделиться и создает свое первое государство (или государства), собственно Рим — итальянский, —

только и возникший в конце XIV века, но Русь и Турецкая Оттоманская (что значит Атаманская, от казачьих атаманов) империя, то ли в союзе, то ли представляя еще единое государство, захватывают Константинополь и обрушиваются на Запад (точная хронология событий, видимо, не вполне ясна и самим *Авторам*), укрепив империю и даже заселив ее русскими и беженцами из Византии. В XVI веке внутри Руси-Орды начинается гражданская война: Русь и Турция, подстрекаемые Западом, поднимаются друг на друга во второй половине XVI века. Запад при помощи военной агрессии и внутренней смуты свергает древнюю Ордынскую династию и сажает на престол «западников» Романовых, в результате чего откалывается Китай, великая империя распадается на Россию, Турцию, Индию и ряд иных государств, чтобы никогда более не воспрянуть (пока?) в полном объеме, разве что — и то в существенно меньших размерах — в XIX веке, когда в Российскую империю входили и Аляска, и Польша, и Финляндия, да в период 1945 — 1985 годов, когда СССР возглавил социалистический лагерь, включающий Восточную Европу, Монголию, Афганистан и даже временами Китай («Империя», стр. 270; не ясно, правда, почему концом эпохи назван 1985 год, ведь советская империя начала распадаться в 1989 — 1990 годах, — возможно, имеется в виду приход к власти М. С. Горбачева). Такова сочиненная *Авторами* «подлинная» всемирная история.

Если читатель не слышал до сих пор о такой НХ, то сейчас, очевидно, оторопел и готов задаться вопросом: а как быть со старой хронологией, со всем корпусом исторических текстов, хотя бы летописей и хроник, на которых строилась существующая историческая наука? *Авторы* отвечают: с помощью математико-статистических методов анализа источников мы выяснили, что на самом деле различные летописи и хроники описывали одни и те же события под разными названиями, одних и тех же людей под разными именами, одни и те же географические пункты под разными наименованиями, а позднейшие историки этого не поняли, все указанные события, имена, топонимы сочли различными и, сводя летописи воедино, вынуждены были неоправданно расширить хронологию, чтобы в ней всему нашлось место. На деле же все это дубликаты, одно и то же. Например, вся история Китая есть история Древнего Рима, он же Византия, занесенная в Китай миссионерами в XVI веке, Первый крестовый поход 1096 — 1099 годов и исход евреев из Египта есть одно и то же, как одно и то же — Четвертый крестовый поход 1203 — 1204 годов, Троянская война в XIII веке до н. э., распад Израильского царства на Израиль и Иудею около 922 года до н. э., изгнание цезарей из Рима и установление там республики в 509 году до н. э. и многое другое. Христос — это римский папа Григорий VII; Чингисхан — великий князь Московский Георгий Данилович; Батый — князь Ярослав Всеволодович, он же Иван Калита, он же Ярослав Мудрый, и не исключено, что он же — еще и Тамерлан, турецкий султан Мехмед (Магомет) II Завоеватель и египетский фараон Тутмос III. Троя, как уже было сказано, — это и Константинополь и Иерусалим, Фракия — Африка, Армения — Германия, Самара — Самарканд, готы — казаки — хетты, русские — монголы. И т. д. и т. п. «Долгая» же хронология, разводящая указанные события, людей, географические названия и наименования народов, есть результат как ошибочной интерпретации текстов, так и целенаправленной деятельности историков, стремившихся исказить подлинную историю и — особенно — место в ней *Руси-Орды*. Злонамеренные историки переписали в XVI — XVII веках древние летописи и даже Писание, дабы исключить оттуда всякие упоминания о великой русской империи, и особо усердствовали в этом историки отечественные, поубуждаемые узурпаторами Романовыми, которые желали скрыть великое прошлое своего Отечества — из низкопоклонства перед Западом. Более всего преуспел в этом немец на русской службе Г. Ф. Миллер, но не отставали от него Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский. Французские археологи тем временем бесчинствовали в Египте, уничтожая иероглифические надписи,

также свидетельствовавшие о подлинных событиях (ниже мы еще затронем эти темы подробнее).

Как видим, история, весьма и весьма отличающаяся от «нормальной». Спешу оговориться, что слово «нормальный» я употребляю никак не в психиатрическом смысле: я не специалист в этой сфере и просто не имею права судить о психическом здоровье *Авторов*³. Нет, я употребляю указанный термин в науковедческом его значении: «нормальной» именуется наука, развивающаяся в рамках некоей парадигмы, некоей не ставившейся под сомнение базовой теории; эта «нормальная» наука добывает факты в рамках указанной парадигмы, пока наблюдаемые данные не начинают противоречить базовой теории. Тогда-то и свершается научная революция, возникает новая парадигма, новая базовая теория, объясняющая в рамках новой теории необъяснимые прежде факты, а далее снова идет «нормальное» развитие науки. Так, существовала геоцентрическая теория Вселенной, пока Коперник, дабы объяснить обнаруженные, но неистолковываемые явления, не выдвинул новую теорию — гелиоцентрическую. Кстати сказать, *Авторы* без ложной скромности именно так оценивают свою НХ в сравнении со старой: «Напомним только, что когда-то люди ИСКРЕННЕ верили, будто Земля — плоский блин на спинах четырех слонов. И будто Солнце вращается вокруг Земли. И никто их СПЕЦИАЛЬНО НЕ ОБМАНЫВАЛ. Просто таков путь эволюции научного знания: от ошибок к истине» («Империя», стр. 431).

Если данная теория «ненормальная», то она требует особо мощных обоснований. Естественен вопрос: насколько сильны основания НХ, насколько убедительны аргументы в ее пользу? Прежде, однако, я хочу поведать о некоторых принципах научного исследования. Ежели НХ — научная теория, а *Авторы* настаивают на этом, то она должна подчиняться некоторым условиям. Рассмотрим эти условия и соблюдение их *Авторами*. Набор условий, конечно, неполон, но в первом приближении сойдет — я ведь пишу не науковедческое исследование.

Первое условие можно назвать, как и один из законов логики, условием достаточного основания. Исследователь обязан рассмотреть *всю* совокупность фактов, имеющих отношение к предмету исследования, и не имеет права не обращать внимания на то, что не описывается его теорией. Например, биолог, изучающий простейших, может не принимать во внимание факты, касающиеся млекопитающих, но создатель общей биологической теории, например теории эволюции, обязан изучать и растения, и червей, и позвоночных. Теория НХ отвергает этот принцип с порога. Исследованию подвергается исключительно событийная, попросту политическая, история. У *Авторов*, видимо, бытует мнение, что главными, пусть и не единственными источниками являются нарративные, то есть повествовательные, тексты — летописи и хроники (и этот взгляд, к сожалению, разделяет большинство людей, не сведущих в профессии историка). На деле собственно таковые источники составляют незначительную часть писанных текстов. Даже если принять далеко не точное мнение *Авторов* о том, что «известная нам сегодня история — это ПИСЬМЕННАЯ история, т. е. основанная в основном на письменных документах» («Новая хронология», т. 1, стр. 21 — 22), то большинство этих документов, подавляющее большинство, составляют не летописи, а государственные акты, хартии, судебные решения, купчие и т. д. и т. п. Многие из них датированы, и их датировка никак не вписывается в НХ. Скажем, согласно НХ, живший в VIII — начале IX века Карл Великий и правивший в XIII веке император Фридрих II Гогенштауфен — одно и то же лицо, Карл — дубликат Фридриха (там же, т. 2, стр. 630). Но «скалигеровскую» версию хронологии подтверждает огромное количество изданных этими государами

³ Правда, академик С. П. Новиков, давно и хорошо знавший Фоменко, в статье «Математики и история» («Природа», 1997, № 2) говорит о некоторых особенностях душевного склада основателя НХ, но тут я не судья.

законов и распоряжений, из которых явствует, что они относятся к разным государствам с различным социально-экономическим и политическим устройством. Или эти документы тоже подделаны? А как быть с историей быта, искусства, техники и многого другого, от чего остались не письменные, а материальные памятники?

Понятно, что раз археология ставит под сомнение НХ, то создатели НХ ставят под сомнение всю археологию, все естественно-научные способы датировки (см.: «Империя», стр. 33 — 39), причем делают это довольно своеобразно. Так, *Авторы* рассуждают о ненадежности радиоуглеродного метода: «При датировании, например, ЕГИПЕТСКОЙ коллекции Дж.-Х. Брэстеда „вдруг обнаружилось, — как растерянно говорит Либби (имеется в виду автор метода радиоуглеродной датировки У.-Ф. Либби; сделанные *Авторами* ссылки на источники я здесь и далее опускаю. — Д. Х.), — что ТРЕТИЙ ОБЪЕКТ, который мы подвергли анализу, ОКАЗАЛСЯ СОВРЕМЕННЫМ! Это была одна из находок... которая считалась... принадлежащей V династии”. То есть скалигеровская хронология помещала эту находку в период 2563 — 2423 годов. Таким образом, между скалигеровской версией и радиоуглеродным датированием появилось противоречие размером в ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧИ ЛЕТ... ОБЪЕКТ БЫЛ ОБЪЯВЛЕН ПОДЛОГОМ. Что и естественно. Не могли же археологи допустить мысль, что „древнеегипетская” находка действительно относится к периоду не ранее XVI — XVII веков НАШЕЙ ЭРЫ (с учетом точности метода)» (там же, стр. 488 — 489).

Но ведь Либби говорит лишь о том, что из серии предметов один оказался современным, то есть принадлежащим XX веку (это уже *Авторы* для спасения своей НХ безо всяких оснований датируют его XVI — XVII веками), потому и был объявлен подделкой. И все, и более ничего. Остальные-то предметы названной коллекции оказались весьма древними. Для *Авторов*, видимо, поздняя датировка одного предмета перевешивает раннюю датировку всех остальных из той же серии, ибо единичный случай может служить подтверждением НХ, а множество случаев — не могут.

И тут мы приходим к еще одному условию научного исследования. Назовем его принципом наибольшей вероятности. Представим себе ситуацию, увы, нередкую на московских улицах: найден труп с аккуратной дыркой в черепе. Ведущий расследование сыщик делает наиболее вероятное предположение: жертву застрелили — и действует исходя из этого: ищет пулю, оружие, свидетелей и т. п. Вместе с тем ему ничто не мешает выдвинуть гипотезу о том, что несчастный был убит упавшим с неба метеоритом. Более того, он даже может заняться проверкой и этой версии, но лишь после того, как окончательно убедится, что выстрела вообще не было. И никак не ранее, ибо ежели он сразу станет исходить из метеоритной гипотезы, то положение с раскрываемостью преступлений будет еще хуже, нежели ныне. То же и в науке.

А вот как обращаются с указанным принципом *Авторы*. Они пытаются анализировать летописный рассказ о призвании варягов, согласно «Повести временных лет», с позиций своей НХ. Варяги для них — это попросту «враги» (о лингвистических упражнениях *Авторов* мы еще поговорим), а где враги, там и друзья. «Сказав о „врагах-варягах”, летопись тут же (!) переходит к друзьям. Если первоначальные противники звались врагами-русами, то ДРУЗЬЯМИ называются свии, ДРУЗЬЯ же — уремьяни, ингьяне, ДРУЗЬЯ и готы. Вот текст: „Бо тии звахус(я) варязи рус(ь), яко се ДРУЗИИ зовутьс(я) свие, ДРУЗИИ ж(е) урьмяни, ингьяне, ДРУЗИИ и готе”. Конечно, сегодня считается, что здесь слово „друзии” означает „другие”... Но можно также предположить, что здесь говорится о ДРУЗЬЯХ... Нам кажется, что летопись рассказывает именно о ДРУЗЬЯХ, поскольку только что она говорила о ВРАГАХ (на деле не говорила, отождествление „варязи” — „врази” есть лишь предположение *Авторов*. — Д. Х.)... Такое прочтение текста представляется нам естественным» («Новая хронология», т. 1, стр. 218 — 219). Вообще выражения типа «можно предположить», «нам кажется», «представляется есте-

ственным» и сходные рассыпаны по всем творениям *Авторов*. Так вот, нельзя предположить, не кажется и не представляется естественным. Для того чтобы выдвинуть указанное предположение, *Авторы* должны проанализировать многие одновременные «Повести временных лет» тексты, обнаружить там слово «друзии» в смысле «друзья» (в значении «другие» оно присутствует), да не один раз, ибо бывало, что летописец или переписчик ошибались, написав «друзии» вместо «друзи». И только если это обнаружено, тогда да, тогда можно заявить, что поскольку в таких-то и таких-то источниках слово «друзи» пишется «друзии», то возможно (только возможно!), что и здесь оно значит «друзья». А коли этого нет — а этого нет, поскольку подобного анализа текстов *Авторы* не приводят, — то нельзя, никак нельзя делать подобные заявления. «Мне кажется» — аргумент, допустимый в искусстве («я так вижу»), но не в науке.

Принцип наибольшей вероятности связан с другим принципом, выдвинутым еще в XIV веке английским философом-схоластом Уильямом Оккамом, — так называемой «бритвой Оккама», или принципом лаконичности мышления. Он заключается в том (передаю его в современной терминологии), что мы не имеем права объяснять неизвестное неизвестным, громоздить гипотезу на гипотезу. Например, обнаружив при наблюдении звездного неба некие необъяснимые с позиций современной науки явления, астроном обязан указанной «бритвой» отсечь гипотезы типа «это непонятно, а посему есть проявление деятельности разумных существ», ибо в таком случае мы ничего не объясняем, а лишь выдвигаем положение, которое ни подтвердить, ни опровергнуть не в состоянии.

Увы, с «бритвой Оккама» *Авторы* тоже не знакомы. Одним из важнейших предположений *Авторов* является следующее: «...многие географические названия ПЕРЕМЕЩАЛИСЬ ПО КАРТЕ с течением веков» («Новая хронология», т. 1, стр. 23; ср.: «Империя», стр. 27), скажем, «Монголия» или «Троя», «Индия» вообще значило «далекая страна», и лишь весьма поздно, около XVI века, эти наименования обрели свое нынешнее место на карте. Весьма сильное предположение, требующее доказательств. Но доказательств нет. И тогда *Авторы* заявляют: «Поясним нашу мысль УСЛОВНЫМ ПРИМЕРОМ: а) сначала возникли краткие СПИСКИ стран и народов Европы, Азии и Африки... б) списки-карты, созданные В РАЗНЫХ СТРАНАХ, неизбежно отличались друг от друга во многих деталях. Например, итальянский картограф назвал Фракию „Фрикой” или „Африкой”, а германский „Фракией”... в) и итальянский, и германский списки-карты... попадают к французскому ученому... Обрадовавшись, что ему достались два древних списка, картограф объединяет их, уточняет и развивает. НО НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО „АФРИКА” И „ФРАКИЯ” — ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ. Он решает, что это — две разные страны. Он знает, что Фракия — это часть Европы. Но тогда французский картограф приходит к неизбежному выводу, что „Африка” — название какой-то другой, НЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ страны. ...Ученый начинает искать подходящий участок Земли, чтобы поместить туда название „Африка”, и в силу тех или иных причин решает, что это — „черный континент” в современном смысле» («Империя», стр. 429). Ну а как быть с местными жителями, знавшими свои собственные топонимы? «В путь отправлялись миссионеры, путешественники, ученые. Они сообщали местным жителям не только „наконец-то открытое старое наименование” их страны, но рассказывали об их древней истории, описанной в таких-то и таких-то книгах» (там же, стр. 430). А если туземцы сразу же не соглашались, то миссионеры, согласно *Авторам*, заявляли: «Кто там возражает? Старик-мудрец? Говорит, что ничего такого ни он, ни его предки не помнят? Тогда он наверняка языческий шаман или колдун. А значит, он против нашей религиозной миссии. На этот случай у нас есть костер, на котором мы воспитываем язычников» (там же, стр. 431). И наконец, по утверждениям *Авторов*, наступает трогательное взаимопонимание. «И местные жители постепенно преисполняются чувством гордости при виде богатых туристов, кото-

рые толпами начинают прибывать в их деревню — взглянуть на „развалины древней столицы”» (там же). Вот эти разухабистые байки объявляются гипотезой, обосновывающей предыдущую гипотезу — о перемещении названий по карте. Но ведь и эту байку-гипотезу надо обосновать хоть какими-то фактами — кто, когда, кому говорил о псевдодревней истории. Надо еще доказать, что европейские картографы были легковверны, миссионеры — безапелляционны и жестоки, аборигены — глупы, трусливы и жадны. А это, мягко говоря, не очевидно. То есть в основу предположения кладется другое, в основу другого — третье и все они никакими фактами не подтверждаются. Весьма шаткая конструкция получается.

Разумеется, все эти, с позволения сказать, аргументы ничего не доказывают. Но ведь и сами *Авторы* на них не очень-то и настаивают: «...наши истолкования многих древних имен и названий ни в коем случае не являются самостоятельным доказательством чего-либо. Это лишь необходимая попытка заново прочесть древние летописи и документы с новой точки зрения, сложившейся у нас в результате применения математических методов к истории» («Империя», стр. 22). Даже некоторые источники — в частности, незаслуженно забытая, как считают *Авторы*, книга Мавро Орбини «Славянское царство», вышедшая в свет в 1601 году, — вроде бы подтверждающие НХ, создателям ее не нужны. **НАША КОНЦЕПЦИЯ НЕ НУЖДАЕТСЯ В ПОДТВЕРЖДЕНИИ КНИГОЙ ОРБИНИ.** Скорее наоборот, именно его утверждения... становятся осмысленными **ТОЛЬКО В РАМКАХ НАШЕЙ НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ**, основанной на статистических результатах» (там же, стр. 289).

Итак, мы перешли к самой сердцевине учения о Новой Хронологии. НХ, как неоднократно отмечалось, строится на основе астрономических наблюдений и применении математической статистики. Сразу оговорюсь, что первый ряд оснований — астрономический — я рассматривать не буду. Я не специалист в астрономии и могу лишь доверять тем профессионалам, которые поставили астрономические доказательства НХ под сомнение⁴.

Что же касается математики, то тут следует сказать подробнее. Нам с детства внушали, что наука в полной мере является таковой, когда начинает говорить на языке математики, что математическое доказательство — единственно надежное и т. п. А так ли это? Насколько вообще математика описывает реальность, не важно, природную или социальную? Так, формула $y = a \sin x$ пригодна для описания движения маятника, пульсации переменного тока и колебаний земной оси, но сама по себе ничего не говорит о часах, генераторах или земном шаре. Математик исходит из неких предпосылок, не обращая внимания на их связь с наблюдаемым миром. Евклид узрел очевидный факт: через точку, взятую вне данной прямой, можно провести одну, и только одну, прямую, параллельную данной, и построил на этом свою геометрию. Лобачевский же принял за основу совершенно неочевидный, ненаблюдаемый даже феномен возможности проведения через указанную точку бесконечного количества параллельных прямых — и создал совершенно непротиворечивую систему. Понятие истины в математике отличается от такового в любых иных науках. *Авторы* выдвигают некий принцип правильности списка последовательной череды событий (в данном случае — имен), предлагают гипотезу проверки и далее пишут: «Если эта гипотеза в результате применения математико-статистической процедуры **ОТВЕРГАЕТСЯ**, то данный список, по всей видимости, **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВИЛЬНЫМ**» («Империя», стр. 665). На языке любой науки, кроме математики, это звучит так: «Если теория не подтверждается фактами — тем хуже для фактов». Но в рамках математического подхода, где важно лишь соответствие заданным предпосылкам, это верно. *Авторы*, когда выступают в качестве математиков, как лю-

⁴ «Природа», 1991, № 7, стр. 94 и 1997, № 2, стр. 75.

ди — в этом случае — научно добросовестные, отмечают, и не раз: «Вывод справедлив в рамках данной модели» (см., напр.: там же, стр. 671).

Одна из таких моделей описана в «Империи» (Приложение 2, гл. 1, § 4, стр. 671 — 676). Предположено, что некая условная хроника со скалигеровской хронологией есть результат «сшивания» нескольких хроник, созданных в единственно верной НХ. В качестве модели взята колода карт. «Пусть вначале имелось несколько совершенно одинаковых по составу и порядку колод карт, которые затем сложили подряд в одну общую колоду (малые колоды есть „краткие“, „новохронологические“ списки событий, большая — „сшитый“ список. — Д. Х.) и перетасовали ее „блоками“. Задача состоит в том, чтобы, ЗНАЯ СОСТАВ И ПОРЯДОК КАРТ В ПЕРЕТАСОВАННОЙ КОЛОДЕ, ВОССТАНОВИТЬ (ХОТЯ БЫ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО) СОСТАВ И ПОРЯДОК КАРТ В ИСХОДНЫХ МАЛЫХ КОЛОДАХ» («Империя», стр. 673). И эта задача успешно решается, определяется даже «сдвиг» между картами-событиями, то есть выясняется, насколько от «реального», то есть находящегося в малой колоде, места ушла эта карта в большой колоде. Список сдвигов (боюсь, что он может быть неполным, в разных местах разных книг *Авторов* упоминаются разные сдвиги, и я что-то мог пропустить) впечатляет и даже несколько смущает: 100, 110, 120, 210, 275, 300, 333, 360, 380, 540, 600, 720, 750, 780, 800, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1400, 1450, 1778, 1800 лет. Конечно, некоторые близко лежащие сдвиги могут значить одно и то же, 600 может быть удвоенным 300, но все же многовато что-то. При столь расширенном списке любое событие можно сдвинуть на нужный отрезок времени. Дело, однако, не в этом, да и я могу, не будучи математиком, чего-то не понять. Дело в ином. Что доказано решением (скорее всего, безупречным) данной задачи? То, что ЕСЛИ некий текст является составным, то можно (хотя бы приблизительно) установить дубликаты и показать их расположение в этом составном тексте. А если он составным не является? *Авторы* — как честные математики — такую возможность признают: «...предлагаемые математико-статистические процедуры основаны на некоторой вероятностной модели, и наши предположения имеют смысл лишь в пределах этой модели (т. е. в предположении, что она соответствует историческим данным)» (там же, стр. 656). А если не соответствует? В том-то и дело, что математика описывает мир не реальный, а виртуальный, каковой может соответствовать, а может и не соответствовать реальному.

Авторы же настаивают на тождестве этих миров. Для них любое совпадение маловероятно, они, конечно, могут иметь место, но не слишком часто. «Для неспециалистов в теории вероятности, говоря на качественном уровне, отметим, что возражение типа „да, это событие маловероятно, но все-таки оно произошло в силу случайных причин“ НЕ МОЖЕТ ВЫДВИГАТЬСЯ СЛИШКОМ ЧАСТО. Его можно высказать один раз, два раза, ну — три раза. По конкретному поводу. Но когда оно начинает выдвигаться ОЧЕНЬ ЧАСТО и относится не к одному-двум, а к ЦЕЛОМУ КЛАССУ, СЕРИИ ПОРАЗИТЕЛЬНЫХ СОВПАДЕНИЙ В ТРАДИЦИОННОЙ ИСТОРИИ, ТО ОНО ПОЛНОСТЬЮ ТЕРЯЕТ СВОЙ СМЫСЛ. ...Почему все эти „массовые серийные совпадения“ в истории заканчиваются лишь в XIV — XV веках н. э.? Почему их нет в последние 600 лет? Что случилось с историей? Почему она только в последние 600 лет СТАЛА ПОДЧИНЯТЬСЯ ЗАКОНАМ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ?» («Империя», стр. 179).

Я, не специалист в теории вероятностей, мог бы назвать ЧЕТЫРЕ (подражая *Авторам*, я выделяю ударные слова) совпадения, имевшие место в течение даже не 600, а 200 последних лет.

1) В годы, оканчивающиеся на одни и те же цифры, в столицах европейских государств произошли события, заключавшиеся, среди прочего, в угрозе (или осуществлении этой угрозы) обстрела из пушек здания высшего законодательного органа. Это одно событие? Читая об этих событиях как различных, мы, по логике *Авторов*, убеждаемся, что перед нами дубликат, что

«хронология Скалигера неверна. И совпадения в ней не случайны, а являются результатом дублирования хроник» («Империя», стр. 179). Нет, это события 31 мая — 2 июня 1793 года, якобинский переворот, и кризис 21 сентября — 4 октября 1993 года в Москве.

2) Примерно в одни и те же годы коалиция, в которой принимали участие в основном те же самые государства, разгромила некую державу на Востоке. Одно событие? Два: Восточная (у нас именуемая Крымской) война 1853 — 1856 годов Англии, Франции и ее союзников против России и Вторая опиумная (Англо-франко-китайская) война 1856 — 1860 годов.

3) Держава, претендовавшая на мировое господство, была дважды разгромлена в одном столетии союзом почти тех же самых государств. Ну, это уж явный дубликат. А ведь это Первая и Вторая мировые войны.

4) В одно время в столицах двух стран Европы, причем даже названия столиц звучат сходно, произошли студенческие волнения, приведшие к значительным переменам в политике этих государств. Проницательный читатель, конечно, догадался, что я говорю о «ПРАЖСКОЙ весне» и ПАРИЖСКОМ «красном мае» 1968 года.

Мне можно возразить, сказать, что совпадения слабые, что я прибегаю к натяжкам. Но вот примеры того, что считают совпадениями *Авторы*. Согласно НХ, китайская история есть дубликат византийской. Совпадения: «Византия: В 1203 — 1204 гг. крестоносцы-европейцы нападают на Византию и осаждают Константинополь. Это — нападение ЧУЖЕЗЕМЦЕВ. Китай: В 1125 году на столицу Китая Кайфын нападают ЧУЖЕЗЕМЦЫ — чжурчженни... Разница в датах — около ста лет» («Империя», стр. 195). И это, вот это самое, — совпадение? Дубликат? То, что на два разных государства напали ЧУЖЕЗЕМЦЫ (напишите это слово сколь угодно большими буквами), — это поразительное совпадение, невозможное или хотя бы маловероятное событие? Да все мои «отождествления» — просто образец идентичности!

Следующий пример намеренно оставляю без комментариев, ибо он касается столь тонких материй, как религиозные. Выше я говорил, что *Авторы* отождествили Христа и папу Григория VII, в миру Гильдебранда. Не желая выступать ни — в глазах верующих — богохульником, распространяющим кощунственные тексты, ни — в глазах свободомыслящих — обскурантом, подменяющим аргументы от науки аргументами от веры, представляю читателю самому судить об основательности сравнений *Авторов*.

Параллели «Иисус — Гильдебранд» сведены в таблицу («Методы», стр. 377 — 390), приведу два пункта оной:

«6. О матери Гильдебранда данных нам найти не удалось. Однако его дядя по материнской линии был якобы аббатом монастыря св. Марии. Более того, в раннем возрасте Гильдебранд жил в монастыре св. Марии.

Матерью Иисуса Христа, согласно евангелиям, была Мария (объявленная затем святой). Во всяком случае, она была „воспитательницей Иисуса” (см. „непорочное зачатие”). И так, в обоих столбцах при рождении Гильдебранда и Иисуса „присутствует” Мария»

(«Методы», стр. 379).

«22. Заговор (против Гильдебранда в 1075 году. — Д. Х.) кончается неудачей, Гильдебранд остается жив.

Хотя Христа „распинают” (столбуют), он „страдает и умирает”, но затем, якобы чудесным образом, он „воскресает”, являясь своим ученикам»

(там же, стр. 383).

По-моему, достаточно. Перейдем к дальнейшему обсуждению теории *Авторов*.

Проблема соотношения математической гипотезы с истинной действительностью связана с проблемой материала, который подвергается математико-статистической обработке. Математика, как я не раз говорил, не интересуется реальным наполнением формул. *Авторы* это вполне осознают: «...мы стремимся создать методы датирования, основанные на количественных характеристиках хроник и не требующие анализа смыслового содержания текстов, которое может быть весьма многозначно и расплывчато» («Империя», стр. 47; ср. стр. 50 и др.). В качестве материала берется, например, число страниц или строк, посвященных описанию некоего события, хронологически составленный список имен тех или иных исторических персонажей с учетом дат жизни или продолжительности правления, частота упоминаний того или иного лица и т. п. Но что мы при этом изучаем? Некий источник или список, то есть текст, повествующий о реальности, а не саму реальность. Для математика тут нет проблемы, а для историка? Секретарь Карла Великого Эйнхард создал жизнеописание своего государя, причем для характеристики его использовал «Жизнеописания двенадцати цезарей» Светония, так что не только формальное количество слов, но и содержание их, смысл в этих источниках совпадают. Что это — дубликат? Никоем образом. Обнаруживая указанные заимствования, мы мало что узнаем о Карле Великом, зато очень много об Эйнхарде. Для него, как и для его эпохи, — я исхожу, правда, из исследований ученых, не прибегавших к НХ, — главным в человеке были не его неповторимые черты, но соответствие вечному, неизменному идеальному образу. Карл — император, и для описания его вполне достаточно описаний других императоров. Так что наличие повторов в разных текстах может объясняться и не «сдвигами».

Суть, качество исходного материала, если он должным образом упорядочен, неважны для математики. Но в естественных и социальных науках это не так. Если, скажем, реактив, предназначенный для анализа крови, некачественен, результат этого анализа никогда не будет правильным, сколь бы тщательно его ни проводили.

Так каков же исходный материал? *Авторы* постоянно заявляют, что они обращаются только к подлинным средневековым источникам, но это по меньшей мере неточно. Большую часть используемой литературы составляют различные монографии, то есть тексты, прошедшие предварительную обработку, содержащие уже отобранный автором той или иной монографии материал. Среди указанных источников-монографий есть глубоко ненадежные, полные домислов и фантазий, как, например, труды Н. А. Морозова, книга А. А. Гордеева «История казаков»⁵ или сочинение поклонника «тайн египетских пирамид» Х.-А. Ливраги «Фивы». Есть труды безнадежно устаревшие. Так, для опровержения принятой в СОВРЕМЕННОЙ науке хронологии критике подвергается труд Ж. Блера «Таблицы хронологические, объемлющие все части всемирной истории из года в год от сотворения мира до XIX столетия» (М., 1808 — 1809). Этот труд, написанный в конце XVIII столетия и переведенный на русский в начале XIX века, объявляется последним словом «скалигеровщины». Для опровержения мнений египтологов и доказательства того, что они на деле не умеют читать древнеегипетские тексты, не знают правил написания имен и топонимов, приводится русский перевод 1880 года книги немецкого ученого Г. Бругша «История фараонов», а ведь огласовка древнеегипетских слов в XIX веке была, как доказано ныне, неточной, а тут еще передача их в немецкой транскрипции в давно устаревшем переводе на русский. Есть и совершенно изумительные научные источники — например, написанный на английском современный туристический путеводитель по Стамбулу (№ 245 и 246 в «Списке литературы» в «Империи»). Кстати сказать, большинство текстов дается в переводах, и это касается и тех не слиш-

⁵ Ее оценку см.: Смирнов А. Глобальный сдвиг. — «Родина», 1997, № 6, стр. 21.

ком многочисленных подлинных средневековых источников, которые приводятся *Авторами*. Англо-саксонские хроники, например, выдаваемые за действительный средневековый текст, приведены на современном английском («Новая хронология», т. 2, стр. 507 — 509), хотя написаны на древнеанглийском.

И этот материал еще подвергается упорядочению. У *Авторов* в математических разделах их трудов часто встречаются совершенно естественные — для математиков — высказывания типа: «можно считать (для удобства)...», «для простоты рассуждений мы будем считать...» (напр., «Империя», стр. 688). С точки зрения математики все в порядке, но в применении подобного метода к историческому исследованию не окажется ли, по поговорке, эта простота хуже воровства?

Вот список римских императоров («Империя», стр. 662 и 695). В него попали все, кто так или иначе правил в Риме или претендовал на власть над ним, — и цари маленького городка на Тибре, и цезари (я имею в виду титул) Римской империи, и готские короли, владычествовавшие в Италии после распада оной империи, и франкские короли из династии Каролингов, и германские владыки Священной Римской империи (почему-то они все названы Гогенштауфенами и время их правления обозначено как X — XIII века, тогда как они восседали на римско-германском престоле в 1138 — 1254 годах), и австрийские императоры из дома Габсбургов. При этом *Авторы* как бы и не знают (а может, и действительно не знают), что государи от Каролингов до Габсбургов никогда и не царствовали в Риме, а лишь являлись туда за получением императорской короны. Династию Каролингов *Авторы* отсчитывают от 681 года («Методы», стр. 142 и др.), когда первый майордом (военный правитель Франкского государства, практически отстранивший от власти совершенно безвластных королей из династии Меровингов) из этого рода Пипин Геристальский объединил Франкское государство, но ни сном ни духом не помышлял не только об императорской короне, которую получил его правнук Карл Великий в 800 году, но даже и о королевской власти во Франкском государстве, первым королем из Каролингов в котором стал в 751 году внук Пипина Геристальского и отец Карла Великого Пипин Короткий.

Мне могут возразить, что историческая последовательность правителей согласно «скалигеровщине» иная, чем утверждают создатели НХ, что по «старой» хронологии здесь описаны разные государства, но *Авторы* в целом и г-н Фоменко в частности упорядочивают последовательность правителей Рима, исходя из собственных идей. Э, нет! Приведению, упрощению подлежит именно «скалигеровщина», и она должна подвергаться математико-статистической обработке. Если *Авторы* сначала приводят ее в соответствующий вид исходя из «новохронологических» воззрений, то они обязательно получат то, что хотят. Это известнейший пример логической ошибки, называемый «предвосхищение основания»: в основу доказательства кладется то, что только требуется доказать.

Еще один пример. Дабы показать, что история Англии есть дубликат истории позднего Рима и Византии («Новая хронология», т. 2, гл. 11 — 14, особенно стр. 408 — 421), *Авторы* анализируют «династический поток» (это их термин) правителей этих государств. Известно — из «нормальной» истории, — что после завоевания римской Британии германскими племенами англосаксов и ютов на ее территории образовалось семь королевств (на деле их число постоянно менялось, они сливались и распадались, но все же в среднем их оставалось семь, и период их существования так и называется — «гептархия», то есть «семивластье»). Известно также, что в поздней Римской империи нередко были случаи соправительства, раздела Империи, причем правившие в разных частях ее владыки также считались соправителями, а иногда соправителями правящие монархи соглашались признать и разнообразных узурпаторов, чтобы на время прекратить междоусобицу. Так вот, в целях, видимо,

«упорядочивания» *Авторы* называют только шесть англосаксонских государств — пять реальных и почему-то остров Британию в целом (впрочем, некоторые владыки одного из королевств называли себя королями или даже императорами Британии, но это означало лишь претензии на гегемонию над остальными), всех королей всех королевств объявляют соправителями и сравнивают с соправителями в Риме, после чего, естественно, получают идентичность этих «династических потоков». Все равно как если бы всех правителей на территории США в XVII — XIX веках тоже объявили соправителями — и губернаторов колоний, впоследствии образовавших США, и французских и испанских губернаторов тех владений, которые были присоединены к Соединенным Штатам в XIX веке, и президентов, и индейских вождей. Династический поток у нас получится, как говорят в Одессе, тот еще.

Перед нами не упорядочение, а подтасовка. Не зря, видно, *Авторы*, пусть бессознательно, избрали в качестве модели колоду карт — так шулер втасовывает в колоду нужные карты.

Может показаться, что я отвергаю применение математико-статистических методов к истории. Нет, не совсем и не вполне. Я отрицаю лишь, прошу прощения за резкость, шулерство. Но вот *Авторы* подвергают анализу Библию. Выдвинута гипотеза о так называемом «возрасте имени». Суть ее в следующем. В упорядоченном по оси времени списке имен персонажей той или иной хроники или совокупности хроник имя персонажа появляется в момент рождения его или незадолго до этого, чаще всего встречается при описании событий, где оный персонаж принимал участие, а после смерти его упоминается все реже и реже, и спад частоты упоминания описывается некой формулой (*Авторы* при этом делят имена на «обычные» и «вечные», встречающиеся с постоянной частотой, — см.: «Империя», стр. 665). Так вот, анализируя Библию, где упомянуто около 15 500 имен — достаточно представительный материал, — они подметили, что график «возраста имен» имеет правильный характер в ранних разделах Писания, до IV Книги Царств, а в более поздних частях Ветхого и Нового Заветов упоминание давних персонажей встречается много чаще, чем это должно следовать из формулы. Тут же делается вывод: «ОСНОВНУЮ МАССУ БИБЛЕЙСКИХ СОБЫТИЙ ПРИ ФОРМАЛЬНОЙ ДАТИРОВКЕ НАДО ОТНЕСТИ К ХРОНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОМЕЖУТКУ, ОХВАТЫВАЕМОМУ КНИГАМИ I — IV ЦАРСТВ» (там же, стр. 668). Согласиться с такими выводами я не могу, но — факт налицо. Однако я, как тот сыщик, все же предполагаю, что причиной смерти была пуля, а не метеорит. В IV Книге Царств рассказывается о распаде Израильского царства, последующие книги Библии повествуют о дальнейшей горестной судьбе еврейского народа под властью Вавилона, персов, Селевкидов, римлян. С VI века до н. э. начинается превращение иудеев из этноса в замкнутую религиозную группу, растут мессианские настроения, причем Мессия понимается и как грядущий спаситель мира, и как боговдохновенный царь грядущего Великого Израиля, как харизматический лидер, который восстановит государство евреев, и в этом государстве станет править Господь. Именно поэтому в поздних текстах Писания столь часто упоминаются имена тех, кто жил во времена величия страны, кто общался с Богом и от Него получил обетование грядущей славы народа Израиля. К «сдвигам» прибегать нет ни малейшей необходимости.

Собственно говоря, на этом можно было бы поставить точку. Ведь сами *Авторы* говорят, что именно математико-статистическая модель есть основа НХ, а все остальное — необязательное дополнение. Так что если модель неверна — неверны и выводы. Собственно математическая часть, однако, занимает не так уж много места в трудах *Авторов*, да и массовый читатель не слишком следит за математическими доказательствами и явно обращает куда большее внимание на иное: на историческую концепцию, на доказательства лингвистического, географического, общеисторического и т. п. характера. Посему обратимся к ним.

Начнем с разбора доказательств лингвистических. Они пронизывают все труды *Авторов*, потому приведу их несколько. Одно из главных: «Монголия» есть искаженное греческое слово «мегалион» — «великий». Доказательств этому не приводится, само же отождествление заимствовано у Н. А. Морозова (см.: «Новая хронология», т. 1, стр. 31), а далее идет рассуждение: Монголия — «просто греческое слово МЕГАЛИОН, что означает „Великий“». До сих пор Восточная Русь называется Велико-Россией (Великороссией). Поэтому „Монгольская Империя” — это „Великая Империя”, т. е. средневековая Русь» (там же, стр. 35). Здесь как в капле воды — вся лингвистика *Авторов*. Берется то или иное слово, из него изымаются гласные, согласные меняются местами (МНГЛ приравнивается к МГЛН) — и тут же делаются далеко идущие выводы. *Авторы*, кроме того, в случае необходимости заменяют одни согласные другими, позволяют себе читать те или иные слова задом наперед, а также объяснять слова одного языка, древнего, исходя из другого языка — современного. Притом вся эта огласовка-перестановка нацелена на одно: найти созвучия МГ — монгол, ТРК — турок, татарин, а также Тарквиний, а также ГРГ — это от имени Георгия, которое, как мы помним, носил князь Московский Георгий Данилович, коего *Авторы* считают основателем Руси-Орды и отождествляют с Чингисханом. Получаются наблюдения совершенно умопомрачительные: *Авторы*, например, отмечают, что в IV веке н. э. кочевые племена тангутов захватили китайское государство Лян, и продолжают: «Здесь нужно отметить, что в китайском и японском языках звуки Р и Л не различаются (не совсем так: в китайском просто нет звука Р, в японском — Л, ну да ладно. — Д. Х.). А звуки М и Н, как мы уже отмечали много раз, БЛИЗКИ и легко переходят друг в друга. Поэтому „империя ЛЯН” — это попросту „империя РЯМ” или РАМ, т. е. РИМ. Мы видим, что китайские хроники фактически прямым текстом говорят об „ИМПЕРИИ РИМА»» («Империя», стр. 191). Да уж, очень прямым текстом. А империя Ляо есть просто империя «Р», то есть, конечно же, Рим (там же, стр. 195). Египетского фараона Менкаура *Авторы*, исходя из огласовки его имени Г. Бругшем (напомню, что Бругш писал в XIX веке по-немецки, а *Авторы* цитируют его в старом русском переводе) — Менхерес, — переделали в МЕНГ-РЕС, что значит «МОНГ-РЕС или МОНГ-РУС, то есть „МОНГОЛЬСКИЙ” ВЕЛИКИЙ ЦАРЬ, Рекс или „МОНГОЛ-РУССКИЙ»» (там же, стр. 563). Изумительно доказательство идентичности Древней Ассирии с Русью. Если из подлинного, не грецизированного имени АШУР — изъять гласные, прочесть его справа налево и вставить другие гласные, то получится РАША, то есть по-английски Россия, что и требовалось доказать (там же, стр. 235). Или берется слово «хиджра», по-арабски — «переселение», у мусульман начало их летосчисления, 16 июня 622 года, когда пророк Мухаммед покинул Мекку и переехал в Медину. Так вот, слово «хиджра» приводится в странной форме — «Геждра», передается еще и по-английски — «hegira», в нем улавливаются отголоски имени Георгий, далее привлекается библейский народ Гог, который тождествен готам, монголам и казакам, и поясняется, что «слово „hegira” может быть слиянием двух: Гог и эра (напомним: эра = ега), т. е. могла означать просто „эра Гога” или „эра Готов”, „эра Монголов”. Гюргий и Геждра вполне созвучны» («Новая хронология», т. 1, стр. 226). А название «Греция» явно происходит также от имени Георгия («Империя», стр. 353). И так далее в том же духе.

Что же, *Авторы* не понимают всей произвольности своих лингвистических экзерсизов, не знают этого? Понимают, но, боюсь, не знают. Вот они доказывают, что Марко Поло к Индии и близко не подходил, а описывает Русь. «Кроме города Кантона, — пишут они, — да еще, быть может, двух-трех, ничего „найти” из марко-половских названий в современном Китае нельзя. Да и Кантон, кстати, по-китайски называется отнюдь не „Кантон”, а ГУАНЧЖОУ. Много ли общего в словах „Кантон” и „Гуанчжоу”?» («Империя», стр. 444). Убедительно, правда? Но чуть ниже: «Поло приходит в

большой город... ТИНДА-ФУ... Отбрасывая окончание „фу“ — добавленное, скорее всего, при позднейшем редактировании с целью „китаизации“ книги Поло, — мы видим город ТИНД, или ТАНА. Но ТАНА — это одно из хорошо известных средневековых названий русского города АЗОВ» (там же, стр. 454). Нет, не нужно отбрасывать «фу». Фу, уважаемые *Авторы*. Значит, другим нельзя устанавливать соответствие КНТН = ГНЧЖ, а вам можно во французской фамилии Рошфор (Rochefort), что этимологически значит «крепкая скала», усматривать РОШ-ТР, то есть РУССКИХ-ТУРОК или РУССКИХ-ТАТАР? (там же, стр. 416).

Почему же *Авторам* можно? Они, видимо, считают, что исходят из истинно научных оснований. Многократно они повторяют, что в ряде языков согласные переходят друг в друга, что гласные можно не учитывать, что существует письмо и слева направо, и справа налево. Так оно и есть, но не всегда и не везде, а при соблюдении определенных языковых законов. Переходят разные согласные друг в друга, но не так, как указано на рис. ПЗ.1 («Империя», стр. 719), составленном М. И. Гринчуком — еще одним из *Авторов*: на его диаграмме любой звук (или буква) может переходить в любой другой. Действительно, есть языки, в которых гласные играют подчиненную роль; эти языки называются консонантными, и к ним относятся, например, иврит и арабский, а русский, английский, французский — вообще индоевропейские — не относятся. Да, в истории письма встречается написание слов и слева направо (у нас), и справа налево (у арабов), и так называемым «бутрофедоном» (одна строка — справа налево, другая — слева направо, — так написаны некоторые архаические греческие тексты), и даже сверху вниз (у китайцев). Но никому никогда не приходило в голову читать текст справа налево, а одно слово вдруг прочесть слева направо. Или еще хлеще: *Авторы* утверждают, что викинги-норманны (то есть «северные люди») были римлянами: «нор-маны = рон-маны» («Новая хронология», т. 2, стр. 624). То есть часть слова читается справа налево, а часть — слева направо? Что же касается чтения арабских или древнеассирийских слов исходя из современного английского, то такую возможность *Авторы* никак не аргументируют. Но у меня есть гипотеза, основанная на текстах наших *Авторов*. Видимо, по их мнению, первоначальным языком был русский, поскольку греческое слово «пирамида» они производят от славянского «пламя» («Империя», стр. 571), древнеегипетское «анх» — «дух, дыхание» — от русско-славянского УХ, как в слове «благоУХание», или НУХ, то есть «нюх» (там же, стр. 720), название «Индия» — от старорусского «инде» — «в другом месте», «кое-где», «где-нибудь», и считают, что это последнее слово без изменений перешло в латынь, где «inde» — «оттуда» (там же, стр. 442). Поэтому я не удивился поначалу, когда прочел, что «Монголия» происходит от старославянского «могль», являющегося причастием глагола «мощи», то есть «мочь», или от «могий» — «могучий», либо от «мѣжь (моужь)» — «муж», либо от «мьногъ» — «многий, многочисленный» (там же, стр. 718). Но тут же мне пришла в голову мысль: а как быть с «мегалион», с этим словом, встречающимся чуть ли не на каждой странице? Тут я вернулся к началу «Империи» и перечел там одно методологическое рассуждение: «Важно не каждое совпадение в отдельности, а ИХ СКОПЛЕНИЕ. ...Иногда мы будем предлагать противоположные и даже взаимоисключающие интерпретации одного и того же документа. ...Но мы сознательно идем на это, стремясь ввести в научное обращение как можно больше новых фактов» (там же, стр. 23). Опять я чего-то не понял. Что хотят ввести в оборот *Авторы* — факты или интерпретации? Это ведь не одно и то же... Что бы ни говорили *Авторы*, нагромождение ненадежных элементов не делает надежной всю конструкцию. Что же касается прямо противоположных и даже взаимоисключающих интерпретаций, то вспомнил я хорошо известный анекдот. Некая женщина взяла у соседки горшок и разбила его, после чего, защищаясь от обвинений в небрежности, заявила, что: а) горшка этого в глаза не видела, б) взяла его уже битым и в) вернула со-

вершенно целым. Так что нестыковка аргументов может свидетельствовать об интерпретации, мягко говоря, не соответствующей фактам.

Теперь о географических рассуждениях *Авторов*. Для отождествления всех и всяческих географических пунктов принят пикантный «принцип географической локализации по современной географической карте» («Новая хронология», т. 2, стр. 558). Не ясно, правда, как *Авторы* могут тогда рассуждать, например, о Кенигсберге — ведь города с таким названием на современной карте не существует. Но их это, видимо, не волнует, волнует другое. «Сегодня нам говорят, что „античные“ СУЗЫ — это столица якобы древнейшего государства Элам в Двуречье, т. е. на территории Персии. ...Надо ли говорить, что СЕГОДНЯ ГОРОДА С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕРСИИ НЕТ. ...Итак, „античный“ город Сузы куда-то бесследно исчез. Зато ДО СИХ ПОР есть русский город СУЗДАЛЬ — СТОЛИЦА ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ РУСИ, недалеко от города Иваново. ДРУГИХ „СУЗ“ на современной географической карте мира нам отыскать не удалось» («Империя», стр. 278). Плохо искали: есть в Японии город СУДЗУ — чем он хуже? На деле город Сузы давно лежит в развалинах, но историческая область, которой он дал название — Сузиана, — существует, это провинция Хузестан в Иране (кстати, если верить *Авторам*, то Персии тоже никогда не было, на нынешней карте наличествует Иран, как же это они о Персии-то могут говорить?). Или еще того лучше. *Авторы* повествуют о Первом крестовом походе: «...по дороге в Сирию крестоносцы захватывают город Едессу... Мы можем отождествить город Едессу с современной Одессой (другой возможности, по-видимому, нет)» («Новая хронология», т. 2, стр. 558). Эдесса-то (так правильно!), положим, есть — сегодня это город Урфа в Турции, а вот Одессы как раз и не было ни в XI веке, когда Первый крестовый поход имел место на деле, ни в XIII веке, к которому относятся крестовые походы согласно НХ. Неужели *Авторы* столь безбрежно невежественны, что не слыхали о появлении названия Одесса в 1795 году, то есть много позже того, как, по их же учению, географические наименования перестали метаться по карте как угорелые. Был, правда, в античные времена город Одессос на месте нынешней Варны в Болгарии. Хотя бы с ним отождествили свою Едессу наши *Авторы*. Иногда, впрочем, они безуспешно ищут на карте то, что там вполне наличествует. Доказывая, что никакого князя Василька Теребовльского никогда не существовало, а тождествен он великому князю Московскому Василию II Темному, они заявляют: «Города Теребовля, от имени которого и назван Василько Теребовльский, сегодня почему-то не существует» (там же, т. 1, стр. 123). Как говорил булгаковский персонаж, «поздравляю вас, гражданин, соврамши». Город Теребовля (так! Теребовль — старая форма) преспокойно существует в Тернопольской области Украины.

Заметен принцип: если чего не знаем, то выдумаем. Я не утверждаю, что *Авторы* лгут, возможно, они искренне убеждены в истинности своих сведений, только вот сведения эти с действительностью не всегда совпадают, видать, знаний у *Авторов* маловато. Им нужно доказать, что римские папы до XIV века пребывали в Южной Франции, ибо и Рима никакого до того не было. Аргументом (не очень для меня внятным) для них служит то, что итальянские рыцари не участвовали в крестовых походах («Новая хронология», т. 2, стр. 618). Ан нет! Одним из главных вождей Первого крестового похода был Боэмунд, князь Тарентский, из южноитальянского города, носящего ныне название Таранто. Угодно *Авторам* поместить славян на побережье Северного моря (надо сказать, они там действительно обитали в раннее Средневековье, так что все нижеприведенные доказательства бьют мимо цели)? Пожалуйста: «...любопытный факт: в течение всей своей истории Романовы брали себе невест, как правило, из одной и той же области: Голштин-Готторпской» (там же, т. 1, стр. 80). Факт действительно чрезвычайно любопытный, ибо ни один из Романовых ни до, ни после Петра I этого не

делал. В реальности любимая дочь Петра Анна Петровна была замужем за герцогом Карлом Фридрихом Шлезвиг-Гольштейн-Готторпским, а сын их Карл Петер Ульрих стал российским императором Петром III Федоровичем — отсюда Голштин-Готторпская ветвь Романовых; ни одной же голштинской принцессы на российском престоле не бывало.

Своеобразны познания *Авторов* в области истории искусств. Они отмечают, что известный фараон Тутанхамон захоронен в нескольких вложенных друг в друга гробах, форма которых повторяет человеческую фигуру. «Не напоминает ли вам это все что-то очень хорошо знакомое? — вопрошают *Авторы*. — Ну конечно же, это знаменитые РУССКИЕ МАТРЕШКИ! ...Насколько нам известно, этот символ — матрешка — сегодня известен ТОЛЬКО НА РУСИ. И, как мы видим, в „ДРЕВНЕМ” ЕГИПТЕ — тоже! Не означает ли это, что в русском народном творчестве сохранилось воспоминание о ДРЕВНЕМ РУССКО-ОРДЫНСКОМ ОБЫЧАЕ — хоронить ЦАРЕЙ В ГРОБАХ-МАТРЕШКАХ?» («Империя», стр. 564). Нет, не означает — по очень простой причине. Не было никаких старинных русских игрушек-матрешек, а сделаны они впервые были на рубеже XIX и XX веков в Абрамцево по образцу японских кукол и поименованы в честь кухарки абрамцевских мастерских — некой Матрешки.

А историко-технические познания *Авторов*! Не могли монголы являться кочевниками, ибо были — как действительно указывают средневековые источники — защищены в бою доспехами из железных пластин. «Но ведь не в диких же степях ковались эти латы? Значит, были и металлургические заводы, и развитое оружейное производство» («Империя», стр. 263). Неужели *Авторы* всерьез считают, что плавить руду и ковать железо можно лишь на металлургических заводах? И каждый деревенский кузнец, по их НХ, на кузнечном прессе работал? Или еще, со ссылкой на книгу упоминавшегося выше любителя тайн египетских пирамид, *Авторы* утверждают, что камень диорит, из которого делались многие древнеегипетские статуи, можно обрабатывать только современным инструментом (слава Богу и правительствам — федеральному и московскому, — что Исторический музей наконец-то открыли и читатель вполне может увидеть каменные топоры, в том числе диоритовые, просверленные без помощи оборудования XX века). Вывод *Авторов*: «Так как, согласно нашей реконструкции, почти все эти сооружения создавались в XIV — XVII веках НАШЕЙ ЭРЫ, то использовалась, естественно, СТАЛЬ, ВОЗМОЖНО, С АЛМАЗНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ СВЕРЛ» (там же, стр. 510). Естественно, в XIV — XVII веках сверл с алмазными наконечниками еще не изобрели.

Вообще, *Авторы* прекрасно знают, что естественно, а что нет, и именно из этого исходят, когда не хватает аргументов фактических и в ход идут логические. Известно им — и только им, — что Самарканд = Самара, а если читать название наоборот, то А-Рамас, то есть Рим. Никакого нынешнего Самарканда не было, а историки все врут: они рассказывают, что Тамерлан назвал селения близ того, ненастоящего, Самарканда именами великих городов исламского мира — Каир, Багдад, Дамаск и др., что, разумеется, есть нечто неслыханное. «Где вы видели в реальной достоверной истории, чтобы пригороды небольшого селения без тени смущения назывались громкими именами знаменитых столиц?» («Новая хронология», т. 1, стр. 361). Действительно, не может быть никакого Нового Иерусалима близ небольшого селения — всего-то в пределах бульварного кольца — Москвы.

Задались целью *Авторы* доказать, что никакого Ивана Грозного не существовало, а была череда царей. Аргументы: слишком резко менял Грозный поведение во время своего царствования, слишком часто женился, а это естественно. И вообще, «в то время, как на Русь со всех сторон насаждают враги, царь, разъезжая по своей стране, громит ее, т. е. дополнительно воюет с собственным государством и, кроме того, казнит тех военачальников, которые недавно отличились в битвах с врагами. Объяснить, конечно, можно все,

но тем не менее даже традиционные историки вынуждены придумывать гипотезы о какой-то странной шизофрении Грозного» («Новая хронология», т. 1, стр. 51 — 52). То есть шизофрении, а равно и уничтожения собственных победоносных полководцев накануне войны не было, потому что это невозможно. И закралось мне в душу подозрение: а может быть, и Сталина никогда не существовало и был он неким обобщенным образом?

Вот весьма важное для построения «подлинной» истории Руси тождество великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича с Батыем. Сославшись на монаха-францисканца Платона Карпини, бывшего в монгольской столице Каракоруме как раз тогда, когда Чингизиды избирали из своей среды нового великого хана, *Авторы* резюмируют: «Итак, Карпини сообщает нам, что вместо Батыя на выборы верховного хана прибывает *почему-то* (курсив мой. — Д. Х.) русский князь Ярослав. Не возникла ли гипотеза позднейших историков о том, что Батый якобы „вместо себя“ послал Ярослава, лишь с целью согласовать свидетельство Карпини с той *естественной* (опять же мой курсив. — Д. Х.) мыслью, что лично Батый должен был бы участвовать в выборах верховного хана? Мы же здесь видим документальное свидетельство того, что хан Батый — это попросту русский князь Ярослав. ...Вообще стоит отметить, что Батый — это попросту слегка искаженное слово „батьа“ = отец. У казаков до сих пор их предводителя зовут „батькой“. Итак, Батый = казачий батька, русский князь» («Новая хронология», т. 1, стр. 39). В математике и логике есть такой прием — *reductio ad absurdum*, то есть сведение к абсурду. Представим себе, что мы перенеслись в ХХХ век н. э. и читаем сочинение *Неоавторов*, посвященное отечественной истории ХХ века: «Итак, итальянский журналист Нео-Карпини сообщает нам, что вместо Б. Н. Ельцина для улаживания конфликта по поводу российских журналистов в Минск прибывает почему-то министр иностранных дел Е. М. Примаков. Не возникла ли гипотеза позднейших историков о том, что Ельцин якобы „вместо себя“ послал Примакова лишь с целью согласовать свидетельство Нео-Карпини с той естественной мыслью, что лично Ельцин должен был участвовать в улаживании конфликта? Мы же видим здесь документальное свидетельство того, что министр Примаков — это попросту президент Ельцин. Вообще стоит отметить, что Примаков — это попросту слегка искаженное слово „прим“ = первый. В России до сих пор президента зовут первым лицом государства. Итак, Примаков = первое лицо, президент России» (принишу извинения упомянутым политикам за использование их имен в научно-полемических целях).

А когда подобной, с позволения сказать, логики не хватает, в ход идут подтасовки или просто брань. Касаясь легенды о призвании варягов на Русь, *Авторы* заявляют: «Этой легенде посвящено много научных трудов, споры о ее подлинном смысле не прекращаются и сегодня. Для одних этот знаменитый рассказ летописи доказывает „рабскую сущность Руси“ — беспомощные жители Руси, будучи не в состоянии организовать свое собственное государство, призывают к себе „варяга“ Рюрика и просят управлять ими. Сегодня, отождествляя варягов с норманами, некоторые ученые настаивают на иностранном, нормандском происхождении Рюрика и первой государственности на Руси» («Новая хронология», т. 1, стр. 213). Ни один современный ученый, даже и полагающий, что в этой легенде есть зерно истины, что Рюрик летописей идентичен известному из скандинавских источников Рёрику Датскому (кстати, *нормандское* происхождение ему никто не приписывает, ибо Нормандия во Франции была завоевана норманнами много позднее летописной даты основания Руси), не утверждает, что русские были не способны основать собственное государство, давно известно, что создание первых протогосударственных образований на Руси и в Скандинавии шло синхронно, и вообще проблема предпосылок создания государства к проблеме происхождения правящей династии никакого отношения не имеет. То есть в уста ученых вкладываются слова, которых они не говорили. «Подмена аргументов оппо-

нента на другие, очевидно бессмысленные... нечестный, но, к сожалению, бытующий метод „научной борьбы” — эти золотые слова принадлежат — кому бы вы думали? — *Авторам* («Империя», стр. 460). Детская мудрость гласит: «Кто как обзывается, тот сам так называется».

А обзываются наши *Авторы* весьма круто. Вся деятельность «скалигеровских» историков прошлого — «ГЛОБАЛЬНАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ» («Империя», стр. 93). «Выход в свет книг Н. М. Карамзина сделал общеизвестной ту фальшивую версию русской истории, которую совсем незадолго до этого только-только создали Шлёцер, Байер, Миллер и еще несколько человек» (там же, стр. 340). Труды С. М. Соловьева — «это один из САМЫХ ТОЛСТЫХ слоев штукатурки, скорее даже бетона, покрывающих истинную картину истории Руси» (там же, стр. 339). Доказать участие русских во взятии Константинополя в 1453 году *Авторы* затрудняются, ибо «следы этого события были, вероятно, вытерты романовскими историками из нашей истории ОСОБО ТЩАТЕЛЬНО» (там же, стр. 579). Отец египтологии Шампольон (и не он один) «НАМЕРЕННО УНИЧТОЖАЛ СЛИШКОМ ЯРКИЕ СЛЕДЫ ПОДЛИННОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ, ПРОТИВОРЕЧИВШИЕ СКАЛИГЕРОВСКОЙ ВЕРСИИ» (там же, стр. 516). Современные же сторонники «скалигеровщины», чтобы отстоять свои противоречащие НХ взгляды, «раздраженно говорят» («Новая хронология», т. 2, стр. 447), «раздраженно отмечают» (там же, стр. 454), только и делают, что умалчивают: «Почему-то Герасимов предусмотрительно не приводит текст погребальной формулы! Случайно ли это? Мы не знаем. А что, если молчание Герасимова не случайно и на гробнице написано „не то”, что хотелось бы историкам?» (там же, т. 1, стр. 343). Вообще, «историки считают... своих читателей за (так! — Д. Х.) простачков» (там же, стр. 361), а сами ничего не знают и врут только. Например, никакие древнеегипетские надписи не прочитаны и даже не опубликованы, ибо это должен быть многотомный труд, а «нам не удалось найти никаких его следов» (там же, т. 2, стр. 572) (на деле изданы, переведены, хотя, к сожалению, единого свода древнеегипетских текстов действительно не существует, а рассыпанные по разным изданиям публикации искать *Авторы*, видимо, не умеют), а посему «египтологи могут читать лишь небольшую часть дошедших до нас иероглифов» (там же, стр. 573). Короче, авторы исповедуют принцип — если не можешь доказать свою правоту, то громко кричи: «Сам дурак!» — и обвиняй научного противника в аморальном поведении. «Что ж, когда аргументов нет, то переводят разговор в другую плоскость» («Империя», стр. 339). Умри, как говорится, лучше не напишешь!

Ежели и таких аргументов недостаточно, то в ход идут постоянные повторы и **ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ БУКВЫ**: не убедить, так хотя бы впечатление произвести. И самое, как сказали бы ныне, убойное: «АРМЕНИЯ (сканд. ARMENIA) = ГЕРМАНИЯ. См. подробнее § 6» («Империя», стр. 606, § 4). Посмотрим. «Как мы уже говорили, средневековые скандинавские авторы часто якобы „путали” названия АРМЕНИЯ и ГЕРМАНИЯ (см. § 4)» (там же, часть 7, гл. I, § 6, п. 6.5, стр. 609). Всё. Приехали.

Станислав Лем повествует, как великий звездопроходец Ийон Тихий, собравшись на планету Энтеропия, решил предварительно ознакомиться с тем, что пишет об этой планете Галактическая Энциклопедия. Он прочел в статье «Энтеропия», что живут там ардриты, среди прочего производящие сепульки (см.). О сепульках в той же Энциклопедии было сказано, что они суть продукт сепуления (см.). А сепуление есть деятельность ардритов на Энтеропии (см.). Круг замкнулся. Знаменитый фантаст думал, что он пошутил. Действительность превзошла его ожидания.

И тут я подумал: а может, действительно все это шутка? Ну затянувшаяся шутка, ну грубоватая, ну сопровождавшаяся розыгрышем почтенных учреждений вроде МГУ, которые приняли ее всерьез и стали издавать книги *Авторов* для массового распространения. Может быть, зря я все вышеизложенное написал, может, занялся стрельбой даже не из пушки по воробьям, а

ракетами по микробам? Ясно ведь, что НХ — либо чепуха, либо розыгрыш. Но вот слова из одной статьи, посвященной НХ: «Во многих странах, отмечающих первого апреля „день дураков”, есть замечательная традиция: все шутки и розыгрыши устраивать только до полудня. Уважаемый Фоменко Анатолий Тимофеевич! „Полдень” для вашей шутки миновал, а вы в нее все никак не наиграетесь. Вам не страшно, что некоторые люди начинают верить ей всерьез?»⁶

Мне страшно. И я хочу показать, что НХ — никак не безобидный розыгрыш. Страх на меня наводит не столько та или иная книга *Авторов*, сколько то, что я назвал в заголовке, — феномен Фоменко. То есть причины создания недобросовестных с научной точки зрения исторических мифов и их относительная (пока!) популярность.

Тайны египетских пирамид, экстрасенсы, пришельцы, сюда же Империя — все это с удовольствием поглощают массы, в свое время изголодавшиеся на тощем духовном пайке официальной идеологии. Но это не самое страшное.

Публика, как правило из неспециалистов, охотно подхватывает упреки в адрес профессионалов. Согласитесь, приятно ведь знать, что все ученые — дураки, а пришел дилетант — и объяснил им, как все было на самом деле. Это льстит самолюбию: и мы академики не кончали, значит, и мы чего-то можем. А эти ученые просто из зависти травят первооткрывателя. Но и это все не очень страшно: надо пояснить — как я и сделал, может быть, слишком многословно, — что есть историческая наука, каковы ее методы.

Более опасным для науки — пока что только для науки — я считаю в творениях *Авторов* и им подобных иное. НХ не единственный, хотя и самый яркий, так сказать «клинический» (в переносном смысле, разумеется), случай системосозидательства на шаткой основе и с доказательствами типа «а почему бы и нет?». Когда все это касается уфологии, то заявления: «Почему бы инопланетянам и не построить статуи на острове Пасхи?» — не входят в сферу собственно науки, уфология в массовом сознании к ней и не относится.

Страшно, что сходную методологию употреблял маститый ученый, прославленный ныне Л. Н. Гумилев, которого *Авторы*, кстати, упоминают, как правило, с одобрением. В качестве примера возьмем одну небольшую его работу — «Трагедия на Каспии в X в. и „Повесть временных лет”»⁷. Л. Н. Гумилев выстраивает некую гипотетическую конфигурацию событий в X веке в указанном регионе и в других землях, а когда выясняется, что никаких свидетельств о некоторых предположенных им событиях нет, начинает объяснять, почему они не попали в летописи. А вот так уже нельзя — нельзя, как я говорил выше, объяснять непознанное неизвестным, и этого такой профессионал, как Гумилев, не мог не знать. Но он отбросил определенные принципы исследования, боюсь, потому, что они мешали ему обосновывать любимую идею — об извечном противостоянии объединенных Руси и Великой Степи (положительное начало) Западу (начало отрицательное). То есть ученый в угоду концепции насилует факты. Самое страшное, впрочем, в ином.

Давайте еще раз посмотрим, что явилось результатом НХ. «Методы», вышедшие в 1990 году, говорят об астрономической и математико-статистической основе исследования и дают абрис всей мировой истории, по-новому увиденной, «Новая хронология» (1995) уточняет «антискалигеровскую» историю Руси, Англии и Рима, и, наконец, «Империя» (1996), что явствует из названия, повествует, как любят отмечать *Авторы*, ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ, безо всяких намеков и экивоков, о ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ. Перед нами возникает некий исторический миф (научную несостоятельность НХ я, надеюсь, показал). *Авторы* провозглашают, что некогда, не так уж давно (вся

⁶ Олейников Д. Глобальный розыгрыш. — «Родина», 1997, № 6, стр. 23.

⁷ В сб.: «Литература и искусство в системе культуры». М., 1988.

история началась в X веке), существовали то ли три великие империи, последовательно сменявшие друг друга, причем каждая последующая была могущественнее предыдущей, то ли одна, в коей менялись столицы и господствующие народы (или один народ, позднее разделившийся?). Последняя, третья, империя (или единственная на третьем этапе) столицей своей имела Ярославль, государями — русских великих князей и простиралась почти на весь Старый Свет. В этой империи строились пирамиды («Империя», ч. 6), именно там, а не в каком-то Китае изобрели подзорную трубу (там же, стр. 158 — 159), бумагу, порох и шелк (там же, стр. 223), там всюду говорили по-русски, от Литвы (там же, стр. 132, что, в общем-то, соответствует действительности) до Южной Франции (там же, стр. 238 — 239), от Италии (там же, ч. 5, гл. III; этруски = русские) до Индии («Новая хронология», т. 1, стр. 186), где была единая и единственная вера, сохранившаяся в наиболее чистом виде в нынешнем православии («Империя», стр. 245, 327, 348), и где, главное, беспрекословно исполнялись приказы, отдаваемые правительством Руси-Орды. Известное письмо старца псковского Трехсвятительского монастыря Филофея к великому князю Московскому Василию III (там впервые появилась формула «Москва — Третий Рим») было, оказывается, увещанием о введении инквизиции (там же, стр. 403 — 404). И инквизиция была учреждена в Испании, «видимо, СРАЗУ ПОСЛЕ ПРИКАЗА ИЗ МОСКВЫ» (там же, стр. 404). (Правда, согласие с указанной гипотезой потребует принятия гипотезы еще более экстравагантной — о существовании машины времени: как указывают сами *Авторы* на стр. 398, письмо было написано между 1514 и 1521 годами, но они же сообщают на стр. 404, что инквизиция была введена в Испании в 1478 — 1483 годах.) И вообще, Русь-Орда есть ВСЁ. Ведь латинское слово «res» значит, среди прочего, «МИР, ВСЕЛЕННАЯ, СУЩНОСТЬ МИРА, ГОСУДАРСТВО, ВОЙНА, ИСТОРИЯ» (там же, стр. 251), и это «хорошо согласуется с ПЕРВИЧНЫМ, по-видимому, смыслом слова RES — русский, поскольку империя, столицей которой был Великий Новгород (то есть Ярославль. — Д. Х.), была русской» (там же). Конец этой империи был ужасен, как гибель богов. Когда после инспирированной Западом гражданской войны в стране воцарились Романовы, «они резко сменили политический курс России, пытаясь подчинить страну западному влиянию. Прозападная ориентация новой династии привела к распаду Империи. Отделилась Турция, с ней начались тяжелые войны. Отделился и Китай. И фактически был утрачен контроль над значительной частью Северной Америки. В конце концов была потеряна и Аляска» (там же, стр. 206). (Снова потребна машина времени, ибо Аляска была открыта русскими во время экспедиции 1733 — 1741 годов или хотя бы Дежнёвым в 1648 году, а Романовы вззошли на престол в 1613 году.) И дабы унижить прежнего владыку, Запад принялся искоренять память об Империи-Руси, клеветать на нее и даже на введенную ею замечательную инквизицию (там же, стр. 404), найдя в Романовых и их придворных историках покорных исполнителей его воли. Такой вот миф о Третьем (или Первом) Рейхе, такой вот фашистский миф сочинили *Авторы* и объявили его исторической истиной.

Я отвечаю за свои слова, за приведенные здесь эпитеты. Фоменко же и его соратники не должны обвинять меня в посягновении на их честь и достоинство. Обо всем они пишут, как сами любят говорить, ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ. Слово «русский» — RES, по их мнению, «в немецком языке... в форме Reich означает „государство“, империя, рейх» («Империя», стр. 251). Скандинавское название Руси — Гардарики, то есть «страна городов», интерпретируется *Авторами* как «ОРДА-РЕЙХ, орда-государство» (там же, стр. 614). А вот рассуждения *Авторов* о некоторых исторических теориях: «Такие „бумажные теории“ бывают далеко не безобидными. Некоторые доверчивые почитатели „могучей древнеитальянской истории“ пытались уже в нашем веке возродить былой дух Римской, якобы ИТАЛЬЯНСКОЙ, империи. Яркий пример — Муссолини. Красивый, но бумажный миф столкнулся

с грубой реальностью. Что произошло дальше — хорошо известно. Конечно, вклад Италии в мировую цивилизацию всем известен и неоспорим: итальянская архитектура, живопись, опера, литература. Италия оказала огромное культурное влияние на все остальные страны Европы. Но зачем же ко всему этому добавлять еще и великую славу якобы завоевателей всего мира, покоривших, — как нас пытаются убедить скалигеровская история, — Германию, Галлию, Англию, Испанию, Персию, Египет, Балканы, Кавказ?» (там же, стр. 290 — 291). Прекрасно сказано. Заменим скалигеровскую историю на НХ, Италию на Россию, Муссолини, слава Богу, пока еще менять не на кого — и мы получим точное описание теории *Авторов*. Вспомним еще раз: «Кто как обзывается...»

Благодаря принципу «обзывания-называния», приложенному к высказываниям *Авторов*, многое становится ясным. Меня при чтении рассматриваемых книг, особенно «Империи», удивляло одно обстоятельство. Обычно националистические мифы стремятся безмерно удлинить историю своего народа, своего государства, представить их древнейшими, старшими, объявить источниками первоначальной цивилизации. Зачем же потребовалось *Авторам* укорачивать историю? «Даже современные политические споры о территориях иногда сводятся к дискуссии типа „мы здесь жили раньше вас“. С обязательными ссылками на древнюю и средневековую историю. При этом надо иметь в виду, что сильная страна просто старается захватить спорную территорию при помощи военной силы, мало интересуясь „древней историей“. А вот более слабая страна вынуждена обращаться к хронологии и изыскивать исторические аргументы в глубокой древности, доказывая свою правоту. Так хронология превращается в реальное политическое оружие» («Империя», стр. 370). Или, «говоря кратко: вместо авторитета военной силы — авторитет длинной истории» (там же). Получается: «сила есть — истории не надо». «Краткая» хронология кладет конец спорам о первенстве. Никто нигде раньше не жил. Было только одно государство — Русь-Орда, только оно распространялось на весь мир, только ему все платили дань, и было это не в каком-то древние времена, а совсем недавно, почти вчера. Было, а может быть, и будет.

Книги *Авторов*, особенно последняя, наполнены намеками на сегодняшний день. Военные отряды монголов-русских, согласно НХ пребывавшие в Западной Европе, именуется «западной группой войск» («Империя», стр. 235); сербы на Балканах «хорошо воюют и совсем не собираются бесследно исчезать» (там же, стр. 185); Москва устами Василия III повелевает Испании ввести инквизицию — и вот параллель: «...в результате очередного — на этот раз кратковременного — резкого расширения сферы влияния России (СССР) для удобства рассылки приказов из Москвы была создана специальная международная организация — хорошо известный Коминтерн» (там же, стр. 404). Не последней Империей, значит, была Русь-Орда, за ней следовала еще одна — Россия-СССР (Второй или Четвертый Рейх), всего лишь вдвое меньшая прежней (там же, рис. 3.4 на стр. 269 и 270). Это уже вообще вчерашний день, который может и повториться. «Конечно, в разные времена маятник военного превосходства может несколько сдвигаться. Но в такой ли степени? Достоверно известная нам история ПОСЛЕДНИХ веков показывает: военное соотношение сил в мире колеблется, но изменений таких масштабов обычно не претерпевает. Что мы видим сегодня, то, в общем-то, было и раньше» (там же, стр. 291). То-то и оно. Империя гибла, возрождалась — пусть ненадолго, — маятник еще раз может качнуться, тем более что все было всегда. Опираясь на НХ, взглянув в прошлое (недавнее), построим же новый Рейх — то ли Третий, то ли Пятый. Нам уже принадлежала Индия — так не пора ли снова вымыть сапоги в Индийском океане?

Я назвал этот миф фашистским и не собираюсь отказываться от своих слов. Я не хочу сказать, что *Авторы* — осознанные фашисты (если это так прозвучало, то принсшу им свои извинения), но выводы из их теории такие,

и только такие. Тон *Авторов* меняется от книги к книге и становится все менее научным, все более идеологичным, все более агрессивным. Частные причины этого мне не вполне ясны⁸, да это и не важно. Не личные мотивы академика Фоменко волнуют меня, но связанный с его именем феномен.

Переходные эпохи, «смутные времена» порождают свои мифы — это тривиальное, но верное утверждение (слово «миф» употреблено здесь в самом что ни на есть терминологическом смысле). Гностические учения времен Поздней Римской империи, «натуральная магия» эпохи Ренессанса, повальное увлечение «животным магнетизмом» накануне Великой французской революции — примеров не счесть. Мифы эти, однако, при всей своей схожести различаются от эпохи к эпохе. Во второй половине XIX века и особенно в XX веке — это идеологизированные наукообразные мифы.

Чем более политизирован миф, чем радикальнее то политическое движение, которое берет этот миф на вооружение, тем сильнее этот миф идеологизирован, то есть в данном случае тем лучше он годится для обоснования претензий указанной политической группировки на власть. Большевистское учение о пролетариате-спасителе, нацистские идеи о высшей расе есть «доказательства» права большевиков либо нацистов на господство над страной и миром. Миф об Империи, независимо от устремлений *Авторов*, вполне удовлетворяет этому признаку: ныне, во времена неясности, перехода от устоявшихся советских традиций (в сфере не столько даже мировоззрения, сколько мироощущения) к совершенно не ясно каким — новодемократическим? старомонархическим? — он есть видение Великой Державы, на который предлагают держать курс националистические силы в нашей стране.

Вторая особенность мифов XX столетия — их наукообразность. С XIX века в массовом сознании бытует мнение о всеохватности научного метода, наука занимает место религии в умах, представления о законах природы и моделируемых по их образу и подобию законах общества заменяют представления о Божественных законах. Вокруг науки возникает ореол абсолютной истины, не зависящей от мнения и желания человека, — это так, потому что иначе быть не может, потому что соответствует законам природы (общества). Отмеченные выше мифы, да и многие другие, объявляют себя истинно научными, даже если они имеют весьма отдаленное отношение к науке. Большевистский миф провозглашается основанным на законах общества, в первую очередь на экономических, — эволюция социума непременно должна привести к победе коммунизма (никого не смущает, что эти базирующиеся на дарвиновском учении об эволюции взгляды требуют — в прямом противоречии с основаниями — революций, насильственных переворотов, личной активности, а не следования действию безличных законов). Нацистский миф заявляет, что исходя из законов биологии, в частности антропологии, из представлений о низших и высших видах (и здесь никого не смущает, что понятия «низшие» и «высшие», лишенные какого-либо аксиологического содержания — «низшие» и «высшие» растения, — заимствованы из того же Дарвина, предававшегося наукой Третьего Рейха анафеме) Германия непременно завоюет весь мир. Математический подход *Авторов* к истории — из той же оперы.

И все же пред нами мифы. Сколь угодно наукообразные, но — мифы. Это прекрасно видно на примере системы доказательств в подобных учениях. Научный метод доказательства требует обоснования каждого элемента любой гипотезы, объяснения каждого наблюдаемого феномена. Иное дело — миф. Как показал известнейший этнолог Клод Леви-Строс, в мифомышлении если подтверждается один элемент картины мира, то вся она считается истинной. Например, ежели в результате обряда вызывания дождя осадки хотя

⁸ См.: Сендеров В. А. Завтра будет поздно. — «Русская мысль», 1997, № 4179, 19 — 25 июня; ср. также: Новиков С. П. Математики и история. — «Природа», 1997, № 2.

бы раз выпадут, то это свидетельствует не только о действенности данного ритуала, но и о том, что между всеми явлениями существует магическая связь, а значит, действены любовная, вредоносная, лечебная и иные магии. Неудачный же результат любого колдовства знаменует лишь неспособность колдуна добиться желаемого, его неумение, но никак не ложность исходных предпосылок. То же и в мифах XX века. Если череп представителя атланти-балтийской (нордической, «арийской») расы отличается от черепа представителя переднеазиатской (арменоидной, «еврейской») расы, то — в рамках мифомышления — это доказывает грядущее господство «Тысячелетнего Рейха». Если капитализм эпохи Маркса и Ленина каждые 11 лет сотрясался от кризисов, то это значило, что победа мировой революции неминуема. Многочисленность любых, даже противоречащих друг другу, аргументов в теории *Авторов* отсюда же: если хотя бы одно предположение верно, то истинна *вся* теория.

Любопытно, впрочем, что не все мифы XX века, входившие в корпус официальной идеологии тоталитарных движений и/или государств, были обязательно жестко идеологичными. В нацистской Германии, например, государственной поддержкой пользовалась так называемая «теория мирового льда». По этой теории никакого космического вакуума не существует, мир заполнен льдом, в пустотах которого находятся звездные системы. Доказательство (сколь угодно слабое, но иных в мифомышлении, как я говорил выше, и не существует) — наличие ледяных метеоритов. Все это совершенно бредовое учение, строго говоря, никакого отношения к расовой теории, к национал-социализму, к борьбе за жизненное пространство не имеет. Тем не менее чиновников в гитлеровском фатерлянде заставляли давать подписку в том, что они верят в мировой лед.

В СССР в 20 — 30-е годы в филологической науке безраздельно господствовало «новое учение о языке» — «яфетидология» Н. Я. Марра (кстати сказать, тогда же, хоть и не столь активно, поощрялись и взгляды Н. А. Морозова). Согласно этой «яфетидологии», происхождение языка таково (излагаю несколько огрубленно, но точно): первобытные люди изъяснялись жестами, выкрикивая при этом четыре «первослова» — РОШ, ЙОН, САЛ, БЕР. Из этих первоэлементов возникла вся человеческая речь, и их можно обнаружить, расчлняя на части любые слова любого языка (то, что это при желании довольно легко проделывается, доказывают лингвистические упражнения *Авторов*). Но вот это странное учение, плод, возможно, большого ума (по мнению некоторых современных исследователей, Марр около 1925 года психически заболел; современники же, впрочем одобрительно, именовали его «Велимиром Хлебниковым науки») очень большого филолога, стало официальной языковедческой доктриной, внедрявшейся насильственно (позднее, однако, «марризм» был «развенчан и заклеямен» — по совершенно ненаучным причинам). При этом некоторые «вульгарно-марксистские», как говорили позднее, довески к «новому учению о языке» (так, Марр постулировал классовую структуру первобытного общества) не меняли того факта, что «яфетидология» по сути своей никакого отношения к марксизму, большевизму и победе Третьего Интернационала не имела.

По сути своей, и НХ не обязательно должна быть связана именно с русской национальной идеей — первые труды *Авторов* практически лишены имперского налета. Нет, дело в другом.

Тоталитарному мышлению нужна тотальная, всеобъемлющая, всеобъясняющая и всеоправдывающая картина мира — а таковой является миф. Тоталитарное мышление не только мифологично, но и религиозно или, если угодно, квазирелигиозно. Цель тоталитарных движений — «мы наш, мы новый мир построим», будет ли этим миром коммунистическое царство свободы, тысячелетний рейх или Великая Империя. Но для этого надо, в соответствии с теми же тоталитарными принципами, разрушить «до основанья» старый мир, притом *весь* старый мир, — не только его государственные и соци-

альные институты, но и его культуру, его искусство (не случайно итальянские футуристы тянулись к Муссолини, русские — к Ленину, немецкие экспрессионисты — к Гитлеру, несмотря на то что вожди, а двое последних в особенности, без восторга относились к художественным экспериментам своих почитателей), его науку. Наука особенно мешает: царящий в ней культ факта препятствует обязательной вере в счастливое будущее и героическое настоящее (а где требуется — и прошлое), в бесспорную истинность тоталитарных идей, в безграничную мудрость вождей. Посему науку должен заменить наукообразный миф — «мировой лед», «яфетидология», Новая Хронология. И это, повторю, независимо от намерений авторов (в данном случае — *Авторов*) этих учений.

Резюмирую: великий физик Нильс Бор некогда высказал очень тонкую мысль. Он провел разделение между истиной простой и истиной глубокой. Если противоположность первой — ложь, то второй — тоже истина и тоже глубокая (так, корпускулярной теории света противостоит волновая теория, и обе они по-своему верны и сливаются в квантовой теории). Так вот, скалигеровская хронология — это простая истина, сама по себе никаких духовных или научных глубин не несущая, а потому Новая Хронология — ложь. Но то, что верно для наук естественных, не всегда верно для гуманитарных, имеющих определенный нравственный заряд. Ложь может быть простой, а может — нет, не глубокой, таковой не бывает, но — обширной, подобно Новой Хронологии.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕНА ЗЛОБИНА



ДРАМА ДРАМАТУРГИИ

В пяти явлениях, с прологом, интермедией и эпилогом

Пролог. Лишние люди

Вот уже две с половиной тысячи лет художественная словесность без сопротивления делится на эпос, лирику и драму. И, привычно пользуясь этими названиями, мы очень редко вспоминаем о том, что в придумавшей их античности слово воспринималось почти исключительно с голоса и, соответственно, нуждалось в посреднике-исполнителе (исполнителях). Эпическую поэму озвучивал профессиональный певец; лирику пел целый хор — понятно, под бряцание лир. А драматическая поэзия — поначалу — была как бы соединением первых двух: одинокому протагонисту, повествующему о неких уже случившихся событиях, отвечало коллективное «я» хора, лирически-взволнованно реагирующего на рассказ. Потом повествование сменилось действием, актеров стало двое, трое и больше, роли усложнились, а с тем вместе усложнились и поэтические ритмы, которые, в свой черед, потребовали различий в музыкальном сопровождении; естественно, что спектакль оказывался заведомо более интересным, ярким и разнообразным зрелищем, нежели монотонная мелодекламация или статичный хоровой «концерт». И можно понять, почему античные авторитеты, и первейший из них Аристотель, объявляли драму самой совершенной формой словесного искусства, а более ранние поэтические жанры — всего лишь приближением к ней, промежуточным этапом на пути развития.

Но прогнозы эллинских теоретиков оказались неверны: театр не поглотил и не вытеснил эпика с лирикой. Напротив: они избавились от посредников и пришли к читателю сами, став, таким образом, собственно литературой — текстом, складывающимся из букв (литер). А драма заняла промежуточное место — как бы между буквой и звуком, между литературой и театром, — или вернее назвать ее положение двойственным? С одной стороны, мы признаем за ней самостоятельное литературное значение, но с другой — пьеса непоставленная выглядит словно бы ущербной: ведь она писалась для сцены, а коль скоро сцена ею пренебрегла... Притом известно, что вся драматургическая классика, прежде чем стать в библиотечном шкафу равной среди равных, прошла испытание подмостками — и прежние драматурги не сомневались в правильности такого порядка. «По моему мнению, пьесы можно печатать только в исключительных случаях. Если пьеса имела успех на сцене, если о ней говорят, то печатать ее следует, если же она... смиренхонько лежит на столе автора, то для журнала она не имеет никакой цены», — писал Чехов... Сегодня никто не сомневается в праве пьесы быть опубликованной до постановки. Но что с того? Как и прежде, она приходит к нам — если приходит — через театр.

Книги у драматургов появляются крайне редко, и рассчитывать на это может лишь известный репертуарный автор. Литературные премии — тоже не

про драматургову честь; лишь недавно учрежденный «Антибукер» обзавелся номинацией «За лучшую пьесу», но он ведь на то и «анти», чтобы все было не как у людей. Практически не интересуются драмой и литературные журналы. А «специальных» журналов много меньше, выходят они реже («Современная драматургия» — ежеквартально, «Драматург» — один-два раза в год), тиражи малы даже по нынешним меркам, и читают их профессионалы, но никак не широкая публика. Положим, здесь сказывается многовековая традиция, однако и театральный цех, на протяжении тех же столетий, естественно, включавший в себя драматургов, ныне словно бы перестал считать их «своими»; во всяком случае, так сложилось в России.

Начать с того, что наша новая драматургия занимает на подмостках положение весьма скромное. Некоторые московские театры — «Сатирикон», Таганка, Вахтанговский — вообще исключили ее из репертуара; другие — Маяковская, Театр Армии, Театр на Бронной, Малый, Сатира, Пушкинский, Гоголевский — обходятся одной, редко двумя свежими (или относительно свежими) пьесами; три современных названия в афише — случай вовсе экстраординарный... Это можно было бы объяснить просто: тем, что искусство сегодня стремится уйти от актуальности; а театр, в отличие от других, способен решить проблему кардинально — обойтись мировыми запасами. Но ведь драматические авторы тоже проникнуты духом времени и, соответственно, не настаивают на том, чтоб представлять сегодняшние жизненные драмы, и готовы уйти хоть в философское безвременье, хоть в мистику, хоть в антику — а театр все равно предпочитает идти другим путем. К тому же проблема заключается не только в отказе от современного репертуара, но в каком-то странном пренебрежении к сегодняшним драматургам — пренебрежении, которое сами они воспринимают тем болезненней, что совершенно к нему не привыкли.

Вспомним: еще десять лет назад Розов, Рошин, Зорин, Шатров, Гельман были значительными фигурами театрального мира. А нынче авторы газетных рецензий нередко забывают назвать автора пьесы, в результате чего создается удивительное впечатление, будто весь спектакль сочинил режиссер; авторы крупномасштабных сюжетов перечеркивают драматургию по-крупному. Именно это сделали организаторы конференции «Славянский базар», призванной — ни много ни мало — «подвести итоги уходящего театрального столетия»: они собрали полный зал режиссеров, актеров, художников, критиков, журналистов — и не пригласили ни одного драматического писателя! Это тем более пикантно, что конференция проходила во МХАТе, который всегда декларировал основополагающую роль текста, — во МХАТе, который открыл для театра не только Чехова, но Горького, Андреева, Булгакова, а Петрушевскую прямым путем (заказом) подвиг на писание пьес... Да и самого Немировича сто лет назад называли «новым Островским», так что историческая встреча отцов основателей, явившаяся юбилейным поводом для «базара», была как раз встречей драматурга и педагога с актером и режиссером. Что еще характерно: никто из коллег не обратил внимания на лакуны в списке приглашенных.

Не приглашают драматургов и на прочие «праздники театра». Многочисленные театральные премии и фестивали, начиная с всероссийской «Золотой маски», свободно обходятся без интересующей нас номинации — при том, что количество присуждаемых «Масок» все растет. Возникают даже предложения отметить лучший зарубежный спектакль — а «лучшей пьесы» как не было, так и нет. И отсутствие ее тем заметней, что постановки современных авторов в афишу как раз попадали, на прошлогодней «Маске» составив почти половину — три из семи. Положим, ни одна из поставленных пьес впрямь не стоит награды, — только это ведь дело двадцать девятое. По мне, так половина сегодняшних лауреатов недостойна была даже приблизиться к фестивальным подмосткам; но коли уж экспертный совет отобрал такое доб-

ро на конкурс в качестве «лучших спектаклей» всея Руси, как было не подумать, что драматург тоже причастен к данному качеству?

И последнее, что стоит отметить, — полный развал информационных структур, которые отлаживались десятилетиями, а теперь скатились почти на уровень конца прошлого века, когда Чехов взывал к Суворину: «Помните, Вы обещали напечатать особый каталог пьес, продающихся в Ваших магазинах, и разослать его по всем театрам... Состояние книжно-театрального рынка у нас — это вопиющее дело». Закрылся вааповский Отдел распространения, который выпускал ежемесячный вестник «Новые пьесы», рассылал его всем профессиональным коллективам страны, печатал пьесы и выполнял поступающие заказы; перестал существовать и полуофициальный распространительский «орган» — машинистки ВТО... Говорят: это естественно, это работают законы рынка, который реагирует на спрос — равно как и на его отсутствие. А спрос на советскую драматургию был искусственно завышен властью, которая требовала, чтоб театр служил проводником официальной идеологии. Столь же неправильной причиной была обусловлена тяга самих театров к текстам соотечественников-современников: интеллигенция вела постоянный спор с официозом, противопоставляя «их» идеям — «наши», пропагандной лжи — дозволенную меру правды, «производственным» и «датским» пьесам — «оппозиционных» шатровских «Большевиков» и «морально-бытовые» сюжеты, демонстрирующие изнанку «общества развитого социализма». И, кстати, «прогрессивные» вещи могли быть столь же бездарны, как госзаказные... А нынче у нас свобода, театры ставят что хотят — или то, что хочет публика. И если доля современной драматургии в сводном репертуаре составляет процентов пятнадцать — значит, больше никому не надо. И драматургам пора к этому привыкнуть и не навязывать себя времени...

Что отчасти и происходит: многие перестают писать для сцены. Михаил Рошин болен; Виктор Розов, Александр Володин, Эмиль Брагинский стали стары; но, думается, за объективными причинами скрывается главная — неустойчивость. Невесты куда пропали официально-оппозиционные Шатров и Гельман; давно не слышно про Виктора Славкина, чьи пьесы «Взрослая дочь молодого человека» и «Серсо» принесли славу их постановщику Анатолию Васильеву; уехали за границу Семен Злотников и Владимир Арро; Нина Садур если и отвлекается от прозы, то только для инсценировок, — и пусть на афише ленкомовского спектакля по «Мертвым душам» поставят ее имя, все равно всем ясно, кто тут главный... Ушла обратно в прозу и Людмила Петрушевская — самый значительный драматург последних десятилетий, в чьей сценической судьбе особенно ярко проявились изменения спроса: сначала ее вещи усиленно пробивали, затем они пошли чуть не на каждой площадке, чтобы через несколько лет массово сойти. А ведь эта драматургия — не «актуалка», исчерпывающаяся вместе с конкретной исторической ситуацией. Реалии места и времени не заслоняют здесь общезначимых тем и мотивов: распада традиционных связей, истощения любви, потерянности, одиночества — словом, того, что сама Петрушевская назвала «Песнями XX века». Но театры предпочитают не отдираť прилипший лейбл «антисоветскости», а попросту отбросить якобы принадлежащий прошлому материал.

Потому что нынче модны другие песни — например, те, что приносят прибыль. Тут, однако, надо оговориться: доходы от кассовых постановок известны разве что налоговой полиции. Поэтому не станем уточнять суммы и будем считать определяющим признаком театральной коммерции безразличие ко всему, кроме стабильных аншлагов. Для этой цели из архивов извлекаются заслуженно забытые драмоделы: какой-то Сургучев, Шкваркин, Аверкиев, Антропов; одна за другой ставятся ловкие поделки типа Легуве и — главное — лавиной идут посредственные или вовсе бездарные западные пьесы. Понятно: Запад имеет большой опыт производства коммерческих историй, умеет работать на актеров и предлагает богатый выбор ролей для любого возраста и амплуа, тогда как в нашей традиции вообще не существует такого понятия, как

«хорошо сделанная пьеса». Однако ж были в советской стране драматурги, пользовавшиеся массовым спросом — и притом писавшие очень качественно: к примеру, «Ирония судьбы» Э. Брагинского и Э. Рязанова, прежде чем стать всенародно любимым фильмом, обошла триста театров. Положим, эта вещь — своего рода шедевр; но неужели наши авторы не способны сочинить что-нибудь незатейливо-коммерческое? Ведь на книжном рынке всякие Корецкие-Доценко-Маринины смогли потеснить экспортный товар...

Явление первое. Античный комедиограф Николай Коляда

Впрочем, у нас тоже есть свое собственное Доценко — это Николай Коляда. Конечно, безразмерная лоточная массовость ему не снилась; но если учесть, что театр, будучи нетиражируем, заведомо не имеет дела с миллионной аудиторией, — успехи окажутся сопоставимы. Эта же пропорция работает и при сравнении художественного уровня: пусть «Бешеные», по определению, не относятся к литературе, тогда как про тексты Коляды еще не все всем очевидно, — зато и потребитель театральных зрелищ в целом более образован и, условно говоря, интеллигентен. И ему нужна соответствующая подача, при которой кич слегка гримируется под «искусство». Но как ни подавай — суть одна. И сводится она к следующему: нам рассказывают вроде бы про современную жизнь — с ее несправедливостью, жестокостью, незащищенностью отдельного человека перед криминалом или просто перед бытом, — однако предлагают облегченный, клишированный вариант, который не требует ни осмысления, ни сочувствия, вообще ничего, кроме плавного скольжения по поверхности. Такого рода литература имеет свою терапевтическую ценность: она как бы приручает действительность, делая ее не страшной, а развлекательной. Потому-то общая «усталость от чернухи» не распространяется на эти вроде бы чернушные истории.

Коляда сумел уловить социальный запрос — и стал самым удачливым драматургом постсоветской эпохи. Начав писать в 1986-м, он сегодня имеет на счету три десятка поставленных (не по одному разу) пьес; только в Москве идет пять его сочинений, а сколько по стране — не счесть. У него вышли две книги, и в аннотации ко второй, 1997 года издания, автор назван уже «всемирно известным»; наконец, в Екатеринбурге — по месту жительства героя — состоялся его личный фестиваль.

А ведь при появлении он не выделялся ровно ничем: просто еще один представитель «новой волны», пожалуй небесталанный, но совсем не оригинальный; впрочем, само течение не предоставляло широких возможностей для развития. Освоенная им территория — убогий быт духовно убогих обывателей — обширна, но монотонна, лишена глубины, бедна и событийно, и эмоционально, и стилистически. Естественно, что художественная новизна этого мира исчерпалась очень быстро и упорство в разработке темы вело к повторам. Их можно увидеть уже у Петрушевской; однако ее однообразие — до поры — не воспринималось как недостаток. Напротив: бесконечные пустые разговоры и ссоры сливались в общий тоскливый вой «безъязыкой» жизни, и глядящий из всех щелей экзистенциальный ужас словно бы перемножался сам на себя... Коляда поначалу стремился к тому же эффекту, но, не умея аккумулировать эмоциональный накал через невозмутимое озвучивание реальности, вынужден был использовать сильнодействующие средства типа отчаянных истерик или дикого крика (каким заканчивается «Мурлин Мурло»). Однако этот выпирающий за пределы искусства надрыв и принес ему успех у аудитории, на которую не действуют внешняя бесстрастность и аналитическая жесткость письма; к тому же он умел споро отрабатывать конъюнктурные темы (однополю любви — в «Рогатке», возвращения из эмиграции — в «Полонезе Огинского»). А когда конъюнктура сменилась, чуткий автор быстро переориентировался — причем не уходя от «чернушного» объекта изображения, но лишь сообщив ему грубо комическую окраску.

Его комедийные средства элементарны, зато безотказны. Это, в первую очередь, бранная лексика, которая применяется якобы для речевой характеристики героев, но на деле — для увеселения публики. Причины данной устойчивой реакции коренятся в загадочном месте, которое называют «коллективное бессознательное». Многовековой социальный запрет на брань, понятно, не мог помешать ее бытовому употреблению; но он создал внешнюю преграду «хулиганству» и, главное, установил внутренний барьер, переступая через который нарушитель сам понимал, что нарушает норму. И когда запрет временно отменялся — как в античной комедии, которая почти непременно включала шутовскую перебранку, — происходила смеховая разрядка, отчасти родственная фрейдистской хирургии, вскрывающей гнойники подсознания. И чем дольше держалась цензура социума, тем сильнее и длительней действует механизм высвобождения... Не берусь судить, насколько осознанно пользуется им Коляда; но какая разница? — важен результат.

Иногда ругань льется неостановимым помойным потоком: «Бичуган, чучмек, обрубок, зимогор, бормотушник, бройлер, клоп, шкет, шмокодявка, шкалик, буратина недоструганный, задохлик, спиногрыз, карапет засмарканный, карлсон, малявка внепапочная, заусенец, шпингалет, крепыш бухенвальдский...» («Мы едем, едем, едем в далекие края...»); иногда бранные слова разбросаны по тексту крупной россыпью, в которой попадаются истинные перлы типа «срань тропическая, пучешарая», но больше тривиальных сук и падл — а в общем, на четверть объема набирается. Второе место занимают опять же «ненормативные» шутки вроде «у вас ширинка расстегнута»; на третьем располагаются композиционные, с позволения сказать, приемы: к примеру, на сцену выпускается змея, спасаясь от которой две немолодые женщины и случайный мужчина запрыгнут в одну койку...

Эта разудалая комедь может необусловленно смениться выспренной сентиментальностью, которая призвана показать, что под грубой личиной скрываются нежные сердца, защищающиеся броней брани от жестокости мира. Что касается сюжетов, то они растворяются в длинных монологах и вязких диалогах или вовсе отсутствуют — нельзя же считать сюжетом бесконечный семейный скандал или суету вокруг змеи, которая так никого и не укусит; что касается характеров, то их заменяют штампованные типажи. Говорить о художественных достоинствах таковой драматургии не приходится. Но нельзя не восхититься тем, как легко драматург превратил чернуху в развлекаловку, как ловко переакцентировал действие, так что мучительное недоумение — и это жизнь? — обернулось почти бодрым утверждением: это жизнь!.. А вдобавок к данной оптимистической идеологии он освоил экономичную западную технологию: производство пьес на двоих-троих, с постоянным местом действия и минимумом декораций; понятно, что дешевизна постановки и простота проката добавочно привлекают режиссеров и продюсеров. Подсчитать их прибыли мы, как уже говорилось, не можем; но если «Персидская сирень» (Продюсерская компания Анатолия Воропаева) прокатывается уже два года — значит, публика готова платить за удовольствие. Интересно, довольна ли прекрасная актриса Лия Ахеджакова, которая играет разом в двух пьесах Коляды? Может, ее привлекает ролевое «разнообразие» — в «Персидской сирени» ругают по преимуществу ее, зато в спектакле «Мы едем, едем, едем...» («Современник», сезон 1996/97 года) ругается главным образом она...

Самое странное — и грустное, — что не только зрители, но и некоторые критики встретили современниковскую премьеру с восторгом. В ответ на это можно лишь процитировать название рецензии Марии Седых: «Приехали...» Нет, я не против коммерческого театра как такового. Я только не понимаю, почему он оказался столь вызывающе низкопробным — ведь прежде на нашей сцене преобладало приличное качество. Говорят: чтобы быстро насытить рынок, всегда делают ставку на дешевый товар. Помните, как «челноки» завалили страну китайско-тайваньским ширпотребом и страна сначала обрадовалась, оделась, а теперь уже нос воротит. Верно; но «челноки»-то могут лег-

ко сменить маршрут и затовариваться где-нибудь в Италии. А театр у нас свой — и как быть, если, заехав в это болото, он потом не сумеет выбраться? Тем более, что внутри театрального пространства нет такой четкой границы между культурой и масскультурой, какая отделяет лоток от магазина «Ad margipem»: тот самый артист, который на антрепризных гастролях три раза в день играет на кассу, вернувшись в свою «серьезную» труппу, возвращается к шекспировской роли — и что он покажет? Эксплуатация принципа «чем хуже, тем лучше» бесследно не проходит... Но оставим интеллигентские вопросы-ламентации и обратимся к другим успешным сюжетам.

Явление второе. С болью в сердце и Библией в другом месте

Тут выделяются два направления: политическая злободневность и вечный секс. Первое со всей откровенностью эксплуатирует социальное недовольство и одновременно гасит его, давая выход эмоциям. И принцип его воздействия тот же, что в развлекательной чернухе: прирученный ужас действительности оборачивается безобидным цирковым зверьком, который — как змея у Коляды — никого не укусит... Впрочем, авторский пафос может быть при этом вполне искренним.

Так, не подлежит сомнению, что Эдвард Радзинский всерьез страдает за державу. И фарс для него был просто способом договориться со зрителем, которому нужна броскость «Московского комсомольца» и доходчивость казённого номера. Договорился: спектакль «Поле битвы после победы» принадлежит мародерам (Театр сатиры, сезон 1994/95 года) достиг такой бульварности, что зритель валом валит до сих пор. И если б Радзинский по-прежнему нуждался в театре — театр наверняка не отверг бы эффективного автора; но он в последние годы вышел на более широкую стезю — телевизионную. А освободившуюся «социальную» нишу занял Александр Галин.

Его «Чешское фото» («Ленком» совместно с Российским театральным агентством, сезон 1995/96 года) строится на традиционном противопоставлении бедности и богатства, которое сегодня приобрело новую актуальность. Сюжета как такового нет: просто двое бывших друзей встретились после многолетней разлуки и вспоминают, что-где-когда. Один все эти годы шел от подлости к подлости — в результате став «новым русским»; другой остался бедным — зато чистым и честным. Смысл данной проповеди заключается, конечно, не в ее моральном пафосе, но в социальном утешении. Ну и славно; беда только, что пьеса плохо сделана: ее единственная мысль становится ясна минут через десять, после чего начинается нагнетание подробностей. И второе: есть некоторая нравственная сомнительность в том, что достоинства бедности воспевают коммерческий спектакль, лениво разыгранный сытыми звездами — Александром Калягиным и Николаем Караченцовым. И в данном случае нельзя сказать, что пьеса — одно, а спектакль — другое: ведь Галин лично выступил в роли постановщика.

«Аномалию» в «Современнике» (сезон 1996/97 года) тоже ставил он сам, что вообще симптоматично: авторы давно жалуются на произвол режиссеров, но на то, чтоб смешивать два ремесла, покушаются немногие. Или их не пускают на чужую территорию — а, достигнув определенного ранга, они получают *carte blanche*? Кстати, и Коляда занялся самопостановкой, однако я его спектаклей не видела; вернемся к Галину. Создается впечатление, что драматург считает режиссуру очень простым делом: достаточно аккуратно развести артистов, разбавить текст музыкой — и готово. Впрочем, нынче и многие дипломированные режиссеры этим ограничиваются.

Что до пьесы, она посвящена теме под условным названием «пропала Россия». Действие происходит на сверхзакрытой военной базе, где властвует бардак — естественное следствие реформ. Что было до, не разберешь: то ли урановые рудники, то ли ядерные ракеты, нацеленные на Париж. По Пари-

жу в итоге долгой пьянки таки палят, но попали или нет, не ясно; зато достоверно известно, что одного из героев убили — поскольку не хотел продавать родину «новым русским»... Этот социальный ужастик приправлен всякими шутками (иногда остроумными); к тому же надо иметь в виду, что присутствие пьяных на сцене всегда вызывает смех в зале. О реакции на общественный пафос драмы судить не берусь — может, публика и вздохнула в финале: да-а, пропала Россия, — но верю, что сам драматург действительно стремился *Слово сказать*. А если его благие намерения оказались использованы вроде не по назначению... Бывает. Недаром самый популярный афоризм последних лет: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Вот и к пьесе Наума Брода «Ну всё, всё... всё?» (антреприза Наума Брода, сезон 1996/97 года) успех пришел «как всегда» — путем разудалой пошлости, достойной пера Коляды; но только место ругани занял секс, у Коляды почти отсутствующий. Да и вообще эротики на сцене пока немного — и представлена она в основном французской комедией, которая, видимо, не вполне удовлетворяет нашу публику: слишком легкомысленна, слишком явно развлекательна. А у нас, как известно, секса не было — соответственно, мы не привыкли относиться к нему легкомысленно и воспринимать любовные игры как чистое развлечение. Ну что же: Брод предлагает зрителю якобы драматическую историю двух одиноких людей, которые идут друг к другу сквозь ссоры и «некоммуникабельность». На самом деле драма сводится к тому, что сейчас он хочет, а она нет; потом она захотела, а он расхотел, — но чернушный фон в купе с сентиментальными всхлипами сообщает сексуальной возне пресловутую «жизненность», вульгарной дешевке — оттенок «серьезности».

В «Овечке» Надежды Птушкиной (антреприза «Арт-клуб-XXI», сезон 1996/97 года) все значительно круче: дикая авторская пошлость пересажена на библейскую — прости Господи! — территорию. За сюжетную основу взяты взаимоотношения Иакова, Рахили и Лии, к которым добавлены интимные подробности, достойные порно средней крепости. Собственно, подробности и составляют единственное содержание действия. Весь первый акт Иаков пытается овладеть девочкой Рахилью — сначала с помощью соблазнительных речей, потом силой, — а девочка не дается и отсылает его к овцам (пастухи, дескать, всегда так облегчаются); впрочем, желание в ней проснулось. Во втором акте герой и героиня уже готовятся к брачному экстазу, но тут вмешивается Лия, и семь лет копившееся вождение Иакова выплескивается на нее; сама ночь, правда, не показана, зато описана в десятиминутном монологе: сначала он залил ее семенем по колени, потом по бедра, потом по грудь — в общем, по горло.

...Успех был сногшибательный — во многом благодаря народной любви к Инне Чуриковой, но и заслугу пьесы преуменьшать не след. Положим, сделана она откровенно плохо: многословная, рыхлая, тяжеловесная, не дающая даже материала для актерской игры, — только это ведь не важно. А существенно то, что сей сексуально озабоченный текст не довольствуется простыми конкретностями типа постоянно раздвигаемых ягодичек или влаги между ног, но активно использует словесные и ритмические формулы Песни Песней — и в итоге благодарный зритель может сделать вид, что наслаждался высоким искусством.

А в итоге всего этого напрашивается вопрос: если самые ходовые пьесы так слабы — почему другие авторы не преуспели? Можно, конечно, сказать, что им претит коммерциализация искусства, что они хотят оставаться художниками и потому — как герой Галина — предпочитают гордую бедность. И это даже будет правдой — но только отчасти: некоторая часть предпочла бы продаться. Да не выходит. Таким образом, возникает второе «почему», и ответа я, право, не знаю. Может быть, просто потому, что наш коммерческий театр находится лишь в начале пути и наличного контингента ему пока до-

статочно? А кто не успел, тот опоздал — как с приобретением капитала, который в первые годы рынка валялся прямо под ногами, а теперь уж все: поделено...

Явление третье. Фантомные боли

«Непродажных» пьес очень много — чтобы разобраться в этом множестве, потребовалась бы не одна статья. А значит, необходимо резко ограничить круг внимания, иначе может получиться простой перечень имен и текстов: печатных, ненапечатанных или пусть даже поставленных — иногда в больших залах, а чаще на малых сценах «под крышей», в театриках на 50 — 100 мест, в «лабораториях», «семинарах» и «дебют-центрах», вызванных к жизни активностью самих драматургов. Конечно, есть авторы и названия, без которых вроде как не обойтись, — но их немного, а в остальном... Мой выбор — это мой выбор. Поэтому уточню только, что основной предмет рассмотрения — пьесы последних лет, достаточно быстро ставшие спектаклями; качество главной роли не играет, зато важна принадлежность к неким значимым, на мой взгляд, тенденциям — идейным, художественным или тематическим.

С идеями, впрочем, дело плохо — однако это проблема не общероссийского даже, а глобального порядка. И порождена она не только принципиальной исчерпанностью, естественной в конце тысячелетия: многовековой опыт привел к тому, что слово «идеология» оказалось приковано к словам «террор» и «терроризм». В России это чувствуется особенно остро, поскольку нахлебались, — однако идеологизированное сознание не может разом отбросить свои устои. Недолгие, но эмоционально весомые годы, последовавшие за финалом перестройки, для многих стали временем кризисов и депрессий, периодом «потери энергии, вернее, потери цели» (Генриетта Яновская) и даже «потери смысла жизни» (Сергей Юрский). И дело не в утрате существенной части аудитории — болезненной, но переносимой, — дело в утрате существенных ориентиров. Ведь российские художники привыкли измерять себя некой социально значимой мерой; а когда ее нет — наступает разбойная «полная воля». И одни, следуя веселому принципу «иди куда хошь», отправляются в болото. А другие терзаются отсутствием неизбывным, как нехватка ноги или руки, — в медицине это называется «фантомные боли». Дабы ослабить их, культура судорожно прикипает к вечным ценностям, которые помогают перетерпеть безвременье. Поэтому серьезный театр бесконечно ставит классику; поэтому драматургия пускается на поиски потерянного времени — в историю, в литературу или, опять же, в вечность...

Надо заметить, что смещение или искажение нравственных норм, вообще характерное для дня нынешнего, почти не затронуло театральную территорию. Даже Коляда и тот вроде бы стремится пробуждать «чувства добрые». И на коммерческой сцене в целом нет ни сомнительных героев, которые в борьбе со злом укладывают горы трупов (это прерогатива боевика), ни уголовников, выступающих в положительной роли (как, например, в фильме «Вор»). А серьезный театр и вовсе старается противостоять распаду; другой вопрос — как.

Самый простой путь — литературно-биографический: тут не нужен глобальный ответ на вечные вопросы, его как бы заменяет самый факт прикосновения к великой судьбе. Характерно, что сюжеты этого рода тяготеют не к социальному, а к личному: пьеса «Миссис Лев» (С. Коковкин, «Школа современной пьесы», сезон 1995/96 года) описывает семейные отношения Толстого; «Федор и Аня» (А. Локтев, Театр им. Пушкина, сезон 1995/96 года) — о Ф. М. Достоевском и А. Г. Сниткиной — имеет подзаголовок «История одной любви»; «Гофман» (В. Розов, МХАТ им. Чехова, сезон 1995/96 года) показывает романтическую драму немецкого романтика. Эти картины частной жизни ни в коей мере не ориентируют зрителя на идеальные образы и

примеры, напротив, подчеркивают, что жизнь гениев полна сумбура и нерешенных проблем; здесь, собственно, и кроется намек на общее решение — или хотя бы достойное утешение.

А наибольшей серьезностью посылка страдает историческая драма: ей и доньше случается впадать в утраченные иллюзии и ставить перед собой масштабные до наивности задачи. Например, найти тот поворот, который привел к катастрофе, — дабы осмыслить и не повторить ошибку. Или — явить примеры, достойные подражания... Что ж: можно восхититься мужеством авторов, не боящихся брать на себя столь неблагодарную миссию; больше, увы, восхищаться нечем.

Самым смелым следует считать Радзинского, который после фарса обратился к трагедии. В «Последней ночи последнего царя» он показывает святого мученика во главе святого семейства, доходя до такой сусальности, что становится неловко: все же Николай II не зря был прозван Кровавым. Но драматург уверен: пока нация в полном составе не покается в убийстве — добра не будет... Постановщик Валерий Фокин с ним, кажется, не вполне солидарен, и в результате спектакль агентства «Богис» (сезон 1996/97 года) выглядит странной смесью проповеди и фарса; но зачем-то он взял эту прамольнейшую пьесу? Наверное, все за тем же: один из самых серьезных и вдумчивых наших режиссеров, Фокин сам страдает фантомными болями — и хватается за любое средство, сулящее избавление. Но если не помог Достоевский со святым старцем Зосимой — куда уж Радзинскому со святым Николаем... Пьеса «Наполеон в Кремле» Владимира Малягина (выпущена во МХАТе им. Горького под названием «Шумел, горел пожар московский», сезон 1997/98 года) воспеваает героизм русского народа, противопоставляя ему ничтожество великого завоевателя, — задача, с которой не очень справился даже Лев Толстой... Но в том и суть этих текстов — в величине цели, в высоком пафосе служения, которые как бы искупают художественную и смысловую несостоятельность. Кстати, пьеса Малягина получила премию на драматургическом конкурсе в честь 850-летия Москвы, что отлично рифмуется с советской «датской» практикой... В общем, прав был Ельцин, повелевший интеллигенции спешно выработать национальную идею, — и совсем не права была потешавшаяся интеллигенция: президентский наказ хоть и анекдотичен, а являет собой точное отражение нашего менталитета.

...Другая премированная на том же конкурсе пьеса — «Сон на конец свету» Елены Греминой — отличается значительно меньшей идеологической конкретностью и значительно лучшим качеством. Изящно выстроенный диалог свободно адаптирует экзотичную словесную архаику XV века, сюжет движется непринужденно и легко, вся конструкция выверена, как весы. И пока действие развивается, следить за ним интересно — и чем ближе к финалу, тем интересней: каким образом драматург развяжет завязанную ситуацию? Как соотнесет эсхатологические настроения конца «семой тысящи лет» с приближающимся концом тысячелетия? А финал повергает в досадное недоумение. В самом деле, если Москва, «чудный город, даже не дрогнула», если ожидание гибели мира и подготовка к собственной неминуемой смерти были всего лишь страшным сном, а по пробуждении торжествует любовь — стоило ли выводить на сцену апокалиптических всадников? То есть я понимаю: любовь — одна из вечных ценностей, за которые мы пытаемся уцепиться в смутную пору. Однако мгновенный и непредвиденный рывок от драматического напряжения к всеобщей благодности превращает серьезную историю в игрушечный побег от жизни — тем паче что автор намеренно подчеркивает нежизнеподобие поворота, «воскрешая» вроде бы уже умершего героя: ядовитое зелье оказалось «притворным».

Открыто «притворным» манером заканчивается и «Сахалинская жена»; впрочем, эта пьеса вообще более игровая — и менее «историческая», ее действие пристроено к обратной стороне культурного факта: сахалинской поездке Чехова. Сам Чехов на сцене не появляется, но о нем постоянно говорят,

и его загадочная «ревизия» придает некую значимость — или значительность — тяжкой и несвободной жизни ссыльных поселенцев. И кажется даже, что именно это незримое присутствие явилось причиной счастливого переворота: вместо готовящегося убийства произошло примирение, бесплодная земля дала урожай, «неродящая» женщина стала матерью трех деток... Жестокую реальность снова вытеснила игрушечная идиллия, мечта о чуде, которое способна произвести причастность к культурному сюжету. Что же, поскольку тексты хорошо сделаны, мы можем получить эстетическое удовольствие. Но отнестись к сказочным развязкам всерьез — на что, видимо, претендует Гремина — или хотя бы принять их как временную замену значимой мысли... При всем желании не выходит.

А если еще иметь в виду, что пьесы назначаются для сцены, возникнет дополнительная проблема. Потому что серьезное отношение актеров к персонажам, вроде бы уместное на протяжении всего действия, окажется под занавес неуместным; если же с самого начала давить фарс — как сделал Гарольд Стрелков, поставивший «Сахалинскую жену» в Дебют-центре при Доме актера, а «Сон на конце свету» в Театральном центре им. Ермоловой, — тогда предмет для разговора вообще отпадает. Что жаль, ибо в большинстве случаев его нет изначально.

Как, например, в случае с пьесой Эдуарда Федотова «Реинкарнация по-московски», тоже соединяющей «притворность» с серьезностью — только в обратном порядке. Начало у нее комедийно-фантастическое: в типичного «нового русского» вселяется дух князя Московского Даниила, заставляя строить церкви, больницы и богадельни, — причем перипетии борьбы бедняги капиталиста со своим захватчиком до поры выглядят занятно. Но когда сюжет резко накреняется в патетику, когда Андрей Данилов всей своей бандитской душой принимает высокие обязанности градостроительства, возложенные на него Даниилом, и начинает изъясняться в стилистике «всем миром, всем миром» — тогда становится не смешно, а как-то неловко...

Вообще всякая мистика в последнее время стала снова популярной; причем речь идет именно о воздействии на современность, которую иным путем не переделаешь. В пьесе Никиты Воронова «Страсти по Торчалову» (Театр на Малой Бронной, сезон 1997/98 года) герой — сегодняшний реформатор, — попав в чистилище, осознает неправильность своей жизни, после чего автор отправляет его назад — исправлять ошибки, что ли? В «Бегущих странниках» Алексея Казанцева (Театр им. Моссовета, сезон 1996/97 года) внезапное «виденье гробовое» заставляет живых позабыть о взаимных обидах, ревности, ненависти — и вновь полюбить друг друга. Надо заметить, что этот удивительный конец, возникающий как *deus ex machina*, на сцене неожиданно заиграл — благодаря актрисам Нелли Пшенной и Флоре Мази, сумевшим наполнить условные «предлагаемые обстоятельства» подлинным чувством. Когда дочь, вернувшись из запредельного сна с тягостным знанием, что матери осталось жить всего три года, кричит в отчаянном ужасе, и вбежавшая мать прижимает ее к себе, и в их рваных, судорожных фразах звучит сострадание, прощение, нежность, любовь — тогда пронзительное сопереживание достигает почти катарсической силы... И конечно, возможность этой страстной игры заложена в тексте — собственно, одна из основных задач драматургии в том и состоит, чтобы предоставить театру материал; но нас в данном случае интересует не столько уровень исполнения — словесного или сценического, — сколько ход авторской мысли. А он не слишком отличается от уже виденного в «Сне на конце свету» и в «Сахалинской жене», в «Реинкарнации по-московски» и в «Страстях по Торчалову». И свидетельствует он все об одном — о кризисности сознания, которое, не находя реального выхода из тупика, прибегает к мнимому — чудесному — исходу. Это характерно, заметим, не только для искусства: волшебная легкость в достижении цели является одним из самых устойчивых социально-рекламных манков. Правда, о приобретении состояния с помощью «Чар» речь уже не идет, но остались:

похудание без голодания, изучение языков во сне, излечение от алкоголизма без ведома больного, снятие порчи на расстоянии и прочая магия, предлагающая полный набор услуг — от возвращения супруга до «приворота» коммерческой удачи; наличествует также множество «академиков» и «докторов» чудотворных наук, которые обещают в три дня научить жить по-новому. Но... Возможность получить желаемое без усилий не имеет подлинной убедительности: человек покупает чародейскую штуковину в наплыве рассеянной мечтательности — вдруг да поможет? — или в припадке отчаянной экзальтации. И в искусстве чудесная легкость тоже лишена художественной убедительности: это всего лишь стандартный — и не очень честный — композиционный прием, не обусловленный ничем, кроме безысходности.

...Степан Лобозеров работает честно — пьеса «...его алмазы и изумруды» просто констатирует: выхода нет. Заявленный в ней конфликт поколений — между деревенскими родителями, которые ни на секунду не сомневаются в правильности традиционных устоев, и взрослыми городскими детьми, готовыми отбросить эти ценности под давлением жизни, — в финале оказывается снят: герой отказывается от «неправильной» любви. Но смысл сюжета — отнюдь не в торжестве исконной нравственности. Напротив: жертва принесена, в сущности, ради того, что реально себя уже изжило, — просто сын не может переступить через своих стариков. К сожалению, пьеса не слишком хороша: непрошибаемый традиционализм родителей показан в ней куда убедительнее, чем любовь. Однако внутренний поворот автора так или иначе заслуживает внимания: яркий комедиограф, чей блистательный, безумно смешной, хоть и грустный в основе «Семейный портрет с посторонним» был одной из самых репертуарных пьес начала — середины девяностых, Лобозеров после почти пятилетнего молчания опубликовал драму, полную все той же фантомной боли; но, в отличие от коллег, он трезво смотрит на вещи. И не пытается чудесным образом обрести то, что навсегда утрачено.

Интермедия. Детский альбом

Утраты сопровождают и детский театр, который мы здесь представим бегло и как бы в скобках, поскольку новой драматургии для детей реально нет — не только на сцене, но и на бумаге. То есть инсценировки и переделки сказок периодически появляются — в отсутствии пребывают сюжеты, представляющие современность или хотя бы предлагающие некий осовремененный подход к юному зрителю — с учетом того нового, что пришло в нашу жизнь. Едва ли не единственный спектакль, который обнаруживает поиски непривычного тематизма, — показанный на последней «Маске» «Ля-Бемоль» (Екатеринбургский ТЮЗ); но лучше б нам такой новизны не видеть! Ибо «фантазия» Наталии Скороход «по мотивам» музыкальной пьесы П. И. Чайковского «Болезнь куклы» отличается поистине фантастическим дурновкусием. Зато в ней заложен недурной материал для ужастика: тут и страшенькая девочка-горбуня, и ходячее кровавое пятно, и возникшая из крови красивая кукла, с аппетитом поедающая отрубленные руки и закусывающая вырезанным сердцем, и расчленение красотки на части — миленький, в общем, «Детский альбом». Положим, для достойной его реализации театру не хватает техники: много ли стоит кровавое пятно, которое изображает облитый краской артист? Но впечатлительных малюток можно перепугать и наличными средствами — я и то подчас вздрагивала...

Однако главный кошмар данной истории состоит в том, что Наталия Скороход сегодня — самый репертуарный детский автор; и хотя я других ее вещей не видела, уровень очевиден с первого взгляда. А если еще вспомнить, что количество детских постановок активно сокращается, станет совсем страшно... Критики давно уже бьют тревогу по этому поводу, и не без оснований: ведь, действительно, если зрителя не привлечь с детства — кто придет в театр XXI века? Поневоле вздохнешь по советским временам, когда на-

чальство требовало, чтоб мастера сцены участвовали в воспитании подрастающего поколения!

Правда, по-настоящему яркой и значительной драматургии для детей не было никогда — один Евгений Шварц за все про все, да и тот никак не укладывается в рамки детского театра. А вот детская проза была, и всякие ТЮЗы активно инсценировали всякие пропагандно-воспитательные истории, начиная сказочными «Тремя толстяками» и кончая соцреалистическим Тимуром с его командой. Таким образом, на первый план снова выходит проблема идеологии, причем тут она становится особенно значимой: ведь детский театр не может попросту отбросить свою привычную задачу — учить. Конечно, он способен сеять разумное, доброе, вечное с помощью тех же сказок и вновь появившейся старой «христианской» литературы типа «Маленького лорда Фаунтлероя» или «Поллианны». Но новая жизнь остается неохваченной: растерянность перед нею в данном случае выражается уже не в фантомных болях, а в страусиной болезни...

Явление четвертое. Такая любовь

Тут пришла пора задать скучный вопрос: а как обстоит дело с распространением сегодняшних западных ценностей? То есть рынок мы получили — почему не привить к нему идеи нормальной демократии? Могла бы ведь совесть нации — литература — взять на себя привычную и благую задачу просветительства. Не берет. Отчасти, наверное, потому, что для России это как-то слишком обыденно, слишком нормально — нам подавай мессианские затеи. А отчасти потому, что писатели разделяют общие предрассудки.

Ну а писательницы? Если иметь в виду, что среди драматургов немало женщин и женщины же традиционно составляют зрительское большинство, отсутствие на сцене феминистских идей может показаться даже странным... Или нет? В сознании российской «слабой половины» тема женского равноправия, похоже, связалась с социалистическим бесправием, придавшим ей двойным грузом работы и быта. И ныне ей ближе консервативное убеждение, что основные способы реализации женщины — семья и любовь. А феминизм остается движением маргинальным; соответственно и пьесы единственной театральной феминистки, Марии Арбатовой, ставятся мало.

Хотя мне-то кажется, что займись их раскруткой дельный продюсер — успех не заставил бы себя ждать: ведь Арбатова пользуется широкой телепопулярностью. А если еще уговорить на главную роль ведущую программы «Я сама» Юлю Меньшову — не зря ж актерский диплом имеет, — триумф будет вовсе обвальным... А если всерьез, то российская версия феминизма не должна раздражать российскую аудиторию. Потому что Арбатова не использует театр в целях агитации и пропаганды (для этого ей хватает СМИ), но выстраивает драматически острые сюжеты, в которых выявляется женская проблематика. И поскольку наш социум привык воспринимать женщину через ее взаимоотношения с мужчиной — эти отношения и оказываются сюжетнообразующими. А проблемы социальной, профессиональной, личностной реализации становятся всего лишь частью романов, и подчас не очень существенной: как бы ни были самостоятельны и независимы арбатовские героини, они сознают, что основой и даже главным содержанием их жизни остается внутренняя зависимость от партнера. В пьесе «Пробное интервью на тему свободы» (Театр на Покровке, сезон 1995/96 года) протагонистку окружает четверо претендентов, а она страдает по пятому; во «Взятии Бастилии» (репетируется в «Театре друзей») героиня как бы примеряет разные варианты жизни с разными спутниками. Другое дело, что драматурга не устраивает способ восприятия, при котором именно мужчина «фиксирует меня в пространстве»; однако прагматический западный подход — «Я должна стать свободной, остальное — не мои проблемы» — привлекает ее еще меньше. В результате сюжет выходит за рамки феминистской проблематики — вопрос

женского освобождения заменяет чисто российская глобальная цель: «Я должна стать свободной для того, чтобы решить общие проблемы»; но Арбатова сама сознает, что «это жанр фэнтези».

В ином жанре разрабатывают женскую тему три писательницы, широко известные в узком кругу (драматургической среде), — Оля Мухина, Ксения Драгунская и Елена Исаева: у них — сплошная любовь. Это, кстати, для нас тоже ново: во всей российской драматургии есть, кажется, лишь одна достойная пьеса, занимающаяся исключительно любовными проблемами, — «Месяц в деревне»; ну так Тургенев недаром жил во Франции. Не подавшившееся французскому влиянию авторы обычно приплетали чувства к социальной проблематике; в советские времена этот принцип сюжетосложения высмеяла точная формула: «трактор встретил девушку». А нынче тракторы пошли в металлолом, и освобожденный от нагрузки Амур расправил крылья.

Самое серьезное, даже мелодраматически надрывное отношение к предмету демонстрирует Елена Исаева: ее «Абрикосовый рай» исполнен таких душевраздирающих, безумных, безутешных страстей, что хоть в мексиканский сериал вставляй. А если не сериал, так коммерческий театр мог бы найти им достойное применение. Но смотреть на это в Семинаре-лаборатории драматургов и режиссеров под патронажем МХАТа им. Чехова... Право, странно. Мухина и Драгунская пишут в другом стиле — с разным успехом. Если судить по количеству спектаклей и откликов, то двадцатипятилетняя Мухина значительно выигрывает: ее пьеса «Таня-Таня» была поставлена в Мастерской Петра Фоменко — одном из лучших столичных театров (сезон 1995/96 года); получила премию на фестивале «Московские дебюты», побывала на фестивале современной драматургии в Германии (где пьесу Арбатовой, кстати, показывал немецкий театр); другая версия той же «Тани-Тани» — петербургская — участвовала в «Золотой маске»; пьесу «Ю» недавно выпустила студия при Мастерской Фоменко; еще парочка спектаклей репетируется (а к моменту выхода статьи, наверное, будет уже показана).

Чем эта драматургия привлекла постановщиков, для меня лично глубокая загадка. Ведь она прежде всего безмерно скучна — потому что страсти, составляющие единственное ее содержание, условны и напрочь лишены собственно страсти. Чувства просто называются — громко и декларативно, но ни в малой мере не проживаются, а соответственно, не могут вызвать зрительского сочувствия. Условны и персонажи — кто-то из критиков писал, что Мухина выводит на сцену не людей, а персонафицированные лирические высказывания. Но ведь лирика на то и лирика, чтобы выражать эмоции, а не твердить с настойчивостью автомата: «Я тебя/его/ее люблю». Вдобавок неразличимость этих лиц-«высказываний» заставляет тратить массу усилий, чтоб усвоить, кто по ком страдает, — задача тем более сложная, что автор строит любовно-геометрические фигуры с небывалым количеством углов и усердно нагружает сюжет драматическими событиями. В пьесе «Ю» жена изменила мужу, а он порезал вены, купил пистолет и пошел убивать соперника; еще один несчастный тем временем отравился; кого-то ранили, кто-то пугает народ крутыми самолетными виражами; «бездейственных» страданий вовсе не счесть...

Правда, Оля Мухина, а за нею «фоменки» не пытаются никого убедить в серьезности происходящего, напротив, подчеркивают, что все тут по-детски «невсамделишное» — начиная с названия и кончая совершенно игрушечным «фронтом», на который в финале уезжают двое романтически отчаявшихся юношей. Но ведь спектакль — не детская игра, которая должна увлечь только самих участников; это во-первых. А во-вторых, старательно декларируемая легкость — своеобразный родовой признак «молодежной» эстетики — оказывается тоже мнимой. Что случайно-символическим образом показала программка «Ю»: сложенная в виде легкомысленного самолетика, она, увы, не летает, но сразу тычется носом в землю.

...Театральная судьба Ксении Драгунской пока менее удачна — хотя пишет она, на мой взгляд, много лучше: за той же иронической «невсамделишностью» у нее чувствуется настоящая боль «разбитых сердец». Так, в пьесе «Навсегда-навсегда» (поставлена на фестивале молодой драматургии «Любимовка-97») персонажи один за другим с фарсовой скоростью умирают от любви, чтобы вскорости обнаружиться живыми, — но гротескный сюжет прикрывает совсем не гротескный смысл: физически не состоявшаяся смерть на самом деле состоялась, жизнь кончилась вместе с любовью, а то, что продолжается, есть лишь внешнее подобие жизни. Почему эта мысль прячется за иронией — понятно: непоправимая многовековая затасканность любовных формул сделала почти невозможным серьезное их озвучивание. Еще Пастернак писал: «Пошло слово любовь», — но стихотворчество все-таки способно придумать «кличку иную», тогда как в драматургии первую роль играют не поэтически неожиданные образы и фигуры, а некая история, по-прежнему требующая «пошлых слов». Мелодраматическая love story их не стесняется — но зато и не относится к искусству. А искусство (или так называемое искусство) прибегает к «оправдательным» приемам — и, кстати, превращение любовных переживаний в предмет феминистского исследования является одним из. В общем итоге все равно выходит, что любви — как драматическому сюжету — наступает конец. Но вопрос в другом.

А именно в том, как играть ироническую любовную драму. Ведь театр — самое реалистическое из искусств: имеется в виду, что его материалом и инструментом является реальный человек-актер. И хотя театральному действию доступна любая мера условности — сам исполнитель не способен стать условной фигурой, внешним подобием, выражением конченной жизни своего персонажа и т. д. То есть представить существо внутренне безжизненное — трудно, но можно; а вот исполнять сие в жанре стремительного фарса (или клипа), который еще и пародирует роковую мелодраму... Не получится: сценическое зрелище имеет свои законы. Мы прекрасно знаем, что смерть героя — иллюзия; но серийно повторяющаяся отмена этой иллюзии способна вызвать только смех. О мухинских пьесах и говорить нечего: если актеру предложено стать «лирическим высказыванием» и докладывать «страстный» текст, ничего при этом не переживая, а лишь обозначая условную легкость игры, — что он может сыграть? Драматурги и примкнувшие к ним критики говорят: это проблема режиссуры, обязанной найти адекватную стилистику; нашел же МХТ способ играть чеховские пьесы, про которые тоже говорили, что они нарушают законы сцены. Положим; только мне кажется, что тут речь идет уже не о «беззаконной» новаторской театральности, но о нарушении законов человеческой — актерской — природы.

Явление пятое. Бумажный театр

А «расчеловечивание» персонажа движется полным ходом, принимая подчас весьма радикальные формы — превращения то ли в куклу, то ли в мультипликационную картинку. «Катрин... подходит к Илье и ударяет его ножом... берет за плечо, легко поворачивает и приподнимает; из прорехи в груди сыплются тряпочки, бумажки, опилки, сухие листья, болтаются тряпичные руки и ноги, улыбается нарисованное лицо» (О. Михайлова, «Русский сон»); «Японец отсекает Капитану голову. Капитан встает. Делает первый шаг... второй... третий... Десятый шаг... падает... Юноша берет голову... Зашвыривает... в зрительный зал. Голова взрывается в воздухе. Водопад конфетти» (М. Курочкин, «Право капитана „Карпатии“»).

Можно, конечно, отыскать в этих картинах глубокий символический, метафизический и черт знает еще какой смысл, а засим обвинить театр, который «ленится» искать новые средства воплощения. Но только непонятно: зачем? Есть же кино с его феерическими спецэффектами и бесплотностью, которая сама отменяет реальную человеческую природу и, таким образом,

допускает любую степень насилия над нею; есть литература с ее безграничной «беззаконной» свободой. И можно просто переопределить родовую принадлежность своих опусов, не уходя притом от диалогово-ремарочной формы — коль скоро она чем-то привлекает. А заодно расстаться со сценическими притязаниями и проблемой невостребованности. Но нет: «нетеатральные» пьесы множатся в числе — и обзаводятся теоретической базой.

Ее предлагает Алексей Слаповский (чьи тексты получают премии на российских и международных конкурсах, но почти не ставятся). «Театральная практика текущего столетия установила четко: пьеса хоть и первооснова, но — материал... Я хочу, чтобы пьеса опять стала литературой... И... многие мои ровесники тоже стремятся создать что-то новое на уровне своих домашних, бумажных театров, относясь к своим произведениям именно как в первую очередь художественным, а не прикладным текстам... Драматург, по известному прошлому выражению, рождается в театре. Драматический писатель рождается сам по себе и, может быть, даже наперекор театру», — пишет он в предисловии к пьесе «От красной крысы до зеленой звезды». И настаивает на том, что драматургия, к примеру, Вампилова повлияла на дальнейшее «не через сам театр, а через драматургическую литературу», пошедшую вслед.

Не стану оспаривать данное утверждение — отмечу лишь, что вампиловские истории безусловно сценичней сюжета, где действуют крысы. А вот стремления драматургии опять стать литературой вызывают решительные возражения, потому что собственно литературой она никогда не была, напротив — веками довольствовалась именно прикладной ролью. Величайшие драматурги мира — Шекспир и Мольер — состояли в театральном «штате»; если же труппа не располагала штатным автором, она брала что плохо лежит и перекраивала как Бог на душу положит. Тот же Шекспир был доставлен на континент бродячими английскими комедиантами в таком виде, что сам себя не узнал бы; Мольер пришел в Россию через посредство немецких артистов, выписанных указом Петра, — в состоянии тоже неузнаваемом. Впрочем, вопрос авторства тогда вообще не ставился: на афише писали просто — «Доктор принужденный», — а кто этого доктора принудил выйти на сцену, публику не интересовало. То есть произвол театра по отношению к драматургу — отнюдь не изобретение новейшей режиссуры; только прежде произвол этот не был «концептуальным» — и воспринимался как норма. А в XIX и тем более XX столетии нормой стало уважение к писательскому труду, и драматические авторы тоже ощутили его вкус. В России это усугубилось спецификой развития: у нас не было собственно драматургов, кроме Грибоедова и Островского, зато все почти крупные писатели периодически обращались к драме; существенно и то, что многие вещи — начиная с «Горя от ума» — были поставлены далеко не сразу и успели стать чистой словесностью. И эмансипация драматургии началась, похоже, у нас. Конечно, ремарки, описывающие декорацию, костюмы или реакции персонажей, в XIX веке пошли в ход повсеместно; но немая сцена, которой завершается «Ревизор», является не просто развернутым описанием мизансцены: «...судья... сделавший движение губами, как если бы хотел посвистать или произнести: „Вот тебе, бабушка, и Юрьев день”», — это уже, действительно, «литература». Тот же Гоголь, не сумев внушить исполнителям свое понимание пьесы, выпустил подробное «Предупреждение для тех, которые пожелали бы сыграть как следует „Ревизора”» — своеобразный режиссерский разбор, предлагаемый дорежиссерскому театру... Но как прежде, так и теперь театр не считается с мнением автора, на что автор стал отвечать своим произволом — литературностью и нетеатральностью, подчас доводя текст до такой «самоценности», что он теряет всякую ценность для сцены.

И все-таки: если писать «наперекор театру» — зачем писать для театра? Наверное, просто затем (а вернее, потому), что он обладает необоримой притягательной силой, которая если уж завладела человеком, то — все. Это трогательнейшим образом выразил Михаил Угаров — один из самых «литератур-

ных» и, на мой взгляд, самых талантливых нынешних драматургов — в своей первой «пьесе», написанной в шесть лет. Она состоит из трех актов: акт первый — «Пропал»; акт второй — «Пропал, пропал»; акт третий — «Пропал, пропал — совсем пропал»... И что делать, когда творческая природа «совсем пропащего» не вполне совпадает с театральной природой? К примеру, когда он — как сам Угаров — наделен ярким даром слова, когда ему нравится выписывать затейливую текстовую вязь, которая персонажу ни к чему?

А что тут можно сделать? Только создать конфликт между «конечной целью» — театром — и средствами ее достижения. В угаровских пьесах «конфликтной» становится ремарка, которая живет самостоятельной жизнью, выступает полноправным «действующим лицом» — и подчас наиболее привлекательным из всех. Прихотливый, полный чарующих прозаических красот курсив как бы вмешивается в диалог, то контрастно подчеркивая своей музыкой тупую простоту языка героев, то, напротив, вступая в согласный дуэт с выразительной репликой, подхватывая ее или варьируя... Но главная задача этого «сверхдиалога» — не словесная, а смысловая. И смысл ее проистекает из авторской мысли: для Угарова «действие» (буквальный перевод греческого слова «драма») непременно обозначает драму — в бытовом смысле слова. Любой сюжет — будь то романтическая личная «история» или поворот большой истории — в его понимании всегда разрушителен, любой деятель — хоть мелкий анонимщик, хоть великий переустроитель мира — всегда злодей. Таким образом, вопрос, «как жить дальше», которым мучаются искатели выхода, получает простой ответ: просто жить — нормально, спокойно и «бессюжетно», не обременяя свой быт поиском больших идей и глобальных решений. Но воплотить этот принцип в жизнь автор, разумеется, не может — он может только противопоставить драматическому сюжету мерную красоту слога: «чтоб хотя бы в жизни слов все было справедливо уравновешено». По сходному принципу строилась и высокая трагедия, которая как бы уравновешивала гибельные страдания персонажей торжественным звучанием стиха, — однако классики выносили свою поэзию на сцену, а сегодняшняя сцена ее не выносит. В результате чего и появляется «бумажный» (или, по определению Угарова, «платонический») театр... Впрочем, при желании и большом старании его можно материализовать — и иногда материализация получается удачной. Так, пьеса «Оборванец» в постановке Театра на Литейном была признана критиками главным событием питерского сезона 1994/95 года; но ведь там автор передоверил «свой» текст «недействующему лицу» под названием «Кто-то»...

Интересно, получится ли что-то из пьесы Ивана Савельева «Путешествие на краю» — первой награжденной «Антибукером»? Вещь действительно талантливая; к тому же, я думаю, жюри поразил возраст драматурга — восемнадцать лет... Но вот возраст главных героев — одиннадцать и восемь лет — чрезвычайно затруднит работу постановщика. Тем более, что Артему и Анне присуща таинственная и жутковатая странность, в которой, собственно, и состоит главный интерес: загадка требует разгадки, неопознанность самой природы этих существ — не по-детски умных, сильных, безжалостных — в иные моменты рождает почти мистическое напряжение, прохватывающее ветерком страха... Правда, предфинальное объяснение разочаровывает: оказывается, перед нами детдомовцы, рано повзрослевшие от невзгод сиротства и способные буквально на все ради своей цели — войти в семью. Художественная «недостаточность» развязки — вообще одна из главных проблем современной драматургии: случается, что, завязав тугой, напряженный узел, закрутив многообещающую интригу, авторы совершенно не понимают, как выбраться, и либо впадают в бесформенную путаницу, либо бессмысленно рубят все концы. Но это в данном случае — полбеды. А беда в том, что сыграть маленьких монстров настоящие дети едва ли сумеют: поставленные текстом задачи настолько сложны, что и не всякий профессионал справится; если же отдать роли взрослым — уйдет контраст между детским обликом и недетской сутью, на котором все и держится. Может быть, первая пьеса Савельева заиграла бы

в кино?.. Во всяком случае, она пробудила надежды: талант безусловный, а адаптация к условиям сцены — дело наживное. Увы, вторая пьеса радости не вызывает: это просто очень длинное, бесформенное, смутно-мистическое сочинение, напоминающее то о немецком экспрессионизме, то о символизме¹.

Другие «литературные» (имея теперь в виду ориентированные на литературу) пьесы свой источник называют прямо: «Вишневый садик» (А. Слаповский) и «На доньшке» (И. Шприц), «Чио-Чио-Саня» (Г. Башкуев) и «Миледи» (Ю. Волков). И вообще всяких переделок, парафразов, пересмыслений и переоформлений имеется довольно много. Некоторые идут за сюжетным вожатым след в след, последовательно выворачивая каждую сцену; другие, оттолкнувшись от классики, сочиняют собственную версию, иногда в сугубо экстравагантной форме типа трагедии в стихах («Фауст и Елена» Ю. Юрченко, «Две жены Париса» Е. Исаевой), причем стихи пишутся на таком примерно уровне: «Если муж тебя застал / С любовником — не делай мне скандал» (Гера — Афродите)... Самая качественная пьеса этой серии — «Гезей» Олега Ернева, и о ней, равно как и об авторе, стоит сказать несколько слов.

Ернев начинал с вещей сугубо актуальных: в конце 80-х театры довольно много ставили его «афганскую» драму «Мы пришли» и «водевиль эпохи перестройки» «Когда спящий проснется». Но с концом перестройки кончилась и его драматургическая активность; теперь он появился снова — чтобы взять клубок Ариадны и раскрутить его по новой. Однако этот путь давно проделала французская интеллектуальная драма — Жироду, Ануй, Камю, Сартр, Кокто, — и ничего реально нового, ими не найденного Олег Ернев, увы, не обнаружил. То есть по уровню письма, по сюжетным ходам его пьеса ничуть не хуже Сартровых «Мух». Но тем разительней она демонстрирует свою несостоятельность: есть умение писать — и нет понимания, что писать, ради чего писать; нет все той же идеи. И это возвращает нас обратно к театру.

Эпилог. Драма конца века

Как известно, проблема вторичности — одна из главных для современной культуры; но в театре она повернута по-особому. В отличие от картины, книги, фильма спектакль не фиксируется в материале, но умирает естественной смертью — а пьесы остаются. И их-то как раз можно ставить и переставлять сколько угодно, каждый раз создавая (или стремясь создать) что-то новое. Таким образом, возникает чрезвычайно существенный для сегодняшней сцены вопрос авторства. Классика давно уже стала коллективным достоянием, и любая свежая постановка — это трактовка, интерпретация, в которой мысли и задачи интерпретатора играют ведущую роль. Он может перекомпоновать эпизоды, выбросить куски, уменьшить или увеличить число персонажей, выпустить на подмостки двух Гамлетов, поделить между принцем и королем монолог «Быть или не быть», зарезать Клавдия его собственной рукой или Полония — рукой Гертруды... Суть, однако, не в самих по себе радикальных жестах, а в том, что именно постановщик оказывается автором спектакля. Он переоформляет старую вещь, становясь по отношению к ней в такую же позицию, что и драматург, пересматривающий старый сюжет. А новая пьеса, не обладая классическими достоинствами, не позволяет и такого вольного с собой обращения. И не потому, что присутствие ав-

¹ Пока верстался номер, стали известны итоги второго «Антибукера». Как и в первый раз, премию получил человек молодой и никому не ведомый — Олег Богаев из Екатеринбургa, также открытый на фестивале в Любимовке. И его «Русская народная почта» — вещь тоже в достаточной степени «литературная». Она строится на занятом приеме: герой, больной и несчастный старик, страдая от одиночества, затеяет «переписку» с Елизаветой Английской, Лениным и прочими подобными лицами... Однако из этой завязки должно что-то следовать — а следует лишь абсурдовый разговор, который становится чем дальше, тем скучней и однообразней.

тора заставляет считаться с его намерениями — это проблема десятая, — но потому, что отсутствует традиция, от которой можно оттолкнуться, нет череды зеркал, с которыми сличается новое отражение. Привычка получать материал из вторых и двадцать вторых рук затрудняет первичное восприятие: взгляд, обостренный интерпретаторской оптикой, ничего не видит без этих очков...

Но если так, почему не ставить «интерпретационные» пьесы? — да именно потому, что режиссер хочет обойтись без литературного посредника и сам быть автором трактовки; впрочем, не только. Некоторое время назад переоформленные сюжеты были как раз весьма популярны, а коммерческий театр по сей час сохранил к ним привязанность: публике нравятся истории, которые не отягощают ум и одновременно дают чувство причастности к культуре. И Григорий Горин — лучший специалист по перекройке — по-прежнему пользуется спросом. Хотя последние его вещи несравнимо хуже прежних — «Того самого Мюнхгаузена», например, где драматург сохранил увлекательность и общедоступность старого сюжета, придав ему новый смысл, занятный и симпатичный. Теперь о смысле речь не идет: в «Королевских играх» («Ленком», сезон 1995/96 года) исходный текст просто поставлен на ироническую подкладку, в результате чего получился гибрид высокой трагедии и ёрнической комедии, персонажи без конца противоречат заявленным характеристикам и действие лишено какой-либо логики; в «Кине IV» (Театр им. Маяковского, сезон 1994/95 года) дело обошлось легкими завитушками поверх сюжета; в «Счастливец и Несчастливец» (Театр сатиры, сезон 1997/98 года) смысл заменился элементарной пошлостью. А вот неизменно осмысленный Шварц сегодня ставится мало — не говоря уж об Ануэе, чьи вещи некогда шли очень широко: интерпретированная история не дает свободы для дальнейших интерпретаций, ее художественный каркас и идейная структура куда более жестки, нежели в первоисточнике; соответственно она и исчерпывается куда быстрее.

Но ведь и потенциал классики не бесконечен (о чем я уже писала в «Новом мире», 1996, № 11) — а значит, без нового материала не обойтись. Что же, привыкшая к единоличному авторству режиссура вторгается в драматургию — самыми разными способами. Попытки сочинять собственные пьесы с последующей самопостановкой — как сделал Артем Хряков — я в расчет не беру: тут все-таки происходит традиционная работа с текстом (хотя лучше б режиссеру оставаться на своей территории, ставя симпатичные спектакли, чем путаться в драматургических узлах). Но можно, например, воспользоваться заведомо неполноценным текстом, воспринимая его как своего рода сценарий, дающий возможности для почти эстрадного шоу, — так Владимир Машков взял для «Смертельного номера» (Театр-студия п/р Олега Табакова, сезон 1994/95 года) полупьесу Олега Антонова. Можно собственноручно составить сценическую композицию: «Казнь декабристов» Камы Гинкаса (ТЮЗ, сезон 1995/96 года) основывается на исторических документах, спектакль «...С приветом, Дон Кихот» Иосифа Райхельгауза («Школа современной пьесы», сезон 1996/97 года) слепок из обрывков Сервантеса, Булгакова, Шварца, Володина, Луначарского (говорю в данном случае о принципе, не обращая внимания на несопоставимое качество). Можно соединить две совершенно разные по стилистике и по национальной принадлежности пьесы — как поступил Сергей Женовач; можно, наоборот, поставить два варианта одной и той же пьесы, решив таким образом проблему зеркал, — к чему стремился (безуспешно) Гарольд Стрелков. Можно и вовсе свести роль текста к минимуму: на недавнем фестивале современной драматургии в Бонне (NB! Именно драматургии, а не театра!) были показаны какие-то гранд-аттракционы, экстра-зрелища, супертеатры, где первое место занимали непривычные сближения жанров и всякие спецэффекты — свет, машинерия, пространственные трансформации; «площадкой» для одного из спектаклей стал даже... бассейн с водой. Виктор Славкин написал про сие игрище точно и

грустно: «Мне показалось, что в этой воде барахтается театр девяностых годов в мучительных поисках себя». Ведь действительно: «К сегодняшнему дню, и даже ко вчерашнему, прокручены и... промотаны все новые сценические идеи... Что дальше? Пока тишина».

Вот и в драматургии, если всерьез, пока тишина — как, впрочем, и во всей литературе. А просто есть некоторое количество достойных пьес, которые имеют основания стать качественными спектаклями, но ни в коей мере не предполагают качественно новой театральности. Понятно — конец эпохи. Однако стремление театра эмансипироваться от пьесы, полностью передоверив авторство режиссуре, — очень опасно: режиссерская мысль не может сама рождать новые смыслы. Потому что сцена — форма, а слово — содержание, и новые театральные формы всегда возникали из нового содержания; это — безусловный факт... И на самом-то деле античные авторитеты были глубоко правы: театр — высший род словесности. Пусть он не способен вытеснить эпос и лирику — он способен превзойти их силой воздействия. Ибо он — божествен. Он — единственный — умеет сотворять материю из слов, совершать чудо их воплощения. «Сказал... да будет. И стало так». По существу, в нем является самый дух творчества, действующий здесь и сейчас, перед нами. Но для этого явления надо, чтобы в начале было слово.

НИКИТА ЕЛИСЕЕВ



«ПАМЯТИ ОДНОГО СТУКАЧА» — СТАТЬЯ ТАЙН

Воздух времени. Это я понял давно. Воздух времени — воздух разоблачения, а не реабилитации. Нынче пишут «Памяти одного стукача», слово — «Памяти одного героя».

В конце 50-х — начале 60-х годов у филолога И. П. Смирнова был друг. Назовем его Майкл. Майкл стал стукачом. («Причем не Комитет нашел Майкла <...> а Майкл сам предложил ему в сотрудники».)

Название статьи И. П. Смирнова («Звезда», 1997, № 10) — название провоцирующее, провокативное. Если «стукачей» нельзя «люстрировать», то не лучше ли их просто забыть? Тем не менее: провокация на то и провокация, чтобы, вызвав раздражение, заинтересовать. Хочется узнать, чем, собственно, заслужил «один стукач» спасение от забвения? Спасение парадоксальное, ибо нигде автор не называет имени своего героя.

Впрочем, верно, что не называет: ведь статья эта — «Памяти одного стукача», а не «Разоблачение одного стукача». Писатель играет по правилам, им самим для себя поставленным. Более того, писатель вовлекает в свою игру и читателя.

Надо отдать должное — умело вовлекает...

В какой-то момент начинаешь ощущать себя флейтой, на которой сыграли чужую и чуждую для тебя мелодию. Мелодию сочувствия к стукачу — вот что раздражает.

Но прежде чем это поймешь и сформулируешь, в глаза бросятся детали, малозначащие вроде бы подробности.

«Противоположные общие места». Есть замечательный, хотя и не слишком честный полемический прием: между делом, а пророс сообщить, как нечто само собой разумеющееся, то, что требует серьезных доказательств.

Аргументацию, так сказать, заменить интонацией.

Этот полемический прием применяется чаще всего в сочетании с тем, что уже давно, и хрестоматийно давно, было названо «противоположным общим местом»: «Сказать, например, что просвещение полезно, это общее место; а сказать, что просвещение вредно, это противоположное общее место. Оно как будто щеголеватее, а в сущности одно и то же» (И. С. Тургенев).

Плоский трюизм, вывернутый наизнанку, может показаться глубоким парадоксом. А если еще он и обронен — как само собой разумеющееся, а если еще и обстали этот парадокс со всех сторон: Фуко — Лакан — Фрейд — гомозеротизм — Гегель — дискурс — Бродский, — то читатель и вовсе замрет если не в почтительном восхищении, то по крайней мере в смущении.

«Когда Горбачев довел начатый Сталиным подрыв советского порядка до логического завершения, Майкл растерялся...»

Так ведь и я растерялся, когда прочитал этакое. Растерялся, хотя и распознал «генеалогия» вышеприведенного «противоположного общего места».

Сталин как убийца коммунистической революции, термидорианец, Бонапарт Октября — штамп «сменовеховской» и троцкистской публицистики.

Но даже этот штамп требует развернутой аргументации, что же касается утверждения И. П. Смирнова, то оно не то что требует — оно прямо-таки «вопиет» о необходимости доказательств: фактических, метафизических, историсофских — любых, но доказательств.

Трюизм: «Горбачев довел до логического завершения подрыв советского порядка, начатый Хрущевым», — в доказательствах не нуждается. Они — налицо. Трюизм скучно доказывать. Но истина ведь не всегда парадоксальна.

Человек, утверждающий, что советский порядок начал подрывать Сталин, обязан объяснить по меньшей мере четыре вещи: 1. Когда возникло то, что он называет «советским порядком»? 2. В каких отношениях «советский порядок» с «коммунистической революцией»? 3. Когда Сталин начал подрывать «советский порядок»? 4. Что вообще называется «советским порядком»?

Однако все эти «обязанности» ясны и несомненны, когда утверждение не «побочно», не между делом, не à propos... В противном случае «утверждающий» может иронически улыбнуться: «Для чего вы придираетесь к словам? Зачем вырываете цитаты из контекста? Я пишу не о Сталине и не о „советском порядке“. Я вспоминаю о своем друге, которому не вернул долг; Сталин и „советский порядок“ только к слову пришлись...»

Текст и контекст. В том-то и заключается удивительная особенность текста И. П. Смирнова, что текст этот буквально начинен щеголеватыми «противоположными общими местами», сомнительными утверждениями, которые держатся на одной только... интонации.

(Тоже своего рода — искусство.)

В третий раз перечитывая смириновский «мемуар», прикидываешь: а может быть, все эти «воспоминания о стукаче» и написаны только для того, чтобы несколько сомнительных, но очень важных à propos запали в ум, сердце и душу читателя.

«Много позднее я дошел до мысли, что и разоблачение Зла не есть Добро, пусть даже в срывании масок кроется истина. Я отчетливо осознаю теперь, что в демистификации Зла его не меньше, чем в демистифицируемом. Как можно проникнуть в Зло, не неся его в себе?»

Надобно наполнить конкретным содержанием эту абстрактную формулу, чтобы прийти в оторопь, как и от парадокса насчет Сталина-антисоветчика.

Утверждается ни больше ни меньше то, что разоблачитель злодея — злодей не меньший, чем разоблачаемый. То есть: в Нюрнбергском трибунале зла не меньше, чем в нацистских преступниках, которые были в Нюрнберге осуждены.

Кажется, в одном из рассказов Честертон патер Браун рассуждает о том, что для того, чтобы раскрыть преступление, нужно совершить это преступление в своей душе; но он вовсе не утверждает, что в раскрытии преступления столько же зла, сколько и в его совершении.

У Честертон соотношение иное: в сокрытии, в замалчивании преступления столько же зла, сколько и... в самом преступлении. То есть: если и возможно говорить о зле, которое было в Нюрнберге, то оно заключалось не в раскрытии нацистских преступлений, а в замалчивании преступлений коммунистических.

Еще одно à propos. Если «срывание масок» — пусть и истина, но вовсе не Добро, если «демистификация Зла» — тоже Зло, то для чего же И. П. Смирнов, будто забыв собственное утверждение, уже на следующей странице с болезненным каким-то удовольствием приступает к «срыванию масок»?

«Разоблаченный в „Хронике текущих событий“ предатель с давним стажем издавал в Канаде журнал, в котором поносил Бродского <...> Андропов наводнил Запад агентами влияния из числа бывших или искусственно созданных диссидентов <...> Они сочиняли романы, в которых по-

ливалась грязью московская интеллигенция, собиравшаяся в мастерской Эрнста Неизвестного <...> Они стали специалистами по кремлевским тайнам (как, например, соименник величайшего русского философа или бывший глава московской комсомольской дружины, добравшийся до верхов общественного мнения в Америке)».

Этот залп обоснованных или необоснованных ругательств по адресу легко узнаваемых, хотя и не названных людей (не стану их перечислять) выпущен для того, чтобы подготовить читателя к восприятию еще одного, пожалуй самого сомнительного, а прогос:

«Диссидентство обоготворено поголовно — и зря. (Где? Кем обоготворено? Не замечал. — *Н. Е.*) В значительной его части оно оказалось продажным. Было бы странно, если бы этого не случилось с людьми, которые попытались объединить в себе идеологию „Вех” и тех, кого этот сборник подверг *уничтожающей критике* (курсив здесь и дальше мой. — *Н. Е.*)».

«Уничтожающая критика» — это, на мой непросвещенный взгляд, из лексикона не «веховцев», а их противников. «Ведро помоев на революцию» — что-то в этом роде... И. П. Смирнов перепутал. Это Ленин подверг «веховцев» «уничтожающей критике», а не они — Ленина.

Тут не в одном лексиконе дело. Не совсем понятно, почему идеологическая эклектика обязательно предполагает личную непорядочность, продажность.

Аркадий Белинков был именно тем диссидентом, что искренно и наивно пытался соединить в своем мировоззрении идеологию «Вех» и идеологию (назовем чудовище своим именем) русских революционеров, противников самодержавия, православия и народности, — но в личной порядочности Белинкова, в его непроданности сомневаться не приходится.

Кто не слеп, тот видит: в значительной своей части диссидентство абсолютно не сумело использовать свою победу, что и свидетельствует о непроданности диссидентов (в значительной их части)...

Власть дискурса над автором. В самом деле, для чего И. П. Смирнову понадобилось оскорблять значительную часть диссидентства? Ответ прост: для того, чтобы обелить одного стукача.

«Стукач, сам *напросившийся на эту роль*, мне как-то ближе и понятнее, чем пошедшие на сделку с советской властью и подло агитировавшие за нее бывшие борцы с ней».

«Он внушил себе убеждение в том, что политическая система, в которую мы влипли, непоколебима, раз она не идет ни на какие уступки гуманности. Он спорил со мной о вечности советского социализма с каменной миной, в иных случаях ему не свойственной».

Не правда ли, любопытный психологический казус (который «как-то» встраивается в систему «противоположных общих мест»): человек, попытавшийся бороться со Злом и сломленный государственной машиной, оказывается «дальше» и «непонятнее» того, кто с готовностью предложил себя Злу, ни на секунду не сомневаясь в том, что оно — Зло.

Парадокс текста И. П. Смирнова, его тайна, его «изюминка», заключается в том, что вышеозначенные «триюизмы навыворот» понадобились не автору, а самому тексту. В какой-то момент не текст начинает служить автору, а автор тексту. И сам он не может не чувствовать, что задание, которое он дал своей статье, превращается в задание, которое он, автор, выполняет для своей статьи.

И это какое-то нехорошее задание. Сомнительное.

Вот почему свою статью И. П. Смирнов начинает рассуждениями, сильно смахивающими на оправдания:

«Постмодернизм в лице Фуко вряд ли был вполне справедлив, отнимая у автора *copyright* и приписывая творческую мощь безликим дискурсам <...> Взаимодействие автора и дискурса — драматично. В этой борьбе нет победителя <...> Поди разберись тут по Гегелю, кто раб, кто господин».

Задание. Текст И. П. Смирнова начинается фразой: «Я прошу прощения у читателя», — а кончается словно бы ответом на эту фразу: «Я простил Тебе это, старик. Вот и долг вроде отдался».

Задание, которое дает И. П. Смирнов своему тексту, — вполне фантастично. Текст должен так втянуть в себя читателя, чтобы читатель (у которого попросили прощения) согласился бы с «Я простил Тебе это...». Через читателя И. П. Смирнов пытается вернуть какой-то долг.

Долг. В свое время Майкл помог И. П. Смирнову эмигрировать. В наше (или почти в наше) время И. П. Смирнов не помог Майклу:

«Майкл попросил меня устроить его на «Свободу» или в немецкий Государственный институт по делам Восточной Европы. Я отказался <...> Он ответил мне письмом, где сравнил себя с нищим, которому очередь в пивной ларек не захотела пожертвовать кружку пива. Стукачом был он, нарушителем святого правила взаимности был я. У меня были для этого причины, о которых я скажу ниже. Оправдывают ли они меня? Как вернуть долг? — Майкл умер от острой сердечной недостаточности <...> В конце жизни Майкл полностью спился».

Причина, по которой И. П. Смирнов не помог Майклу, — всего одна. Во всяком случае, та причина, которую он назвал в своем тексте: «Андропов наводил Запад агентами влияния...»

И. П. Смирнов не мог знать, просит ли Майкл за себя или выполняет задание своей организации. В этом последнем случае И. П. Смирнов помог бы не Майклу, а той организации, от которой дал деру на Запад.

Вот первый долг, от которого читатель должен освободить автора, первое прощение, которое автор вымалывает у читателя. Разумеется, автор получает это прощение. Причина — что ни говори, основательная, тем более что Майкл так и остался при власти:

«Каждое мое посещение родины не обходилось в эту пору без сложностей, чинимых мне КГБ по наущению Майкла. То меня досматривали на таможне с неизвестной мне прежде тщательностью и агрессивностью, то моим друзьям, работавшим в закрытых научных институтах, запрещали встречаться со мной <...>, то меня принимались судить в отделении милиции на Лиговке за якобы совершенное мной словесное оскорбление швейцара в гостинице...»

(Сложности, конечно, не Бог весть какие по сравнению со «сложностями», которые пришлось испытать «продажным диссидентам», но мы ведь еще в самом тексте, еще не вышли за его пределы. Не будем иронизировать. Подчинимся «дискурсу».)

Главный долг — иной, посмертный. Как его вернуть?

Текст, который лежит перед читателем, и есть тот самый «возвращенный долг стукачу Майклу».

Нужно так написать о добровольном стукаче, чтобы читатель проникся к нему сочувствием.

И нужно так выстроить этот текст, чтобы читатель одновременно простил бы и автору, не помогшему Майклу, и Майклу, ставшему осведомителем.

Две взаимоисключающие задачи, два задания, словно бы уничтожающие друг друга. Можно ли их разрешить? На первый случай, тут требуется убедительная интонация.

И. П. Смирнов рассказывает о бедности и униженности Майкла:

«После окончания университета мой друг оказался безработным. Он сунулся на телевидение — из этого ничего не получилось. Тогда ему не осталось ничего лучшего, как стать воспитателем в общежитии ПТУ <...> Майкл женился на москвичке, обладательнице квартиры на Колхозной площади. Уборной в квартире не было. По малому делу можно было отнестись к соседям. Тайну больших дел молодая семья не выдавала <...> В Москве Майкл устроился журналистом, но ходу наверх ему, как таящему в себе еврейскую кровь <...> не было. Ипполит в «Идиоте» говорит, что иногда существование принимает унижающие человека формы <...>. После того как сделка (с КГБ. — *Н. Е.*) состоялась, Майкл сменил жену, квартиру и вскоре стал преуспевающим корреспондентом...»

И. П. Смирнов понимает, что добровольное стукачество все-таки «как-то» не очень оправдано тяжелыми жилищными условиями, а потому и спешит сообщить читателю о том, что Майкл умер от острой сердечной недостаточности, о том, как бедняга пил, спивался. (Расстраивался, значит. Сердце, значит, у него болело. Душа была жива. Умысел твой тайный.)

Все одно — долг отдан не до конца. Надо убедить читателя в том, что Майкл не так уж плох не только потому, что помог автору выбраться за рубеж.

Здесь-то идет в ход тяжелая артиллерия «противоположных общих мест». А стоит ли вообще разоблачать зло?

А знаете, сколько было среди диссидентов «агентов влияния»?

И вообще неизвестно, кто больше сделал для подрыва советского строя — Сталин или Сахаров.

Здесь текст (дискурс) празднует победу над автором. Здесь человеческий долг, возвращенный стукачу, превращается в долг, возвращенный организации, в которой стукач работал.



РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

СКВОЗЬ ШУМ

Роман Солнцева. Дважды по одному следу. Проза последних лет. Красноярск, ПИК «ОФСЕТ», 1997, 878 стр.

Читая новую книгу прозы красноярского писателя Романа Солнцева, в который раз убеждаешься, какое это трудное и почти невозможное в наше время искусство — реалистическая манера письма. И какая — прежде всего — глухота одолевает тех, кто считает, что нет ничего проще, чем «оседлать традиционный дискурс» и писать, писать, писать...

«Он всего лишь присоединяется к традиции, освоение которой требует не особо значительных... интеллектуальных затрат», — сказано недавно в одной статье не о Солнцева и не о реализме, но вполне могло бы относиться и к ним. Примечательно, с какой непробиваемой уверенностью присоединение (всего лишь!) к традиции признается делом очень несложным, вроде ежедневной гимнастики и растирания полотенцем.

Последнее сравнение не случайно. Поклонников «новых ценностей» в искусстве и духовной сфере никогда не разубедишь в том, что «присоединение к традиции» еще и штука чрезвычайно здоровая и полезная для душевного и физического организма, в отличие от напряженных интеллектуальных исканий и экспериментов. Так, неверующий человек до конца дней своих вздыхает, что будь-де он верующий, соблюдай церковные посты, прогуливайся утром по хрустящему снежку на ранние службы, отказывайся от всякого рода соблазнов — и ему бы сносу не было, но главное, помирал бы со спокойным сердцем, без лишних экзистенциальных мук. «Как помирать-то верующим легко», — в один голос режут атеистические ослы, ничего не понимающие в труде веры.

Так, средний городской интеллигент все знает о преимуществах полезной деревенской жизни перед вредной городской: свежий воздух, каждодневная физическая нагрузка, экологически чистые продукты и прочее. Он искренне не понимает, отчего на лицах этих людей неизгладимая печать тоски и напряжения, отчего там женщины в сорок лет старухи, а восьмилетние пацаны нередко рассуждают как старички и ведут себя так, словно, не прожив одной жизни, прожили их несколько, как в рассказе Бориса Екимова «Фетисыч».

Так, насмешников над традиционализмом в искусстве не переспоришь, когда они говорят о том, что «традиция» — это область прежде всего очень уютная и безопасная, в отличие от зоны риска, в которой обречен находиться художник-модернист.

Что-либо объяснять и доказывать тут бесполезно. И вряд ли нужно! Людей этого образа мысли самый вид книги Романа Солнцева только позабавит. Объемистый том почти в 900 страниц — это ли не показатель пусть и кропотливой (надо же все это было написать, перепечатать, подготовить к изданию), пусть, возможно, и тяжелой, но морально и эстетически обеспеченной работы писателя-традиционалиста. В сравнении с невыносимой легкостью бытия заложников современной литературной Пустоты это выглядит работой крота, в сотый раз взрыхляющего освоенную почву. Но внимательный и заинтересованный читатель посмотрит на дело совсем иными глазами.

Перед нами книга чрезвычайно современная, и оттого ее эстетика глубоко больна; но это не болезнь художественного эгоцентризма, пытающегося придать Пустоте какие-то формы (не важно, страшные или забавные, ибо в Пустоте все едино), а болезнь художественного зрения, которое видит мир в его же формах и не может ни отказаться от них, ни быть ими удовлетворенным. Легко повторять

за Горьким: реализм, который «возвышается до глубоко продуманного и одухотворенного символа» (опять же не важно, страшного или прекрасного, ибо и первое, и второе означает законченность формы и доказывает совершенство замысла мира). Но как быть, если сама жизнь словно нарочито фальшивит? «Сотри случайные черты...»? Но за случайными чертами не обнаруживается ничего — никакого Образа; и за посторонними шумами не слышится ничего — никакого Звука.

Несчастье Романа Солнцева заключается в том, что он не может (или не желает?) оторвать свой взгляд от метаний и кривляний современного человечества, особенно в нынешних российских формах его бытия; не может (или не желает?) хотя бы слегка изменить свой угол зрения, поднять его градусов на тридцать выше, как это сделал Булгаков в финале «Белой гвардии», переведя глаза от крови и смрада на полночный крест и звезды. Но это, скорее всего, не ущербность духовного зрения, а сознательно выбранная позиция. (То есть — не желает!) По старой доброй русской традиции он слишком верит в Человека, а в русского человека прямо-таки неизлечимо влюблен с каким-то провинциальным упрямством, от которого давно излечились столичные писатели. «В России, несмотря ни на что, много еще хороших людей. Есть они и в нашем городе. И даже в нашем Северном микрорайоне...» — так начинается повесть «Дурень и дурочка». Повесть — не лучшая в книге. Но за эти «несмотря ни на что» и «даже» хочется рассказчика расцеловать. С какой теплой иронией это произнесено и как много высокого смысла в этих оговорках!

Вот поразительно: чем ниже опускается угол зрения автора, тем больше надежды, что из обреченной материи пробьется на свет ручеек смысла. Чем глубже болезнь, тем больше шансов на выздоровление. Как бы ни старался Солнцев в повести «Иностранцы» убедить нас (или себя?) в том, что есть «правильный» и «неправильный» типы социального поведения (правильный — Феликса и его семья, честных «новых русских», работающих фермеров; неправильный — местной голи, алкашей, чинящих этим людям всяческие неприятности), вся эта вертикальная модель опрокидывается финальным символом: «Над сказочной, в бело-серебряных узорах, тайгой плыла яркая круглая луна. И в ней как в зеркале отражалось лицо сатаны, страшного шута, который живет, говорят, теперь только в России. И вот если поймать его и привязать к колу, чтобы сох без воды и, главное, без человеческой крови, то луна очистится, и свет ночами станет светлее, и все люди выйдут на улицы, не боясь друг друга, выйдут и — возлюбят друг друга».

Что-то здесь не сработало, какие-то контакты заискрились... Не найти в России сегодняшней чистого, заповедного места — без алкашей, без обиды, без злобы, без зависти, накопленных столетиями. Нет такого места специально для Феликса. Но и свыше не санкционируется его протестантская мораль. Все приобретает какой-то шутовской характер: иностранцы в своей стране, вынужденные вести какие-то идиотские игры с мужичками, прикидываясь англичанами (англичан побоятся трогать!). Сколько бы ни бежал Феликс по родной стране в поисках надежной почвы для строительства своего экономического храма, за ним всегда будет наблюдать насмешливое око сатаны, «который живет, говорят (кто? не Феликс ли? — П. Б.), теперь только в России».

Сынок Феликса рассуждает проще и без вертикали: надо, к чертям, расставаться с этой страной и бежать в натуральную Англию, где (говорят!) сатаны нет. Автор же предлагает совсем непонятный, но какой-то до боли родной и близкий вариант: надо, чтоб и сам сатана отмучился здесь, на колу, на привязи, в изгаженной и обезображенной им России.

Может быть, самое непонятное и драгоценное в прозе Романа Солнцева — вот это стихийно-русское искание муки, говоря словами Достоевского. В свете все более побеждающей в России морали эвдемонизма это путь глубоко неправильный, но художник имеет право идти своей дорогой. Он имеет полное право блуждать и путаться в будто бы обреченных, светлых историй нравственных лабиринтах в поисках своего выхода в светлое пространство. Лично мне глубоко симпатична эта старомодность автора, неистребимая вера в то, что нельзя просто очистить грязь с земли, но можно в грязи выстрадать истину «несмотря ни на что».

«Нерассказанный рассказ»: «Кате повезло — она два летних месяца отдыхала и лечилась в Италии. Это та самая замечательная страна, которая на географической карте похожа на сапожок, там когда-то жил Микеланджело, а теперь поет Челентано. Катя и еще одиннадцать девочек из разных районов Западной России были бесплатно приглашены в Венецию, где и жили в маленьком пансионате под присмотром врачей, каждый день глотая по шестнадцать, а потом и по четыре разноцветных шарика — говорят, из моркови и чего-то морского...»

Ситуация понятна... От нее сгораешь от стыда! Девочек из западных российских районов спасали от лучевой болезни, чтобы, подлечившись, они поехали доживать свой век на все еще зараженной малой родине. Катя — ребенок не совсем обычный. Святая душа, фантазерка — но это (кошмар!) следствие не душевнотонкого воспитания, а все той же прокатившейся по России бесшумной ядерной войны против своего народа. Катя не растет, не взрослеет. Ядерные лучи истребили в ней возможность проявления иммунитета против мерзостей жизни; она не может душевно зачерстветь и приспособиться к выживанию среди своих соотечественников.

Контраст слишком ярок, чтобы не поспешить тут же сделать выводы. Италия — благословенная страна, приютившая российских детей. Микеланджело, Челентано, церковь под Миланом со знаменитой «Тайной вечерей»... В России — тоска и мерзость запустения. Единственного человека, местного учителя, попытавшегося проникнуть в тайники души Кати, заподозрили в извращенстве и выгнали из поселка. Не свой, не так себя ведет. Зато свои, родненькие, пьяные солдатики тупо и без особой радости изнасиловали ребенка, и, конечно, без всякой ответственности. Но художественный вывод автора опрокидывает все вертикали и горизонталы. Оказывается, что Катя — едва ли не последнее существо, способное переплавить материю жизни в некий духовный опыт. Способное связать между собой радиацию и церковку в Италии, заграничные грезы и российскую смрадь.

« — Ну, сидит Христос... и все двенадцать его апостолов... И он знает, знает, что его предадут, и знает, кто предаст... но... Он ничего не сделает, чтобы изменить ход жизни. В этом высшая смелость и мудрость... если ты, конечно, знаешь, во имя чего страдаешь... А вот если ничего не знаешь... только ешь и пьешь...»

— О чем ты, дочь? — испуганно спросила мать.

Отец угрюмо смотрел в стену.

Где-то у соседей играла гармошка.

Люди жили и на что-то надеялись.

— Мама, я с вами, — тихо улыбнулась Катя. — Я вас никогда не брошу... никогда... ни завтра... — Она загнула указательный палец. — Ни послезавтра... — разогнула и загнула еще раз. — Это так итальянцы разговаривают, когда через стекло и не слышно».

Этот вывод страшен, потому что говорит о том, что духовное существо может сегодня родиться только через болезнь, чуть ли не через физическую мутацию. И автор сам не хочет этого вывода, заглушая его посторонними шумами («играла гармошка»), закрывая «случайными чертами». И скорее всего, этот вывод неверен, хотя бы потому, что бесполезен, а Россия сегодня как никогда нуждается в полезных, позитивных выводах...

Но...

Кто вам сказал, что реализм, искусство нормативное и стабильное, — не подлинная «зона риска»?

В лучшем, на мой взгляд, рассказе «Маленькое восстание», в свое время напечатанном в «Новом мире» (под названием «Вторые люди») и теперь вошедшем в сборник, Солнцев опрокидывает все здравые смыслы. В зимнем аэровокзале сошлись несколько человек, коротающих время в ожидании задержанных рейсов. Преуспевающий бизнесмен, его помощник, поэт-неудачник, искалеченный афганец. Все матерно жалуются на судьбу, все чувствуют себя «вторыми» на празднике жизни. Но и попытки найти «первого» по российскому принципу «Кому на Руси жить хорошо?» кончатся неудачей. Все — «вторые», нет — «первых». Вся Россия обречена быть «второй», и это при нашем-то душевном размахе, неспособности пойти на компромисс! Но странным образом это и примиряет людей между со-

бой, это и оставляет в них нечто едино-человеческое, способное заговорить «сквозь шум» на понятном языке. Это не рождает «музыки» (один из рассказов называется «Музыка сквозь шум»), но как-то спасает от последнего одиночества.

Автор не говорит этих слов, а как бы произносит про себя, но только глухой их не услышит. «Многие же будут первые последними, и последние первыми» (Матф. 19: 30). А «вторые»?

...Закончив читать книгу Романа Солнцева, я неожиданно подумал: как бы ее прочел А. Блок? Именно он, как никто другой, мог расслышать «музыку» русского реализма. Наверное, изумился бы, что за сто лет ничего не изменилось: и темы остались прежние, и «музыка» все так же пробивается «сквозь шум», и все так же не разгадать основной мелодии...

Павел БАСИНСКИЙ.

Р. С. Последний роман Р. Солнцева «ЦБ» («Нева», 1997, № 11 — 12) мне не показался удачным. Стремительный, детективный сюжет не компенсирует скудости его содержания. Все-таки автору лучше даются малые жанры.

П. Б.



ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ТАЙНЫ

Валерий Исхаков. Екатеринбург. Роман. — «Урал», 1995, № 1, 3, 4, 6, 10-11 (книга первая); 1996, № 1, 3 — 4 (книга вторая). Продолжение следует.

Специфика нового романа Исхакова — в ненужности, даже бессмысленности обсуждения его сюжетных линий. Если что и нужно тут рассматривать, так это сам тип текста.

Важно, что главный прозаический козырь «Урала» на протяжении двух лет существовал в «режиме реального времени»: крайне нестабильная публикация отдельных кусков связана с тем, что «Екатеринбург» еще не дописан. Так он и печатался — по мере написания, и, вероятно, никто, включая автора, еще не знал, чем сердце успокоится. Структура романа походит на длинные прустовские предложения, которые сносит и сносит куда-то вбок и совершенно непонятно, куда занесет, где будет поставлена точка. А бросить сложноподчиненное сочинение нет никакой возможности, нет никакой силы, только бы длилось как река, линейно, да не дискретно, только бы проистекало из номера в номер, наматывая все новые и новые подробности жития-бытия, разыгрывая зримую бесконечность социальных лабиринтов. Подобный текст в идеале, действительно, нескончаем, ибо на место отработанных фигур приходят новые: к цветку цветков вплетай в венок, пусть будет он. И даже промежуточный итог — лишь повод к началу новой (третьей, четвертой, пятой) книги, которая, исчерпав себя, подготавливает в своих недрах следующую, такую же.

Эпическое название и значительная (нетипичная для журнальных текстов последнего времени) текстуальная масса вызывают массу ожиданий, никак, впрочем, чтением не подтверждаемых. Мнилось нечто этапное, подытоживающее, намечающее перспективу: мол, дорос город до своего мифа — и вот теперь, и вот сейчас... Впрочем, все это, видимо, мои читательские проблемы. Никакой особо екатеринбургской топонимики, специфических среднеуральских мифологем, символов и знаков в романе нет. Но лишь череда бесконечных событий, значительное число персонажей, которые живут, проживают, действуют, реализуются и все такое, третье-десятое. Никакого глобализма, никаких претензий на новый «Улисс» или «Петербург». «Екатеринбург» здесь — всего лишь обозначение сценического пространства, достаточно нейтральное и совершенно ни к чему не обязывающее. Назови иначе, «Челябинском» или там «Барнаулом», — слаще не станет. Конечно, главное богатство любого населенного пункта — люди, поэтому обстоятельства их жизней, сплетенных в единый клубок, и есть как бы символическое выражение того или иного места. Но Исхакова сами по себе все эти персоны интересу-

ют мало — герои его все достаточно похожи друг на друга, различия в речевых характеристиках или образе мышления минимальны. Важнее события, которые они порождают (или которые, наоборот, порождают их), притираясь к друзьям и соседям, как шестеренки хорошо отлаженного механизма. События, что двигают дальше и дальше сюжет, и есть главное, самодостаточное проявление авторской сверхзадачи: длить, о, только бы длить-продолжать письмо ради письма.

«Екатеринбург», как и многие романы последнего времени, пишется на компьютере. Когда специфика текстопорождения, технологии отражается самым непосредственным образом на особенностях композиции и сюжета. Когда из реалистического, во всех своих устремлениях, текста изымается сама суть «реализма»: адекватность перспектив и пропорций в изображении собственно «жизни». Равнодушное мерцание дисплея, замена индивидуального почерка стандартным, одним на всех, шрифтом мирволит некоему авторскому отстранению. От реальной реальности и самого себя. Своих привязанностей, склонностей-наклонностей, невротизмов и фобий. То есть все буквально переносится в мир иной, куда-то туда, в непонятно как устроенное чрево процессора. При всем жизнеподобии описываемого, тщательности прорисовки бытовых ситуаций не оставляет ощущение, что для автора все это нагромождение обстоятельств и персонажей — только повод. Что есть какой-то иной пласт, план, какая-то, действительно, *idée fixe*. Может быть, оттого, что Исхаков задает совершенно невероятную событийно-сюжетную плотность, рачительно используя каждый квадратный сантиметр полезной площади? Вот и выходит, что, правдоподобное в мелочах и отдельных фабульных коллизиях, в целом это громоздкое полотно обнаруживает совершенно иное звучанье. И потому-то как раз не люди, но события. Не персонажи, но иероглифы, схемы и знаки различных авторских воплощений. Медленное расхождение сюжетных кругов, захватывающее все больше и больше разнообразного люда, оказывается еще и метафорой внутренних разборок писателя с самим собой, со своей жизнью и своим окружением — в роман попадает все, что встречается на пути: люди, годы — словом, все жизни, все жизни... Разобраться во всем этом хитросплетенье нет никакой возможности. Да и вряд ли это нужно — вникать, разбираться... Нужен сам процесс, процессуальность как таковая (см. выше).

Не концепты, но конспекты. Телевизионные «мыльные» сериалы! Вот прямая и самая точная аналогия. Развивающиеся точно так же в нашем реальном хронотопе изо дня в день, они так же невероятно конкретны в своей «правде жизни» и потому так же условно-схематичны. И чем «Екатеринбург» хуже «Санта-Барбары», замысленной ради этого же самого бесконечного «продолжения следует»?! Когда цель ничто, но движение (продвижение), обесмысливающее любые эйдетические привязки, — всё. Родственные отношения, повязанность всех и вся, тоже ведь можно прочитать как некую универсальную метафору...

Но при всем сходстве есть, конечно, и методологические отличия. Вся эта телевизионная лабуда строится на прочном (порочном) фундаменте социально-юридической махины, выступающей здесь в роли древнегреческого рока, судьбы. Когда все как один чаще всего — жертвы внешних, извне привнесенных причин, столкновения личных (корпоративных) интересов и Закона (буквально). Персонажи Исхакова — заложники собственных психологических особенностей, комплексов и фобий. И в этом он прямой наследник классической русской прозы, которой мало было противоречивые обстоятельства создать. Но куда важнее этого «маленького» или «лишнего» под лупу поместить и над душой его, душонкой, волю пострадать и поиздеваться. Смакуя при этом малейшие переходы чувств и нюансы эмоциональных состояний. Вот и не деться от этого ковыряния даже и современному русскому литератору, даром что у него цели и задачи иные. В которые исконный психологизм не входит. Да, видно, нельзя никак!

«И так все и произошло. Появился на свет младенец мужского пола, Ольга уехала из деревни и тут же почти — из Свердловска, вышла за своего дипломата и колесит по свету, недавно открытку прислала из Австралии, а про младенца я больше никогда не слышала. Знаю только, что не умер, а уж где вырос, в какой семье — этого мне никто не скажет, тайна усыновления охраняется законом».

А чтобы никто не подумал, что мы чем-то таким, не очень серьезным, занимаемся, нужно (авторская метода) накинуть на мелодраматический сюжет с тай-

нами происхождения, неожиданными наследствами и волшебными вакцинами се-ребристую сетку интертекстуальных меток — значимые имена, богатые на ассоциации фамилии. И все становится как бы значительным, объемным, мирволя до-полнительным измерениям и прочим радостям «непростого» читателя. Хитро при-думанно: цитатность, игра, значит, ирония, постмодернизмы всякие — с одной сто-роны, модно, а с другой — по духу традиционно, понятно, доходчиво.

Исхаков и не скрывает, что романский мегаполис к реальному городу имеет весьма опосредованное отношение. Вводится тема города-видения, города-сновидения, тоже работая на «усложнение» ткани: «Странный город — бывший Екате-ринбург, очень странный, призрачный, фантастический, не похож он на осталь-ные. В Москве и Питере хоть что-то осталось от прежних славных столиц, а Екате-ринбург будто разом ушел под землю с пришествием большевиков и существует где-то там, в другом измерении, а на поверхности возник какой-то другой город, просто Свердловск, город Яши Свердлова и Яши Воздвиженского... Город без души, без памяти, а раз у города нет памяти, то и великие люди ему не нужны». У екатеринбургских собственная гордость — сюжет усреднения: «великие люди ему не нужны». Остальные живут сегодняшним днем, в сегодняшнем. Реально только то, что происходит в данную минуту: ни души, ни памяти. Голая функциональ-ность одна. Прошлое — такая же странная вещь, как и будущее: чему сериалы ни-как не потворствуют, так это воспоминаниям. А иначе все нелепости и несосты-ковки наворотов, бесконечно и беспричинно случающихся с одними и теми же людьми, выскакивают во всем своем вопиющем безразличии. День простоять да ночь продержаться. А будет день — будет пища.

«Развели тут, понимаешь, корсиканские страсти, растянули годуновскую вен-детту на сорок лет, готовы на детей и внуков вражду перенести». Действительно, во всем этом можно найти некое странное очарование: жизнь самых заурядных людей, если на нее посмотреть под каким-нибудь неожиданным углом зрения, в «простоте» своей может показаться каким-то чуть ли не мистическим, ритуальным в своей безыскусности действием. И вечная повторяемость одних и тех же фабуль-ных цепочек, и вектор развития — вчера, позавчера, до самой глубокой древности. Вопрос в том, как это выразить, зафиксировать: через экстенсивность или интен-сивность. Скажем, самая объемная сцена первой книги растянута Исхаковым на целый номер (около двух сотен страниц): некий «высший» свет екатеринбургской знати, где неожиданно сталкиваются все герои романа, явно «в жизни» между со-бой не связанные. Где из чередования динамичных отрывков, перемешанных меж-ду собой (пары танцуют вальс или прогуливаются по кругу), выстраивается вдруг многослойная, объемная мозаика. Другое дело, что этот импрессионистский по технике эскиз подготавливается грудями всех предыдущих номеров. Вроде бы пик, развязка, но летопись его не окончена, продолжения по-прежнему следуют. Кста-ти, это в нашем случае самое интересное: как, когда?! Наберись терпения, жди — верю: ждет нас удача.

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ.

Челябинск.

*

«ПРЕССУЯ СТРАДАЛЬЧЕСКИЙ ОПЫТ»

Татьяна Бек. Облака сквозь деревья. Новая книга стихотворений. М., «Глагол», 1997, 159 стр.

Татьяна Бек. В произвольном порядке. Стихи. — «Знамя», 1997, № 9.

Говоря со мной однажды о чьих-то присланных в журнал стихах, Татьяна Бек посетовала: «Вялые они какие-то. Ни крутизны, ни соли». Я вспомнила этот отзыв, когда читала ее новую книгу и стихотворную подборку в журнале «Знамя». Чего здесь в избытке, так это «крутизны» и «соли». Чего не обнаружишь вовсе, так это вялости.

бодрствующих. Татьяна Бек — из бодрствующих. Ей удается шагать по жизни «легко и бессонно», хотя это неимоверно трудно — шагать «легко». И временами, когда так и тянет остановиться, «забыться и заснуть», возникают строки:

— Не пора ли в отшельники?
— Рано.
Слишком эта развязка проста.

Лариса МИЛЛЕР.

*

В ЛАБИРИНТАХ ТРАДИЦИИ

Рене Генон. Символы священной науки. Перевод с французского Ника Тирос. М., «Беловодье», 1997, 496 стр.

Клод Сеньоль. Матагот. Перевод с французского Аркадия Григорьева. М., «Энигма», 1997, 448 стр. (Серия «Мандрагора».)

Едва ли не каждый автор, берущийся писать о Рене Геноне, вынужден начинать со «снятия вопросов», касающихся использования «философии» Генона (философии как таковой не признававшего) и самого имени «каирского отшельника» всякого рода правыми идеологическими системами — от классического фашизма до «новых правых». Так, в давнем уже предисловии к публикации глав из книги «Символика креста» Юрий Стефанов писал: «Каких-нибудь двадцать лет назад редкие упоминания о Рене Геноне в российской (тогда еще советской) прессе непременно дополнялись бранными эпитетами, обвинениями в „мракобесии“ и „фашизме“, хотя он, в общем, бесконечно далекий от политики человек, не упускал случая саркастически обмолвиться о „пресловутой арийской теории“ или „фантастической и смехотворной интерпретации свастики как символа антисемитизма“. „Зловещая тень прошлого“ — вот какой была наименее ругательная оценка великого мыслителя в устах отечественных „исследователей“, которые, судя по всему, не утруждали себя чтением его работ» («Согласие», 1994, № 3). Основные работы Генона ныне доступны читателю в нашей стране, однако его столь широкая репрезентативность пресловутые «вопросы» не только не сняла, но вновь поставила, причем уже в отечественном «преломлении». Но сначала все же обратимся к предисловию С. Ю. Ключникова, помещенному в «Символах священной науки», точнее — к главке «Генон и фашизм»: «В оценках идейного наследия Генона и на Западе, и в современной России преобладают две тенденции: 1) тотальная апология, восхваление всех, даже не самых сильных черт его творчества и 2) безудержная критика, нередко состоящая из чисто эмоциональных обвинений, за которыми проглядывает чисто профаническая ненависть ко всему священному и традиционному». Истина, как обычно, лежит где-то посередине. Во всяком случае, вполне доказанным можно считать тот факт, что почву как для апологии, так и для критики в творениях Генона найти нетрудно — так ведь оно происходит с каждым серьезным мыслителем, пытающимся «копнуть» самые основы мироздания. Но если с пунктом вторым все более или менее ясно (полностью и безоговорочно отрицать ценность наследия Генона могут лишь «упертые» материалисты), то с пунктом первым дело обстоит гораздо сложнее: спектр поклонников Генона достаточно широк — от «чистых» (то есть неидеологизированных) эзотериков и исследователей древних цивилизаций и мифологии до конспирологов, чьи порой столь внешне убедительные построения во многом зиждутся именно на работах Генона.

Не имея возможности и желая ловить конспирологов на противоречиях и подтасовках (на это можно бесславно загубить всю жизнь), скажем лишь о том, что представляется нам самым существенным. Главный отечественный идеолог конспирологии Александр Дугин определяет ее как науку о заговорах, тайных обществах и оккультной войне (Дугин Александр. Конспирология. М., 1993).

«Теорию заговора» не в последнюю очередь он пытается обосновать достаточно вольным пересказом геноновских работ, привлекая подходящие «к случаю» цитаты, но попутно «забывая» о том, что все построения Генона касаются областей метафизических и в наименьшей степени применимы для объяснения всяческих политических «феноменов». Впрочем, в каком-то смысле следует отдать должное А. Дугину, который в связи с «использованием» имени Генона вынужден оговариваться: «Надо заметить, что большинство современных конспирологов... обязательно коррелируют свои взгляды с точкой зрения Генона, либо споря с ней, либо толкуя ее в том или ином ключе, что подчас приводит разных конспирологов не только к различным, но и к прямо противоположным выводам». «Идеолог», которого можно трактовать столь противоречивым образом, явно на эту роль не годится, — и на том спасибо. Что же касается самой конспирологии, то она относится к той категории идеологических построений, последователи которых вербуются исключительно по принципу «веришь — не веришь», а вовсе не благодаря убедительности доводов.

Рене Генон «веры» от своих читателей не требует: чтобы его адекватно воспринимать, вполне достаточно осознавать тот простой факт, что мир не ограничивается видимой и осязаемой реальностью, а простирается гораздо шире, глубже и выше (если эти пространственные определения понимать символически): ведь «всякий подлинный символ несет свои многочисленные смыслы в самом себе, так как он не есть человеческое изобретение, но сложился по „закону соответствия“, связующего все миры между собою». В то время как некоторые видят эти смыслы, другие их вовсе не видят или видят частично, но реальность их присутствия от этого не исчезает, а все дело лишь в различии «интеллектуальных горизонтов» каждого. Символика — точная наука, а не область грез, где свободно может витать индивидуальная фантазия. Математический склад ума Генона заставляет его давать исследуемым предметам четкие и исчерпывающие определения. В первую очередь это касается главных принципов различия цивилизации современной и традиционной (едва ли надо объяснять, что Генон ратует за возвращение к последней). «Современная цивилизация предстает настоящей аномалией в истории: единственная среди всех нам известных, она избрала сугубо материальный вектор развития, она единственная, которая не опирается ни на какой принцип высшего порядка». Генон нарочито не желает учитывать «практические плоды», получаемые на ниве развития наук и ремесел, духовное начало (или отсутствие оного) для него превыше всего: «Традиционной цивилизацией мы называем цивилизацию, основанную на принципах в прямом смысле этого слова, то есть такую, в которой духовный порядок господствует над всеми остальными, где все прямо или косвенно от него зависит, где как наука, так и общественные институты являются лишь преходящим, второстепенным, не имеющим самостоятельного значения приложением чисто духовных идей». «Традиция» же в сегодняшнем понимании есть совокупность основных знаний, полученных изначально человечеством и передаваемых из поколения в поколение благодаря наличию в каждом обществе касты жрецов (как бы они в тот или иной исторический момент ни назывались).

Символика в Традиции играет особую роль. Ибо позволяет рассматривать каждый предмет, каждое явление в связи с их метафизическими прообразами и, таким образом, осознавать сверхъестественные или метафизические истины.

Именно соотносительности символов между собою и с метафизической реальностью и посвящена книга «Символы священной науки», составленная из статей разного времени, написанных в подчеркнуто рациональном стиле и объединенных в тематические главы: «Символы центра и мира», «Некоторые виды символического оружия», «Символика космической формы», «Строительная символика» и т. д. Дабы подчеркнуть широту охвата, назовем лишь некоторые — почти наугад — темы: «Святой Грааль», «Язык птиц», «Символические цветы», «Иероглиф рака», «Символика рогов», «Пещера и лабиринт», «Узкие врата», «Мировое древо», «Сердце и мозг», «Божественный град». Напомним также и о том, что нелишним будет учитывать предостережения Генона по поводу «литературной», «метафорической» интерпретации символик — для него единственно приемлемой является интерпретация метафизическая, поиски «космического смысла». Язык символов

позволяет, по Генону, проникнуть к истокам Традиции и наметить пока еще возможные пути преодоления того кризиса, в котором оказалась цивилизация, прежде всего западная, самонадеянно отказавшись от столь естественной и необходимой связи с «надчеловеческим». В то время как в полностью традиционных цивилизациях «нет ничего профанического, так что лишь вследствие глубокой дегенерации можно было прийти к строительству домов без определения для себя каких-либо иных задач, кроме удовлетворения чисто материальных потребностей их обитателей, и к тому, чтобы эти последние, со своей стороны, смогли довольствоваться жилищами, задуманными исходя из самых узких и низко утилитарных целей». И ведь действительно, как-то скучновато жить в наших панельных многоэтажках, которые никому не приходит в голову сориентировать хотя бы по розе ветров, не говоря уже о чисто метафизических изысках.

Некоторые элементы традиционных знаний обнаруживаются тем не менее и по сию пору: прежде всего в сфере бытования фольклора, к которому Генон относится с большим скепсисом и наличие «традиционных элементов», имеющих реальную символическую ценность, выводит не из «народных творений» как таковых, а из вещей «надчеловеческого» происхождения: «...народным же может быть единственно лишь факт „выживания“ этих элементов, которые принадлежат исчезнувшим традиционным формам». Народ в данном случае выполняет роль «подсознательной» коллективной памяти. Тем не менее объем сохраненных таким образом сведений эзотерического порядка может быть довольно значительным: последние носители угасающей Традиции таким способом — через народную коллективную память — старались сохранить то, что иначе бы исчезло безвозвратно.

Эти сведения невостребованными доживают до того момента, когда появится некто, готовый к их восприятию. Если говорить о французском фольклоре, то одним из таких восприимчивых является Клод Сеньоль, автор солидной работы «Евангелия от дьявола», недавно представленный российской публике сборником своей художественной прозы «Матагот».

В отличие от Генона, тоже родившегося во Франции, но уже в молодом возрасте принявшего ислам — и посвятившего жизнь служению Традиции в ее максимально «кристаллизованном» виде, Клод Сеньоль сосредоточил свои усилия собственно на изучении и популяризации французских «поверий, сказок и фольклорных рассказов о нечистой силе», к которым он, впрочем, относился не как к предмету чисто научного интереса, но как к живому опыту. Еще в юности с ним приключались разного рода «визионерские» происшествия, которые, возможно, и положили начало серьезному изучению предмета. В послесловии к «Матаготу» (принадлежащем перу уже упоминавшегося в связи с Геноном Юрия Стефанова) о разнице между научными трудами Сеньоля и его художественной прозой сказано, что они похожи на сообщающиеся сосуды. «Разница лишь в том, что одни из пробирок и реторт отлиты в форме специальных монографий, другие принимают вид документированных фольклорно-этнографических записей, третьи огранены и отшлифованы таким образом, что несведущий читатель вправе принять их за „черную фантастику“». Справедливости ради отметим, что как беллетристика творения Сеньоля далеки от совершенства (особенно если их сравнивать с прозой Мирчи Элиаде, также совмещавшего научные изыскания с литературно-художественным творчеством). Клод Сеньоль, похоже, в большей степени исследователь, нежели художник. Посему не случаен тот, отчасти забавный, факт, что послесловие, отсылающее к более широкому кругу работ Сеньоля и дающее эзотерическую трактовку почти каждого произведения, читается с гораздо большим интересом, чем, например, неоправданно растянутые и оттого скучноватые новеллы «Мариволчица» или «Меченая». Лучшие вещи в сборнике те (да простят нам столь «линейный» подход), что покороче: «Чупадор» (о некоем господине, тело которого таинственным и невидимым образом каждую ночь все более и более обескровливается, а все потому, что художник по имени Эль Чупадор, существо явно инфернальное, рисует свои страшноватые картинки, вместо чернил обмакивая перо в пятнышко крови на носовом платке, взятом им в качестве гонорара у нашего героя — типа, надо признаться, малоприятного); «Зеркало» (об актрисе, после аварии и пластической операции приехавшей в уединенный дом, дабы снять повязки

и взглянуть на себя в зеркало, — от резкого движения амальгама осыпается, зеркало превращается в прозрачное стекло — и пред очами героини появляется чудовищная маска, которая на самом деле совсем не ее лицо, но актриса об этом не знает, кончает с собой, бросаясь в море, откуда ее вылавливают по-прежнему прекрасной); «Матагот» (о человеке, поселяющемся в малопривлекательном доме, где вокруг по ночам что-то воет и шевелится, о том, как он находит в ящике труп черного кота Матагота...). Но — остановимся. Пересказ получается каким-то уж слишком ироничным, если не издевательским. Речь же на самом деле идет о вещах вполне серьезных и страшных — ни больше ни меньше, как о борьбе Добра и Зла, причем борьбе вовсе не сказочной. Во всяком случае, Сеньоль утверждал, что многие сюжеты им не выдуманы, а взяты из самой что ни на есть реальной действительности. Как говорится, автор предупреждал... И все же есть уверенность в том, что небеллетризованные «Евангелия от дьявола» будут посильнее повестей и рассказов — как в нашем отечественном случае «Поэтические воззрения славян на природу» А. Афанасьева гораздо занимательнее фольклорно-исторических романов А. Вельтмана. С другой стороны — кому что нравится. Для предварительного же знакомства «Матагот» хорош, тем более что при желании книгу можно читать как своего рода пособие, упражняясь по ней в поисках следов подлинной Традиции и посланий древних жрецов.

И это — уже без шуток. Генон не зря подчеркивал, например, то, «как неправы насмехающиеся над сказками, в которых речь идет о „языке птиц“; очень легко и просто высокомерно третировать как „предрассудки“ все, чего не понимаешь. Но древние — они-то хорошо знали, что они хотели сказать, прибегая к символическому языку». Или выстраивая лабиринты. Хотя бы на бумаге. Лабиринт, с одной стороны, закрывает доступ к месту инициации для «непосвященных» профанов, с другой — является тем единственным путем, которым этого самого «посвящения» только и можно достичь. Хотя бы умозрительно. Рене Генон и Клод Сеньоль (даже если судить только по его беллетристике) знают гораздо больше, чем говорят. Они указывают вход в лабиринт и дают некоторые ориентиры. В остальном же полагаются на интуицию и здравый смысл читателя. Ему следует или вовремя остановиться, или уж идти до конца. Чем это чревато? И что там? Не знаю. Пока не видел. Разве что во сне.

Игорь КУЗНЕЦОВ.

*

«ТО, ЧТО ЗНАЮТ В СЕБЕ СЛОВА...»

А. В. Михайлов. Языки культуры: риторика и история искусств. Ключевые слова культуры. Самоосмысление гуманитарной науки. Учебное пособие по культурологии. М., «Языки русской культуры», 1997, 909 стр.

... Он очень не любил беспроблемности. Я вполне отдаю себе отчет в невозможности так начинать разговор о книге и ее авторе (вернее, об авторе и его книге). Но я ничего не могу тут поделаться: разговор об этом человеке для меня всегда начинается с полуслова, полуфразы, потому что вот уже два года со дня его смерти разговор этот ни на день не прекращается для меня. Несколько лет — последних лет его жизни — нам пришлось работать бок о бок, в самом тесном и непрерывном общении. И вот фрагменты прошлого, не усвоенного, не осмысленного вовремя, все вновь и вновь возвращаются ко мне, требуя додумывания, вникания, требуя — д о п е р е ж и в а н и я, не пережитые когда-то во всей своей полноте.

Тем же качеством — невозможности усвоения сразу, с ходу, необходимости возвращения, додумывания, до встречи с автором — обладают и его тексты. Александр Викторович Михайлов жил и думал на такой глубине (или — на такой высоте?), что очень немногие чувствуют себя там как дома, «на своем месте». На

это место поднимаются, как правило, с усилием, иногда даже — с насилием над собой, там разреженный воздух, там не выдерживают долго. Но всякое такое усилие вознаграждается безмерно щедро.

Ибо там уже нет ничего фальшивого, неистинного. И даже несогласие с автором принесет читателю щедрые плоды. Ведь в этом пространстве не может быть пустого спора. Спор здесь может быть лишь по существу — а значит, с неременным уяснением себе существа. Существо, сущность, целостность никогда не теряются автором из виду, о чем бы он ни заговорил. Существо не только литературы, не узко понятой культуры, но человеческого бытия в целом. И это постоянное присутствие существа позволяет исследователю быть предельно конкретным, внимательным к индивидуальности, особенности факта — факта живого и самостоятельного, а не убитого, препарированного и «употребленного».

Для всего творчества А. В. Михайлова характерно это уважение и доверие к факту истории культуры. Любой культурный объект для него — субъект. Субъект равноправный исследователю и даже превосходящий его своим знанием о себе самом. Александр Викторович как бы настаивает на смирении исследователя перед исследуемым. В статье «Диалектика литературной эпохи» он пишет: «Однако нужно сказать, что теоретические понятия литературоведения (тоже и искусствоведения в целом) никогда не бывают — или не должны были бы быть — „чистой” теорией, не бывают чистым, „голым” словом. Каждое понятие — но только, пожалуй, каждое своим индивидуальным способом — связано с реальной историей, да и с историей своего осмысления, каждое схватывает историей своего осмысления что-то важное в реальной истории, как и в истории литературы, — а при этом существует в научном употреблении далеко не в проанализированном до конца виде, выступает хранителем некоторой не до конца осознаваемой в каждом отдельном случае употребления полноты смысла. „Раскладывать” ее на части невозможно; слово знает и помнит больше, чем пользующийся им исследователь, и эта лишняя память подоспевает всегда к сроку, когда приходит пора постигнуть нечто прежде не замечавшееся в литературной истории».

Такое доверие к слову вознаграждает исследователя, даруя ему надежду. Михайлов как собственную болезнь переживал состояние культуры, которое называют постмодернизмом и иногда ошибочно, хотя и из лучших побуждений, относят на периферию культурно-исторического процесса. Рухнувшая иерархия культуры, распавшаяся «связь времен», времена и смыслы, толпящиеся вокруг нас, вместившиеся в наше время-пространство, ощущались им так остро, как редко кем из записных «постмодернистов». Но для него, в силу указанного его отношения к любому факту культуры, эти беспорядочно столпившиеся смыслы были призывом и требованием к осмыслению и уяснению их, к нахождению для них места, где они могли бы существовать в соответствии со своей природой, адекватно себе.

Подчиняясь этому призыву, он и читателя пытается заставить «понять, что все, что *было* и еще *будет* в истории, а) находится в окружающем нас пространстве — назовем его „духовным”; б) принадлежит *нам*; в) затрагивает и „касается” нас как находящееся в нашем окружении г) и как зависящее от нас в том смысле, что только от нас зависит, дадим ли мы, позволим ли мы быть *самим собою* всему бывшему до нас или же мы будем присваивать себе все бывшее до нас, настаивая на своем праве изменять и переименовывать по своему усмотрению то, что было бы *иным* в отношении к *нашему*, к *своему для нас*».

Исследователь настаивает на уважении к «другости» другого, на умении понять, оценить, полюбить иное как иное, не подогнав его под свои мерки, не исказив его так, чтобы оно, забыв себя, способно было отразить только нас. Но вместе с тем он требует сделать другого «другом», а не просто иным, уроднить себе его, поняв, что каким-то образом, в силу той исторической ситуации, в которой мы все оказались, все и *н о* стало иметь к нам непосредственное и требовательное отношение. А разрешение этой непростой задачи, возможность ее разрешения заключается в словах, в знании слов о себе, в полноте смысла, сохраняемого словами вопреки утверждению постмодернизма об опустошенности всех слов. И если мы, замороженные идеей пустоты слов, пройдем мимо, не заметив несомых ими

смыслов, смыслы не исчезнут, они дождутся своего «другого», способного их разглядеть и извлечь. «Говоря иначе: в пределах науки о литературе мы, пытаясь зафиксировать свое (полученное нами) знание, всегда встречаем на своем пути *слова*, уже прошедшие полпути по направлению к нам: нам же не остается ничего иного, как вложить *наше* знание в *их* знание».

Уважение к факту не приводит исследователя к тому, что факт (его внешняя сторона) заслоняет собой все, но, напротив, оно позволяет заметить его теоретическую, философскую полноту, его содержание в себе своих оснований, его онтологичность, его связанность со всем вокруг него. «Напротив того, — описывает Михайлов ситуацию в немецкой науке первой половины XX века, — упорно державшийся в низах науки эмпирический позитивизм, казалось бы цеплявшийся за все фактическое, пришел к полному обесценению факта, что доказывает целый легион слабых и средних немецких диссертаций межвоенного периода, которые почти всегда лишь приблизительны и не позволяют полагаться на себя; но так это и должно было случиться, позитивизм программно слеп, у него отнято видение, и он не знает конечных целей своих штудий».

...Он очень не любил беспроблемности. Проблемы настигали его (вернее, он постигал их) там, где для многих сияла лишь обманчивая ясность слова, понятия, термина. Перед его проницающим взором отступал ложный блеск, в понятии начинала темным клубком разворачиваться его история, прочерчивая всю сложность меняющегося внутреннего смысла слова, казавшегося таким привычно определенным — и легковесным в своей определенности.

Один из наиболее ярких опытов такого рода — работа «Из истории характера», где отжатый и формализованный к тому моменту термин вспоминает о своем происхождении (характер — греч. «черта», «оттиск», «печать») и рассказывает о длинном пути своих переосмыслений на фоне глобального процесса *интериоризации*, процесса, «при котором различные содержания мира обнаруживаются как принадлежащие человеку, человеческой личности, как зависящие от нее и направляемые ею, как коренящиеся в ней, как внутреннее человеческое достояние». При этом каждая, казалось бы, узко определенная в своих границах (иногда, на первый взгляд, почти схоластических!) проблема обнаруживала столько жизненности и насущности, что в исследовании, посвященном «характеру», мог появиться следующий пассаж (вроде бы — отступление, на самом деле — узел той же проблемы, узелок, завязанный на память всей науке: это можно осмысливать так!): «...с ним (с процессом *интериоризации*. — Т. К.), заметим, взаимосвязаны и столь драматично складывающиеся отношения человека с природой постольку, поскольку объективизация природы, противопоставление ее человеку как чего-то чуждого по своему существу одновременно означает освоение, т. е. нечто подобное присвоению ее в качестве — скажем так — периферийной собственности на границе своего и чуждого».

«Характер» не просто выступает (из состояния беспроблемности) как проблема для современного читателя, оказывается, что «характер» многократно на протяжении истории своего бытия становился проблемой, и это означало поворот не только в его истории, но и в истории человеческого духа, в истории осмысления человеком себя самого. Трагедию Еврипида, застывшего почти в отчаянии перед внезапно открывшимся расхождением, несоотнесенностью даже, внешнего и внутреннего, отсутствием на видимом адекватной отметины сущего, до читателя доносит во всей ее внезапной неотвратимости слово «характер». И оказывается, что слово может быть местом встречи и понимания для людей и эпох (а не местом невстречи и разделения, как это слишком часто бывает). Требуется лишь доверчивое вслушивание (к сожалению только, способность к доверию и способность к слушанию слишком редки ныне).

...Он не любил беспроблемности как иллюзии понимания, иллюзии, роковым образом закрывающей на самом деле всякую возможность понимания, первым шагом к которому служит сомнение, спотыкание: «это мне непонятно». Спотыкание об инаковость вещи, преодоление иллюзии ее тождественности постигающему субъекту. Он любил напоминать, что «„прекрасное трудно” (не только для созда-

теля, но и для воспринимающего)». И камнем преткновения должна была стать история — не «объективная» история (в сущности, бесппроблемно написанная из одной точки, где уютно расположился исследователь), но история самоосмысления культурных эпох. Любое понимание (в том числе — понимание своего непонимания) должно начинаться с выслушивания — эта простая мысль еще и сейчас покажется кому-то почти крамольной. Ибо, как пронизательно заметил Абрам Терц: «Забавно, когда обнаруживается, что за всей этой серьезной научной аргументацией, в качестве исходного пункта, молчаливо стоит одно простое и твердое допущение, что древние люди были дураками».

Доверчивому вслушиванию (стремлению понять, опираясь на презумпцию наличия смысла, наличия целостного видения мира, которое стоит постигать) открывается не только слово, но музыка, живопись — любые «слова» искусства. «Центром тяжести» в творчестве Михайлова становится именно этот его «общий метод», позволяющий ему проникать в самые разные области искусствознания, делающий его именно философом культуры, способным осмыслить любую частность в непрерывном сопряжении с медленно катящим свои воды целым (иногда, впрочем, это целое оборачивается стремительным потоком).

Таков, например, его анализ творчества Эдуарда Мане, совершающего нечто очень важное внутри набирающего скорость девятого вала искусства XIX века. В живописи Мане механическое и противоречивое сочетание, характерное для реализма середины века, сочетание мгновенности, сиюминутности и бытийности, сущности, разрешается в некую «продленность», внутри которой мгновенное становится способом выражения существенного. Реалистически (я бы сказала — натуралистически) «случайное» окружение изображенной на полотне фигуры становится проявлением ее внутреннего мира, как бы ее энергетическим истечением. Поэтому смысловым центром полотна, организующим его единство, оказывается в згляд. «Это искусство тончайших и тончайшим образом соуравновешенных взглядов, причем зритель совсем не всегда видит глаза, всю интенсивность взгляда которых он сразу же чувствует».

Из того, что делает Мане (и в чем привычно видят «случайное схватывание мгновенного движения и передачу пространства, пропитанного воздухом и солнцем, черты импрессионистического письма»), исчезает случайность, внутренняя задача художника углубляется, навстречу читателю и зрителю выходит смысл, понятнее становится не только творчество Мане, но и пути движения искусства в XX веке. Каждый раскрытый в своем смысле этап этого движения бросает далекий свет как назад, так и вперед. И каждый такой этап — лишь момент «продленного» исследовательского взгляда «на процесс глубокого переосмысления человеческой личности на протяжении трех тысяч лет».

И вот, при этой глубине и неформальности исследовательского подхода, — вечная трепетная оговорка, еще и еще демонстрирующая почтение и уважение автора к тому, что столь непочтительно принято называть его «предметом»: «Мане, конечно, никак нельзя сводить к какой-нибудь формуле. Все „формульное“ здесь и выше — не что иное, как косноязычные попытки уловить смысл перемен, совершенных Мане».

Любой приведенный пример — лишь один камешек многоцветной россыпи, где каждому дано засиять собственным светом в заботливых и чутких ладонях автора. Героями Михайлова становятся Вагнер и Пикассо, Гриммельсхаузен и Жан-Поль, Гёте и Фонтане, Моцарт и Вакенродер. Здесь нам явлен тот тип читателя, зрителя, исследователя, по которому тоскует всякое искусство.

С этой книгой не хочется расставаться. С ней хочется жить, и, пожалуй, с ней можно жить счастливее. Ибо к ней в точности применимы слова Ф. М. Достоевского, отнесенные им к литературе, но, наверное, адекватно выражающие смысл искусства вообще, постигаемого умом глубоким и чутким: «Конечно, литература и все ее впечатления далеко не составляют всего, но она способствует к составлению всего».



НЕКРАСОВ У ЯРОСЛАВЦЕВ

Н. А. Некрасов. «Да, только здесь могу я быть поэтом!...». Избранное.
Составитель Н. Н. Пайков. Ярославль, «Верхняя Волга», 1996, 584 стр.
Б. В. Мельгунов. «Всему начало здесь...». (Некрасов и Ярославль). Ярославль,
«Верхняя Волга», 1997, 240 стр.

«...Кому он нужен, ваш Некрасов? Его теперь никто и не читает. А вам лишь бы юбилеи отмечать. Они к тому ж у Некрасова не слишком круглые», — сетовала одна столичная критикесса, узнав, что еду в Ярославль, где когда-то родился и почти полвека назад окончил школу, дабы среди прочего поинтересоваться, что будет происходить на родине поэта в связи с памяtnыми датами его жизни: в 1996-м исполнилось 175 лет со дня рождения поэта, в 1997-м — 120 со дня кончины. Хотелось надеяться, что родной город не забудет напомнить о них хотя бы выпуском новых книг.

Действительно, издательство «Верхняя Волга» — несмотря на большие финансовые трудности — в прошлом году выпустило том нового «Избранного» Николая Некрасова «Да, только здесь могу я быть поэтом!...» и работу Б. В. Мельгунова, где некрасовские слова тоже вошли в заглавие: «„Всему начало здесь...“». (Некрасов и Ярославль)». Некоторое единообразие в подходе к выбору названий объясняется, должно быть, общей спецификой новых книг, которую определил в послесловии к «Избранному» доцент ярославского педагогического института Н. Пайков: он предлагает рассматривать всеобщее и национальное в некрасовском творчестве как «явленное в исходном кристалле семейного и локально-культурного, местного, в нашем случае — ярославского воплощения».

«Избранное» представляет жизнь и творчество классика как бы срезом могучего дерева, развитие которого можно проследить по годовым кольцам. Каждый раздел обширного тома, посвященный одному из творческих периодов, сопровождается подробной, разнесенной по годам и даже важнейшим дням хроникой, а рядом с ней идет соответствующая выборка воспоминаний, писем и документов. Таким образом, неотделимая от работы жизнь поэта, особенно та ее часть, которая протекала в Ярославле и его окрестностях, предстает во всей полноте.

...Б. В. Мельгунов — не ярославец, а петербуржец, сотрудник Пушкинского дома, занимающийся «Некрасовым в Ярославле» уже второе десятилетие. В предисловии автор объясняет, чем это вызвано: когда он — в числе других ученых — трудился в Пушкинском доме над академическим Полным собранием сочинений Некрасова в 15-ти томах, то при подготовке комментариев его много раз ставили в тупик проблемы именно «ярославского ареала», серьезно ответить на которые никто не пытался. «Скудость и неточность наших знаний о корневой связи великого поэта с родным краем поражают и удручают».

Признаюсь, такое утверждение меня сначала несколько озадачило: я с детских лет имею некоторое отношение к ярославскому краеведению — «ярославоведению», можно сказать. Потому у меня собралась порядочная полка книг, посвященных и Ярославщине, и Некрасову на Ярославщине в частности. Разве мало потрудились на этом поприще в 20 — 50-е годы В. Евгеньев-Максимов, В. Попов или — в более близкие к нам времена — многолетний директор некрасовского Дома-музея в Карабихе А. Тарасов, внучатый племянник поэта Н. К. Некрасов?

О Николае Константиновиче хотелось бы сказать чуть подробнее. Я был знаком с ним, кстати внешне весьма походившим на знаменитого предка, — приметы некрасовского рода «прочитывались» во внучатом племяннике. Он был внуком младшего брата поэта, долголетнего хозяина-распорядителя Карабихи Федора Алексеевича, и сыном Константина Федоровича, который в дореволюционные годы владел в Ярославле одним из лучших тогдашних провинциальных издательств и газетой «Голос».

...Мельгунову, однако, действительно удалось выявить такие факты в жизни и творчестве Некрасова, о которых другие исследователи совсем или почти ничего не писали. Например, по-новому вырисовывается облик вышеупомянутого младшего брата поэта — Федора Алексеевича; многие некрасоведы изображали его, как правило, этаким куркулом, скопидомом. Что ж, верно, дымилась у Федора в Карабихе винокурня, с прибылью торговал лошаадьми. Заметим, однако, что не будь всего этого, не сохранилась бы до наших дней любимая усадьба Некрасова, где им было задумано и написано столь многое, да и некрасовский род без Федора заглох бы: никто, кроме него, из детей Алексея Сергеевича Некрасова потомства не оставил, а ему две жены принесли двенадцать потомков. Но вот что самое любопытное: оказывается, Федор изрядное время заведовал в Питере у старшего брата редакцией «Современника» и тоже, таким образом, был в каком-то смысле причастен к занятиям литературой (как и некоторые другие Некрасовы). Под «некоторыми другими» я имею в виду прежде всего еще одного младшего брата, но постарше Федора, — неудачника Константина. Каждому из этих двух братьев Мельгунов посвятил по отдельной главе.

Жизнь Константина, и военная, и семейная, складывалась трудно, его преследовали бедность и болезни. Старший брат помогал, чем мог: на территории карабихской усадьбы он даже построил для младшего отдельный домик. Но Константин, несмотря на удары судьбы, писал стихи — эти несильные, грешащие излишней декларативностью сочинения Мельгунов обнаружил в «Ярославских губернских ведомостях».

Останавливает на себе внимание подзаголовок главы о Константине: «Еще один ярославский пиита». Но кто другие? Оказывается, многие земляки Некрасова и при его жизни, и в более поздние годы были причастны к стихосложению. Мельгунов нас с ними знакомит: это и словесники гимназии, где учился Некрасов, и авторы чудом дошедших до нас тогдашних ярославских альбомов и альманахов, в которых, вероятно, принимал участие и будущий великий поэт.

И вот вопрос: а стоит ли такой трудный и кропотливый литературно-краеведческий поиск затраченных на него усилий? Оказывается, да, хотя бы для того, чтобы оспорить утверждение некоторых исследователей — к примеру, Г. Гуковского — о том, что в Ярославле Некрасов получил «прежде всего литературное образование разночинца, ищущего культуры вслепую и приходящего в литературу самотеком». Мельгунов доказывает другое: к 30-м годам прошлого века, когда будущий классик учился в ярославской гимназии, в городе существовала полноценная культурная среда и губернская культура была высокой. Достаточно сказать, что в Ярославле в середине XVIII века открылся первый русский профессиональный театр — Волковский, а в конце того же столетия появился опять-таки первый в русской провинции литературный ежемесячник «Уединенный пошехонец».

При губернаторе К. М. Полторацком, правившем на Ярославщине двенадцать лет — в годы юности и молодости Некрасова, — наблюдался значительный всплеск культурной деятельности. Французский путешественник маркиз де Кюстин хоть и разделал в те годы «под орех» николаевскую Россию, но после приема у ярославского губернатора в 1839 году (Некрасову — 18 лет), по его словам, даже вообразил, что находится в Лондоне или скорее в Петербурге, а потому словно бы «дошел до пределов цивилизованного мира, чтобы найти французского духа XVIII века, того духа, который исчез на родине».

Обо всем этом напомнил автор книги «Всему начало здесь...», как и о том, что Некрасов, в молодости свысока относившийся к литературной провинции, тем не менее вскоре написал статьи и о ней, и о ярославском театре, где начали ставить его пьесы. Тогда статьи затерялись в редакции петербургского журнала, но Мельгунов как бы восстановил их из небытия.

И посегодня культуры наших столиц и провинции контрастно разнятся, во многом все остается так, как при Некрасове:

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России, —
Там вековая тишина.

Столичные жители зачастую глядят на провинциалов свысока, а те питают порою острую неприязнь к москвичам. Правда, Мельгунов утверждает: «...в его (Некрасова. — Б. Х.) родном городе начиналась культурно-просветительная работа, в результате которой была разрушена и навсегда исчезла (исчезла ли? навсегда ли? — Б. Х.) та невидимая преграда между провинциальным Ярославлем и просвещенными столицами Российской империи, тот культурный барьер, который и впервые и в одиночку был прорван дерзким парией Ярославской гимназии».

Тогдашние литераторы, жители Ярославля и выходцы из него, внимательно следили за творчеством своего ставшего знаменитым земляка; некрасоведы вспоминают, конечно, Ю. Жадовскую, на слова которой А. Даргомыжский написал романс «Я все еще его, безумная, люблю», исполняемый и сегодня, Л. Трефолева и И. Сурикова, чьи песни «Камаринский мужик», «Дубинушка», «Степь да степь кругом» стали поистине народными. И эти, и другие самобытные поэты шли во многом путем, проложенным Некрасовым. К ним, по-моему, стоило бы отнести и Максима Богдановича. Его отец, Адам Егорович, в начале века был крупным ярославским чиновником, а сын-поэт учился в тамошнем Демидовском юридическом лицее. Свои русские стихи он печатал в ярославской газете «Голос», издававшейся, напомним, племянником Некрасова. Влияние поэта-классика сказывалось и в белорусской поэзии М. Богдановича, которая зарождалась в Ярославле, на берегу Волги. Сейчас здесь открыт его музей, и это во многом благодаря тому, что отец литератора, заведовавший после революции библиотекой ярославского историко-краеведческого музея, смог в тяжелейшие годы сохранить архив сына.

Мои земляки из села Великого, недалеко от Карабихи, что раньше славилось своими ярмарками, льном и садами, считают, что «Зеленый шум» вдохновлен цветением их вишенников. Не знаю, насколько оправданна такая гордость великоселов, но бесспорно, что наше село, в котором поэт, конечно, не раз бывал, он упомянул в «Кому на Руси жить хорошо»: «Пахом соты медовые нес на базар в Великое...» Выходит, где-то по дороге из Карабихи в Великое и возник спор мужиков о том, «кому живется весело, вольготно на Руси».

В хронике «Избранного» приводятся такие, к примеру, некрасовские строки: «У всякого писателя есть своя своеобразность; у меня — реальность... Так как мне выпало на долю с детства видеть страдания русского мужика от холода, голода и всяческих жестокостей, то мотивы для своих стихов я беру из их среды». Недаром также напоминают новые книги, что по произведениям Некрасова можно изучать тогдашнюю топонимику округи, где он охотился, — ярославских, костромских, владимирских земель.

В связи с топонимикой позволю себе небольшое замечание о том, как правильно писать название одного села — Абакумцево или Аббакумцево. Некрасоведы пишут по-разному, а и сам поэт, и его внучатый племянник Н. К. Некрасов предпочитали народный, разговорный вариант — Абакумцево. Думаю, в орфографии стоит следовать за ними. В этом селе, расположенном рядом с некрасовским Грешневым, возле церкви, прихожанами которой были Некрасовы, похоронена мать поэта и стоит фамильный склеп, возведенный его отцом. В этом же селе Николай Алексеевич построил школу для крестьянских детей. Ее скромное двухэтажное здание сохранилось, и когда-то нам, юным краеведам, приходилось останавливаться здесь на ночлег...

(Кстати, неподалеку от Абакумцева, на берегу Волги, есть село Рыбницы, родина А. М. Опекушина, создателя знаменитого московского памятника А. С. Пушкину. Сохранился построенный им дом, где располагалась школа лепщиков. Сам Опекушин умер на родине в 1923 году в нищете и забвении. Сейчас, правда, его могила обихожена, в селе поставлен небольшой памятник. И все же далеко не каждый ярославец нынче знает, что ваятель московского Пушкина — их земляк. Тема ждет своего исследователя...)

В силу объективных обстоятельств получилось так, что Некрасов принадлежит не только литературе, культуре, но и идеологии Освободительного движения. В советское время поэта за это «канонизировали». И теперь его предстоит во многом прочитать заново, счищая шелуху вульгарной «канонизации» и идеологических подтасовок. Вот почему каждая сильная новая о Некрасове книга — во благо и читателям, и науке.

Современные провинциальные издательства, прежде всего федеральные, сейчас в упадке. К концу 1996 года из 64 федеральных издательств работали примерно 15. Так что федеральная ярославская «Верхняя Волга» считается среди своих братьев еще счастливницей. Некрасовские книги, о которых шла речь, издательству помогли выпустить — и на высоком полиграфическом уровне — Госкомиздат и областная администрация. Вообще классика начинает конкурировать сегодня на книжном рынке — лучше поздно, чем никогда, — с бульварной литературой, даже приносить прибыль. Не случайно, например, частное калужское издательство «Золотая аллея» приличными тиражами выпустило книги Карамзина, Костомарова, а такое же АО «Вешние воды» в Орле — Лескова и Бунина. И — не прогадали.

Литературные однодневки срывают куш — и тонут в Лете, а классики — всегда с нами.

Бронислав ХОЛОПОВ.

*

БОЙНЯ В КРЫМУ

А. Г. Зарубин, В. Г. Зарубин. Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму. Симферополь, «Таврия», 1997, 351 стр.

Об истории гражданского противостояния в Крыму в 1917 — 1921 годах написано множество и научных, и художественных (вспомним «Солнце мертвых» И. Шмелева и «Другие берега» В. Набокова) страниц. Это незаживающая рана в памяти многих поколений крымчан, и, конечно, не их одних. Однако по понятным причинам объективного и честного взгляда на Гражданскую войну в Крыму с привлечением самых разных источников как с той, так и с другой стороны — привлечением, подразумевающим сведение их воедино, — по сути, не было. И до сих пор многие страницы этой страшной летописи оказывались «неразрезанными». Вот недавний пример...

Некоторое время назад в горном урочище неподалеку от Ялты в развалинах бывшего имения адвоката Фролова-Багреева, некогда юридического представителя Николая II в Крыму, совершенно случайно было обнаружено захоронение сотен людей, злодейски расстрелянных большевиками в 1920 году после захвата Крыма красными и трагического исхода неисчислимого сонма наших соотечественников к «другим берегам». И таких мест в Ялте несколько...

Например, историю Багреевского расстрела можно косвенно восстановить по малоизвестной книге оказавшегося в то время в Ялте Сергея Маковского, поэта и редактора знаменитого «Аполлона», — «На Парнасе „Серебряного века“» (Мюнхен, 1962):

«...Трагедия занятия Крыма венгерскими коммунистами Бела Куна всем известна. Страшнее всего о ней сказал Максимилиан Волошин, спасаясь в своем Коктебеле:

Всем нам стоять на последней черте,
Всем нам валяться на вшивой подстилке,
Всем быть распластанным — с пульей в затылке
И со штыком в животе.

...Многие из людей... не успевшие или не захотевшие бежать, были убиты бесчеловечным образом... и 80-летняя старушка милая княгиня Барятинская, и Мальцовы, старшие и младшие. Вместе были убиты мои друзья-семеизцы: Мальцовы Иван Сергеевич и сын его Сергей Иванович с женой Марией Барятинской (беременной третьим ребенком. — С. Н.), и Семенова и ее отец генерал; всем по очереди пуля в затылок. Бела Кун не тронул только малолетних сына и дочь Сергея Ивановича Мальцова, которых увезли вглубь России. Лишь со временем удалось их выписать за границу через английское посольство. Я встретился с ними де-

сятью годами позже в Париже у моего старинного знакомого князя В. В. Барятинского...»

Здесь о каждом имени можно говорить как о зияющей кровоточащей ране. Княгиню Марию Владимировну Барятинскую, занимавшуюся благотворительностью, сделавшую так много для развития культуры Крыма, собиравшую картины (они сейчас украшают стены трех крымских музеев), и ее мать, Надежду Барятинскую, беспомощную старуху в инвалидной коляске, привязали к грузовику (об этом поведала Н. Л. де Брант, правнучка Н. Барятинской, ныне живущая во Франции и недавно побывавшая на месте гибели своих близких) и вывезли к месту расстрела. По лесу на дачу Фролова-Багреева проехать нельзя — значит, дюжие палачи несут на руках немощное парализованное существо, чтобы убить его через несколько минут.

Или Мальцовы, благодаря которым маленький приморский поселок Симеиз в начале века превращается в процветающий курорт. Во всех путеводителях тех лет их способ ведения хозяйства назван образцовым: они закладывают виноградники, строят виноподвалы, с их именами связано упоминание о первой Симеизской обсерватории... Плата за это одна — пуля в затылок! Спасибо товарищу Бела Куну, хоть детей пощадил. Об их дальнейшей судьбе рассказала та же Н. Л. де Брант. Звали их Николай и Анастасия. Каким-то чудом их удалось переправить в Сибирь, потом в Европу, в Париж. Анастасия Мальцова жива и сейчас — живет в Брюсселе. Ей 79 лет. А вот о судьбе дяди Николки (так она его называет) ей известно меньше: знает, что он умер и что его внучка Мария, итальянка по рождению, стала женой Иосифа Бродского.

Вот какие «странные сближенья» таит в себе горное урочище вблизи Ялты.

История завоевания Крыма «новыми гуннами» еще, повторю, практически не написана.

...Вышедшая в Симферополе книга А. Г. и В. Г. Зарубиных «Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму» является, пожалуй, изданием пока уникальным. Авторы, профессиональные историки, работали над ней несколько лет — с привлечением необозримого числа источников: от солидных монографий и исторических работ до бесчисленных газетных статей тех лет, сохранившихся разве что в Центральном госархиве Крыма (да и то в единственном экземпляре).

Главная ценность данного исследования — это стремление взглянуть на прошедшее социальное «землетрясение» максимально объективно, не выставляя никому оценок, не занимая ничью сторону, так сказать — по-волошински. Точнее, если говорить об оценках, им подлежит сама Гражданская война как страшная вежа в истории России. И Крыма в частности. Не случайно в посвящение книги вынесены слова: «ВСЕМ ЖЕРТВАМ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ». Или, как формулируют сами исследователи свое кредо: «Наша цель, — опираясь только на факты, — уловить внутреннюю логику событий, приглядеться к их участникам, мотивам их поведения».

Это, так сказать, главный пафос работы. Но есть и еще одна немаловажная сторона: многое из сказанного, особенно когда знакомишься с недоступными ранее материалами, звучит пугающе злободневно. Вот первые настораживающие толчки 1917 года. До военного противостояния еще далеко, но:

«Экономика страны, вопреки всем намерениям Временного правительства, продолжала катиться в пропасть. В Крыму ее спад летом — осенью 1917 года принимает характер полного развала. Промышленное производство фактически останавливается. В начале июля закрывается Керченский завод, резко сокращает выпуск продукции Севморзавод. Дороговизна, как писали газеты, породила „безотрадную картину нужды“».

Население перебивалось как могло. «Особо раздражала население принявшая повсеместный характер скупка недвижимости теми, кто нашёл капитал за время войны и теперь отнюдь не бедствовал. А нищета рядом с несправедным процветанием — прекрасный горячий материал для эскалации насилия».

Достаточно перелистать подшивки сегодняшних крымских газет, чтобы убедиться, насколько красноречивы и актуальны эти цитаты. Вообще говоря, огромный фактографический материал, скрупулезно извлекаемый на свет из архивных

недр, позволяет сделать картину происходившего стереоскопической. Один только перечень ежедневных газет, газетенок, листков и разного рода диковинных периодических изданий, выходявших в Крыму в те годы, достигает полусотни.

Книга разбита на пять больших разделов по числу «смутных» лет — с 1917 по 1921 год — и беспристрастно-документальна. Впрочем, иногда видно, что эта подчеркнутая беспристрастность дается авторам нелегко. Но ведь жесткие рамки подобной манеры изложения были заявлены ими заранее. Однако очень трудно оставаться «над схваткой» (я имею в виду читателя), вникая в свидетельства бессмысленного разрушения, патологической жестокости как с «красной», так, впрочем, и с другой стороны. Вот 1918 год:

«8 — 15 января ареной ожесточенных боев становится Ялта. В ночь на 9 января матросы прибывшего из Севастополя миноносца „Гаджибей“ вступают в сражение с эскадронцами¹. Участвует также авиация. Город переходит из рук в руки. Корреспондент столичной газеты свидетельствует: „Паника создалась невообразимая: застигнутые врасплох жители бежали в одном белье, спасаясь в подвалах, где происходили душераздирающие сцены... На улицах форменная война: дерутся на штыках, валяются трупы, течет кровь. Начался разгром города“. Ялта в конце концов была взята матросами. „Расстреляно множество офицеров. Между ними князь Мещерский, Захарато, Федоров. Расстреляны также 2 сестры милосердия, перевязывавшие татар“. Жертв насчитывалось до 200 человек» (газ. «Петроградское эхо»)².

Это большевики. Или, во всяком случае, анархистствующие матросы. Но, как известно, всякое действие рождает противодействие. Вот как в книге сообщается о событиях времен кратковременного властвования А. И. Деникина:

«Мартиролог жертв деникинского режима никогда не будет полным.

Август. Расстрелян за службу у большевиков офицер царской армии И. С. Статковский. Приговорены военно-полевым судом бывшие матросы Я. Карнаухов, Л. Каплин и другие. Расстреляно несколько соработников.

Сентябрь. Расстрелян за „благоприятствование властям Советской республики“ Н. Соломко.

Октябрь. Казнены И. Омельченко и его жена (служба в советских учреждениях), Ф. Романенко, В. Варшадский, М. Устименко, П. Тупицын, А. Шнуров (сочувствие советской власти), С. Семенюк (агитация против Добровольческой армии)...», «У нас нет даже приблизительных цифр о числе замученных и засеченных шомполами до смерти, но происходившие ежедневно расправы с рабочими говорят о том, что число это было огромное» (Штейнбах Е. М. Профессиональное движение в Крыму: 1917 — 1927 гг. Симферополь, 1927, стр. 46, 50).

Подобные «выбранные места» можно множить до бесконечности. В этой кровавой каше, когда противоборствующие силы, подчас просто расположившиеся в разных концах одного города, мобилизовывали под угрозой смерти — каждая в свои отряды — жителей близлежащих улиц, заставляя брата идти на брата, а сына на отца, невозможно разобраться. Победителей здесь уж точно не было.

И все-таки не следует забывать, что жестокость добровольцев была лишь ответом на зверства большевиков, никак не сопоставимым с их беспределом.

Помимо скрупулезного описания боевых действий, помимо множества удивительных человеческих судеб, освещенных в книге, здесь дотошно исследованы экономические, социальные, национальные и политические причины, приведшие к трагическому противостоянию на берегах благодатного побережья, предназначенного, кажется, ко всему, кроме того, что на нем случилось.

...В лесу, на месте Багреевского расстрела, о котором говорилось выше, сейчас стоит простой деревянный крест. Когда в поисках захоронения там шурфили сле-

¹ Эскадронцы — крымско-татарские воинские подразделения, подчинявшиеся Таврическому губернскому совету народных представителей (СНП).

² Между прочим, все это варварское кровопролитие происходит на улицах города, еще недавно бывшего «символом покоя и неги», а через год с небольшим подобные ужасы опишет в своем ялтинском «Дневнике» о. Сергей Булгаков, ставший к тому времени священником ялтинского собора Александра Невского (см.: О. Сергей (Булгаков). Из «Дневника». — «Вестник РХД», № 129-130).

жавшуюся землю, бур, с натугой пройдя около метра, вдруг провалился на глубину четырех метров, словно в пустоту (четырёхметровый слой органических останков!), и оттуда ударила черная страшная вода, а по лесу распространился невыносимый, зловещий запах — запах, который живому человеку сравнить просто не с чем...

И в заключение еще одна цитата, как бы подводящая итог трудным размышлениям авторов над судьбою Крыма:

«Доколе же Крыму пребывать полигоном выяснения отношений, полем столкновения интересов и бикфордовым шнуром гражданских и национальных конфликтов? Неужели население полуострова так и останется, как это было в 1917 — 1921-м, 1929 — 1930-м, 1944-м, 1954-м, 1991 — ? годах, лишь объектом давления сторонних вождельний, заложником властных игр, пленником геополитической случайности?

Если так — то гражданская война здесь будет продолжаться вечно».

Сергей НОВИКОВ.

Ялта.

АЛЕКСАНДР СОПРОВСКИЙ. *Правота поэта. Стихотворения и статьи. М., «Ваш выбор ЦИРЗ», 1997, 240 стр. (Библиотека Мандельштамовского общества. Т. 1.)*

...Когда читаешь стихи покойных друзей, они воскресают в памяти вместе с фонограммами их замерших теперь голосов, а потому вызывают особенно щемящее чувство. Тексты Леонида Губанова, Александра Величанского, Иосифа Бродского для меня навсегда ими же и прекрасно озвучены. Помню, как читал Александр Сопровский: патетично и — одновременно — не без толики юмора: «Я из земли, где всё иначе, / Где всякий занят не собой, / Но вместе все верны задаче: / Разделаться с родной землей», — стихи 1984 года, а кажется, что возникли сегодня.

Или: «Мы больше не будем на свете вдвоем / Свечами при ветре стоять. / Глаза твои больше не будут огнем / Не добрым и желтым сиять» — написано в двадцать два года; и двадцать два года назад впервые я эти строки услышал — от молодого человека с начесанной на лоб челкой, разом тучноватого и порывистого.

Наследие Сопровского (погибшего под автомобилем в декабре 1990-го), в общем, не велико и несколько хаотично; как мне представляется, он был предан не столько целенаправленному творчеству, сколько культуре в целом. (Одна из первых обширных публикаций

Сопровского на родине — «Новый мир», 1992, № 3.) Несколько десятков стихотворений (правда, многие из них с большим обаянием) да шесть эссе; но вечно актуальна основная идея, пронизывающая написанное Сопровским: убеждение, что эстетическое и этическое находятся не в антагонизме, но в плодотворном единстве. Еще в глухие подсоветские годы, когда, казалось бы, актуальным было совсем другое, а именно борьба с идеологической ангажированностью, поэт выступал против понимания творчества как игры и гешефта. Он определял и проповедовал его как служение, обязательно имеющее нравственную природу. Многие в его поколении — с аллергией к соцреализму — вообще отвергали «идейность» (а заодно и лиризм, ставя во главу угла озорство). Сопровский же, испытывая естественное омерзение к ее профанированию советскими литераторами, тем не менее всей душой был предан нравственному пафосу отечественной культуры, религиозно-гуманистическому его смыслу. Он был из тех людей, про которых хочется сказать, что они мыслят верно. Традиционное русское интеллигентское бескорыстие и беспокойство были обогащены у него и «веховством», и вдумчивой проработкой нашего религиозного ренессанса. Он вел борьбу на два фронта — и с творческой имморальностью, и с фундаменталистским и рационалистическим морализмом (точной, резонерством).

«Не столь давняя эпоха свидетельствует, как, например, российские поэты-декаденты своей „демонической“ безответственностью не только уродовали собственную, Богом им дарованную жизнь, — но и способствовали сгущению той атмосферы духовного беспорядка, в какой и пришлось тогда решаться судьбе России. Но та же недавняя эпоха со всей наглядностью показала: сам этот дух безбожия и бесчеловечности проистекает не из поэзии, не от поэтов — но от людей вовсе других профессий, не в последнюю очередь — от философов-идеологов. Равнодушие к ценностям — вот суть дела; щеголяющий же безответственностью декадент, образ которого столь пугает моралистов, лишь держит нос по ветру эпохи. Если же его дар сообщает аморализму особую притягательность, — то с тем же успехом можно винить и плотническое искусство в изобретении виселицы. Природа художественного творчества тут ни при чем».

Итак, Сопровский — на защите природы художественного творчества. Но тем ответственной должен быть мастер, чтобы не извратить, не профанировать богоданность этой природы. В 1981 году, когда вышепротитированное писалось, подобное рассуждение, конечно, не могло быть на родине автора обнародовано. Но и теперь эта его позиция была бы позицией одинокого рыцаря; сегодня многие и многие товарищи Сопровского по самиздатскому подполью делают имя и «бабки» именно на своей творческой безответственности и имморализме как новой, якобы единственно лишенной «догматизма» культурной установке — противоположной убеждениям Сопровского. Еще в 1980 году он емко определяет паниронизм андерграунда как «культурное поражение», когда «напрочь выветривается высокая ответственность поэта и даже элементарная литераторская ответственность».

«Как будто застыл на рекламном щите освобождающейся русской литературы один-единственный выразительный жест: высунутый язык».

Сопровский не без оснований пеняет М. М. Бахтину, которого новейшие литераторы берут себе в идеологические отцы основатели, за чрезмерную апологию иронического слова. И впрямь, есть слово авторитарное, по понятным

причинам не любимое Бахтиным и всеми здравомыслящими свободолюбцами, и есть — авторитетное (религиозное, например), их не надо путать. Слово авторитетное — скрепа мира, без нее он деморализуется (что, впрочем, в конечном счете понимал и Бахтин).

Статья, о которой я говорю («Конец прекрасной эпохи»), была опубликована в парижском «Континенте» в начале 80-х. Помню, как возмущенно качал над ней головой начальник Русской службы радио «Свобода» (давнишний эмигрант, в прошлом не лишенный ученых претензий филолог): «Как же это? Кто же это? Зачем же было печатать?» Ну что, казалось бы, высокого ранга клерку до безвестного российско-го самиздатчика и его статейки? Но чувствовалось, что тут затронут сам комфортный «символ веры» чиновного плюралиста, курировавшего американскую радиопропаганду.

...Сопровский ценит культуру обязанности в а ю щ ю ю — обязывающую к лучшему. Он первым в своем поколении ощутил и разглядел всю пагубу новой авторской, по-своему конъюнктурной, идеологии, которая тогда только формировалась — пока в подполье. Указал на ее — для отечественной культуры — опасность. И тем опередил время.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

*

В РАЗДУМЬЯХ О РОССИИ (XIX ВЕК). Ответственный редактор, составитель и автор вступительной статьи Е. Л. Рудницкая. М., «Археографический центр», 1996, 444 стр.

Читая эту книгу, нельзя не оценить парадоксальную удачу ее туманного названия. Сказанное — отнюдь не ехидный упрек. Дело в том, что посвящена книга проблеме, для которой не придумано точного имени. Есть, правда, общепринятое, звучащее торжественно и академично: история общественной мысли в России. Но формула эта неопределенна, почти таинственна.

В самом деле, что имеется в виду: авторефлексия общества, отраженная, скажем, в документах эпохи (дневниках, мемуарах, письмах), или вершинные образцы мысли об обществе? кто достоин представлять «общественную

мысль» — выразители массового сознания или, напротив, его критики и антагонисты — нередко мечтатели, утописты, визионеры? Непонятно, наконец, какие стороны жизни подлежат ведению «общественной мысли», к чему она близка в представлении человека наших дней: к социологии? к историософии?

Непроясненность терминологии побуждает согласиться с составителем сборника: уйдя от широко бытующего и все же невнятного словосочетания, Е. Л. Рудницкая сделала верный ход, продиктованный к тому же здоровым желанием уже с помощью заглавия привлечь к книге не только специалистов.

Здесь собраны статьи историков разных поколений и разных стран. Почти все работы посвящены «русскому философствованию» (формула Г. Г. Шпета), конкретнее — судьбе некоторых идеологических конструкций и мифологизированных представлений, таких, как русское мессианство, «закат Запада», уваровская триада «православие, самодержавие, народность», герценовская теория «общинного социализма», кавелинская модель «мужицкого царства». В большинстве статей речь идет о концепциях долгого дыхания, имевших мощную власть над современниками и, значит, оставивших отпечаток в том интеллектуальном пространстве, в котором живем и мы.

Уже хотя бы поэтому рецензируемый сборник решительно выходит за рамки узкоспециального издания. Правда, его авторы — и в этом безусловное достоинство книги — при всем разнообразии научных позиций едины в том, что не впали в соблазн публицистической хлесткости и ширококвещательных пророчеств. «Родовая причастность» к обсуждаемым проблемам не помешала им держаться вполне академических методов работы и избежать легких решений, столь сейчас популярных.

Несколько статей сборника, совершенно разных и по тематике, и по исследовательским приемам, объединены общей задачей, иногда сформулированной прямо: скорректировать сложившиеся представления об истории русской мысли, заново обдумывая их в единстве с тем материалом, который нельзя было непредвзято анализировать в советские годы. Эти попытки осуще-

ствляются с разной степенью убедительности. В. А. Китаев в статье о К. Д. Кавелине, не боясь пересказа и обильного цитирования, дал добротное описание системы взглядов одного из лидеров русского либерализма; напротив, статья Л. С. Яковлева о воздействии традиций Просвещения на русскую общественную мысль рубежа XIX — XX веков поражает обилием бездоказательных обобщений, захватывающих пространство всей европейской истории. Но неудачи, может быть, нагляднее всего свидетельствуют о том, сколь остро ощущается рубежность переживаемой нами исторической эпохи, а значит, рубежность исторического сознания, ищущего новый язык и новый стиль мышления.

Интересно, что со стороны кризис виден отчетливее. Витторио Страда (Италия), автор открывающей сборник статьи «В свете конца, в предвещии начала», посвященной судьбам русской интеллигенции, прямо пишет о еще не пройденном рубеже: «История интеллигенции... завершается сейчас кризисом огромных масштабов, вдобавок без провиденциальных или национал-мессианских надежд, только затемнявших пути выхода из предыдущих кризисов. Наступило время отрезвления...»

«Русское философствование» в самом деле должно стать предметом научной рефлексии, а не социальной игры. Рецензируемый сборник — один из первых шагов на этом пути. Шаг этот трудный, и, конечно, не все авторам сборника удалось. Однако здесь стоит говорить не столько об отдельных просчетах, сколько о тех реальных проблемах, которые стоят сегодня неразрешенными перед историками.

Потребность в переоценке привычных схем обычно рождает жажду ниспровержения стереотипов и эпидемию неожиданных сближений. Утолить эту жажду дано не каждому. А. Л. Зорину, например, блестяще удалось раскрыть генетическую связь уваровской триады не только с охранительной европейской философией (что известно и бесспорно), но прежде всего с идеями Фридриха Шлегеля и с концепцией национального государства, носившей в XIX веке характер по преимуществу революционный (это неожиданное и глубокое сопоставление многое дает для понимания истоков и природы русского просве-

щенного консерватизма). Убедительны и размышления Е. Л. Рудницкой о «сложном переплетении национальной идеи... с разнохарактерными по своей природе идеологическими парадигмами», о «парадоксальном сплетении консервативно-националистических идей Шишкова с самым левым направлением в декабризме». Однако далеко не всегда борьба со стереотипами плодотворна. Так, обнаруженная В. А. Твардовской «переключка» Ф. М. Достоевского и П. А. Кропоткина в их «поисках общественного идеала» вовсе не кажется «переключкой» или «диспут-диалогом». Прежде всего не убеждает метод подбора отдельных цитат: «сопоставление высказываний», вырванных из контекста, рождает натянутые сближения. Достоевский и Кропоткин, принадлежавшие к одной эпохе и осмыслившие общий круг проблем, говорят все-таки на разных языках — глубинное различие в мышлении атеиста и христианина никак нельзя сбрасывать со счетов.

Что же касается отмеченных Твардовской переключек — предчувствие близящихся катаклизмов мирового масштаба, мечта о воцарении социальной гармонии, пророчества скорого разрушения Запада, признание неизбежности войн и рассуждения об их обновляющем воздействии на нацию, негативизм в отношении демократических институтов, морализм в решении социальных проблем, — то все эти «переключки» в «споре-диалоге» Достоевского и Кропоткина — не что иное, как общие места эпохи. Все это было проговорено миллионы раз и либералами, и консерваторами. Наряду с Достоевским и Кропоткиным здесь могут быть названы имена К. П. Победоносцева, Н. К. Михайловского, К. Н. Леонтьева.

Одна из ярких статей сборника — размышления американского историка Теренса Эммонса о книге Натана Яковлевича Эйдельмана «„Революция сверху“ в России», вышедшей в 1989 году, в разгар перестройки. У Эммонса сложное отношение к этой книге. Он защищает ее от поспешной критики, выступая, однако, не в роли апологета, но в роли профессионала-историка, для которого сама книга Эйдельмана служит документом эпохи. В этом разборе сделана попытка без всякой предвзятости соот-

нести западную историографическую традицию и советскую, в лучших ее образцах. Статья превращается в неявный диалог, выводы читателю не навязываются. Более того, автор иногда отказывается от окончательных приговоров, не боясь слов: «Мы еще плохо это знаем...», «Разобраться в том, чья точка зрения на данный эпизод ближе к истине, мы здесь не можем...».

И этот дух самоограничения, и опыт диалога чрезвычайно знаменательны. Если действительно «наступило время отрезвления», как пишет в своей статье Витторио Страда, то перспектива, кажется, открывается именно здесь — в тяготении историков к общему языку, к сближению не только научных школ, но и культурных традиций, частью которых всегда оказывается историческая мысль.

Ольга МАЙОРОВА.

*

И. П. А. ФЛОРЕНСКИЙ: PRO ET CONTRA. Личность и творчество Павла Флоренского в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. СПб., Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1996, 747 стр. («Русский Путь»).

Давние и недавние споры вокруг П. А. Флоренского сведены настоящей антологией в увесистый том. Затруднительно сказать, что более занимательно: резкое столкновение мнений, случившееся вокруг работ о Павле еще при его жизни, или громкая полемика, вспыхнувшая несколько лет назад и с очевидностью показавшая актуальность его писаний для нашего времени.

Еще Е. Н. Трубецкой («Свет Фаворский и преображение ума»; здесь и далее ссылки на помещенные в антологии работы) как рецензент «Столпа и утверждения Истины» углядел у Флоренского неприязнь к логизму и установку на эстетический критерий как на последний аргумент в споре. Но ведь и послы крестителя Руси узрели в православном богослужении отсветы несказанной небесной красоты, отчего святой князь Владимир и отдал предпочтение византийскому Православию. Не с тех ли самых пор эстетическая наглядность пре-

красного определяет национальное религиозное самочувствие? «Православие не доказывается, а показывается», — эта максима из «Столпа...» стала крылатой.

Н. А. Бердяев, Г. В. Флоровский были антагонистами Флоренского по многим позициям, но выделяли они тот же эстетизм как доминанту его философствования, добавляя сюда еще стилизаторство и подчеркнутый архаизм. Это касалось по преимуществу «Столпа...» и работ, созданных и опубликованных в дореволюционные и первые послереволюционные годы (хотя внятной периодизации творческого пути Флоренского нам не встречалось и никакого перелома он, возможно, не знал, но в свои более поздние годы «Столпом...», кажется, тяготился).

Современные критики идут дальше: обнаруживают в писаниях Флоренского отвержение кантианского рационалистического «яда», усматривают у него установку не на методическое продумывание, а на инсценировку, показ идей (см., например, «Мысль как воля и представление» Ренаты Гальцевой). При всей полемической заостренности такого рода критика не лишена оснований.

Флоренский всю свою жизнь был символистом: вначале поэтом-символистом, издавшим книжку стихотворений, затем символистом в более принципиальном смысле, связанном с его попыткой создания «конкретной метафизики» и преодоления умозрительного философствования. С. С. Хоружий («Философский символизм П. А. Флоренского и его жизненные истоки»), наиболее полно исследовавший этот важнейший у позднего Флоренского аспект, дает такое емкое определение его философскому символизму: «Эта позиция утверждает, что ноумен и феномен нельзя обособить друг от друга, они слиты вместе в нераздельном единстве. Нет никаких отвлеченных духовных сущностей или абстрактных идей, ибо духовный предмет всегда конкретен, т. е. выражен в чувственном, явлен пластично и зримо. И нет никаких чисто эмпирических явлений, ибо всякое явление есть выражение духовной сущности, чувственный облик определенного ноумена. Таким образом, феномен и ноумен взаимно доставляют точное выражение друг друга, образуя неразделимое двуединство, которое, по определению,

есть символ. Конкретность же, главный отличительный принцип метафизики Флоренского, значит не что иное, как символичность, т. е. составленность всей реальности из символов. Соответственно и реальность в целом... составляет единый символ». (Ср. у игумена Андроника (Трубачева) «О творческом пути священника Павла Флоренского»: «Символ — это сущность, энергия которой сращена с энергией другой, высшей сущности, то есть, как это ни парадоксально звучит, это такая реальность, которая оказывается больше себя самой».)

Упорядочение, систематизация символов в итоге и должны были дать целостную картину мира. Такого рода символизм сообщил наследию Флоренского особый привкус, где при желании можно различить и магизм, и неоплатонизм, не говоря уже о защищаемом Флоренским «имяславии» («имя Божие и есть Сам Бог»). Отсюда недалеко до представления об идеях как о живых субстанциях в духе каббалистического учения о Шехине. Это вполне подтверждает младший современник Флоренского А. Ф. Лосев: «Бесконечность как живое существо, воспринимаемое чувственно, — вот в чем новость Флоренского» («П. А. Флоренский по воспоминаниям Алексея Лосева»).

В символизме о. Павла человеку уделяется не много места. Не случайно ряд исследователей отмечают, что Флоренскому не была близка характерная для русской религиозной философии идея «богочеловеческого процесса», что ему не удалось создать своей философской антропологии (и христологии тоже). Очевидно, здесь сказалось «конфессиональное» недоверие к сугубо «человеческому», православный страх «человекобожия».

Бердяев говорил, что Флоренский желает укоренить «психологию религиозного несовершеннолетия» («Хомяков и священник Флоренский»). Действительно, о. Павел так или иначе опасался религиозного взросления в человеке, полагая, что это приведет к «протестантскому субъективизму», к интеллигентщине. Он так никогда и не сделал ставку на личность — искал утешения в родовом, уходя в родословие как в родную для себя стихию. Персонализм, а если из более русского — толстовская

диалектика души, сердце как поле битвы добра и зла (по Достоевскому), — все это Флоренского касалось мало. Во всяком случае, не нашло заметного отражения в его творческом наследии. Нравственное опознание истины отделено взятым человеческим существом не стало для о. Павла источником вдохновения.

Один из авторов антологии Н. К. Бонечка («П. А. Флоренский и „новое религиозное сознание“») делает такое существенное наблюдение: «По Флоренскому, христианский этический идеал в современную эпоху пришел к самоотрицанию. Душевное подполье оказалось непобедимым, и, в сущности, Флоренский признал бессилие Церкви перед той реальностью, которую он обычно называет *волей*, следуя терминологии Шопенгауэра». О преобразении этой «воли», или, добавим от себя, «самости», на богочеловеческих путях у Флоренского мало что найдем. Здесь он для нас закрыт (не в этом ли смысле на боязнь открытого человеческого страдания у своего друга выразительно намекал В. В. Розанов?).

Но наш короткий отклик был бы неполным, если бы мы ограничились только критической частью антологии. Разумеется, вдохновенные речи о. Сергия Булгакова, С. И. Фуделя, Д. С. Лихачева и других тронут не одно читательское сердце и уверенно подержат «колеблемый столп». И разумеется, Истина, преданнейшим поклонником которой П. А. Флоренский был всю свою сознательную жизнь, своеобразно, но явственно отложилась в его сочинениях.

По своей харизме он был созерцателем горних сфер, а не оправдателем человеков. Но главное свое поручение по апостольскому преемству (ведь он был иереем, священником) исполнил — ловцом человеков стал. Сказавшаяся в его трудах Истина уловляла в позднесоветские годы, уловляет и сегодня.

II. Ф. Н. КОЗЫРЕВ. Испытание и победа святого Иова. Вступительная статья академика РАН В. Н. Топорова. СПб., «Алгоритм», 1997, 208 стр.

Гуманистическое сознание (скептический вариант которого в книге часто представляет К.-Г. Юнг), сострада не-

счастному Иову, усматривает в библейской сцене явления к нему Вседержителя «из бури» и в последующих речах Яхве к вопрошающему о справедливости и суде страдающему один из вопиющих фактов ветхозаветного попразия человеческого достоинства, человеческой меры вещей. Где тут божественные снисходительность, милосердие, всепрощение, забота Творца о Своем творении и прочие такие вещи, о которых твердят апологеты и проповедники?

В самом деле, наши этические мерки смущает демонстрация величия Божия перед лишившимся детей и вообще всякого обладания, покрытым струпьями, на своем гноище превратившимся в прах и пепел Иовом.

Ужасы устремились на меня.
Как ветер, развеялось величие мое,
и счастье мое унеслось, как облако.
И ныне изливается душа моя во мне:
дни скорби объяли меня.
Ночью ноют кости мои,
и жилы мои не имеют покоя.
С великим трудом снимается с меня
одежда моя;

края хитона моего жмут меня.
Он бросил меня в грязь,
и я стал как прах и пепел.
Я взываю к Тебе, и Ты не внимаешь мне,
— стою, а Ты только смотришь на меня,
Ты сделался жестоким ко мне,
и крепкою рукою враждуешь против меня.
Ты поднял меня, и заставил меня носиться
по ветру,
и сокрушаешь меня.
Так, я знаю, что Ты приведешь меня
к смерти
и в дом собрания всех живущих.

Так сетует безвинно страдающий праведник (скорбное недоумение «огорченной души», как удачно выражается Козырев).

И на первый взгляд есть какая-то неуместность, театральная рисовка в устремленном на этого несчастного величественном божественном пафосе.

Можешь ли возвысить голос твой
к облакам,
чтобы вода в обилии покрыла тебя?
Можешь ли посылать молнии, и пойдут
ли они,
и скажут ли тебе: «вот мы»?
Кто вложил мудрость в сердце,
или кто дал смысл разуму?
Кто может расчислить облака своею
мудростью
и удержать сосуды неба,
когда пыль обращается в грязь
и глыбы слипаются?

Что доказывает блистательно исполненный экзегетический этюд (этиюд в смысле непринужденного изящества отделки всего изложенного, а в смысле значительности — конечно, трактат, но безо всякой невыносимой тяжеловесности) Ф. Н. Козырева? Он последовательно и вдохновенно убеждает нас в том, что, во-первых, за демонстрацией божественного всемогущества, явленного в обращенных к Иову речах Яхве, кроется откровение о кенозисе, умалении Божества, то есть приоткрывается, прообразуется новозаветный смысл, во-вторых, содержание и стилистика этих речей, их многослойность лишь на поверхностный взгляд носят обличительно-сокрушающий по отношению к безвинной жертве характер. «Господь скорее журит Иова, чем обвиняет».

Во второй части обращения Вседержителя к Иову Козырев выделяет вместо первоначальных громовых раскатов, отlichtающих грандиозную теофанию (богоявление), некое «тихоевнейное» качество, а также связывает раскаяние Иова («я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» — Иов, 42: 6) не только и не столько с тем, что тот услышал, сколько с тем, что увидел (и чего нам, разумеется, видеть не дано). Переосмысление характера теофании возможно в случае, «если при таком обличительном вступлении... не терять из виду того отеческого благоволения Божия к Иову, которое выражено ему впоследствии», — автор не единожды удачно берет в союзники одного из самых тонких отечественных духовных писателей — А. М. Бухарева (известного еще как архимандрит Феодор).

В своих речах к Иову Бог вроде бы действительно говорит о том, что заботит Его Самого, а не о том, что печалит душу страдальца и что доставляет тому, помимо прочего, невероятные физические мучения. И это обычно смущает наш разум и сердце. Вот как поясняет этот момент Козырев: «Бог приходит на суд, затеянный Иовом, но не в качестве *ответчика*, как хотели бы атеисты, а в качестве *свидетеля*, могущего сообщить суду чрезвычайные факты, меняющие суть дела... Бог говорит в своей третьей речи о спасении и падшей твари». Появляется слово «спасение» и обетование о нем тогда, когда Яхве сообщает Иову о невозможности спастись соб-

ственною десницей, собственными силами. И в этом освещении раскрывается логика поначалу кажущихся устрашающими речей. Козырев пишет: «Слово „спасти“ звучит в самом конце речи Господа, но к нему стягиваются ее смысловые нити, оно приуготовляется всем ходом предшествующих событий. Всемогущество — свобода — спасение; в этих трех узловых понятиях, раскрываемых последовательно Господом в образах природных явлений, сосредоточена вся история мироздания. Иов должен был обзреть ее, всю сразу, с той божественной высоты суждений, на которую звал его Господь Своей речью. Он должен был вначале узнать о предвечном всемогуществе Божиим, о самоограничении этого всемогущества в наделении твари свободой и о восстании своевольной твари против Творца, чтобы получить, наконец, откровение о грядущем спасении твари искупительной жертвой Сына, а вместе с тем — и ответ на все мучившие его вопросы».

Таким образом, Бог, исходящий из бури, грома и тучи, постепенно нисходит к главной нужде Своего вопрошателя Иова (быть может, и не вполне им осознанной) и тем самым — умалется. Одно то, что Он предлагает Иову препоясать свои чресла как мужу, свидетельствует о желании говорить на равных, а приглашение помериться силами с Левиафаном: «клади на него руку твою / и помни о борьбе» (Иов, 40: 27), — самым мощным, совершенным и непокорным из Его созданий, «царем над всеми сынами гордости», указывает на то, какими силами искушаем был праведник.

Козырев прочитывает Книгу Иова как книгу богоусыновительную. Бог возводит к Себе Иова через невероятные и искусительные (для него и для нас) страдания. Но не по прихоти, а потому, что мера справедливости поколеблена в мироздании. Яхве не говорит прямо, что Сама Справедливость будет распята в мире на кресте, но выводит Иова за пределы тривиальных, принятых во вполне благонамеренной человеческой среде суждений о справедливости, которыми полны речи его друзей, — к иной правде, уяснение которой возможно через страдание.

Иов в некотором смысле прообраз страждущего Христа. У Козырева эта

мысль звучит постоянно. Но если Иисусу дано было знать о Своем бого-сыновстве, то на путях трудного усыновления Иова Козырев оправдывает его богоборчество вопреки благочестивому семинарскому пустословию, которое заслонена вся эта трагическая история. «Богоборчество Иова... было инспирировано не желанием самоутвердиться, а страхом потерять Бога», исканием Творца и Судии. Своим дерзновением Иов, не подозревая того, боролся с мироправителем тьмы и побеждал его непрерывным взысканием правды, «хождением перед Богом», пока Вседержитель не предстал перед Иовом воочию.

О каком «отеческом благоволении» у Бухарева, и вместе с ним у Козырева, идет речь? О том самом, какое дано в заключительной главе библейской Книги Иова: «И Господь принял лице Иова. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде» (Иов, 42: 9 — 10).

Как написал в своей весьма замечательной поэме «Иов. Свободное подражание священной книге Иова» Федор Глинка:

И жил наш патриарх-счастливец долго!
И внучатам твердили деды: «Он
Испытан Богом был — испытан строго:
Пустыня вся, страдальца слыша стон,
Дивилась, как он мог стерпеть так много!
Но Бог воззрел и — все былое сон! —
Темнит нас грех, но чистит огонь страданий,
И сладок плод от многих испытаний!..»

Соотнося свое исследование с канонической традицией, толкующей Иова как многострадального и многотерпеливого праведника (но вовсе не соглашаясь с упрощением ситуации Иова), автор расширяет трактовку библейского рассказа превосходной интерпретацией темы «положительного» нелюциферианского богоборчества, привнесением необходимых этических, психологических, вообще человеческих мотиваций, и это органичное о ж и в л е н и е позволяет нам уяснить сверхсодержание библейского образа. Не снимая с Бога ответственности за страдания Иова (каковой ответственности, как можно понять, не снимает с Него и библейская Книга Иова), автор целомудренно приоткрывает (следуя лишь текстовой основе) завесу над спасительными для человека тайнами

Промысла и дает одно из самых убедительных прочтений вечной книги, с которыми когда-либо нам приходилось сталкиваться.

Предисловие В. Н. Топорова не только удачно вводит читателя в предмет и проблематику исследования Ф. Н. Козырева, но включает в себе более общие мысли, касающиеся природы верующего сознания, его глубин, разрывов и обретений. В вопрошаниях Иова Топоров видит трагедию религиозного сознания перед лицом молчащего Бога, а в самом Иове — образ человека как такового, «парадигму человека». Предисловие энергично и свежо говорит о старых как мир вещах: разум, вера, язык веры, сердце как проводник веры. Рекомендую книгу Ф. Н. Козырева как «примечательное событие в христианском богословии», предисловие В. Н. Топорова само является соизмеримым событием как в теологии, так и в культурфилософии.

Олег МРАМОРНОВ.

*

Э. Л. ЛАЕВСКАЯ. Мир мегалитов и мир керамики. Две художественные традиции в искусстве доантичной Европы. М., Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, 1997, 263 стр.

Недавно скончавшаяся Элла Лаевская работала в трудном и редком жанре: то, что она делала, я бы назвал наукой с человеческим лицом, поскольку, адресуя свою книгу в первую очередь специалистам и нигде не переходя грань, за которой начинается популяризаторство, даже и высокого класса, она в то же время обращена к гораздо более широкому кругу читателей — ко всем, кого интересуют глобальные вопросы культурологии.

Разумеется, она в этом жанре не одинока — достаточно назвать имя Сергея Аверинцева, который, кстати сказать, был когда-то оппонентом на ее защите. Тоже редкостная, если не уникальная ситуация: Сергей Аверинцев, как всем известно, филолог, в то время как диссертация была искусствоведческая. И это не случайно. Элла Лаевская тяготела к тому, что Владимир Соловьев называл «цельным знанием». В то время как в науке преобладает тенденция все

большей дифференциации и анализа, она стремилась к интеграции и синтезу.

Мировая культура предстает в ее книге целостным динамическим организмом: автор последовательно развивает идею культурного моногенеза, миры культур никогда не разделены на автономные монады, но находятся в постоянном (порой драматическом) взаимодействии, переливаясь через умозрительно очерченные границы, — концепция резко противостоящая культурологической традиции, связываемой обычно с именами Освальда Шпенглера и его последователей (предшественники Николай Данилевский и Константин Леонтьев из этого ряда раньше обычно выпадали).

Лаевская анализирует феномены культуры, проявившей себя исключительно в образах, — этой культуре только еще предстояло в далеком будущем родить слово, сопринродное им. Автор начинает *ab ovo*: с наиболее древних зафиксированных наукой культурных проявлений человечества — «пещерной» и «стояночной» культур. Анализ образа ведет к реконструкции (насколько это вообще возможно) духовного мироощущения самых темных, совершенно безмолвных (для нас) и самых долгих — «доисторических» — эпох истории. И анализ этот оказывается принципиально разомкнут. Образ, представляющийся самодостаточным не только с искусствоведческой точки зрения, но и с точки зрения неспециалиста XX века, захваченного мощным эстетическим полем «первобытной» наскальной живописи, — этот образ оказывается инструментом сложных магических представлений и взаимодействий с миром.

Тут своего рода экспозиция культурной и духовной драмы, достигающей своей напряженной кульминации в противостоянии и взаимодействии двух культурных миров — мира камня и мира глины, мира мегалитов и мира керамики. Из этого плодоносного конфликта вырастает, по мнению автора, если не вся мировая, то уж, во всяком случае, вся европейская культура.

Конечно, упомянуты здесь и иерихонские трубы, но скорей уж между прочим. Хотя в рамках развитой в книге концепции связанная с ними история становится символической. Шафры коэнов протрубили конец мегалити-

ческой эпохи с ее гигантским, несоразмерным человеку, масштабом, магическими смыслами и культом смерти (смерть в иудаизме — источник нечистоты). Что ж, история (или символическое ее осмысление — в данном случае для нас это безразлично) порой не чуждается эффектов: пали циклопические стены Иерихона, самого древнего города на свете, а вместе с ними пала одна эпоха и началась другая.

Разумеется, это падение произошло лишь в принципе, мегалитические идеи не были окончательно погребены под обломками циклопических стен, они не только влияли, но и сегодня, хотя и в многократно трансформированных формах, продолжают влиять на мировую культуру. В рамки концепции Лаевской естественным образом укладываются и гигантские постройки XX века, и мавзолей на Красной площади — они не названы, но незримо присутствуют в книге.

В завершающей главе автор лишь намечает контуры развития темы, спроецированной в безмерно далекое будущее, которое для нас, читателей, естественно, представляется далеким прошлым. Не могу отказать себе в удовольствии процитировать фрагмент, отчасти дающий представление о стиле исследовательницы, — им завершается анализ специфики римской культуры, инспирированной, по ее мнению, и токами мегалитики:

«Мощные объемы, монументальные построения, грандиозные размеры ближе духу римских мастеров, чем вариации на темы эллинского зодчества. На небольшой территории древнего города вырастают, притертые одна к другой, огромные постройки, стремящиеся вырваться за теснящие их пределы квартала, улицы, площади. Захват пространства, который составляет пафос архитектуры Рима, воплощается в шагающей образности арок и акведуков, в размахе форумов, в растущих вверх зданиях... Римская пластика тяготеет к портрету, выросшему из погребальной урны и погребальной маски, из стремления закрепить, остановить, увековечить уходящий облик умершего... С этим художественным мироощущением сочетается и политическое осознание державности Рима, поглощение чужого пространства, чужих земель. Поздней-

шее существование западной традиции... претворяется в протяженность плана романских и готических базилик и в сравнительно раннюю замену иконы картиной с перспективным построением, в самосознание католичества как действенно вселенской религии и в пространственность ансамблей барочного Рима во главе с площадью Петра Бернини. Если на Востоке речь идет об умозрительном преобразении материи и пространства, то на Западе всегда об их преодолении. В ранних глубинах европейской культуры зарождаются такие жизнеспособные феномены, которые определяют затем многие черты греческой и римской художественной ментальности и входят составной частью в историю Церкви и в историю европейской цивилизации Средних веков и Нового времени».

Итак, формообразующие идеи доисторических эпох оказываются сквозными и стержневыми идеями всемирной истории и культуры. Понятно, это только модель, и, как всякая модель, она предполагает определенный уровень схематизма. Расставленные акцен-

ты позволяют проследить взгляд человека, глядящего на Рим из Афин, в то время как взгляд смотрящего из Рима в Афины увидит иное. А ведь можно еще взглянуть и из Иерусалима. Речь идет не о знаменитых памятниках: как раз и циклопические постройки замороженного Римом Ирода Великого, и построенный крестonosцами храм Гроба Господня (столь непохожий на свой византийский прототип) — типично «мегалитические» — легко вписываются в общую канву книги. Но взгляд с иного культурного и религиозного поля позволяет увидеть (сохраняя и используя методологические предпосылки Эллы Лаевской) иную картину.

Кстати, один из возможных выводов, как будто не предусмотренных автором, заключается в том, что и Рим с Элладой, равно как и феномены того, что она называет здесь Западом и Востоком, являются лишь исторически обусловленной и преходящей (содержание оказывается вторичным) аранжировкой двух «вечных» тем — камня и керамики.

Михаил ГОРЕЛИК.



Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Жоржи Амаду. Исчезновение святой. Роман. Перевод с португальского А. Богдановской. М., «ВАГРИУС», 1997, 384 стр., 10 000 экз.

А. Башлачев. Стихи. Составители А. Каменцева, А. Рахлина. М., при содействии издательства АО «Х.Г.С.» и фирмы «Центр Х.Г.С.», 1997, 192 стр., 1000 экз.

А. С. Грибоедов. Сочинения в стихах. М., «Сирин», 1997, 512 стр., илл., 10 500 экз.

Д. Данин. Бремя стыда. Книга без жанра. М., «Раритет-537», 1997, 464 стр., 5000 экз.

Жанр книги — «люди, годы, жизнь», которые вспоминаются и анализируются «ради надежды правдиво увидеть в былом и себя, и то, что ты любил».

Валерий Заворотный. Кухтик. Роман-сказка для детей среднего, старшего и пожилого возраста. СПб., «Атос», 1997, 262 стр., 1000 экз.

Повествование петербургского прозаика, написанное с использованием приемов плутовского и социально-сатирического романа о предперестроечных и перестроечных годах.

Николай Клюев. Стихотворения и поэмы. М., «Русская книга», 1997, 256 стр., 7000 экз.

Агота Кристоф. Толстая тетрадь. Роман. Перевод с французского А. Беляк. СПб., «Лимбус Пресс», 1997, 368 стр., 5000 экз.

Пер Лагерквист. Сочинения. В двух томах. Составление, вступительная статья и комментарии А. А. Мацевича. Харьков, «Фолио», 1997, 5000 экз.

Том 1. Повести и рассказы. Эссе. Пьесы. 1915 — 1939, 685 стр.

Том 2. Повести и романы. 1940 — 1967, 541 стр.

Двухтомник известного шведского писателя, лауреата Нобелевской премии (1951) Пера Фабиана Лагерквиста (1891 — 1974) журнал намерен отрецензировать.

Владимир Маканин. Кавказский пленный. М., «Панорама», 1997, 480 стр., 10 500 экз.

Книга вышла в серии «Русская литература. XX век». Попытка избранного, репрезентативного для современного состояния писателя. Имеет два раздела. В первом — «Из „Избранного“» — четыре рассказа («Человек свиты», «Гражданин убегающий», «Антилидер», «Где сходилась небо с холмами»); во втором — «Из прозы 90-х» — представлены последние повести («Сюр в пролетарском районе», «Лаз», «Стол, покрытый сукном и с графином посередине», «Квази», «Кавказский пленный»). Предисловие Натальи Ивановой.

Александр Мелихов. Роман с простатитом. СПб., «Лимбус Пресс», 1997, 464 стр., 3000 экз.

Первое книжное издание романа, известного читателю по журнальному варианту («Новый мир», 1997, № 4 — 5).

Сомерсет Моэм. Новеллы. Перевод, составление Л. С. Калюжной. М., «Звонница-МГ», 1997, 352 стр., 10 000 экз.

Ксения Некрасова. Стихотворения. М., «Слово», 1997, 104 стр., 1000 экз.

Анна Радклиф. Удольфские тайны. Роман. Перевод с английского Л. Гей. М., «Тerra», 1996, 576 стр., 8500 экз.

Француза Саган. Поводок. Окольные пути. Романы. Перевод с французского И. Писарева, А. Щедрова. М., «ВАГРИУС», 1997, 368 стр., 10 000 экз.

Тумас Транстрёммер. Траурная гондола. Стихи. Перевод со шведского Юрия Гурмана. М., 1997, 36 стр., 1000 экз.

Первая в России книга одного из ведущих поэтов современной Швеции.

В. Уфлянд. Рифмованные упорядоченные тексты. СПб., Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 1997, 334 стр., 1200 экз.

Даниил Хармс. Полное собрание сочинений. Том 3. Произведения для детей. Подготовка текста А. В. Коскелло, Д. В. Сажина. СПб., Гуманитарное агентство «Академический проект», 1997, 350 стр., 5000 экз.

Александр Шаталов. JFK Airport. Стихотворения. М., «Глагол», 1997, 130 стр.

Новая книга поэта «гендерной тематики»; предыдущая — «Другая жизнь» — рецензировалась в «Новом мире» (1997, № 6).



Геннадий Красухин. Пушкин. Болдино. 1833; Новое прочтение: «Медный всадник», «Пиковая дама», «Анжело», «Осень». М., «Флинта», 1997, 192 стр., 3000 экз.

Э. Радзинский. Николай II: жизнь и смерть. М., «ВАГРИУС», 1997, 512 стр., 15 000 экз.

И. В. Рак. Легенды и мифы Древнего Египта. 3-е издание, исправленное, дополненное. СПб., «Журнал „Нева“»; «Университетская книга», 1997, 192 стр., 5000 экз.

Нонн Панополитанский. Деяния Диониса. Перевод с древнегреческого Ю. А. Голубца. Вступительная статья А. В. Захаровой. СПб., «Алетейя», 1997, 540 стр., 2400 экз.

Ямвлих Халкидский. Жизнь Пифагора. Перевод с древнегреческого, комментарии В. Б. Черниговского. М., «Алетейя», 1997, 182 стр., 5000 экз.

Л. Н. Энгельгардт. Записки. М., «Новое литературное обозрение», 1997, 256 стр.

Первое полное издание одного из памятников русской мемуаристики — «Записок» генерал-майора Льва Николаевича Энгельгардта (1766 — 1836), поставившего перед собой задачу передать потомству сведения «касательно нравов... века, людей, образа жизни, обычаев, политических и военных происшествий и описание знаменитых людей» и описавшего три царствования — екатерининское, павловское и александровское.

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА



«Дружба народов», «Ex libris — НГ», «Звезда», «Зеркало», «Континент», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературная учеба», «Москва», «Московский комсомолец», «Невский альбом», «Новые Известия», «Новый журнал», «Постскриптум», «Россия», «Ясная Поляна»

Сергей Аверинцев. Стих о пречистой крови Христовой. — «Литературная учеба», 1997, № 5-6 (сентябрь — декабрь).

К 60-летию со дня рождения С. С. Аверинцева. В качестве послесловия печатается «Опыт словарной статьи о Сергее Аверинцеве» Ренаты Гальцевой. См. также его переводы «Из Книги псалмов Давидовых» в «Новом мире» (1998, № 1).

А. М. Бакунин. Условия помещика с крестьянином. Подготовка текста, вступительная статья и примечания Л. Агамалян. — «Новый журнал». Общественно-политическое, литературно-художественное издание. Главный редактор Анатолий Алексашин. Тираж 27 тысяч экз. Санкт-Петербург, 1997, № 2.

Краткий очерк российской истории с древнейших времен до царствования Александра I был написан в 1802 году тверским помещиком Александром Михайловичем Бакуниным (1768 — 1859), владельцем усадьбы Премухино, отцом знаменитого анархиста Миха-

ила Бакунина. Сочинение это автор отправил в Петербург к другу и родственнику А. Н. Оленину, в архиве которого в Российской Национальной библиотеке он и хранится в настоящее время (РО РНБ, ф. 542, № 806).

«Новый журнал», в котором очерк напечатан, — это не тот знаменитый нью-йоркский «Новый журнал», а другой, действительно новый питерский журнал, учрежденный Внешнеполитической ассоциацией, Всероссийским фондом милосердия и здоровья и Управлением Октябрьской железной дороги. Другие материалы номера менее интересны, проза вовсе не заслуживает внимания.

Александр Бараш. В ситуации горизонталей. — «Зеркало». Литературно-художественный журнал. Выпускается при содействии «Еврейско-русского художественного центра». Тель-Авив, 1997, № 5-6 (июнь).

Критические заметки по поводу романа Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» (М., «Вагриус», 1996). Хорошо, что в нынешней литературной ситуации возможен «эффект книжного шлягера». Плохо, что это эффект того же рода, что был с «Альтистом Даниловым» Владимира Орлова. «Похоже на то, что так же, как в АЛЬТИСТЕ, воплотились все на тот момент актуальные для советского интеллигентского мироощущения комплексы и радости, так и в ПУСТОТЕ смиксированы все возбуждающие современного российского человека эффекты». А именно: фабульность (action), астральность (буддизм) и компьютерность. Он и «пошел ровно настолько, насколько надо». «Как в свое время христианство Андрея Тарковского соответствовало main-stream-у средне-высшего слоя современников, так теперь и экстравертный, мягко говоря, буддизм Пелевина оказывается замечательной подкладкой для провинциального (на слишком грубой почве) декадентства и инфантильного (не поддержанного подлинным индивидуальным опытом) солипсизма». Резюме: «Бояться, впрочем, не надо. Хуже не будет. В конце концов, всего лишь еще одна книга».

Анатолий Барзах. О терминологичности. Поэзия А. С. Кушнера: 70-е годы, город Ленинград. — «Постскриптум». Литературный журнал. Санкт-Петербург, 1997, № 3.

Статья пятнадцатилетней давности с примечаниями 1997 года. Слова-термины и прозаизмы у Кушнера. Исследователь не считает «терминологичность» определяющей особенностью его поэзии, речь идет о «яркой историчности и особой репрезентативности именно этих (70-х годов. — А. В.) текстов и именно этого приема». Собственную работу автор тоже считает документом, несущим на себе неизгладимую печать времени.

Михаил Бобович. Белое море, 1966 год. — «Постскриптум». Литературный журнал. Санкт-Петербург, 1997, № 3.

Хорошая проза 1974 года. О поездке на Белое море — на биостанцию.

Алексей Варламов. «О дне же том и часе никто не знает...». Апокалиптические мотивы в русской прозе конца XX века. — «Литературная учеба», 1997, № 5-6 (сентябрь — декабрь).

Эсхатологическая проза Леонида Леонова, Чингиза Айтматова, Анатолия Кима и других.

Михаил Гаехо. Свидетель. — «Постскриптум». Литературный журнал. Санкт-Петербург, 1997, № 3.

Повесть о сектантах, экстрасенсах и конце света.

Аллен Гинзберг. Вой. Перевод с английского Александра Когана и Игоря Сагановского. — «Зеркало». Литературно-художественный журнал. Тель-Авив, 1997, № 5-6 (июнь).

Поэма датирована 1955 — 1956 годами. Написана знаменитым американским бунтарем и контркультурщиком Аленом Гинзбергом (1926 — 1997). С обсценной лексикой и примечаниями.

Василий Голованов. Ствол, подпирающий небо. Рассказ. — «Ясная Поляна». Литературно-художественный иллюстрированный журнал. Москва — Тула, 1997, № 2.

Прозаическое повествование одного из интересных литераторов новой генерации как результат нескольких экспедиций на Новую Землю и остров Колгуев. См. также его очерковое повествование о Русском Севере «Остров» в журнале «Дружба народов» (1997, № 5, 6).

Александр Гольдштейн. В пределах одного вдоха нет места иллюзиям. — «Зеркало». Литературно-художественный журнал. Тель-Авив, 1997, № 5-6 (июнь).

Эссе о японском прозаике и драматурге Юкио Мисиме. В России у Александра Гольдштейна вышла книга эссе «Расставание с Нарциссом» (М., «Новое литературное обозре-

ние», 1997), которая в минувшем году была премирована сразу Букером и Антибукером. В этом же номере журнала «Зеркало» напечатана беседа Александра Гольдштейна с известным художником-авангардистом Ильей Кабаковым, живущим сейчас в Нью-Йорке и убежденным, между прочим, что «вербальные формы лежат глубже визуальных».

Наталья Дардыкина. Любовь и предательство подруги Пастернака. — «Московский комсомолец», 1997, № 216, 14 ноября.

О продолжающейся судебной тяжбе из-за пастернаковских рукописей, изъятых при аресте у Ольги Ивинской и хранящихся ныне в РГАЛИ. А также о том, что Ольга Всеволодовна Ивинская была не только подругой и секретарем Бориса Пастернака, но и выполняла тайные поручения известных учреждений. Приводятся цитаты из ее многостраничного письма Н. С. Хрущеву от 10 марта 1961 года (Ивинская в это время находится в заключении, Пастернака уже нет в живых): «Я не считаю, что за мной нет вины, поскольку она есть за Пастернаком». Далее: «Пастернак действительно получал гонорары от иностранцев и жил на них со всем своим семейством». Далее: «Иногда он получал их через меня, а иногда через других членов своей семьи, а через меня получал потому, что в свое время мне было подсказано в наших вышестоящих организациях по возможности отстранять от него личные встречи с иностранцами, заменять его в этих встречах». Далее: «В архивах, которые я прошу следствие сохранить, есть доказательство, что я задерживала те письма Пастернака за границу (а они шли через меня), которые вне его воли... могли разжигать там нездоровые страсти. Есть люди, которые могут засвидетельствовать, как я старалась предотвратить печатание романа за границей... Когда он хотел уехать из России в момент отчаяния после получения Нобелевской премии, я помешала ему. Я сама обращалась за помощью в ЦК и старалась сделать все, чтобы скандал затих и П-к остался в России, я помогла ему прийти к решению писать письмо Вам, Никита Сергеевич».

См. также ответную статью Жоржа Нива и Мишеля Окутюрье «Муза Пастернака не была агентом советской власти» («Известия», 1998, № 5, 14 января) о том, что, потеряв после смерти поэта свою единственную защиту, «женщина, только что снова несправедливо осужденная, вполне могла, прибегнув к жалким, явно неискренним и надуманным оправданиям, просить фактически о сохранении жизни всеильную и мстительную власть».

Наталья Дардыкина ответила на выступление Жоржа Нива и Мишеля Окутюрье статьей «Вопреки любви» («Московский комсомолец», 1998, № 9-6, 19 января). Продолжение следует?

Никита Елисеев. Досуги библиофила. — «Постскрипtum». Литературный журнал. Санкт-Петербург, 1997, № 3.

О том, что прозаик Луи Фердинанд Селин является героем рассказа Набокова «Весна в Фиальте». Набоков и Олеша. Другие занимательные сюжеты.

Виктор Ерофеев. Не боятся одни дураки! Беседу вела Милана Богданова. — «Московский комсомолец», 1997, № 222, 22 ноября.

Обиделся: «Какую рецензию на меня написали в „Новом мире“! Она называлась „Русский маркиз де Сад, или Ерофеев без алиби“. Каждое слово дышит абсолютно чистой ненавистью...» Явно имеется в виду рецензия Евгения Еромолина («Новый мир», 1996, № 12).

Одновременно в газете «Новые Известия» (1997, № 13, 21 ноября) — еще одно интервью с Ерофеевым (беседу вел Сергей Пичурин): «Когда чувствую, что нужна „подзарядка“, еду в Непал, на Тибет, в Индию... Хотя Хемингуэй был прав, когда говорил, что колоссальную подпитку творчеству дают и деньги. По себе знаю, как легко пишется, когда знаешь, что получишь хорошие деньги. Появляется вдохновение».

Но «если он (дар слова. — А. В.) будет отнят у меня, я, может быть, уйду в монастырь». На бис, пожалуйста. «...может быть, уйду в монастырь... уйду в монастырь...»

Житие и чудеса Царевича-мученика Алексея Николаевича. Биография в документах. Составление, подготовка текстов, публикация В. В. Афанасьева и С. В. Лизунова. — «Литературная учеба», 1997, № 2, 3, 4, 5-6.

Впечатляющий монтаж документов, воспоминаний, дневниковых записей.

Алексей Иванов. Манифест «нерекрутивистов». Письмо друзьям. — «Литературная учеба», 1997, № 5-6 (сентябрь — декабрь).

Трогательно антибуржуазный манифест «тридцатилетнего» русского литератора. Против коммерции и меркантилизма. Невостребованность. Ущемленность. Мелодекламация. «Сама критика, призванная ободрять (? — А. В.), наносит ущерб молодым писателям». Рядом: «Пусть же не отнимут у нас молодые силы, не обворуют еще одно поколение, не растратят наше слово». Какой же изверг, если и захочет, сможет растратить их слово? Сами и растратят. Представляет интерес замечание манифестанта, что их новое поколение «искренних художников» возникло на страницах «Нового мира» во втором полугодии 1995 года.

Тут же печатается хороший, не нуждающийся ни в каких манифестах рассказ Алексея Иванова «Горсть малины». А также короткие рассказы тех самых «друзей» — Надежды Горловой, Маргариты Шарараповой, Владимира Березина, Игоря Славина.

Наум Коржавин. О Сталине мудром... — «Континент», № 93 (1997, № 3).

Продолжение разговора, начато статьи Н. Коржавина о приказе народного комиссара внутренних дел СССР Н. И. Ежова от 30 июля 1937 года «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов» (см.: «Континент», № 91). На этот раз о личности и деятельности Сталина. В частности, полемика с В. Суворовым.

Марк Костров. Розовый тут. — «Россия». Ежемесячный общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный журнал. 1997, № 10.

Очерки современной жизни. Новгородская деревня. С иллюстрациями Владимира Сальникова, адекватными своеобразной манере прозаика.

Виктор Курочкин. Урод. Повесть. — «Ясная Поляна». Литературно-художественный иллюстрированный журнал. Москва — Тула, 1997, № 2.

«Я не знаю в литературе после Чехова более благородной и нравственно безупречной вещи, чем „Урод“», — пишет Павел Басинский в статье «Орден Виктора Курочкина», играющей роль предисловия. «Виктор Курочкин — гениальный писатель. Под гениальностью я имею в виду, конечно, не масштаб творческой личности, но пушкинское понимание гения, отличительной чертой которого является простодушие. Это отсутствие нарочитости, мучительности, то есть «декаданса» в широком смысле слова». По мнению критика, Курочкин — писатель не для всех, его не понимают люди, лишенные литературного слуха, те, что «ищут в литературе „буквы“ и „смыслы“», а не стихию русской литературной речи, которая „сама по себе“ есть чудо и творчество». Одно но: повесть Виктора Александровича Курочкина (1923 — 1976) «Урод», впервые опубликованная аж в 1966 году, входила по крайней мере в два посмертных сборника его произведений — «Избранное» (1985) и «Осиновый край» (1990). Из обширной статьи Павла Басинского это не ясно.

Кстати, в этом же номере «Ясной Поляны» напечатаны короткие рассказы Надежды (!) Тэффи «Мой первый Толстой» (1920) и «Его жена» (1928). Строго говоря, писательницу звали просто Тэффи (она же Надежда Александровна Лохвицкая, по мужу Бучинская). Откуда публикатором А. Д. Романенко взяты тексты? По крайней мере рассказ «Мой первый Толстой» можно прочесть в молодоговардейском издании Тэффи 1990 года. Зачем тогда публикатор? В чем его роль?

Ольга Любимова. «Ты в поля отошла без возврата...», или Опыт истолкования «второго тома» лирики Александра Блока. — «Невский альбом». Журнал петербургской поэзии. Санкт-Петербург, 1997, № 1.

О. Любимова пытается пересмотреть существующую в блоковедении трактовку «второго тома» лирики Блока. Нет оснований считать, что поэзия второго тома свидетельствует о крахе мистической утопии «Стихов о Прекрасной Даме» (первый том), об отходе поэта от «соловьевства».

В этом номере «Невского альбома» печатаются стихи Ольги Бешенковской, Льва Давновского, Эллы Крыловой, Зинаиды Миркиной, Елены Елагиной, Алексея Д. Толстого и других авторов, а также рецензии на поэтические книги Иосифа Бродского, Елены Елагиной, Светланы Кековой, Зои Эрохи и других. К сведению жителей и гостей Санкт-Петербурга: журнал «Невский альбом» можно приобрести в «Университетском книжном салоне» (Университетская набережная, 11, филологический факультет).

Наталья Малаховская. Алеша. Повесть. — «Континент», № 93 (1997, № 3).

Художественно-документальная повесть о молодом композиторе Алексее Николаеве, покончившем с собой в ноябре 1977 года. Реконструкция характера. История болезни. «Неясность и неопределенность — суть того жанра, в котором написались это произведение». Наталья Малаховская с 1980 года живет в Австрии.

Юрий Малецкий. Автоапология автора, или Критика критической критики. Открытое письмо в отдел культуры журнала «Итоги» — и всем деятелям критического цеха. — «Континент», № 93 (1997, № 3).

Против критика С. Васильева (см. «Итоги», 1997, № 26), который *не так* написал о книге Ю. Малецкого «Любью» («Континент», № 88). Ликбез: как бы сам Малецкий написал о книге Малецкого. Не помню, кому принадлежит остроумное, почти гениальное замечание: писатель, высказывающийся о своем собственном произведении, становится тем самым в ряды критиков и может ошибаться вместе с ними. Кстати, об означенной книге Юрия Малецкого на страницах «Нового мира» писали Юрий Кублановский (1997, № 2) и Татьяна Касаткина (1997, № 3).

Томас Манн. Кровь Вельзунгов. Перевод с немецкого Елизаветы Соколовой. Послесловие Игоря Эбаноидзе. — «Ясная Поляна». Литературно-художественный иллюстрированный журнал. Москва — Тула, 1997, № 2.

Скандальная для 1905 года новелла. Инцест.

Павел Мейлахс. Беглец. — «Зеркало». Литературно-художественный журнал. Тель-Авив, 1997, № 5-6 (июнь).

Повесть: из России — в Израиль; жизнь и работа в Израиле; «авитаминоз души»; «так, значит, в Россию... там все-таки жизнь». Автор (род. в 1967) живет в Петербурге. В «Новом мире» (1996, № 3) печатался его рассказ «Придурок».

О встречах и невстречах. С Сашей Соколовым беседует Владимир Кравченко. — «Ясная Поляна». Литературно-художественный иллюстрированный журнал. Москва — Тула, 1997, № 2.

Очень длинная и содержательная беседа двух прозаиков. С неожиданными суждениями автора «Школы для дураков» о том, что у нормального человека, не политика, не может быть четких политических убеждений, или о том, что «реализм, и не только социалистический, как говорится, зажился». Или: «„Палисандрия” — это мой ответ на все исторические мемуары в мире». Замысел «Палисандрии» становится понятнее, а вот роман, на мой вкус, — вряд ли лучше.

Владислав Отрошенко. Последняя метаморфоза Овидия. Эссе. — «Ясная Поляна». Литературно-художественный иллюстрированный журнал. Москва — Тула, 1997, № 2.

О том, что единственным источником о мнимой ссылке Овидия являются его собственные поэмы. О том, что это остроумное эссе ранее печаталось в литературном журнале «Постскриптум» (1996, № 3), не сказано ни слова.

Дмитрий Панин. Из диктофонного дневника. — «Континент», № 93 (1997, № 3).

Публикацию фрагментов магнитофонного дневника русского мыслителя Д. Панина открывает небольшой биографический очерк, написанный его вдовой Иссой Паниной. Другие отрывки см. в «Независимой газете» (1997, № 213, 12 ноября). О жизни и идейном наследии Дмитрия Михайловича Панина см. также в «Новом мире» статьи Леонида Афонского «О будущей России — в тоталитарные времена» (1997, № 3), Виктора Бердинских «Восстание Дмитрия Панина» (1997, № 3) и Иссы Паниной «...Стремиться к высокой свободе» (1997, № 9).

Николай Переяслов. Фиолетовый рыцарь. — «Постскриптум». Литературный журнал. Санкт-Петербург, 1997, № 3.

О том, что Фагот-Коровьев в «Мастере и Маргарите» — это будто бы... Осип Мандельштам. Автор ищет доказательства своей гипотезе и в тексте романа, и во всей творческой и жизненной биографии Мандельштама вплоть до его поразительного пристрастия к букве «Ф». В традиционном постскрипте редакция «Постскриптума» отдает должное отваге сарматского эссеиста, с которой он шагает по заведомо ложной дороге.

Николай Покровский. Власть и Церковь на Руси. Заметки историка. — «Россия». Ежемесячный общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный журнал. 1997, № 8, 9, 10, 11, 12.

Цикл исторических очерков известного ученого, академика РАН.

Алексей Пурин. Утраченные аллюзии. — «Постскриптум». Литературный журнал. Санкт-Петербург, 1997, № 3.

Заметки, записи о разном. Набоков. Бродский. Ахматова. Кузмин. Анненский. «Сейчас, сейчас накинута и задушат, но скажу, скажу: „Поэма без героя” кажется мне стихотворным либретто в манере Модеста Ильича, написанным по мотивам „Форели...” (Михаила Кузмина. — А. В.)... Все в этом сочинении — ложь, все неважправдашно и нестрашно, как в оперной смерти Ленского». «Накинута и задушат» — так и назвал свою гневную отповедь Пурину Александр Рубашкин («Литературная газета», 1997, № 47, 19 ноября).

Вячеслав Пьеху. Революционные этюды. — «Континент», № 93 (1997, № 3).

«От любимой к любимой», «В ночь со вторника на четверг», «Мальчик с корзиной» — короткие рассказы известного прозаика.

Станислав Рассадин. Поющая в бездне. Портрет поэта на фоне поэзии. — «Континент», № 93 (1997, № 3).

О поэзии Инны Лисянской.

Ирина Роднянская. Язык православного богослужения как препятствие к раскультуриванию современной России. — «Литературная учеба», 1997, № 5-6 (сентябрь — декабрь).

Выступление на научно-богословской конференции «Евангелие в контексте мировой культуры» (Москва, 11 — 13 июня 1997 года). «Язык неба и язык улицы отстоят друг от друга на творчески продуктивное расстояние. Это залог „языкового расширения”, пользуясь термином Солженицына, и не только языкового, но и общекультурного, — без чего невозможны ни сознательная вера, ни культура, способная противостоять варваризации и в лингвистически буквальном смысле (учитывая нынешнюю агрессию варваризмов), и в переносном смысле этого слова».

В этом же номере «Литературной учебы» приводится записка русского мыслителя И. В. Киреевского (1806 — 1856) «О нужде преподавания церковнославянского языка в уездных училищах», напечатанная в 1860 году, уже после смерти автора, в журнале «Православное обозрение» (том 1, февраль) и воспроизводимая ныне по архивной рукописи (РГАЛИ). Публикация и послесловие В. В. Афанасьева.

А. Б. Сазонова. Записки заложницы. Главы из книги. Публикация А. П. Гагарина. Вступительная заметка В. А. Емеца. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1997, № 11.

Фрагмент обширных воспоминаний «Мои переживания в 1916 — 1924 годах». Анна Борисовна Сазонова (урожденная Нейдгарт), супруга последнего царского министра иностранных дел С. Д. Сазонова, была арестована в 1919 году в Симбирске и пребывала в большевистских тюрьмах в качестве заложницы.

Е. А. Свиньина. Письма в Париж (1922 — 1938). Публикация А. Б. Дуровой. Вступительная заметка и примечания В. Станкевича. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1997, № 11.

Письма Евгении Александровны Свиньиной (урожденной Лучинской; 1859 — 1942), вдовы генерала А. Д. Свиньина, из красного Петрограда-Ленинграда в Париж к Анастасии Борисовне Дуровой. Письма печатаются с сокращениями по машинописным копиям; оригиналы хранятся в РНБ (архив А. Б. Дуровой).

Валерий Сердюченко. Человек с пером. — «Континент», № 93 (1997, № 3).

Памфлет о современной словесности. Джентльменский набор: Ерофеев, Курицын, Яркевич. Теперь еще и Мелихов. Литературный быт. Литературный разврат. Словом, их, то есть писателей, нравы.

Борис Соколов. «Счастливая Москва» и «Мастер и Маргарита»: спор о городе и мире. — «Континент», № 93 (1997, № 3).

Михаил Булгаков и Андрей Платонов. Два романа. Сравнительный анализ.

Лидия Соостер. Время Юло Соостера. — «Зеркало». Литературно-художественный журнал. Тель-Авив, 1997, № 5-6 (июнь).

Воспоминания вдовы известного эстонского художника. «Встретились мы с Юло в заключении в 1955 году, осенью, город Караганда, долинка (Карлаг)». Лидия Соостер с 1990 года живет в Израиле.

Владимир Сотников. Покров. Роман. — «Ясная Поляна». Литературно-художественный иллюстрированный журнал. Москва — Тула, 1997, № 2.

Автор родился в 1960 году в Белоруссии, учился в Литературном институте, живет в Москве. Публикуется первая часть книги, имеющей свое продолжение. Приводится мнение критика И. Виноградова о том, что в романе Владимира Сотникова «рассказ о становлении героя настолько органически переходит в показ творчества героя — в его собственные рассказы, что все в целом образует именно некое искомое художественное единство — историю и образ души героя — рожденного, постепенно проявляющегося (стихийно), потом осознающего это и, наконец, реально „становящегося” писателя-художника».

Дж. Р. Р. Толкин. Мифопоэзия. Перевод Сергея Степанова. — «Невский альбом». Журнал петербургской поэзии. Санкт-Петербург, 1997, № 1.

Стихотворения английского филолога и писателя Джона Рональда Руэла Толкина (1892 — 1973), автора знаменитой сказочной эпопеи «Властелин колец».

«Удар, ее освободивший...». Судьба поэтессы Элеоноры Буржинской в переписке Максимилиана Волошина. Публикация и вступительная заметка А. Сергеева и А. Тюрина. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1997, № 11.

Молодая поэтесса Элеонора Буржинская (1908 — 1927). Ее письма к Волошину 1925 — 1927 годов. Стихи. Смерть.

Лев Усыскин. Хроники Фрунзе. — «Постскрипtum». Литературный журнал. Санкт-Петербург, 1997, № 3.

Стилизация в библейско-былинном духе. На материале Гражданской войны. Усыскинский Фрунзе имеет такое же отношение к красному полководцу Фрунзе, как пелевинский Чапаев — к Чапаеву историческому. Демонстрация очевидных литературных способностей дебютанта, результат нулевой.

Николай Черняев. О русском самодержавии. Вступительная заметка и подготовка текста Михаила Смолина. — «Москва», 1997, № 11.

Журнал «Москва» начинает публиковать сочинения малоизвестных ныне русских консерваторов конца XIX — начала XX века с работы «О русском самодержавии» (1894) Николая Ивановича Черняева (1853 — 1910), «писателя, в свое время известного и почитаемого в правых кругах». Печатается в сокращении.



ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖУРНАЛОВ ЗА 1997 ГОД

«ДРУЖБА НАРОДОВ»

Светлана Алексиевич — за повествование «Чернобыльская молитва. (Хроника будущего)» (№ 1);

Александр Архангельский — за «связку рецензий» «Обстоятельства места и времени» (№ 5);

Василь Быков — за рассказы «Народные мстители» и «Желтый песочек» (№ 11) — *премия учреждена Международным Литфондом;*

Василий Голованов — за очерк «Остров» (№ 5, 6);

Эльвира Горюхина — за цикл очерков «Путешествия учительницы на Кавказ» (№ 10, 11, 12) — *премия «За вклад в сближение и взаимообогащение культур» учреждена Международным Литфондом;*

Владимир Корнилов — за подборку стихов «И немота повсюду, и глухота везде» (№ 7);

Андрей Немзер — за статью «Взгляд на русскую литературу в 1996 году» (№ 2);

Константин Плешаков — за рассказы «Міне в Париже» и «Три ошибки Ольги Ритц» (№ 5);

Вера Рубер — за перевод романа Эмиля Тодэ «Пограничье» (№ 12) — *премия учреждена Международным Литфондом;*

Анатолий Рыбаков — за «Роман-воспоминание» (№ 7, 8);

Адольф Шапиро — за документально-художественное повествование «Как закрывался занавес» (№ 10, 11).

«НАШ СОВРЕМЕННОК»

Четыре (совместные с Инкомбанком) премии:

В. Кожин — за работу «Сталин, Хрущев и Госбезопасность» (№ 10, 11);

В. Личутин — за роман-эпопею «Раскол» (книга третья, № 7, 8, 11, 12);

В. Распутин — за рассказ «Нежданно-негаданно» (№ 5);

Т. Доронина — за «Дневник актрисы» (№ 11, 12, начало в № 4, 5, 6 за 1996 год).

Восемь традиционных премий журнала:

А. Алферова — за поэтический сказ «Палания» (№ 12);

В. Бондаренко — за статью «Плебейская проза Сергея Довлатова» (№ 12);

С. Кара-Мурза — за публицистические работы «Интеллигенция на пепелище родной страны» (№ 1, 2) и «Россия: что значит „не быть Западом“» (№ 9);

Г. Касьянин — за цикл стихов (№ 7, 11);

Ю. Квицинский — за повествование «Власов (история одного предательства)» (№ 6, 7, 8);

К. Мяло — за публикации «Там, далеко, на Днестре» (№ 2) и «Забывтая бедность: возвращение» (№ 7, 8);

Н. Скотов — за статью «Русская мадонна» (№ 9);

А. Убогий — за статью «Между жизнью и смертью» (№ 8).

«ОКТЯБРЬ»

Алексей Варламов — за роман «Затонувший ковчег» (№ 3, 4);

Анатолий Найман — за книгу в журнале «Славный конец бесславных поколений» (1995, № 11; 1996, № 11; 1997, № 8, 11);

Олег Павлов — за роман «Дело Матюшина» (№ 1, 2);

Вячеслав Курицын — за статьи в рубрике «Записки литературного человека» (1996 — 1997 гг.);

Павел Басинский — за повесть «Московский пленник» (№ 9) — *специальная премия «Дебют».*



ДАТА: 16(28) марта исполняется 130 лет со дня рождения русского писателя Максима Горького (А. М. Пешкова; 1868 — 1936), отклики на этот юбилей будут освещены в последующих выпусках «Периодики».

Составитель **Андрей Василевский.**



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Март

20 лет назад — в № 3 за 1978 год напечатан цикл Д. Самойлова «Из пярнуских элегий».

25 лет назад — в № 3 за 1973 год началась публикация романа Юрия Трифонова «Нетерпение».

70 лет назад — в № 3 за 1928 год напечатаны пьеса Леонида Леонова «Унтиловск» и рассказ Бор. Пильняка «Синее море».

«НОВЫЙ МИР» В *INTERNET*

САЙТ «АГАМА В ИНТЕРНЕТ»
АДРЕС: WWW.AGAMA.COM



«РУССКИЙ КЛУБ»



«ЖУРНАЛЬНЫЙ ЗАЛ»



«НОВЫЙ МИР»

электронные дайджесты свежих номеров:

содержание номера

фрагменты прозы и публицистики

стихотворения

рецензии

библиография

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novu Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Olga Postnikova, Leonid Grigoriyan, Boris Kamyarov and Victor Kollegorsky.

We are publishing the «Everyday Stories» by Boris Yekimov, the short story «The Ram» by Boris Yevseyev, the short stories «The Ghost in the Corridor (An Experience of Fantastic Reminiscences)» by Yevgeny Rein, as well as the end of the novel «The Army of Lovers» by Galina Shcherbakova.

The section «Publicistics» presents the article «The Strange War» by Mark Feigin about Russian troops in Tajikistan.

In the section «Far Nearness» we are publishing extracts from the memoirs «Adaptation» by Yuri Glazov about his life as an emigrant in the West in the seventies.

The section «Philosophy. History. Culture» contains a polemical article by Dmitry Kharitonovich about historical works by Academician A. Fomenko.

In the section «Literary Criticism» we are publishing the article «A Drama of the Drama» by Alina Zlobina, as well as the polemical notes «„In Memory of a Sneak” Is an Article of Misteries» by Nikita Yeliseyev.

The issue also presents our traditional sections «Reviews» and «Bibliography».



Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности многочисленных одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев (зам. главного редактора), С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, Д. А. Гранин, А. А. Ким, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88, отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29. Факс: 200-08-29.

Электронная почта: nmir@deol.ru

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Сдано в набор 20.11.97 г. Подписано к печати 26.01.98 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 ¹/₁₆. Бумага кн.-журн. Высокая печать.

Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 15 160 экз. Зак. 4049. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»
Управления делами Президента Российской Федерации.

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Доступ к Internet и Электронной почте предоставлен фирмой
Data Express Corporation, тел. (095) 932-76-47, WWW: <http://www.deol.ru>

В 1998 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Лопушок (роман);
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Веселый солдат (повесть);
 АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);
 В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);
 ЮРИЙ БУЙДА. Живем всего два раза (рассказы);
 МИХАИЛ БУТОВ. Свобода (роман);
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
 СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);
 ЯН ГОЛЬЦМАН. Пустынные песни (повесть);
 ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);
 ИГОРЬ ДЕДКОВ. Обессоленное время (из дневниковых записей 1975 — 1980 годов);
 МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА. Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);
 БОРИС ЕКИМОВ. Очерки и рассказы;
 НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ. Письма;
 ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Поэт (повесть);
 АНАТОЛИЙ КИМ. Стена (повесть);
 ОЛЕГ ЛАРИН. Блудное лето (сцены из захолустной жизни);
 ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;
 АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Нам целый мир чужбина (роман);
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Чернильный ангел (повесть);
 МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);
 ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Один в зеркале (роман);
 А. СОЛЖЕНИЦЫН. Главы из книги «Угодило зернышко промеж двух жерновов. (Очерки изгнания)»;
 ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Москва — Калуга — Лос-Анджелос (повесть);
 СВЯЩЕННИК ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ. Изречения Дарьи (записки, 1908 — 1911 гг.);
 ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Актриса и милиционер (повесть);
 ЮЛИУ ЭДЛИС. Аноним (роман);

а также романы, повести, рассказы АЛЕКСЕЯ ВАРЛАМОВА, МАРКА КОСТРОВА, МИХАИЛА КУРАЕВА, ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, ДИНЫ РУБИНОЙ, стихи АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, статьи, эссе СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, ИРИНЫ СУРАТ, ВИТАЛИЯ ШЕНТАЛИНСКОГО и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**